РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

Русская литература

№ 2 Историко-литературный журнал 2011

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Ю. В. Лебедев. К 80-летию со дня рождения Н. Н. Скатова 3

В. И. Еремина. В поисках истины. А. Н. Веселовский о закономерностях литературного процесса, генезисе и эволюции народного сознания и поэтических форм . . . 13

Ю. М. Прозоров. «Венец страданья на челе...». Из литературной истории образа Музы в поэзии Н. А. Некрасова 46

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ

«Литературное наследство»: страницы истории. Из архива С. А. Макашина (к 80-летию основания издания) (публикация и подготовка текста А. Ю. Галушкина; вступительные заметки А. Ю. Галушкина при участии М. А. Фролова; комментарии М. А. Фролова (раздел 1) и А. Ю. Галушкина (разделы 2—4)) 63

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Е. И. Карташева, А. Н. Пашкуров. Г. П. Каменев: новые архивные документы . . . 99

В. А. Кошелев. «Авось, дороги нам исправят...»: о семантике «десятой главы» «Евгения Онегина» 107

В. В. Головин. «Барышня-крестьянка»: почему Баратынский «ржал и бился» . . . 119

Н. Е. Никонова. Письма В. А. Жуковского К. К. Зейдлицу: русско-немецкий диалог (*Окончание*) 135

К истории посмертных публикаций сочинений Н. В. Гоголя. Из переписки современников (вступительная заметка, подготовка текста и комментарии Ю. В. Балакшиной) 159

Н. Н. Вихрова. Ранний критический опыт И. С. Аксакова 173

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»

А. В. Сысоева. К вопросу об основном тексте романа Федора Сологуба «Творимая легенда» 184
И. Н. Шатова. Криптографический карнавал в русской литературе 1900—1930-х годов . 190
В. В. Перхин. М. Горький и власть (по поводу четырех писем 1926—1935 годов) . . 203
Н. А. Прозорова. Новонайденные тексты Б. П. Корнилова из архива Г. М. Козинцева 214
М. М. Зощенко. Выступление на заседании Президиума Союза советских писателей 6 декабря 1943 года (вступительная заметка, подготовка текста и комментарии В. П. Муромского) 224
Энтони Кросс (*Великобритания*). По следам великих предшественников: мои исследования в области англо-русских культурных связей 233

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Е. Д. Кукушкина. Очередной сборник статей о Г. Р. Державине 240
Е. А. Бусыгина. В жанре хроники 243
Р. Ю. Данилевский. Русско-немецкие дискурсы (сборник работ томского филологического семинара) 246

ХРОНИКА

А. В. Светлова. XIV Научные чтения Рукописного отдела 250
А. Г. Гродецкая. Лев Толстой в петербургской филологии 254
О. С. Лалетина. Международная научная конференция «Отечественное стиховедение: 100-летние итоги и перспективы развития» 259

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ренэ Герра (*Франция*). Репатрианты. Странная судьба «возвращенки» Наталии Ильиной 265

Памяти Лидии Михайловны Лотман 271

Журнал издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН

Главный редактор *В. Е. БАГНО*

Редакционная коллегия:

Е. В. АНИСИМОВ, Д. М. БУЛАНИН, М. Н. ВИРОЛАЙНЕН, Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора), *А. А. ГОРЕЛОВ, В. Я. ГРЕЧНЕВ, И. Ф. ДАНИЛОВА* (отв. секретарь редакции), *Н. Н. КАЗАНСКИЙ, В. А. КОТЕЛЬНИКОВ, Н. Д. КОЧЕТКОВА, А. В. ЛАВРОВ, А. М. МОЛДОВАН, С. И. НИКОЛАЕВ, Ю. М. ПРОЗОРОВ, Н. Н. СКАТОВ, А. Л. ТОПОРКОВ,* С. *А. ФОМИЧЕВ, Т. С. ЦАРЬКОВА*

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.
Телефон/факс (812) 328-16-01
e-mail: rusliter@mail.ru

Санкт-Петербург
Издательство «Наука»

© Российская академия наук, 2011 г.
© Редколлегия журнала «Русская литература» (составитель), 2011 г.

© *Ю. В. ЛЕБЕДЕВ*

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. Н. СКАТОВА

Николай Николаевич Скатов родился 2 мая 1931 года. В Костроме прошли его детские и юношеские годы. По окончании средней школы № 30 он поступил на филологический факультет Костромского государственного педагогического института. Здесь под влиянием своего учителя профессора Д. Е. Тамарченко он начал свои первые шаги в науке. С отличием окончив институт, он поступил в аспирантуру при кафедре литературы Московского государственного педагогического института, где под руководством профессора А. И. Ревякина подготовил и защитил кандидатскую диссертацию, посвященную литературно-критическим и эстетическим взглядам В. Г. Белинского. Вернувшись в Кострому, Н. Н. Скатов проработал в Костромском педагогическом институте до 1962 года. Прочитанные им общие курсы истории русской литературы XIX века и спецкурсы о творчестве В. Г. Белинского пользовались большим успехом не только у студентов, но и у многих костромичей — любителей русской литературы.

В 1962 году Н. Н. Скатов испытал незаслуженные гонения, организованные в институте его недоброжелателями, с недоверием и завистью относившимися к талантливому ученому и блестящему преподавателю — кумиру костромских студентов-филологов. Получив приглашение от заведующего кафедрой Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена А. И. Груздева, Н. Н. Скатов переехал в Ленинград. Здесь он защитил докторскую диссертацию, посвященную исследованию творчества Н. А. Некрасова и поэтов его школы. Вскоре он стал заведующим кафедрой русской литературы этого института, а затем директором крупнейшего в нашей стране академического Института русской литературы (Пушкинского Дома) и главным редактором (с 1988-го по 2009 год) журнала «Русская литература».

В 2001 году Санкт-Петербургское отделение издательства «Наука» выпустило в свет четырехтомное Собрание сочинений члена-корреспондента РАН Николая Николаевича Скатова. В издание вошли основные труды ученого, имя которого хорошо известно вузовским педагогам, учителям словесности, а также широкому кругу любителей русской классической литературы. Первый том включает в себя монографию «Пушкин. Русский гений», расширенную редакцию книги «Русский гений» (М., 1987), второй — книгу «Кольцов», дважды опубликованную в серии «Жизнь замечательных людей» (1983, 1989), третий — книгу «Некрасов», впервые изданную в 1994 году в той же серии, четвертый — избранные литературоведческие статьи из трех книг Н. Н. Скатова «Некрасов. Современники и продолжатели» (Л., 1973), «Далекое и близкое» (М., 1981), «Литературные очерки» (М., 1985), а также публицистические очерки из периодической печати последних лет, часть из которых вошла затем в последнюю книгу ученого — «О культуре» (СПб., 2010).

«Наше время отмечено феноменальным интересом к русской классике, — утверждает Н. Н. Скатов. — Сейчас больше, чем когда-либо, совершается по сути в масштабах целого общества не только прочитывание ее еще и еще раз, но *перечитывание*, продиктованное желанием увидеть многое заново, найти и там ответы на насущные вопросы духовной жизни». В этих словах ученого раскрывается его исследовательская методология, верная лучшим традициям отечественной академической науки и наследию русской религиозно-философской мысли начала XX века. Задолго до эпохи гласности, еще на заре 1960-х годов, обращаясь к исследованию поэзии Некрасова (Поэты некрасовской школы. Л., 1968), Н. Н. Скатов, используя все достижения советского некрасоведения, успешно преодолевал односторонне-социологическое прочтение поэта, опираясь на труды о нем русских философов и литераторов Серебряного века — С. Андреевского и В. Брюсова, К. Бальмонта и А. Блока, В. Розанова и Д. Мережковского, Н. Бердяева и С. Булгакова. Восстанавливалась оборванная революцией, ушедшая в эмиграцию литературно-критическая традиция, идущая от органической критики А. Григорьева к философской критике начала XX века. Именно Н. Н. Скатов преодолел тогда инерцию хрестоматийного подхода к изучению Некрасова, в творчестве которого видели иллюстрацию основных положений революционно-демократической публицистики. В трудах ученого Некрасов предстал как великий национальный поэт, в творчестве которого открывалась неисчерпаемая глубина народной жизни, национальная эпопея в новых формах литературы. А в последней, итоговой монографии, вошедшей в третий том, открытия Н. Н. Скатова обогатились глубоким и целостным пониманием незаурядной личности Некрасова — журналиста и редактора, организатора литературных сил, первооткрывателя художественных дарований, предприимчивого издателя, широкой русской натуры в любви, карточной игре, охоте, аристократических и правительственных связях, отношениях с русскими писателями.

Н. Н. Скатов остается исследователем, преданным духовно-нравственным основам русской классической литературы. В его трудах сохраняется высокий гуманитарный смысл литературоведения как науки, имеющей прямое отношение к самим основам национальной жизни, к генетическим корням ее. Это литературоведение, адресованное всем и каждому, доступное и понятное, обладающее живым, образным, художественным языком. Ведь литература XIX века в России была универсальной формой общественного сознания. Именно потому ей отводилась и по определению должна отводиться совершенно особая роль в системе народного просвещения.

Специфика русской литературы диктовала и диктует особые условия и школьному учителю, и литературоведу, желающему адекватно понять ее предмет. Русская филология в лице лучших ее представителей, обращаясь к нашей классике, всегда выступала за рамки собственно литературоведческих задач. Односторонняя специализация в силу национального своеобразия русской классической литературы ей совершенно противопоказана. К сожалению, модные ныне направления историко-литературной науки («мифопоэтика» или рационалистическая «герменевтика») уходят далеко в сторону от задач судить писателя «по законам, им самим над собою признанным» (Пушкин). Потому-то Н. Н. Скатову современные «новации» и не нужны.

Широк и масштабен диапазон чуждых узкой специализации научных интересов Н. Н. Скатова: от декабристов и Пушкина до Исаковского и Твардовского. От «далекого» мысль исследователя устремляется к «близкому»: исследуя то, что сменяется, Н. Н. Скатов обращает внимание на то, что

удерживается неизменным в глубинном существе русской художественной культуры. «Далекое» и «близкое» — это не только исследование хронологически разных явлений литературы, это еще и проникновение в диалектику вечно обновляющейся, *пребывающей* жизни литературной классики, торжествующей над течением времени: наше прошлое оказывается в самом прямом смысле нам близким, а наша современность по неумолимой логике органического роста жизни и литературы напоминает о далеком, в новых исторических условиях заново воскрешая его (см., например, публицистические очерки четвертого тома «За что мы не любим Некрасова», «Русская культура сегодня», «...И слово было Бог»).

Вот эта непрерывающаяся связь времен в истории России и в истории русской классической литературы является душою творческих трудов Н. Н. Скатова. Она-то и превращает хронологически и тематически разные, далеко отстоящие друг от друга явления литературы в единое монографическое исследование. Цельность его основана не только на единстве исследовательского подхода, но и на объективно существующей *целостности* того духовного феномена, который оказывается главным героем литературно-критических очерков и книг. Уловить непреходящее значение тех художественных открытий, которые составляют душу нашей классики и сохраняют свою вечную актуальность, — такова устремленность исследовательской мысли Н. Н. Скатова. Она-то и делает его труды насущно необходимыми современному учителю литературы.

«Успехи разветвленного и, так сказать, дробного изучения» русской литературы диктуют, по мнению исследователя, «необходимость синтезирующего взгляда». И этот взгляд последовательно проведен в его произведениях. Речь идет о прошлом и современности, но при всех хронологических и тематических различиях — об одном: о неповторимом индивидуальном лице национальной литературы, сохраняющем себя во все эпохи и во все времена. Об исторической жизни литературы здесь говорится так, как можно, например, говорить о жизни человека, который при всех своих возрастных изменениях остается все-таки тем же самым индивидуумом. Н. Н. Скатов предлагает нам воспринимать развитие литературы и культуры не в дискретных состояниях, каждое из которых довлеет себе и оторвано от предыдущих (по мертвому, механическому принципу «разрыва традиций»), а в движущемся единстве, в котором любое преходящее во времени явление литературы оказывается органической частицей ее живой полноты, насыщенной прошлым и чреватой будущим.

Н. Н. Скатов тяготеет к эпическому постижению литературных явлений. В процессе микро- или макроанализа держится в уме индивидуальное целое литературы, не дающее исследователю возможности уйти в односторонность, увлечься разложением живого явления на составные части, впасть в преувеличение значимости тех или иных частей самих по себе в ущерб целому. Вся литература здесь понимается как единое художественное произведение, как процесс коллективного творчества, в котором каждый художник, поэт или писатель с максимальной полнотою стремится выразить целое. Все многообразие русских писательских индивидуальностей входит, таким образом, в состав некоего коллективного национального субъекта, творца литературы и языка. Формулу такого субъекта Н. Н. Скатов находит в жизни и творчестве Пушкина, который определяется в книге как «начало всех начал», как «наше все», как «русский человек в его развитии».

Книга о Пушкине (а вслед за нею — о Кольцове и Некрасове) не традиционная биография, не обычное жизнеописание. С точки зрения бытовой

жизнь Пушкина давно уже исследована с подробностью и дотошностью. Н. Н. Скатов обдумывает накопленные факты, создает книгу, синтезирующую *духовный путь* Пушкина, который всею полнотою своей жизни и творчества воплотил энергию «молодой, развивающейся нации» и потому сам стал «первым человеком нации зрелой, развивающейся».

«В Пушкине русский человек явился как идея, как программа и прообраз будущего». Эта мысль ученого, определяющая основную концепцию и восходящая к оценкам Пушкина от Гоголя и Белинского до пушкинской речи Достоевского, не только декларируется в книге, но и подтверждается энциклопедически объемным осмыслением жизненной и писательской судьбы поэта в их взаимосвязанности. Именно Пушкин воплотил в своем творчестве характерные особенности русского искусства начала XIX века как искусства «целого», «больших мер, невероятных обобщений общенациональной значимости». Пушкин в книге Н. Н. Скатова — великий новатор, не разрушающий все предшествующее и традиционное в отечественной и мировой культуре, а разрешающий великую задачу синтеза.

Вслед за Достоевским автор видит в «протеизме» Пушкина гениальную синтезирующую мысль, с которой выразил он именно дух не только своего, но и чужих народов, «всю затаенную глубину» их духа, «всю тоску их призвания». А потому Пушкин стал для России «школой мировой духовной жизни, своеобразной всемирной энциклопедией», завершением «общенационального коллективного усилия». Эта «всечеловечность» Пушкина, абсолютность его, его «нормальность как воплощение высшей человеческой нормы» проявились, по Н. Н. Скатову, и в том, как Пушкин развивался. Жизнь Пушкина — это «человеческий цикл в его законченном виде: детство, отрочество, юность, молодость, зрелость, мудрость», ему собственно и подчиняется композиция книги Н. Н. Скатова вплоть до названия всех ее глав.

Ученый приходит к неожиданному и даже парадоксальному, на первый взгляд, открытию: духовное развитие Пушкина в определенном смысле сохраняет независимость как от влияния внешней жизни, так и от событий исторических. Чуткая реакция поэта на окружающую жизнь столь очевидна и обнажена, что «поселяет желание именно с нею непосредственно связать его становление», представить, «что именно она в своей эмпирике это становление определяет». Однако Н. Н. Скатов убеждает, что Пушкин менее всего ей подчинялся. «Внутреннее развитие человека будущего, идеальной его модели, гения, „пророка" не поддается внешним влияниям столь ясно, как это случается с обычными литературными дарованиями». Гениальность Пушкина в том, что он в той же мере ведом этой жизнью, в какой он же и ведет ее, с максимальной полнотою выражая не только явные, но и скрытые ее возможности. А потому и все так называемые кризисы Пушкина не только отражают переломные этапы современной ему исторической жизни общества, но и являются выражением переходных возрастных состояний поэта от детства к отрочеству, от отрочества к юности, от юности к молодости и т. д. «События внешней жизни не столько их определяют, сколько сопровождают их, им, так сказать, аккомпанируют, дают им пищу».

Здесь перед исследователем творчества Пушкина и его биографом возникают две опасности: одна заключается в соблазне отделить высокий дух поэта от жизненного потока, от реальных фактов биографии, отдаваясь стихии воображения и домысла (этого соблазна не избежал, по Н. Н. Скатову, Ю. Н. Тынянов), другая — в жестком прикреплении основных этапов духовной биографии к житейским и историческим событиям. Н. Н. Скатов успешно проводит исследование между Сциллой вымысла, домысла и Харибдой эмпирической фактографии.

Юный Пушкин, по утверждению Н. Н. Скатова, не просто писал о вольности, он ее воплощал. Там, где Рылеев «говорил о свободе», Пушкин выражал ее всем литературным строем своих произведений. Причем дух вольности у него никогда не переходил в своеволие, осенялся Законом не только в либерально-конституционном, а и в предельно высоком, библейском смысле этого слова. Юношеская свобода Пушкина проявилась в способности его жить везде и со всеми, в широте и многообразии его человеческих общений, казавшихся друзьям беспринципностью, вызвавших упреки в «легкомыслии». Проходя через «Арзамас», Пушкин тянулся к «Беседе», но при этом сохранял свободу от той и другой литературной крайности. Пушкин был со всеми и потому же ни с кем в отдельности. Юность гения оказывалась синтезом юности русской национальной жизни во всех ее проявлениях, «он был единственным человеком в тогдашней России, кто жил так. При всей широте и разнообразии связей все-таки и тогда люди расходились, замыкались и обособлялись», а Пушкин «был со всеми».

Молодость его сопровождалась переходом к романтическим увлечениям. Но «романтизм здесь выражал естественную и вечную романтику молодости, а потому он ушел вместе с молодостью столь же нормально, как и возник». «Романтизм молодого Пушкина — не романтизм молодого Шиллера, не романтизм зрелого Байрона, не романтизм старого Гюго. Он никогда не составлял его сути».

Зрелость Пушкина была ознаменована открытием глубин народной, национальной жизни. «Взрослый Пушкин впервые оказался один на один и так надолго с русским сельским людом, и впервые жил русской деревенской жизнью так оседло». Через нее — вместе с «Историей» Карамзина — Пушкин впервые открывает Шекспира как народного драматурга и сам смотрит на народ его взглядом. С драмой «Борис Годунов» Пушкин «вступает в пору высшей объективности», расцвета, зрелости. Завершает ее «Евгений Онегин», являющий собой «идеальную формулу русской жизни».

Мудрый Пушкин — это человек и поэт, переживший драму и вступивший в стадию эпоса. Он и житейски начинает свои тридцатые годы с первоэлемента «эпической жизни» — с семьи, а в творчестве продолжает их созданием «Медного всадника», «Капитанской дочки», «Истории Пугачева». Так Пушкин совершает в своей жизни и творчестве «весь мыслимый человеческий цикл, и заканчивая, сам увенчивает его „Памятником"».

Книга Н. Н. Скатова открывает новые грани в пушкинском творчестве — «зерне», из которого прорастает вся новая русская литература. Такой взгляд на Пушкина ложится у исследователя на прочный фундамент исторической эпохи становления и торжества русской нации в Отечественной войне 1812 года. В Пушкине исследователь видит исток новой русской литературы: все последующее ее развитие превращается в развертывание тех возможностей, которые в нем заключены в виде емких эстетических формул. Как откровение и раскрытие художественных потенций, изначально намеченных в универсальном гении Пушкина, весь последующий литературный процесс, по Скатову, соразмерен Пушкину, с ним соотнесен.

В зерне русской классической литературы содержится идеал всеобщей человеческой солидарности, наиболее полно и всесторонне реализованный Пушкиным с его уникальным «протеизмом» и всемирной отзывчивостью, чуждой национальному самоограничению. Этот предельно высокий идеал осеняет и пронизывает своим духовным светом все послепушкинские художественные индивидуальности, раскрывающие пушкинские идеальные формулы, специализируясь и разветвляясь. Пушкинский универсум теперь

уже воссоздается усилиями многих русских литераторов, качественно обогащаясь в утонченном и разностороннем анализе.

Качество мощного художественного синтеза открывает Н. Н. Скатов в «русской песне» Кольцова. «Кольцов наблюдает и анализирует „внутреннюю сторону народной жизни". Его „эпический" „добрый молодец", его „эпическая" „красна девица", оставаясь эпическими, чувствуют индивидуально. Кольцов установил связь отдаленных веков и отделенных состояний. И та же „Песня пахаря" не столько даже песня, сколько песнь: эпос, не потерявший эпического содержания, но ставший лирикой. Недаром именно в русском эпосе располагается предтеча кольцовского пахаря.

А орет в поле ратай, понукивает,
А у ратая-то сошка поскрипывает,
Да по камешкам омешики прочеркивают...

Это ратай, Микула Селянинович, у Кольцова заговоривший:

Ну, тащися, сивка,
Пашней, десятиной!
Выбелим железо
О сырую землю.

Без Микулы Селяниновича не было бы никакого кольцовского пахаря. Без кольцовского пахаря мы никогда бы не ощутили Микулу Селяниновича, да и всего нашего народного эпоса, столь кровно, задушевно и лично: рушится связь времен. И здесь, в самой обращенности в прошлое, Кольцов не закладывает ли основы и искусства будущего?»

Внимание Н. Н. Скатова к социально-исторической проблематике, исследование жизни и литературы в их взаимосвязи и развитии проявляется и в определении существа русского реализма XIX века. Исследователь убедительно показывает ограниченность «расхожего представления о литературе прошлого как о чем-то таком, что прежде всего — и даже только — критикует». В нашем сознании термин «критический» с некоторых пор стал означать «критикующий» — и критикующий прежде всего среду, социальные отношения. Русское художественное сознание, по Н. Н. Скатову, преодолевало такой упрощенный подход к человеку. В классической литературе человеческая личность превращалась в «совокупность общественных отношений» не только настоящего момента, но и всей национальной истории. Этот широкий взгляд на соотношение характера и среды, когда характер и определяется средою, и выступает по отношению к ней как нечто самостоятельное, дает возможность Н. Н. Скатову увидеть в «Мертвых душах» Гоголя, например, не обычный социальный роман, а поэму, в которой характеры помещиков получают общенациональный масштаб. Исследователь обращает внимание не только на критикующие, но и на жизнеутверждающие начала русского реализма, справедливо полагая, что «сама сила отрицания» в нем была возможна лишь «при соответствующей силе утверждения», и русская классика близка нам этой «безмерностью, бесконечностью идеалов»: «предельная требовательность к человеку» тут вытекала «из беспредельной веры в него».

Для Н. Н. Скатова мало знать, что написали декабристы в своих политических трактатах и художественном творчестве. Не менее важно выяснить, что они пережили и как они жили — и не для полноты их биографий только, но для истинного понимания существа их идей. Это относится и к духовным биографиям А. В. Кольцова и Н. А. Некрасова, включенным в Со-

брание сочинений Н. Н. Скатова. Важно знать не только то, что воплотилось в слове, но и что за ним стояло; нужно удержать в поле зрения весь состав личности писателя, захватив и ту подпочву, которая питала его художественную мысль. Пушкин у Н. Н. Скатова ведь тоже берется весь — и с творчеством, и с жизнью, в неразрывности того и другого: первый русский поэт-художник и «первочеловек установившейся нации», «совершающий весь цикл развития в его идеальном качестве». Не столько эпоха владела Пушкиным, сколько он как поэт-художник эстетически овладевал ею, «забрасывая сети в будущее»: оставаясь в границах своего времени, он творчески над ним торжествовал.

О декабризме речь идет опять-таки как о целостном культурном явлении со своим неповторимым лицом, со своей индивидуальностью. Как Пушкин «универсально представил» в своем творчестве «мировой художественный опыт», так декабризм — «мировой, от античности идущий, опыт гражданской жизни и политической борьбы». «Декабризм теоретически демонстрировал необычайное разнообразие революционных принципов, программ, путей, содержа их все, так сказать, в зерне». Многие будущие ситуации и сюжеты нравственно-эстетического и революционного опыта «были здесь предварительно намечены и проиграны».

Пушкин и декабристы — два этих социальных и культурных пласта национальной жизни начала XIX века — рассматриваются Н. Н. Скатовым соответственно в эстетическом ключе эпоса и трагедии. Трагичность политического опыта декабристов прямо связана с трагичностью их поэтического опыта. С этой стороною их деятельности в работы Н. Н. Скатова входит другой устойчивый сюжет — литература и жизнь в сложном взаимодействии друг с другом. Декабристы в своей жизни и художественном творчестве предприняли дерзкую и обреченную попытку снять вековую коллизию между жизнью и искусством, гражданственностью и поэзией, человеком и художником, делом и словом. Искусство и жизнь они хотели подчинить единому принципу: «живи, как пишешь, пиши, как живешь».

Русская и особенно советская наука предприняла огромные усилия для изучения декабристского движения. Отыскан и опубликован обильный источниковедческий материал, изучены классовые истоки декабризма, обследованы экономические концепции, правовые взгляды, теории государственного устройства. Издан обобщающий труд М. В. Нечкиной «Движение декабристов» (М., 1955). И однако современной науке, как убедительно показывает Н. Н. Скатов, явно не хватает целостного взгляда на декабризм как на уникальное в своем роде общественное движение начала XIX века.

Утверждаемое нашей литературой, начиная с Пушкина и декабристов, понимание личности, как показывает Н. Н. Скатов, снимает типичное для Западной Европы противопоставление индивида и общества. Личность является средоточием бесконечного множества отношений с другими, и вне этих отношений она лишается живого содержания. Но и общественное, коллективное начало рассматривается русским художественным сознанием не как предел и ограничение личного начала, а как его внутреннее восполнение. Проблема духовного становления человека в русской литературе не ограничивается индивидуальным самоусовершенствованием: она с необходимостью предполагает участие в совместной жизни со всеми, она неотделима от процесса одухотворения «мира», от совершенствования самих форм общения между людьми.

Именно потому А. Н. Островский, например, «не идеализирует патриархальности как таковой, а лишь в той мере, в какой он видит в ней и провидит за ней начала человеческой общности и принципов, ее обеспечивающих,

уходящих корнями глубоко в толщу народной, в частности русской крестьянской жизни, начала жизни „миром"».

«Если Твардовский — поэт коллективизации, то ведь и Некрасов — поэт коллектива... принцип коллектива, жизнь „миром" для него — главное. В этом-то и близок к нему „поэт коллективизации" Твардовский». Как планеты вокруг солнца, все значительные писательские индивидуальности России вращаются в поле притяжения вековой народной мечты, дорогого народу идеала. «Некрасов когда-то писал Л. Толстому о том, как важна „посылка к другим", человеческая „круговая порука". Поиском такой „круговой поруки" и близок к Некрасову Исаковский».

Очевидно, что разные явления русской классики рассматриваются у Н. Н. Скатова не обособленно. Во взаимодействии и взаимопроникновении они формируют индивидуальный облик национальной литературы. Творчество одного писателя открывается навстречу другому: внутри самой литературы действует тот же закон «общественной солидарности», упраздняющий непроницаемость отдельных художественных течений, направлений и школ. Особенно убедительно это показано на примере столкновения в русской литературе второй половины XIX века некрасовского и фетовского поэтических начал.

Мысль Н. Н. Скатова не отвлекается от предмета исследования, отдается разным его сторонам, погружаясь в него и достигая такого проникновения, когда в индивидуальном явлении открывается общий закон — по известному толстовскому утверждению: «Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее». В таком глубинном рассмотрении фетовский поэтический анализ духовно-природных состояний вдруг обнаруживает внутреннее родство с толстовской диалектикой души и с поэзией Некрасова. А искусство интеграции отдельных состояний в характеры, недоступное Фету, оказывается доступным Толстому и Некрасову. Односторонность Фета восполняется другими, хотя и во многом противоположными явлениями литературы. Так Фет включается в движущийся литературный процесс, где каждому отводится свое место. Некрасов и Фет по-своему дополняют друг друга. Их вражда — относительна, их антагонизм может быть осмыслен как естественное противоречие художественного развития, удерживающее в себе возможности нового синтеза на более глубоких аналитических основах. Ценность поэтических открытий Фета возрастает, когда его творчество рассматривается не как «вещь в себе», а как органическая часть литературного процесса, во взаимодействии с другими, с целым.

Глубоко исследуется в работах Н. Н. Скатова и драматическая разорванность искусства и действительности, которую в русской литературе XIX века наиболее последовательно реализовал своей жизнью и творчеством Фет. «Психологическая загадка» Фета-поэта и Шеншина, помещика-практика, коренилась, по мнению Н. Н. Скатова, в идущем от Канта противопоставлении искусства как «бесполезной», подлинно свободной деятельности и жизненной практики как подчиненной законам железной необходимости. Искусство Фета противостоит практике Шеншина: Фет уходит в искусство от худших ее сторон. Но одновременно он уходит в искусстве от социальной жизни общества. Утверждаемая им гармония коренится на слишком узкой жизненной площадке. Осознание узости и кризисности своего «моцартианства», лишенного пушкинской цельности, непосредственности и широты, пришло к Фету в 1880-е годы. В поздних его стихах уже утверждается сектантский лозунг «чистого искусства», а красота превращается в культ, усугубляя угрожающий сути поэзии «эстетический сепаратизм».

Если в поэзии Фета драматически реализовались кризисные процессы русского художественного развития, то в творчестве А. Н. Островского завершилось становление нашего классического искусства XIX века: драма — продукт развившейся национальной жизни, национальный театр — признак совершеннолетия нации. Статьи Н. Н. Скатова об Островском принадлежат к числу лучших в отечественном литературоведении, открывающих новые перспективы в изучении творчества национального русского драматурга. Исследователь показывает, что устойчивое представление о жизни купечества, явившейся почвой для произведений национального драматурга, нуждается в коррективах весьма существенных. Занимая промежуточное положение между крестьянством и верхами русского общества, купечество и сохраняло народную традицию жизни «миром», и в то же время она подвергалась в нем наиболее острым драматическим превращениям. Самодурство с этой точки зрения было выражением кризиса старых патриархальных устоев, потери их. В купеческом миру Островский и пытался увидеть свои идеалы в той мере, в какой этот мир еще сохранял связь с общенародной культурой (крестьянской, в первую очередь), и, опираясь на жизнеспособные начала в нем, с огромной силой обличал тот процесс эгоистического обособления, распада национального и общечеловеческого единства, который в купечестве стремительно прогрессировал. Подтверждением этого нового взгляда на жизненные истоки творчества Островского является у Н. Н. Скатова анализ основного конфликта в драме «Гроза», — конфликта, внутри которого исследователь обнаруживает ростки самобытной «русской трагедии». Ученый рассматривает драматургию Островского на широком фоне национальной жизни и литературы, отметая устаревшее представление об Островском как драматурге-бытовике.

В статье «„Некрасовская" книга Андрея Белого» речь идет уже о том, какой «непростой и противоречивой жизнью жила некрасовская традиция в творчестве одного из самых сложных художников начала века». Исследователь пытается выяснить, какие «реальные процессы русской жизни на важнейшем этапе ее истории» отражала поэтическая книга стихов Белого «Пепел». Если приобщение Некрасова к народной жизни было плодотворным и живительным, то у Белого оно «превращало жар души в пепел». «Слияние двух или многих поэтических миров» не рождало в лирике Белого нового качества, новой человеческой и поэтической общности: распад крестьянской общины, народных принципов жизни «миром» отозвался в его стихах духовной нивеляцией («один как все», «одинаковость, но не общность»), человечность не обреталась «в миру», а сохранялась в поэтическом обособлении и одиночестве. «Поэт, хотевший наследовать Некрасову, в сущности вступал в противоречие с ним. От этой России Белый уходил, другой не видел, начинал искать выхода помимо жизни, помимо искусства».

Новую ситуацию общественного подъема народной жизни выразила, по Н. Н. Скатову, поэзия Исаковского и Твардовского. В их творчестве нашла отражение «тяга к жизни коллективом. Это тоже было то новое, что носилось в воздухе, чем жила пробудившаяся деревня, но такое новое, которое опиралось на вековую национальную традицию жизни „миром" — крестьянской общиной». На этой исторической почве и произошло возрождение некрасовской традиции в творчестве Твардовского и Исаковского. Если Исаковский наиболее полно развил песенное начало некрасовской поэзии, то Твардовский унаследовал традиции Некрасова-эпика. Всем содержанием своих трудов исследователь утверждает правоту основной своей теоретической посылки: «только соотнесение художественных систем в их

целом и в их исторической обусловленности позволяет нам избежать эмпиризма и дает возможность определить границы влияний, приобретений и потерь».

Четыре тома Собрания сочинений Н. Н. Скатова буквально просятся на рабочий стол преподавателя вуза и учителя литературы средней школы. Есть надежда на повторное их издание: общественная значимость трудов Н. Н. Скатова с годами будет только возрастать.

© *В. И. ЕРЕМИНА*

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА, ГЕНЕЗИСЕ И ЭВОЛЮЦИИ НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ И ПОЭТИЧЕСКИХ ФОРМ

Научная деятельность, по словам ученика и последователя А. Н. Веселовского В. Ф. Шишмарева, являлась наиболее важной стороной жизни А. Н. Веселовского, так как «его большой и тонкий ум, его огромные комбинаторные способности, живое историческое воображение, темперамент и, когда это было нужно, мастерское владение речью — все это было посвящено прежде всего научному исследованию. Наука была каким-то естественным выражением его „я", естественным содержанием его жизни. Ученый в жизни, он был живым человеком в науке. Поэтому-то, будучи крупнейшим специалистом, он менее всего походил на специалиста. Научная работа была для него не только постоянным исканием, но страстью, необходимой стихией».[1]

Годы ученичества и первые научные пробы А. Веселовского совпали со временем, когда русская филологическая наука еще только формировалась, когда ее задачи и методы не были четко определены и не приходилось говорить еще о сколько-нибудь четких и глубоких традициях. «Человеком, ищущим пути» — таким предстал перед нами молодой Веселовский.

А. Н. Веселовский вырос в интеллигентной семье, дед его был врачом, отец, военный педагог по профессии, человек очень образованный, всегда был в курсе новых веяний европейской науки и литературы. Библиотека отца, как вспоминал в своей автобиографии А. Н. Веселовский, «плохо охранялась от вторжений моих и брата Федора ⟨...⟩ читалось, что попадало под руку: Жуковский, Марлинский, „Оссиан" Кострова, Казак Луганский и словарь Плюшара».[2] До поступления в четвертый класс гимназии дети учились дома. Отец занимался с ними арифметикой и географией. Подготовка по этим предметам была прочной и весьма успешной, так как уже в гимназии учитель математики (Новицкий) советовал отцу Александра готовить его на математический факультет. Однако не математика была сферой интересов юного Веселовского. Он увлекался историей и русским языком, писал стихи и прозу. «Стихами, — вспоминал он впоследствии, — я баловался и позже, и на первом курсе подал С. П. Шевыреву отрывок перевода из „Орлеанской девы", за что был призван и поощрен».[3]

Но особенно ощутимым для будущего А. Веселовского оказалось влияние его матери. Немка по рождению, она «сумела обрусеть в меру», отлично говорила по-русски, хорошо знала немецкий и французский языки, а впо-

---

[1] *Шишмарев В. Ф.* Александр Николаевич Веселовский // Известия АН СССР. Отд. общественных наук. 1938. № 4. С. 4.

[2] *Веселовский А. Н.* Автобиография // Пыпин А. Н. История русской этнографии. СПб., 1891. Т. 2. Дополнения. С. 423.

[3] Там же.

следствии, чтобы идти в уровень с детьми, изучила еще и английский. Итальянским Веселовский занимался дома с каким-то не слишком образованным ломбардцем, так что в детстве постиг в совершенстве лишь разговорный язык; испанский выучил самостоятельно по грамматике. На всю жизнь А. Веселовский «вынес из семьи привычку и любовь к труду, умение работать, как не часто работали его сверстники. Огромная трудоспособность и выдержка в работе всегда поражали в нем».[4]

В Московском университете, куда А. Веселовский поступил в год юбилея (1854 год), он нашел себя далеко не сразу. Лекции С. П. Шевырева его не увлекали, не пристал он и к многочисленным поклонникам Т. Н. Грановского, от лекций которого, по словам Веселовского, «отдавало фразой».[5] Увлекался он лекциями П. Н. Кудрявцева и, как многие в университетских кружках, чтением Л. А. Фейербаха, А. И. Герцена, Г. Т. Бокля. В университетские годы Веселовский прослушал курсы санскрита у Д. К. Петрова, сравнительной грамматики у П. М. Леонтьева и начал заниматься у О. М. Бодянского. «У Бодянского, — пишет Веселовский в автобиографии, — я занимался сонно, не осилил даже грамматики Й. Домбровского и, когда представился случай, сбежал ⟨...⟩ и перешел к Ф. И. Буслаеву. Занимался я у него мало: помню, читал у него рукописный Синодик, делал выписки из Мессии Правдивого; но все это было не важно; важнее для меня были лекции Буслаева и, рядом с ними, его работы, давшие впоследствии содержание его „Очеркам"».[6] Поначалу А. Веселовского увлекало даже не то, *что́* читал Ф. И. Буслаев, а то, *ка́к* он читал. А читал он «оригинально, по-своему, с некоторыми скачками, связь которых не легко давалась новичку: заключение являлось нередко неожиданным; чтобы усвоить его, лекцию приходилось передумать. Увлекали веяния Гриммов, откровения народной поэзии, главное: работа, творившаяся почти на глазах, орудовавшая мелочами, извлекавшая неожиданные откровения из разных Цветников, Пчел».[7]

В Московском университете А. Веселовский получил разносторонние, но несколько разрозненные знания, и в эти годы он не нашел еще своей ниши в науке. По рекомендации университета в 1862 году он был на два года командирован за границу: такова была очень прогрессивная практика того времени. «Я был полон вожделений, — писал он впоследствии, — но беден программой; в сущности программы у меня не было никакой, да и дать [ее] было некому. Буслаев дал мне интерес к гриммовскому направлению — в приложении к изучению русско-славянского материала; но некоторые стороны дела, постановка мифических гипотез и „романтизм народности" никогда меня не удовлетворяли».[8]

Заграничная командировка Веселовского вместо двух лет затянулась на шесть. В Берлине он вместе с А. А. Потебней слушал курсы психологии у Х. Штейнталя и Ю. Бона Мейера, германистику у К. Мюлленгофа, средневековую литературу у Э. Гоше. Занимался также романской литературой, провансальским и баскским языками у К. А. Ф. Манна. Знания прибывали и углублялись, но четкий план самостоятельной работы по-прежнему не был сформирован. «Нагрузившись берлинской мудростью», А. Веселовский перебрался в Прагу, чтобы восполнить пробелы в знаниях по славистике.

---

[4] *Шишмарев В. Ф.* Указ. соч. С. 4.

[5] *Веселовский А. Н.* Автобиография. С. 424.

[6] Там же. С. 424—425. Речь идет о книге Ф. И. Буслаева «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» (СПб., 1861. Т. 1—2).

[7] *Веселовский А. Н.* Автобиография. С. 425.

[8] Там же.

Так, по его словам, «без особого толку» пролетели два года жизни за границей. С 1864 по 1868 год Веселовский проводит в Италии, где живет уже на собственные деньги. Здесь он задумал написать историю итальянского Возрождения, на осуществление этого замысла могла уйти целая жизнь. Но вовремя пришло осознание излишней грандиозности поставленной задачи, и план сузился до размера исследования одного памятника «Il Paradiso degli Alberti», над которым он работал три года. Работа была написана на итальянском языке, ее пафос — в установлении народных начал как основы литературного развития. В этом исследовании значительное место отведено фольклорным элементам. А. Н. Веселовский ставит здесь ряд важных вопросов: об итальянском суеверии и его основах, об источниках итальянских новелл, о народности в итальянской повествовательной литературе и т. д. Он анализирует новеллы, которые включены в изучаемый роман, и устанавливает, что «их источники следует искать не только во французских fabliaux или тех сборниках, которые популяризовали в Европе восточные мотивы, но и в местной сказочной традиции и в древних связях римской Италии с Востоком: он подвергает анализу мифологические сказания, связанные с основанием итальянских городов, и утверждает, что в ряде случаев они объясняются не литературными источниками, но „живучестью народных поверий". Наконец, он останавливается на ряде обычаев и поверий современной Италии и находит их корни в древней религиозно-мифической обрядности; так, например, майские празднества тосканской Кампаньи приурочиваются им к древним флоралиям; майские драматические игры он возводит к народным играм эротического характера и пр.»[9]

Работа, по словам Веселовского, «шла довольно одиноко», так как «по природной робости» он ни с кем не знакомился.[10] Одиночество продолжалось до тех пор, пока в русском кружке А. Веселовский не встретился с А. де Губернатисом. В журнале «Rivista Orientale», издаваемом де Губернатисом, начинающий ученый поместил свою небольшую работу об А. Пуччи.[11] Через де Губернатиса Веселовский знакомится с профессорами д'Анкона, Дж. Кардуччи и Доменико Компаретти. Только теперь он «почувствовал почву под ногами» и ему стало легче работать.

В Италии во второй половине 60-х годов XIX века А. Н. Веселовский застал историю в движении, страна демократизировалась, в ней происходили большие социальные сдвиги, развивались наука и литература. А. Н. Веселовский в 1865 году стал свидетелем празднования шестисотлетнего юбилея Данте, в 1866 году, после войны с Австрией, присоединения к Италии Венеции, в 1867 году — похода Дж. Гарибальди. События сменялись одно за другим, жизнь кипела, и здесь все отвечало интересам и настроениям молодого ученого. Веселовский сроднился с Италией и, быть может, остался бы там навсегда, если бы не письма его учителей по Московскому университету Ф. И. Буслаева и П. М. Леонтьева, усиленно приглашавших его вернуться в Москву. В письме во Флоренцию, где в то время жил Веселовский, Ф. И. Буслаев просит его перевести «Il Paradiso degli Alberti» на русский язык, защитить ее в качестве диссертации уже в Москве и обещает долж-

---

[9] *Азадовский М. К.* Веселовский как исследователь фольклора // Известия АН СССР. Отд. общественных наук. 1938. № 4. С. 89.

[10] *Веселовский А. Н.* Автобиография. С. 426.

[11] Критический разбор этой статьи был дан Р. Кёлером: *Këler R.* Le tradizioni popolari nei poemi d'Antonio Pucci. S. l. 1866. См. также переписку Райнхольда Кёлера и А. Веселовского 1874—1888 годов (25 писем): *Веселовский А. Н.* Работы о фольклоре на немецком языке (1873—1894). М., 2004. С. 495—537.

ность доцента университета и зарплату в 1500 рублей.[12] А. Н. Веселовский решил принять это предложение, он заработал деньги уроками и вернулся в Москву. «Здесь, — как вспоминает он, — меня ожидало разочарование: о жаловании и лекциях ни помину; требовали наперед диссертации русской и экзамена, а чтобы утешить меня, предлагали читать в университете частным образом, причем предоставляли мне манкировать, но деньги получать. От этого я отказался».[13]

В Москве А. Н. Веселовский достаточно быстро перевел «Il Paradiso...» с итальянского на русский. Он защитил «Вилла Альберти» в качестве магистерской диссертации[14] по романо-германской филологии и практически сразу получил через О. Ф. Миллера приглашение перейти на работу в Петербургский университет. В феврале 1868 года Ф. И. Буслаев писал Веселовскому: «Выбор между двумя университетами предстоит сделать Вам самим, хотя Вы должны знать и всегда помнить, что ⟨...⟩ петербургским профессорам живется плохо, не в финансовом отношении, а в умственном и моральном ⟨...⟩ Зная Ваш мягкий характер, я опасаюсь, чтобы со временем петербургские прощелыги не покусились Вас эксплуатировать, именно в этих самых разных служебных обязанностях».[15]

К счастью, ничего этого не произошло, Веселовский принял предложение О. Ф. Миллера и стал преподавателем Петербургского университета, где и проработал до самой смерти (1906).

С начала семидесятых годов А. Н. Веселовский становится профессором истории всеобщей литературы и очень скоро — в конце семидесятых годов — членом Второго отделения Академии наук.

А. Н. Веселовский был человеком нового поколения, шестидесятником в лучшем смысле этого слова. По словам Б. М. Энгельгардта, он впитал в себя все, что было хорошего в настроениях его времени: «глубокую душевную бодрость, любовь к жизненной правде, уважение к факту, крепкую веру в мощь трезвого эвклидовского ума. От всех крайностей увлекавшегося десятилетия предохранило его призвание: его исключительное историческое чутье, прирожденный объективизм и разносторонность его мысли. Они научили его беспристрастию и терпимости, уважению к культуре и обычаю, воспитали в нем широкий гуманизм общего воззрения. Спокойной ясностью и неизменным доброжелательством к людям проникнут весь его облик. Глубоким душевным здоровьем, несокрушимой жизненной силой и энергией веет от этой немного неуклюжей, неповоротливой, но крепкой и мощной фигуры. И вглядываясь в эти блестящие, „лучезарные"[16] глаза, прислушиваясь к этому уверенному и властному голосу, вникая в эту неторопливую и также немного неуклюжую речь, где внешняя ясность построения принесена в жертву адекватному выражению осторожной и точной мысли, вы чувствуете, что перед вами человек, который действительно может поднять на плечи огромную тяжесть несозданной русской науки о литературе, перекопать слой за слоем исторические залежи литературных явлений, — словом, исполнить то „дело", к которому он неустанно и непрерывно готовился с университетской скамьи».[17]

---

[12] ИРЛИ. Ф. 45 (А. Н. Веселовский). Оп. 3. Ед. хр. 183. Л. 1—1 об.

[13] *Веселовский А. Н.* Автобиография. С. 426—427.

[14] *Веселовский А. Н.* Вилла Альберти. Новые материалы для характеристики литературного и общественного перелома в итальянской жизни XIV—XV столетия. М., 1870. То же: *Веселовский А. Н.* Собр. соч. СПб., 1908. Т. III.

[15] ИРЛИ. Ф. 45 (А. Н. Веселовский). Оп. 3. Ед. хр. 183. Л. 8—8 об.

[16] Ср. характеристику проф. Ф. А. Брауна: А. Н. Веселовский. Некролог // Журнал Министерства народного просвещения (далее: ЖМНП). 1907. № 4. С. 88.

[17] *Энгельгардт Б. М.* Александр Николаевич Веселовский. Пг., 1924. С. 27—28.

И именно этому новому, трезво мыслящему человеку, обладавшему редким даром и разносторонними знаниями, предстояло поднять филологическую науку на новую, небывалую до сих пор высоту. Но прежде всего нужно было найти свое место в этой науке.

Определяя свой путь в ней, А. Н. Веселовский задумался над вопросом: что же представляет собой история литературы как наука? Молодой ученый «мог остановиться на распутье: ему представился серьезный вопрос, куда направить свои силы — в заманчивую ли область „словесности", или в суровую школу филологии. Он, как некогда Геракл, предпочел второй путь».[18]

А. Н. Веселовский мог примкнуть к одному из западных направлений и рассматривать историю литературы как историю идеалов, как это делал М. Карьер, или же принять популярный в то время тезис Г. Т. Геттнера о том, что история литературы до XVIII века была историей книг, а после этого стала историей научных и художественных *идей*. Однако Веселовский с самого начала искал другое, более точное понимание предмета интересующей его науки.

В «Дневнике человека, ищущего пути» (1859) он уже достаточно определенно формулирует свое понимание предмета истории литературы, который заключается «не в перечне литературных фактов, расположенных в хронологическом порядке и пересыпанных эстетическими оценками и картинами нравов»,[19] а в истории культурной мысли. Определение это показывает, что в период своих творческих исканий А. Н. Веселовский во многом был еще зависим от взглядов своих предшественников — А. Н. Пыпина и Н. С. Тихонравова в первую очередь. Культурно-историческое понимание истории литературы как науки в значительной степени сказалось и в его первой крупной работе «Villa Alberti», посвященной изучению итальянского Возрождения.

В начале 1860-х годов новый университетский устав утвердил создание специальной кафедры всеобщей литературы. Предмет преподавания истории всеобщей литературы по своей сути соединяет в себе целый ряд хотя и однородных предметов, но требующих каждый и самостоятельного изучения, и самостоятельной подготовки. Историк всеобщей литературы, как бы он не стремился сузить рамки своей специальности, должен знать английскую, немецкую, испанскую, итальянскую, французскую литературы по крайней мере за несколько веков их существования. На его обязанности лежит также изучение огромного пласта средневековой латинской и анонимной литературы, германского эпоса, скандинавских саг, поэм старофранцузских трувёров. И при этом необходимо было решать массу сложных вопросов, связанных с текстологией произведений.

Преподавание этого труднейшего курса требовало наиболее продолжительной и сложной подготовки и особого таланта. А. Н. Веселовский, бывший в 60-е годы за границей, присылает в Россию подробные отчеты о своей научной командировке, в которых он пытается разобраться, с одной стороны, в проблеме истории литературы как науки, с другой — в задаче построения всеобщей истории литературы. В «Отчете» 1862 года, определяя понятие мировой литературы, А. Н. Веселовский исходит из представления всеобщей истории, которая «не есть история человечества, какой-то общечеловеческой идеи, проявляющейся в различных авторах, которые называют

---

[18] *Перетц В. Н.* От культурной истории — к исторической поэтике // Памяти академика А. Н. Веселовского. По случаю 10-летия со дня его смерти. Пг., 1921. С. 36. Доклад был прочитан на заседании Отделения русского языка и словесности Академии наук 11 декабря 1916 года.

[19] *Веселовский А. Н.* Из дневника человека, ищущего пути // Там же. С. 122 (раздел «Diarium»).

народностями; это история народностей, которые отвлеченная мысль собрала под одну идею человечества».[20] Раз всеобщая история оказывается в конечном счете историей народностей, то и историю «всеобщей литературы» А. Н. Веселовский переводит общей историей литератур. Он подходит, таким образом, к социальному пониманию истории литературы как части общекультурной истории вообще. Однако практическое осуществление в России идеи всеобщей литературы на данной стадии развития науки, по мнению А. Н. Веселовского, было нереальным, так как русское литературоведение находилось в то время еще «на степени первобытного хозяйства», когда многое приходилось делать «одними руками, что при более развитых условиях жизни распределяется между многими рабочими единицами».[21] Отсутствие же кафедры всеобщей литературы в Германии А. Н. Веселовский объяснял не столько научной несостоятельностью, сколько страхом ученых перед громадностью материала, общий объем которого способен был отпугнуть даже самых даровитых ученых, так как на одну филологическую подготовку ушли бы долгие десятилетия.

Уже на самом раннем этапе своей научной деятельности А. Н. Веселовский видел закономерности развития литературы и ее форм в истории, так как только история способна дать содержание художественного творчества. «Всякое произведение искусства, — писал он в 1859 году, — носит на себе печать своего времени, своего общества. Это стоит в связи с определением поэзии как идеального воспроизведения всей жизни. В жизни есть вечные, непреходящие начала, и рядом с ними следы времени, века; отражая то и другое, поэзия то ближе держится вопросов современности, то находится поверх их и вдали, в созерцании вековечных явлений, не знающих хронологии...»[22] Принципам исторического исследования литературных явлений А. Н. Веселовский остался верен на протяжении всей своей творческой деятельности. Открытие законов словесного творчества человечества станет главной целью его научной жизни.

Веселовский изучал законы словесного творчества на громадном материале. К исследованию германских и романских литературных произведений он присоединил славянские, византийские, санскритские, еврейские, арабские, тибетские, грузинские и армянские тексты.

В круг его интересов попали не только произведения собственно всеобщей литературы, такие, как творения Боккаччио и Данте, Лопе-де-Веги и Рабле, Жуковского и Пушкина, но и многочисленные древнерусские апокрифы и легенды, т. е. область анонимных произведений, оказавших значительное воздействие на поэзию, верования, обряды целого ряда народов.

Целям исследования А. Н. Веселовский подчинил и метод конкретного изучения: именно в методе он видел положительную сторону своих курсов лекций, которые читались им на протяжении 1870, 1883—1887, 1888—1889 годов. Речь идет о сравнительном методе, приемами которого уже раньше, правда, не столь широко, как Веселовский, пользовался его учитель Ф. И. Буслаев. А. Н. Веселовский в 1870 году в своей вступительной лекции в курс всеобщей литературы прямо указал, что сравнительный метод — «это метод вовсе не новый, не предлагающий какого-либо особого принципа исследования: он есть только развитие исторического, тот же исторический метод, только учащенный, повторенный в параллельных рядах,

---

[20] *Веселовский А. Н.* Из отчетов о заграничной командировке // Веселовский А. Н. Историческая поэтика / Ред., вступ. статья и прим. В. М. Жирмунского. Л., 1940. С. 386.

[21] Там же. С. 390.

[22] *Веселовский А. Н.* Историческая поэтика. С. 383.

в видах достижения возможно полного обобщения».[23] Он имел в виду здесь приложение сравнительного метода к фактам исторической и общественной жизни.

В 1870 году А. Н. Веселовский написал специальную статью, посвященную вопросам метода и задачам истории литературы, где было вновь определено им и содержание понятия истории литературы: «История литературы в широком смысле этого слова — это история общественной мысли, насколько она выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом и закреплена словом».[24] В дальнейшем, в курсе лекций по истории эпоса (1884), А. Н. Веселовский еще раз предупредит против упрощенного понимания истории всеобщей литературы только как агломерата отдельно взятых литератур, а в 1893 году в статье «Из введения в историческую поэтику» даст одно из наиболее полных ее определений. История литературы, в понимании А. Н. Веселовского периода его работы над проблемами исторической поэтики, представляет собой историю «общественной мысли в образно-поэтическом переживании и выражающих его формах. История мысли более широкое понятие, литература ее частичное проявление; ее обособление предполагает ясное понимание того, что такое поэзия, что такое эволюция поэтического сознания и его форм, иначе мы не стали бы говорить об истории».[25]

Задача построения истории литературы, таким образом, сводится к тому, чтобы проследить, как «новое содержание жизни, этот элемент свободы, приливающий с каждым новым поколением, проникает старые образы, эти элементы необходимости, в которые неизбежно отливалось всякое предыдущее развитие».[26] Задачей историка литературы Веселовский считал постоянное стремление определить закономерности исторического и литературного процесса, законы творческой деятельности человека, выразившиеся в слове. Исследователи литературы должны стремиться к максимально полному обобщению, поскольку полное обобщение и представляет собой «идеал исторической науки».[27] В науке, по Веселовскому, ценны лишь объективные обобщения, всецело зависящие от того материала, которым оперирует исследователь. Обобщение может быть названо научным только «в той мере, в какой соблюдена постепенность работы и постоянная проверка фактами»,[28] и когда в обобщении не опущен ни один член сравнения.

Изучая ряды фактов мы видим их последовательность: «отношение между ними последующего и предыдущего; если это отношение повторяется, мы начинаем подозревать в нем известную законность; если оно повторяется часто, мы перестаем говорить о предыдущем и последующем, заменяя их выражением причины и следствия. Мы даже склонны пойти дальше и охотно переносим это тесное понятие причинности на ближайшие из смежных фактов: они или вызвали причину или являются отголоском следствия. Берем на поверку параллельный ряд сходных фактов: здесь отношение данного предыдущего и данного последующего может не повториться, или если представится, то смежные с ними члены будут различны, и, наоборот, окажется сходство на более отдаленных степенях рядов. Сообразно с этим мы

---

[23] *Веселовский А. Н.* О методе и задачах истории литературы как науки // А. Н. Веселовский. Историческая поэтика. С. 47.

[24] Там же. С. 52.

[25] *Веселовский А. Н.* Из введения в историческую поэтику (вопросы и ответы) // Веселовский А. Н. Историческая поэтика. С. 53.

[26] *Веселовский А. Н.* О методе и задачах истории литературы как науки. С. 52.

[27] Там же. С. 45.

[28] Там же.

ограничиваем или расширяем наше понятие о причинности; каждый новый параллельный ряд может принести с собою новое изменение понятия; чем более таких проверочных повторений, тем более вероятия, что полученное обобщение подойдет к точности закона».[29] В дальнейшем эти закономерности на примере русских былин и южнославянского эпоса продемонстрировал Б. Н. Путилов, назвав их «типологической преемственностью».[30]

Рассматривая сходные явления в нескольких параллельных рядах фактов, А. Н. Веселовский пришел к важнейшему выводу о международности литературного творческого процесса. Сравнительный метод требует исследования мировой литературы, словесных произведений и культурно-исторических явлений всего человечества. Чтобы получить необходимое обобщение, Веселовский широко применял научный прием *аналогии*, т. е. прием сопоставления двух фактов по видимому или предполагаемому сходству. На основании этого сопоставления предположительно строится между ними определенное соотношение; таким образом, если берутся два факта, соотнесенные по внешнему сходству, можно заключить, что должна быть между ними и внутренняя связь. Но не всякая аналогия может подтвердить и доказать эту внутреннюю связь: чем проницательнее исследователь, делающий сопоставление по аналогии, тем эта аналогия будет ближе к истинному соотношению фактов. Но аналогия, как бы она ни была остроумна, не может заменить собою чисто логического процесса-вывода, поэтому она и менее ценна и применяется за отсутствием прямых доказательств, притом требует большой осторожности.[31] Конечно, из этого не будет следовать ее непригодность в научной работе. «Аналогия играет видную роль в работах Веселовского, в виде простого ли сопоставления, или развитого; есть у него, — писал профессор М. Сперанский, — и оправдавшиеся потом аналогии, есть и рискованные».[32]

Стремясь получить как можно более надежный вывод, А. Н. Веселовский приводит в своих работах многочисленные ряды сравнительного материала, взятого из самых разных временны́х и языковых сред, практически всегда в подлиннике, без перевода. Подобная «гелертерская», по словам В. Ф. Шишмарева, форма, в которую Веселовский облекал многие свои работы и которая «делала их не только мало доступными широкой публике, но даже и специалистам, форму, которой некоторые критики хотели объяснить слабое влияние у нас Веселовского и его школы (в широком смысле слова), забывшей об основном деле своего учителя, поэтике».[33]

Об этом же говорил и другой ученик А. Н. Веселовского — В. М. Истрин: «Первое, что получалось от чтения работ Веселовского, — это трудность их понимания как от незнания многих старых европейских языков, так и от непривычки еще следить за смелым полетом научной мысли. Схва-

---

[29] Там же. С. 47; То же: *Веселовский А. Н.* Собр. соч. Т. 1. С. 9—10.

[30] *Путилов Б. Н.* Русский и южнославянский героический эпос. Сравнительно-типологические исследования. М., 1971. С. 73—76 и др.

[31] В нанизывании фактов «кроется, однако, опасность, и одна эрудиция, не руководимая ясным уразумением цели и смысла приводимых параллелей, не освещенная высшим синтезом, останется простой эрудицией, не обнаруживающей у ее обладателя глубокого понимания исторического и психологического процессов и не отделяющей его от сословия простых начетчиков. Александр Николаевич неоднократно предостерегал исследователей от увлечения нанизыванием параллелей, придающих работе внешний вид учености. По поводу одного такого исследования он писал, что приводить параллели для объяснения того или другого литературного сказания необходимо, но надо делать это умеючи» (*Истрин В. М.* Методологическое значение работ А. Н. Веселовского // Памяти академика А. Н. Веселовского. С. 23).

[32] *Сперанский М.* Русская устная словесность. М., 1917. С. 102—103.

[33] *Шишмарев В. Ф.* Указ. соч. С. 38. Этим же объясняется и весьма немногочисленная аудитория слушателей на его специальных курсах (Там же. С. 37; см., например: *Якобсон Л. Г.* Веселовский // Литературная энциклопедия. 1929. Т. II. С. 200).

тывались отдельные мысли, улавливались разрозненные выводы, но целая ученая концепция была неуловима. Но, во всяком случае, каждый начинающей ученый смутно чувствовал, что он имеет дело с крупной силой. Когда однажды жаловались Буслаеву, бывшему учителю Александра Николаевича и также его почитателю, на трудность понимания исследований Веселовского, он сказал на это: „Я вам скажу, отчего Веселовский так мудрено пишет; это оттого, что он очень даровит". Конечно, это не облегчало понимания его работ, но во всяком случае усиливало зарождавшееся к нему уважение».[34] С течением времени, продолжал В. М. Истрин, «стал раскрываться внутренний смысл ученых работ Веселовского. Стала яснее обнаруживаться органическая связь между отдельными разбросанными там и тут его теоретическими замечаниями, особенно тогда, когда он и сам стал делать попытки подвести итоги своих ученых изысканий. Стал яснее и метод разработки привлекаемого им обширного материала».[35]

Особый способ выражения мысли Веселовского заключался и в том, что частный вывод легко мог затеряться у него среди сложнейших и неожиданных параллелей, более того, вывода могло не быть вовсе, если А. Н. Веселовский считал, что собранный материал пока не позволяет его сделать. Длительные подготовительные рассуждения исследователя приводили неожиданно иногда к очень осторожным заключениям типа: «Я пока ставлю вопрос; ответа можно ожидать от нового исследования легенды...»[36] Иногда Веселовский не делает вывода сам, а как бы подводит читателя к нему и т. п.

Подобная манера выражения мысли сложилась у Веселовского не случайно, работать ему было совсем не просто. «Сильный ум стремился, — по словам В. М. Истрина, — пробить в каждом вопросе новую дорогу и порывался перескочить через препятствия, полагаемые на пути недостатком или неразработанностью материала; научная мысль рисовала картину широкого обобщения; громадная эрудиция дозволяла взором наблюдателя осматривать с высоты все разветвления какой-нибудь легенды, обошедшей весь мир и привлекавшей к себе различные народы на пространстве тысячелетий. Но недостаток или неразработанность материала заставляла сдерживать полет фантазии, и в этом ⟨...⟩ и сказывалась научная дисциплинированность Веселовского, стремившегося сочетать аналитическое разрушение с синтетическим построением».[37]

Неразработанность предмета исследования, чаще всего впервые им привлекаемого, создавала преграду пытливому уму, стремящемуся сделать из массы фактов определенный научный вывод. «Трудно бывает ученому удержаться от научных скачков, особенно, когда ему заманчиво рисуется в перспективе ясная картина. Как тут остановиться и не дать себя увлечь в гипотезы? ⟨...⟩ Вот тут-то, — продолжает В. М. Истрин, — и следует поучиться у Александра Николаевича. Без гипотез он, конечно, не обходился, но он ясно различал, высказывает ли он простую гипотезу, или устанавливает научный факт, логически вытекающий из сделанных предпосылок».[38]

Справедливости ради необходимо отметить, что усложненная манера письма возникала у Веселовского только там, где на глазах читателя совершался сложный момент поиска истины, где требовалась постоянная провер-

---

[34] *Истрин В. М.* Указ. соч. С. 13—14.

[35] Там же. С. 14—15.

[36] *Веселовский А. Н.* Св. Георгий в легенде, песне и обряде // Веселовский А. Н. Избранное: Традиционная духовная культура. М., 2009. С. 107.

[37] *Истрин В. М.* Указ. соч. С. 18.

[38] Там же. С. 23.

ка и перепроверка приводимых фактов, где устанавливались законы творческого процесса, которые всецело зависели от правильности подобранных фактов и их беспристрастной интерпретации. Но Веселовский умел писать легко и изящно, например, так написана его монография о В. А. Жуковском.[39] В биографии поэта глубина анализа тоже сочетается у Веселовского с широтой исследования, но при всем том каждую страницу книги отмечают тонкая наблюдательность, правда настроения и поразительная воздушность и «музыкальность» стиля.

60—80-е годы XIX века были временем активной смены фольклористических школ. А. Н. Веселовский не мог совсем не быть затронут этим процессом, однако в полной мере он не примкнул ни к одной из них. На базе критики А. Н. Веселовским фольклористических теорий того времени попытаемся уяснить для себя, что же *нового* он внес в развитие этих учений, какие весьма значительные его мысли, связанные с вопросами сюжетообразования, привлекли внимание современных исследователей, работающих не только в области поэтики сюжетов, но значительно шире — в области литературоведения в широком смысле этого слова.

Сравнительный метод изучения охватил в 60-е годы XIX века самые разные области знания: и науку о языке, и социологию, и историю литературы. В «Отчете о заграничной командировке» 1863 года Веселовский подчеркивал, какое громадное влияние на научные приемы исторической дисциплины могут иметь новые успехи языкознания. А. Н. Веселовский ссылался на А. Ф. Штенцлера,[40] провозгласившего сравнительную грамматику частью сравнительной истории культуры. При помощи сравнительной грамматики осветились «такие темные стороны исторического мира, до которых не смела дотрагиваться археология, — она вызвала науку сравнительной мифологии».[41] Анализируя книгу профессора санскрита де Губернатиса, показывая явные просчеты и натяжки его конкретного анализа, Веселовский вместе с тем утверждал, что в целом «к сравнительной мифологии можно и следует отнестись серьезно».[42] По аналогии с данными сравнительного языкознания историки литературы все чаще начинают обращать внимание на общие элементы в эпических сюжетах многих индоевропейских народов, улавливают определенную закономерность в этом сходстве и стараются выяснить его источники. Основы этой общности по логике вещей должны были быть едиными, и прасюжетами начинают объявлять мифы. Так родилась, а с начала 1860-х годов оказалась ведущей, основанной, казалось бы, на прочной теоретической базе, мифологическая теория. Мифологическая теория нашла и «закон внутреннего развития» сюжетов,[43] сводя их к далеким Ведам.

В статье 1868 года «Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневекового эпоса», написанной по поводу итальянских сказок, А. Н. Веселовский подчеркивал, что он никогда не выступал против самой мифологической теории хотя бы уже потому, что «мифологический процесс присущ человеческой природе, как всякое другое психологическое отправление. Как в былые времена он произвел богатство языка и натуралистического

---

[39] *Веселовский А. Н.* В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1899. См.: *Мандельштам И.* Книга акад. А. Н. Веселовского о В. А. Жуковском // ЖМНП. 1905. № 2.

[40] *Веселовский А. Н.* Из отчетов о заграничной командировке. С. 394.

[41] Там же.

[42] *Веселовский А. Н.* Сравнительная мифология и ее метод // Веселовский А. Н. Собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 16. С. 127.

[43] Термин взят из книги Ч. Гервинуса «Geschichte der deutschen Dichtung» (Leipzig, 1853).

мифа, так он продолжает творить и в века позднейшие, на других почвах, отправляясь уже не от первичных впечатлений и непосредственного знания, а от того богатства объективного знания, которое накопилось в человечестве веками; но во всяком случае мифический процесс творит при сходных условиях и отливается в одинаковых формах».[44] Мифологическая школа имела в истории общественной мысли, безусловно, прогрессивное значение, о чем писал М. К. Азадовский в статьях «Памяти Н. Я. Марра» и «А. Н. Веселовский как исследователь фольклора».[45]

Что же, однако, не было принято А. Н. Веселовским в мифологической теории? Прежде всего, он полностью отрицал воззрения Як. Гримма и его последователей на праперiод, или эпический период, в котором были якобы заложены основы современного народного творчества. Убеждение представителей мифологической школы, что народность восходит и растворяется в древнем эпическом периоде, полностью и безоговорочно им отрицалось. Веселовский видел корни зарождения народного самосознания только в периоды социальной борьбы, значительных народных движений.[46] В средние века понятие народности еще только намечалось, точно так же, как понятие личности еще находилось в этот период на стадии типа (личность «еще не успела выделиться из условного эпического типа», личная инициатива не смогла разорвать еще «путы обряда и обычая»).[47]

Далее, Веселовского совсем не удовлетворяло то, на чем строилась мифологическая гипотеза. Мифологи ограничивали свой материал главным образом пределами арийских народностей (не случайно мифологическая теория имела синонимичное название «арийская»). Миф, по данной теории, служил той основой, «из которой путем эволюции вышла сказка, легенда, эпическая тема».[48] А. Н. Веселовский же считал, что эпос (героический в особенности) никак не следует выводить из мифа, так как он обусловлен уже сложением народности. То же справедливо и для сказки. Отсюда следует, что «не всякая сказка древнее мифа, так как она могла явиться и раньше его, и после».[49] Кроме того, ограничение материала данными только арийских народностей не дает возможности решить вопрос о сходстве сюжетов уже потому, что среди народностей неарийской семьи найдены были близкие мотивы и сюжеты. «Гримму известны были африканские сказки, сходные с немецкими, но это не поколебало его в верности арийской теории».[50]

В дальнейшем развитии науки эти положения теории Веселовского были уточнены и конкретизированы. Так, Е. М. Мелетинский в книге «Происхождение героического эпоса»,[51] определяя место каждого национального эпоса «в стадиально развивающемся строе», первоначальную ступень возникновения эпоса видел в первобытном наследии в пору родовых отношений (например, эпос народов Океании). Героический (классический) эпос возникает, по градации Мелетинского, только там, где появляется концепция исторического прошлого, когда он входит в историю и приобретает черты «исторического» персонажа (русский эпос, сербские и болгарские юнац-

---

[44] *Веселовский А. Н.* Собр. соч. Т. 16. С. 10.

[45] *Азадовский М. К.* 1) Памяти Н. Я. Марра // Советский фольклор: Сборник статей и материалов. 1935. № 2—3. С. 18; 2) А. Н. Веселовский как исследователь фольклора. С. 85—119.

[46] *Веселовский А. Н.* Из истории романа и повести. СПб., 1886. Т. 1. Вып. 1. С. 3.

[47] *Веселовский А. Н.* Из истории развития личности. Женщина и старинные теории любви // Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л., 1939. С. 74.

[48] *Веселовский А. Н.* Поэтика сюжетов // Веселовский А. Н. Историческая поэтика. С. 501.

[49] *Веселовский А. Н.* Из лекций по истории эпоса // Там же. С. 458.

[50] *Веселовский А. Н.* Поэтика сюжетов. С. 502.

[51] *Мелетинский Е. М.* Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. М., 1963. См. также: *Мелетинский Е. М.* Поэтика мифа. М., 1976.

кие песни). Но при этом классический эпос как бы *поглощает* предшествующие ступени международного эпического творчества.

А. Н. Веселовский, как мы видели, не принял основ мифологической теории.[52] Однако критика никогда не была для него самоцелью, она лишь будила творческую мысль и почти всегда приводила к новым открытиям. Так следствием неприятия Веселовским мифологической гипотезы и прежде всего «невозможность мифологической экзегезы в смысле приурочения существующего суеверия к древнему мифическому первообразу ⟨...⟩ приводит к сознанию потребности в ином методе».[53]

Веселовский предсказывал, что будущая наука о мифологии, задачей которой он видел «психологию мифического процесса», будет обладать точным методом исследования. «Как в языках, при различии их звукового состава и грамматического строя есть общие категории... отвечающие общим приемам мышления, так и сходство народных верований, при отличии рас и отсутствии исторических связей, не может ли быть объяснено из природы психического процесса, совершающегося в человеке? Чем иначе объяснить, что в сказках и обрядах народов, иногда очень резко отделенных друг от друга и в этнологическом и в историческом отношениях, повторяются те же мотивы, те же задачи, и общие очертания действия?.. Эти мотивы слишком распространенные, слишком правильно повторяющиеся, чтобы можно было не видеть в них известной народно-психологической законности».[54] Путь к новому исследованию мифологии опять-таки был указан А. Н. Веселовским. Он считал, что мифология ведет свое развитие не из одного центра, а из многих. «В странах, где явления неба не были особенно резки и не ярко поражали воображение, какой-нибудь другой мифологический цикл мог выступить на первый план и дать окраску религиозным представлениям. Но и там, где облачные мифы легли в основу религии, другие циклы продолжали существовать совместно с ними и должны были определять в известной мере содержание народной мифологии».[55]

В статье 1868 года «Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневекового эпоса» А. Н. Веселовский выступает против узкого понимания мифологической теории в ее приложении ко всему народно-поэтическому творчеству христианской поры. Он стремится найти объяснение тому обстоятельству, почему при близости условий «мифологический процесс может независимо повторяться на двух совершенно различных почвах»[56] и вызвать при этом одинаковые формы. Веселовский показал, что уже в средние века, т. е. «вторую пору великого мифического творчества», были созданы христианские мифы, «в которых, вследствие единства психического процесса, могли самостоятельно воспроизвестись образы и приемы языческого суеверия».[57] Христианские заговоры часто «столь похожи на древние языческие заклятия не потому, что повторяют их в новой форме, а вследствие *самостоятельного воспроизведения мифического процесса на христианской почве*».[58] Стремление приверженцев мифологической теории любой христианский образ непременно подвести под эгиду древнего мифа потеряет свою

[52] Из новых работ см.: *Топорков А. Л.* Теория мифа в русской филологической науке XIX века. М., 1997.

[53] *Веселовский А. Н.* Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневекового эпоса // Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 16. С. 15.

[54] *Веселовский А. Н.* Сравнительная мифология и ее метод. С. 86.

[55] Там же. С. 102.

[56] *Веселовский А. Н.* Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневекового эпоса. С. 9.

[57] Там же. С. 10.

[58] Там же. С. 11.

силу, если будут учтены жизненные процессы народного творчества («физиология фольклора» — по Веселовскому). Мифологи упускают из вида ту *пластическую силу*, «которая творит в сказке, песне, легенде, не столько развивая их внутреннее содержание (что собственно и подлежит мифологической экзегезе), сколько их чисто формальную сторону».[59] Веселовский показал, что фольклорные явления нельзя сводить только к мифологии, многое в них может быть и должно быть объяснено «единственно тою силою фантазии, которая творит ради самого творчества, без всякого отношения к развитию затаенной внутри мифологической основы. Чем более теряется сознание этой основы, чем чаще меняется мифологическая почва, например при смене одной религиозной системы другою, тем более открывается простора самостоятельному действию этой пластической силы, не связываемой более внутреннею потребностью точно выразить содержание поблекшего мифа».[60]

Открытие А. Н. Веселовским особой «пластической силы», которая способна творить самостоятельно, независимо от древнего мифологического процесса, очень существенно, так как привело к созданию нового метода исследования фольклорных и средневековых явлений. А. Н. Веселовский считал необходимым объяснять жизненное явление «прежде всего из его времени и из той самой среды, в которой оно проявляется, и лишь тогда раздвигать границы сравнения, когда ближайшие условия не дают исследователю удовлетворительного ответа».[61] Особая сложность исторического изучения мифа (как, впрочем, и сказки) заключается, по мнению А. Н. Веселовского, в том, что мифы редко доходят до нас в своем «чистом» виде. Громадную роль в развитии мифологии играет процесс осложнения мифов вследствие их совместного развития. Мифы, как и сказки, неизбежно осложняются в своем развитии эпизодами и символизмом, заимствованными из самых разных кругов представлений. А. Н. Веселовский подчеркивал, что даже в тех случаях, когда это «осложнение не может быть доказано фактически — что всегда трудно — необходимо иметь в виду эту возможность, чтобы не увлечься в истолковании целого мифа из одной будто бы присущей ему идеи».[62] То же в равной мере справедливо и для сказки, когда, не разобрав сложного генезиса той или иной сказки, пытаются объяснить ее «сплошь как цельное выражение одного какого-нибудь сюжета, мифического или нет, — результаты могут получиться и получались самые плачевные».[63]

Сказки — это такие же сводные или осложненные явления, как и мифы. В них составные части часто бывают спаяны случайно, по внешнему поводу. «Кажущееся разнообразие сказок, — писал по этому поводу А. Н. Веселовский, — объясняется не столько богатством их мотивов, сколько разнообразием и случайностью сводов, вызывавших все новые и новые варианты. Иногда достаточно было одного небольшого изменения в рассказе, замены одной подробности другою, чтобы вместе с прежней исчезли все мелкие, связанные с нею черты, и явились новые, обусловленные новым образом: одним словом — новый *вариант*».[64] Метод исследования потому тре-

---

[59] Там же. С. 9.

[60] Там же.

[61] Там же. С. 16.

[62] *Веселовский А. Н.* Сравнительная мифология и ее метод. С. 108.

[63] Там же. С. 116.

[64] Там же. С. 115. Проблема варианта является одной из кардинальных в истории фольклористики, не случайно специальное внимание ей уделил А. Н. Веселовский. В XX веке теорию варианта разработали американские фольклористы М. Пэрри и А. Лорд. Милмэн Пэрри в 1930-е годы изучал еще живую традицию сербохорватского эпоса. Ее коллекция хранится сейчас в США в библиотеке Гарвардского университета и насчитывает 12 500 томов. Ученик Пэр-

бует не сопоставления и возведения его к общему праисточнику, а, напротив, выделения того, что было в результате развития привнесено в них случайно. А. Н. Веселовский специально подчеркивал, что, если не дать себе отчета в собирательном принципе, который внес в наши былины, например, такое разнообразие редакций, «ничего не стоит отдаться идее, что из сопоставления их вариантов выйдет в первобытной цельности поэтическая биография того или другого героя, как задумал ее народ».[65]

А. Н. Веселовский, оценивая то новое и значительное, что внесла мифологическая теория в развитие мировой фольклористики, противопоставил ей *исторический подход* в исследовании сюжетного сходства. Уже в ранних своих работах, таких, как «Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневекового эпоса», «Сравнительная мифология и ее метод» и др., А. Н. Веселовский показал, что близкие социальные условия создают реальную почву для зарождения сходных мыслительных категорий, общего круга представлений. Существенное значение в формировании подобных взглядов Веселовского имели работы ряда западноевропейских ученых 70-х годов XIX века, разработавших на основе Британской антропологической школы особое научное направление, получившее название антропологического или этнографического. Одним из первых и наиболее значительных его представителей был Э. Б. Тэйлор.[66] Тэйлор установил системное единство первобытной культуры и поставил вопрос о стадиях ее развития. Сопоставив на значительном материале ранние и более поздние формы культур, он утверждал, что первобытная культура строится на тех же законах, что и более поздняя. Начало религиозной системы он видел в анимизме.

В отличие от Э. Б. Тэйлора, Д. Дж. Фрэзер истоки мифологии и религии связывал с тотемизмом и особо выделял роль магии в истории человечества.[67] Ученик Фрэзера Бр. Малиновский доказывал тезис об единстве первобытной культуры.[68]

Особое место в западноевропейской антропологической школе принадлежит Л. Леви-Брюлю,[69] выступившему против тэйлоровской идеи об оду-

---

ри, Альберт Лорд, после смерти своего учителя записывал все новые и новые варианты эпических песен. Он установил закон воссоздания сказителем эпического текста в процессе исполнения, т. е. показал путь сложения эпоса в рамках определенной традиции. Записи М. Пэрри и А. Лорда изданы Сербской Академией наук и Гарвардским университетом: Serbocroatian Heroic Songs. Coll. by M. Parry, ed. by A. Lord. Belgrad & Cambridge, 1953 (vol. 2), 1954 (vol. 1). Публикации из собрания Пэрри продолжились в серии «Publication of Milman Parry Collection»: 1974 (vol. 4), 1979 (vol. 14), 1980 (vol. 6) и т. д. Исследования А. Лорда: *Lord A. B.* The Singer of Tales. Harvard University Press. Cambridge, 1960; *Лорд А. Б.* Сказитель / Перевод с англ. и комм. Ю. А. Клейнера и Г. А. Левинтона; Послесловие Б. Н. Путилова; Отв. ред. Б. Н. Путилов. М., 1994. См. также: *Путилов Б. Н.* Школа Пэрри—Лорда в современном мировом эпосоведении // Живая Старина. 1994. № 2. С. 26—29.

[65] *Веселовский А. Н.* Сравнительная мифология. С. 116.

[66] *Tylor E.* Primitive culture. V. 1—2. London, 1871. Русские переводы: *Тейлор Э.* 1) Первобытная культура. Исследование развития мифологии, философии, религии, искусства и обычаев. СПб., 1873; 2) Первобытная культура. М., 1939 (переиздано: М., 1989); переводы других работ: *Тейлор Э.* 1) Доисторический быт человечества и начало цивилизации. М., 1868; 2) Введение к изучению человека и цивилизации (Антропология). Пг., 1924.

[67] *Frazer J. G.* The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. London, 1911—1915. V. 1—12. Русские переводы: *Фрэзер Дж.* 1) Золотая ветвь (Le rameau d'or). Л., 1928. Вып. 1—4; 2) Золотая ветвь. М., 1986.

[68] *Malinowski B.* 1) Argonauts of the Western Pacific. London, 1922; 2) Coral gardens and their magic. London, 1935. V. 1, 2; 3) Magic, science and religion and other essays. Boston, 1948; 4) Crime and Custom in Savage Society. London, 1959.

[69] *Lévy-Bruhl L.* 1) Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. Paris, 1910; 2) La mentalité primitive. Paris, 1922; 3) Mythologie primitive. Paris, 1935. Русские переводы: *Леви-Брюль Л.* 1) Первобытное мышление. М., 1930; 2) Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937; 3) Первобытный менталитет. СПб., 2002.

шевлении природы и доказавшего, что при общности человеческого сознания «первобытный» человек обладал особой формой сознания, специфическим мышлением, которое он назвал пралогическим или мистическим. На ранних стадиях развития общества человек, по Леви-Брюлю, имел совершенно иное представление о причинах и следствиях, пространстве и времени, что впоследствии подтвердилось данными фольклора и оказалось очень важным для его понимания.

Вопрос о сходстве представлений на одинаковых ступенях общественного развития с учетом более широких, чем раньше, фактических данных был вновь поставлен Веселовским в его более поздней работе «Еще раз к вопросу о дуалистических космогониях».[70] Подобное направление мыслей шло вразрез со взглядами представителей школы заимствования, утверждавших, что любое сюжетное сходство объясняется не иначе как чужеродным влиянием. А. Н. Веселовскому не раз приходилось высказываться по этому поводу в связи с работами Г. Париса. В 1887 году он написал большую рецензию на «Лорренские сказки», изданные другим открытым последователем теории заимствования — Э. Коскеном. А. Н. Веселовский указал в данной работе на сложности, с которыми приходится встречаться теории заимствования, на те нерешенные вопросы, на которые ей предстоит еще ответить, на то ценное и неопровержимое, что было уже доказано этой теорией. Действительно, в сказочном мире европейских народов заимствование играло громадную роль, «нет, может быть, ни одного народа, фантазия которого развилась бы самостоятельно, не подверглась победоносным захватам со стороны».[71] Что же касается дословного сходства «в самых незначительных мелочах, представленного сказками разных народов, то оно и не может быть объяснено иначе, чем перенесением».[72]

Прогрессивный характер теории заимствования был связан прежде всего с внесением исторического начала в исследование сюжетов. Школа заимствования, по словам М. К. Азадовского, «прикрепляла легенду к определенному месту и времени и тем делала ее реальной; она вскрывала культурные связи народов и вырывала каждый народ или группу народов из той обособленности, которая неизбежно утверждалась построениями мифологической школы. Вот эти-то стороны новой теории весьма ценил Веселовский и приветствовал ее появление, как возвращение к историческому взгляду и реализму».[73] И вместе с тем А. Н. Веселовский резко расходился в своих взглядах с главой и основателем теории заимствования Т. Бенфеем и его последователями. «Смысл позиций Веселовского в этом вопросе, — писал М. К. Азадовский, — еще не получил должного освещения, хотя и представляет проблему кардинальнейшего значения не только для понимания работ Веселовского, но и для правильного освещения основных линий русской науки о фольклоре».[74]

Т. Бенфей утверждал, что Индия — основа и источник повествовательной литературы. Переводы «Панчатантры»[75] начались в X веке и посредст-

[70] *Веселовский А. Н.* Разыскания в области русского духовного стиха (далее: Разыскания). Ч. XVIII—XXIV // Сб. ОРЯС АН. СПб., 1891. Т. 53. Вып. 6. С. 105—136.

[71] *Веселовский А. Н.* Лорренские сказки // Собр. соч. Т. 16. С. 220.

[72] Там же. С. 212.

[73] *Азадовский М. К.* Веселовский как исследователь фольклора. С. 97.

[74] Там же.

[75] Pantschatantra / Ubersetzt von T. Benfey. Vol. 1—2. Leipzig, 1859. «Панчатантра» (санскр. Пятикнижие) — памятник санскритской повествовательной литературы, создан около III—IV веков. Арабская версия «Панчатантры» известна как «Калила и Димна», с нее в 1081 году был сделан греческий перевод под названием «Стефанит и Ихнилат», который и стал основой для славянской версии, хорошо известной на Руси в средние века. Издание на русском языке: Панчатантра / Пер. с санскрита и прим. А. Я. Сыркина. М., 1958.

вом мусульман-посредников распространились по всему миру. Т. Бенфей указал четыре основных маршрута заимствования буддийских источников. Первый путь шел из Индии в арабские страны, далее в Средиземноморский регион, потом в Испанию, Францию и Италию. Второй маршрут начинался в Средиземноморье, затем шел в Грецию и романские страны. Русь, по Бенфею, могла получить странствующие сказания двумя путями: из стран Средиземноморского региона сказания попадали в Византию, потом на Балканы и в Восточную Европу. Последним этапом на этом пути была Русь. Четвертый, последний, маршрут распространения повествовательной литературы шел из Китая, Тибета через Монголию в Средиземноморье и оттуда на Русь.

Бенфей ограничил устную повествовательную литературу, исключив из нее волшебную сказку как жанр, и это сразу поставило под сомнение многие положения его теории, такие как сведение *всей* повествовательной литературы к буддийским источникам и главенствующую роль тибетско-монгольской сказки.

С решительной критикой теории заимствования Г. Бенфея выступил на рубеже XIX—XX веков Ю. Крон, глава историко-географической финской школы. Юлиус Крон, а позже и его сын Каарле Крон[76] изучали в большей степени, в отличие от Т. Бенфея, устную, а не книжную традицию. По теории Ю. Крона выходило, что народы действительно заимствуют друг у друга сказания, но не следует искать один единственный источник зарождения сюжета. При этом Крон был уверен, что сюжет непременно должен был где-то возникнуть, в каком-то определенном месте. Отсюда, на основе воссоздания всех национальных сказочных вариантов необходимо, по Крону, попытаться найти праформу, а уж потом говорить о пути странствий того или иного сюжета. Помимо разысканий праформы, ошибкой финской школы было и признание хронологически более ранней фольклорной записи как более древней.

А. Н. Веселовский не отрицал идею заимствования сюжетов, но решал эту проблему по-своему. Он видел в сравнении литературных сюжетов перспективу изучения культурного общения народов. Вот почему уже в самом начале своего творческого пути он не просто выступает с критикой крайностей и натяжек «миграционной теории», но перестраивает и развивает это учение. Веселовский доказывал, что любое заимствование является исторической категорией, а потому оно не может быть просто механическим перенесением в чужую культуру. Заимствование возможно только тогда, когда налицо «единство психического процесса», когда у заимствующего возникает встречное движение мысли.

Впервые теорию *встречных течений* А. Н. Веселовский изложил в статье «Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневекового эпоса», затем значительно более подробно остановился на ней в статье «Дуалистические поверья о мироздании». «Объясняя сходство мифов, сказок, эпических сюжетов у разных народов, — писал Веселовский в последней статье, — исследователи расходятся обыкновенно по двум противоположным направлениям: сходство либо объясняется из общих основ, к которым предположительно возводятся сходные сказания, либо гипотезой, что одно из них заимствовало свое содержание из другого. В сущности ни одна из

[76] Юлиус Крон (1835—1888) — профессор Гельсингфорсского университета. Итогом изучения финского эпоса на основе применения историко-географического метода стал его труд «Kalevalan Toisinnot» (1888). Карл (Каарле) Крон (1863—1933) — профессор университета в Хельсинки по фольклору и сравнительной фольклористике, участник создания Федерации фольклористов (FF — Folklore Fellow) в 1911 году.

этих теорий в отдельности не приложима, да они и мыслимы лишь совместно, ибо заимствование предполагает в воспринимающем не пустое место, а встречные течения, сходное направление мышления, аналогичные образы фантазии. „*Теория заимствования*" вызывает, таким образом, „*теорию основ*" и обратно: анализ каждого факта из области folklor'a должен одинаково обращаться на ту и другую сторону вопроса ввиду возможности, что взаимное передвижение мифа, сказки или песни могло повторяться не однажды и всякий раз при новых условиях как усвояющей среды, так и усваиваемого материала».[77]

Рассматривая сравнительный метод как развитие исторического, Веселовский в 1880-е годы вводит в строго исторические рамки явления «заимствования» и «влияния» одной литературы на другую. И вновь, уже кратко, как бы подводя итог, формулирует Веселовский эту теорию в «Поэтике сюжетов»: «Заимствование предполагает встречную среду с мотивами или сюжетами, сходными с теми, которые приносились со стороны».[78]

Задача исследователя, как ее понимает Веселовский, заключается в том, чтобы уметь определить *границы «самозарождения»* того или иного явления («полигенезис» мотивов) или его внешнего влияния, определить пути и формы появления того или иного заимствования, выяснить условия его появления. Иными словами, Веселовский ставит задачу определения генетических истоков явления, выяснения основ народного мировоззрения. Он превращает, таким образом, теорию заимствования в ее основной части в «теорию основ». Теория заимствования и теория основ взаимосвязаны и взаимообусловлены. Теория заимствования сможет обрести твердую почву под ногами только тогда, когда будет создана морфологическая классификация сказки и других повествовательных жанров (что во времена Веселовского так и не было сделано), когда будут четко разграничены понятия мотивов и сюжетов,[79] потому что теория заимствования не может быть построена на почве мотивов, она допустима, пишет Веселовский, только «в вопросе о сюжетах, то есть комбинациях мотивов, о сложных сказках, с цепью моментов, последовательность которых случайна и не могла ни сохраниться в этой случайной цельности (теория самозарождения), ни развиться там и здесь в одинаковой схеме из простейших мотивов (теория мифологическая). Чем сложнее сказка, чем нелогичнее последовательность, тем более поводов говорить о заимствовании».[80] Таким образом, различение мотивов и сюжетов (совсем не учтенное мифологической школой и не оцененное в должной степени школой заимствования) служило для А. Н. Веселовского основой, способной указать пределы, в которых были бы допустимы и применимы главные положения этой теории.

Более поздняя по времени возникновения антропологическая (или этнографическая) школа уже широко пользовалась этими понятиями. Сходство

---

[77] *Веселовский А. Н.* Разыскания. Ч. XI—XVIII // Сб. ОРЯС. 1840. Т. 46. Вып. 6. С. 1.

[78] *Веселовский А. Н.* Поэтика сюжетов. С. 506.

[79] «Сюжет» и «мотив» — это центральные, определяющие понятия, без разграничения которых беспочвенной, по мнению А. Н. Веселовского, окажется любая теория, связанная с вопросами сюжетообразования. Не случайно с определения этих понятий начинает А. Н. Веселовский свою «Поэтику сюжетов»: «Под *мотивом* я разумею формулу, отвечавшую на первых порах общественности на вопросы, которые природа всюду ставила человеку, либо закреплявшую особенно яркие, казавшиеся важными или повторявшиеся впечатления действительности» (с. 494). Сюжеты — это комбинации мотивов. *Сюжеты* — «это сложные схемы, в образности которых *обобщались* известные акты человеческой жизни и психики в чередующихся формах бытовой действительности. С обобщением соединена уже и *оценка действия*, положительная или отрицательная» (с. 495), что Веселовский считал очень важным обстоятельством для хронологии сюжетности.

[80] *Веселовский А. Н.* Поэтика сюжетов. С. 505.

повествовательных мотивов Сидней Хартлэнд, Р. Кёлер и прежде всего, конечно, Андрью Лэнг объясняли близостью бытовых форм в определенные культурно-исторические эпохи и, соответственно, единством психологических процессов. А. Н. Веселовский, как мы уже говорили, весьма сочувственно относился к теории «бытового психологического самозарождения», к ее основной идее, которая сводилась к тому, что «единство бытовых условий и психологического акта приводило к единству или сходству символического выражения».[81] Однако Веселовский увидел и весьма уязвимые стороны этого учения, связанные с тем, что при объяснении повторяемости мотивов антропологическая школа совсем упускала из поля зрения повторяемость различных комбинаций этих мотивов. В силу этих обстоятельств А. Н. Веселовский считал необходимым, чтобы принцип самозарождения мотива никак не исключал поиски возможных заимствований, хотя бы потому, что никогда нельзя поручиться, «чтобы мотив, отвечавший в известном месте условиям быта, не был перенесен в другое как готовая схема».[82] Уточняя и конкретизируя основные положения этнографической школы, А. Н. Веселовский показал также, что всякое заимствование, попав в новую социальную среду, неизбежно подвергалось переосмыслениям, так как оно должно было приспособиться к новым условиям, новым потребностям, потому-то вопрос о неизбежной трансформации заимствованного материала должен всегда стоять перед исследователем. Сам А. Н. Веселовский дал блестящие образцы подобного типа изучений, стоит вспомнить хотя бы его труд «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине».[83] В «Поэтике сюжетов» А. Н. Веселовский подвел уже своеобразный итог своим более частным наблюдениям над сравнительным изучением сюжетного сходства, построил четкую теорию, основанную на разграничении понятий мотива и сюжета, следствием которой и явился генетический принцип деления на сферы «самозарождения» или «влияния», связанные с различными стадиями общественного развития. Изучение «странствующих сюжетов» и их истории открыло широкие горизонты в исследовании культурного общения народов, в изучении различных мировоззрений.

«Фольклорная общность» в широком смысле является основой к пониманию конкретных фольклорных явлений. Подходы к ее изучению были разными. Самовозникновение фольклорных сюжетов в мировом масштабе, основанное на общности психологических процессов, было взято на вооружение как старой антропологической школой, так впоследствии и новой — историко-типологической.

Идее восточного влияния в фольклоре А. Н. Веселовский противопоставил идею взаимодействия культур Востока и Запада. Одно из положений теории Веселовского сводится к тому, что, когда речь идет о заимствовании, нельзя ограничиваться только текстами, для заимствования нужна почва, а значит, усваиваться должно и народное сознание. Последнее положение теории Веселовского было принято в дальнейшем и основателем историко-типологической школы изучения фольклора В. М. Жирмунским.

[81] Там же. С. 513.

[82] Там же.

[83] *Веселовский А. Н.* Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине. Из истории литературного общения Востока и Запада. Пг., 1921. Одно из общих положений этой работы сводится к тому, что мифологическая гипотеза и теория заимствования, при всех их крайностях, не только не исключают, но даже необходимо восполняют друг друга, что они «должны идти рука об руку», однако «попытка мифологической экзегезы должна начинаться, когда уже кончены все счеты с историей» (Там же. С. 1).

В 1958 году на Международном съезде славистов В. М. Жирмунский выступил с докладом «Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса»,[84] который и нужно рассматривать как начало изучения историко-типологических связей в фольклоре. Объяснение сюжетного сходства в фольклоре, как показал на большом сравнительном материале эпосов разных народов В. М. Жирмунский, может быть четырех типов: на основе сопоставления; сравнения генетические; сравнения, объясняющие сходство заимствованием, и сравнения историко-типологические, объясняемые близкими условиями общественного развития. При этом он, следуя за Веселовским, не ограничивал сходство в фольклоре только сферой мотивов и сюжетов, но видел его более широко — как сходство идеологии, построения и стиля.

Новым в теории Жирмунского была идея типологического, ступенчатого эпического творчества. Эпос любого народа, развиваясь, проходит несколько этапов: сначала «богатырская сказка» — ранняя форма эпического творчества; затем *из нее* при сходных условиях общественного развития в период распада родовых отношений возникает героический эпос, который подвергся уже «героической идеализации».

Идею стадиального эпического творчества, впервые выдвинутую Э. Тэйлором, развивал в те же годы совершенно независимо от В. М. Жирмунского В. Я. Пропп.[85] В отличие от Жирмунского, эпос на родовой стадии в процессе ее разложения Пропп назвал догосударственным (то, что у Жирмунского называется «богатырской сказкой»). На данной стадии В. Я. Пропп выделил две основные темы: героическое сватовство и борьба с чудовищем. В отличие от представителей исторической школы, В. Я. Пропп доказывал, что эпос на том или ином этапе своего развития *всегда* возникает из предшествующего состояния, аналогичного состоянию эпосов других народов, которые с запозданием проходят определенный этап своего развития. Например, русские былины есть наследие более раннего архаического, догосударственного эпоса. Ту же идею развивал и Е. М. Мелетинский в упомянутой выше работе «Происхождение героического эпоса», где он на громадном материале выстраивает стадиальную схему архаических памятников. Эпос любого народа проходит в тот или иной период одну из общих ступеней развития эпического творчества. Первобытное состояние эпоса — эпос родовых отношений — был назван Е. М. Мелетинским мифологическим, в центре с культурным героем.

Далее шел архаический эпос, главным действующим лицом которого является богатырь-колдун. Следующую ступень в историческом развитии занимает богатырский эпос, т. е. то, что В. М. Жирмунский назвал богатырской сказкой, а В. Я. Пропп — догосударственным эпосом.

На данном этапе выделяются Мелетинским уже три основные темы: сватовство, родовая месть и борьба с чудовищем. И, наконец, последнюю ступень занимает классический эпос — это героический эпос русских и южных славян, где богатырь героизируется и приобретает черты «исторического» персонажа. Переход от стадии к стадии осуществлялся в результате «поглощения» предшествующей ступени в результате трансформации.

После вопроса о происхождении и этапах развития эпоса на базе историко-типологической школы предстояло решить еще целый ряд вопросов, которые невозможно было объяснить методом теории заимствования. Не доказательство типологического сходства, а его объяснение — такова была задача, которую поставил перед собой Б. Н. Путилов. Для каждой национальной

[84] *Жирмунский В. М.* Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса. М., 1958 (IV Международный съезд славистов: доклады).

[85] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. Л., 1958.

традиции характерен свой процесс развития типовых ситуаций. На основе изучения русского и южнославянского эпосов Б. Н. Путилов вывел ряд закономерностей, которые объясняли загадки эпического творчества этих народов. Многие мотивы по своей распространенности могут считаться международными, но при этом они не являются странствующими и методом заимствования объяснены быть не могут. Выделенные Б. Н. Путиловым закономерности развития эпоса могут быть сведены к следующему: второй сюжетный план в эпическом произведении;[86] подтекст, т. е. глубинный, внутренний план повествования, который задается традицией. Именно подтекст способен обнаружить архаические связи в эпосе.[87] К закономерностям фольклорного творчества (эпоса прежде всего) Б. Н. Путилов отнес и явления типологической преемственности,[88] т. е. взаимной связи, определенной межэтнической цепочки, звенья которой, с одной стороны, цепляются за предшествующее звено, с другой — находят закономерное продолжение в последующем.

Таким образом, недочеты и нерешенные проблемы теории заимствования в середине XX века были существенно сокращены на базе новой методики. Однако среди приверженцев историко-типологического направления в фольклористике не было абсолютного единства по вопросу о начальной стадии развития героического эпоса. Так, Е. М. Мелетинский и Б. Н. Путилов формирование эпических произведений относили к ранней мифологической стадии, В. М. Жирмунский и В. Я. Пропп, вслед за Веселовским, истоки эпоса связывали с более поздней — архаической стадией, на которой и появились общие для эпоса темы, такие, как сватовство, кровная месть и др. Не все было принято представителями нового историко-типологического направления в теории А. Н. Веселовского — это прежде всего касается базовой проблемы сюжетного сходства. Но об этом несколько позже.

Определив для себя задачу как изучение всеобщей литературы и законов ее развития на основе рассмотрения национальных литератур, А. Н. Веселовский начал свой титанический труд по сравнительно-историческому изучению мировой поэзии, памятников и фактов как письменных, так и устных в максимально широком их окружении. Он привлек к исследованию самые разнообразные материалы, все, что могло помочь ему разобраться в главном вопросе, и применил при этом «строго минуциозный анализ химика или натуралиста». Так, по словам В. Ф. Шишмарева, начался «грандиозный, невиданный до той поры не только в русской, но и европейской литературе поход с целью *перестройки* науки о литературе на историческом основании».

Работа Веселовского пошла по двум основным направлениям, которые обозначились уже во вступительной лекции 1870 года. Прежде всего по линии историко-литературной. Здесь он был занят «проблемами *генезиса* того или иного произведения или группы их, будь то произведения, связанные с определенным автором и эпохой, или произведения народного творчества, и проблемой судьбы данного произведения или группы их, следовательно, проблемой тех *изменений*, которые они пережили в зависимости от культурных условий, времени и места».[89]

---

[86] *Путилов Б. Н.* Методология сравнительно-исторического изучения фольклора. Л., 1976. С. 31—55.

[87] *Путилов Б. Н.* Об эпическом подтексте (На материале юнацких песен) // Славянский фольклор. М., 1972. С. 3—17.

[88] *Путилов Б. Н.* 1) Русский и южнославянский героический эпос: сравнительно-типологическое исследование. М., 1971. С. 73—76 и др.; 2) Типологические встречи южнославянского и русского героического эпоса // Работата на XIII Конгресс на Сојузот на фолклористите на Југославија во Дојран 1966 година. Скопје, 1968. С. 15—24.

[89] *Шишмарев В. Ф.* Указ. соч. С. 15.

Откуда бы мы ни начали рисовать научный портрет Александра Николаевича Веселовского — от общего ли к частному или, наоборот, от частного к общему — портрет этот, по словам его ученика и последователя В. М. Истрина, всегда «будет поражать своей цельностью. Цель всей научной деятельности Веселовского — отыскание законов творчества человеческого слова. Но он искал их не в теории, а в истории. Это направляло его к необходимости прослеживать жизнь целого поэтического рода на протяжении всей его истории. Эта же история состояла из истории отдельных литературных произведений, вследствие чего исследование рода переходило в исследование отдельного произведения. Но последние — будут ли то устные, народные или письменные — имели за собой также длинную историю, которая внешним образом обнаруживается — народная в разнообразных записях, письменная — в рукописях. Исследование идет все дальше и доходит до анализа мелких вариантов. Здесь оно останавливается и идет обратным путем: восстанавливается предшествующая история отдельного произведения, выбираются из нее данные для воссоздания более широкой истории, истории целого литературного рода, а отсюда уже следующей шаг — к установлению законов творчества и к определению литературы. А в центре всей этой сложной машины стоит живое лицо, сам автор, властною силою своих дарований влекущий читателя следовать за ним в лабиринт его изысканий и в темноте многочисленных „редакций" и „вариантов" дающий ему, как путеводную свечу, строгий научный метод».[90]

В этом отношении особого внимания заслуживают труды А. Н. Веселовского по средневековой литературе и народной словесности. И в той и другой областях знаний Веселовский провел множество изысканий, и та и другая темы были его обычной ежедневной лабораторией, где ученому приходилось проделывать массу черновой работы. В трудах, связанных с изучением средневековых сказаний и легенд, задачей исследователя становился показ иногда тысячелетней истории изучаемого сказания, где соединяются воедино отголоски мифа, христианского верования и какого-нибудь исторического факта. Каждый из этих элементов должен быть привлечен для объяснения его истории, момента зарождения, времени и причины соприкосновения с другими элементами и их взаимодействия. Чем шире рассмотрена история литературного памятника, тем надежнее будут результаты. Все исследования Веселовского удивляют не только широтой поставленной задачи, огромной эрудицией, но и тщательностью и скрупулезностью анализа каждого изучаемого явления.

Первая работа А. Н. Веселовского петербургского периода была связана с анализом муромской легенды о Петре и Февронии и сагой о Рагнаре Лодброке.[91] Год спустя в «Вестнике Европы» появляется его статья «Калики перехожие и богомильские странники»,[92] которая явилась подготовкой к его докторской диссертации «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине».[93] Диссертация, озаглавленная автором также «Из истории литературного общения Востока и Запада», основанная на древнерусских текстах ранее уже изданных А. Н. Пыпиным и Н. С. Тихонравовым, но не получивших необходимого разъяснения, должна

---

[90] *Истрин В. М.* Указ. соч. С. 32—33.

[91] *Веселовский А. Н.* Новые отношения Муромской легенды о Петре и Февронии и сага о Рагнаре Лодброке // ЖМНП. 1871. Ч. 154. № 4. С. 95.

[92] *Веселовский А. Н.* Калики перехожие и богомильские странники // Вестник Европы. 1872. № 4. С. 682—722.

[93] *Веселовский А. Н.* Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине. СПб., 1872.

была проследить всю литературную историю саги о ветхозаветном Соломоне от древнейших ее истоков до поздних европейских обработок. Вывод, к которому пришел А. Н. Веселовский, может быть сведен к следующему: начальной точкой данного цикла сказаний была Индия, с нее начинается путь литературного распространения этой группы легенд. Речь идет о сказаниях древнего индийского происхождения — «Приключения Викрами, или Тридцать два рассказа о троне Викрамадитьи». В своем первоначальном виде этот памятник не сохранился, но его основные черты в какой-то мере реконструируются по древней монгольской редакции «Арджи-Борджи». После того как Веселовский выяснил общий характер первой редакции, он показал наличие этого цикла сказаний в талмудическом предании о Соломоне. В дальнейшем талмудический извод попадает в мусульманские арабские сказания, отчасти через них переходит в Западную Европу, а также получает широкое распространение в древнехристианских апокрифах и литературном творчестве христианских сект и ересей и вместе с ними вливается в культурный обиход Запада. Там в силу общих исторических условий сказания трансформируются, и эта переработка образует редакцию, отличную от византийско-славянской. Последние отражения данной версии Веселовский находит в известной литературной теме об Артуре и Мерлине в романах Круглого стола.

В V веке апокриф о Соломоне был уже известен на Западе, с XI века эта повесть переходит в народ и становится, в свою очередь, источником целой группы разножанровых произведений. В восточной части Европы она достаточно рано попадает через Византию к южным славянам, а далее бытует уже в виде книжной повести, русской былины, славянских сказок. Западноевропейский материал, где были сильнее элементы вымысла, приходит во взаимодействие с восточным. В XVI и XVII веках западные народные варианты проникли на Русь и, соприкоснувшись здесь с восточной канвой повествования, наполнили ее содержание юмористическими элементами. Завершающим этапом движения данного «бродячего» сюжета явились славяно-византийская и модифицированная западноевропейская редакции.

Таким образом, А. Н. Веселовским был выдвинут на передний план факт древнего литературного общения Средиземноморья с Индией и выяснено огромное значение Византии, в то время еще мало оцененное. Именно Византия явилась литературной посредницей между Востоком и Западом; балканские же славяне-еретики стали распространителями христианизированных восточных сказаний в Европе.

Как мы видим, определение только возможного факта заимствования Веселовского не удовлетворяло, он стремился выяснить пути и причины перехода сказаний. Именно в среде балканских еретиков-богомилов, по мнению Веселовского, могли сложиться легенды и апокрифы, которые вместе с дуалистическим учением проникли в Европу. Как показал М. К. Азадовский, богомильская теория Веселовского имела громадное принципиальное значение: она свидетельствовала о новом понимании «теории заимствования» и раскрыла принципиальные позиции Веселовского в понимании процессов народного творчества.[94]

В «Славянских сказаниях о Соломоне и Китоврасе» А. Н. Веселовский показал, что богомильская ересь была важным вкладом в общеевропейскую культуру, так как понимание духовной жизни средневековой Европы было построено на не слишком удачном разделении на два основных культурных комплекса: с одной стороны, византийское православие, с другой — роман-

[94] *Азадовский М. К.* А. Н. Веселовский как исследователь фольклора. С. 102.

ское католичество. Так, говорит Веселовский, была полюбовно разделена средневековая история, а между тем существовала еще третья область, «вполне самостоятельная, насколько можно было под гнетом господствующих церквей, во всяком случае уклонившаяся от их влияния и от всего, что можно бы назвать каноническим христианством. Это была область народных ересей, проникавших в Европу почти одновременно с тем обратным движением крестовых походов, которое назначено было пересадить на Восток чистые семена христианского учения».[95] И дело вовсе не в том, что богомилы-манихеи сменили монголов Бенфея, а дело в том, что «один принцип исследования сменил другой. С одной стороны, принцип, который кладет в основу анализ идеологической борьбы и социально-политических отношений, с другой — принцип механического, формального анализа без учета внутренних причин явления».[96]

Ф. И. Буслаев в 1872 году в рецензии на диссертацию А. Н. Веселовского очень высоко оценил его труд: «Разбираемая мною книга, — писал он, — отличается такою убедительною силою и возбуждающею свежестью, что не только основательно убеждает в том, что она на своих страницах дает, но — как это бывает со всяким капитальным явлением в литературе — она, так сказать, наэлектризовывает читателя, воодушевляет его и вызывает к новым соображениям и наблюдениям на том широком поле, которое в ней так плодотворно разработано».[97] Заключает отзыв Ф. И. Буслаев следующими словами: Книга А. Веселовского «принадлежит к капитальным приобретениям нашей ученой литературы. Это, бесспорно, самый лучший опыт из всех, какие только на русском языке были — в приложении бенфеевской теории литературного заимствования к разработке русских источников, рукописных и устных, в их связи с поэтическими преданиями Западной Европы».[98]

Дав исследованию А. Н. Веселовского столь высокую оценку, Ф. И. Буслаев тем не менее сделал ряд очень серьезных замечаний и показал причины, по которым для многих странствующих апокрифов их связь с еретическим учением богомилов едва ли может быть доказана. Буслаев напомнил, что в истории двоеверия следует различать два периода — *древнейший* и *позднейший*, что существовали и более ранние пути распространения апокрифов, чем болгарская ересь X века. Рецензент выразил сомнение, не приписал ли Веселовский богомильству того, что принадлежало вообще представлениям средневекового мира.

---

[95] *Веселовский А. Н.* Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине. С. 147; см. также: *Веселовский А. Н.* Калики-перехожие и богомильские странники. С. 686. Безусловно, что «буддийские народы могли в известной мере содействовать распространению индийских сказок не только в Азии, но — в Европе. Едва ли он имеет при этом в виду случайных обывателей — европейцев при дворе Мангу, а скорее долговременное пребывание монгольских орд на европейской почве, которому Бенфей придает особое значение. Здесь, в самом деле, могли установиться международные связи, от народа к народу, не по отдельным его представителям, и буддийские ⟨...⟩ джатаки переселиться, например, в русские сказки. Полагаю, что Россия должна тут стоять на первом плане, ибо можно ожидать, в случае возможности гипотезы, что именно русские сказки представят наибольшее количество верных отражений восточных. Работа подобного рода не была еще сделана, да и едва ли она дала бы какие-нибудь результаты в указанном смысле. Выше я сказал о религиозном, т. е. буддистском моменте, приписанном монголам, имея в виду их долгую европейскую оседлость и возможность массового влияния. Но именно это влияние трудно себе представить, ибо не было того общения, которое выходило бы за пределы временных и случайных. *Орда стояла в русской земле, но не всякое сожительство ведет к общению*» (*Веселовский А. Н.* Собр. соч. Т. III: Поэтика. С. 29).

[96] *Азадовский М. К.* А. Н. Веселовский как исследователь фольклора. С. 103.

[97] Рецензия акад. Ф. И. Буслаева на сочинение А. Веселовского «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине». СПб., 1872 // Отчет о шестнадцатом присуждении наград графа Уварова, 25 сентября 1873. СПб., 1874. С. 24—66.

[98] Там же. С. 66.

Однако не подлежит сомнению тот факт, что для анализируемых в книге Веселовского апокрифов древней Руси и южнославянской литературы автором действительно были установлены те движущиеся силы, в виде болгарской ереси, и особенно манихеев, которые распространили их в славянском мире, а затем через посредство Византии перенесли в Западную Европу.

После критики Ф. И. Буслаева, показавшего, что богомильская теория не может претендовать на всеобщность и что она имеет определенные пределы распространения, А. Н. Веселовский, в целом оставаясь в рамках своей теории, ограничил значение болгарской ереси для движения *всех* апокрифических и полуапокрифических произведений с Востока на Запад. «Богомильство, как *поздняя* ересь, — писал он впоследствии, — питалось и древними вероучениями, и готовыми мифами, почему легко выразить предположение, что *многое, что́* в последней области *мы считаем богомильским,* в сущности сказывалось и *распространялось ранее обособления самой секты.* Но эта секта была пропагандирующая, любила апокрифы и заподозрена была в приверженности к „басням". Ее влияние на распространение космогонического сказания в православной славянской среде несомненно...»[99]

Апокрифические сказания о Соломоне интересовали А. Н. Веселовского и в более позднее время. Всякий раз, возвращаясь к этой теме, он приводил все новые и новые литературные данные.[100]

Очень близко к Соломоновой «саге» стоят повести о крестном дереве, героями которых являются Соломон и Южская царица.[101] Исследование о крестном дереве основано уже не на византийских и греческих текстах, которые практически не дошли до нас, а на широкой древнерусской и южнославянской основе. Именно славянский материал помогает, по мнению Веселовского, понять историю многочисленных западноевропейских легенд на ту же тему.

Настоящая и аналогичные ей работы привели Веселовского к выводу о том, что «каждое новое исследование в области средневековой литературы и словесности современных европейских народов более и более выясняет нам, какое важное место предстоит занять в подобного рода изысканиях русскому и славянскому материалу».[102]

Многократно и в разной связи обращался А. Н. Веселовский и к средневековым сказаниям о Граале. Он связал их, в частности, с редкими и малодоступными древнерусскими и южнославянскими текстами полуапокрифической повести о видении в таинстве причащения, указал ее первоисточник — греческую легенду, датируемую приблизительно 820 годом и связанную с именем Григория Декаполита.[103]

С 1875 по 1877 год А. Н. Веселовский публикует серию работ, посвященных анализу собственно легендарного материала. «Опыты по истории развития христианской легенды»[104] дают ценные разыскания в области западных и восточных мессианистических легенд и других легендарных сю-

---

[99] *Веселовский А. Н.* Разыскания. Ч. XI // Сб. ОРЯС. 1889. Т. 46. Вып. 5. С. 34.

[100] *Веселовский А. Н.* 1) Сивилла — Самовила (Опыты по истории развития христианской легенды) // ЖМНП. 1876. № 2; 2) О талмудическом источнике одной легенды в Палее // Там же. 1880. № 4; 3) Новые данные к истории Соломоновских сказаний. В серии: Разыскания. Ч. V // Сб. ОРЯС. 1881. Т. 28. № 2. С. 73—150.

[101] *Веселовский А. Н.* Западные легенды о древе креста и Слово Георгия о трех крестных древах. В серии: Разыскания. Ч. X // Сб. ОРЯС. 1889. Т. 46. Вып. 5. С. 368 и сл.

[102] *Веселовский А. Н.* Разыскания. Ч. II // Сб. ОРЯС. 1880. Т. 21. Вып. 2. С. 1.

[103] Там же. Ч. XVII // Сб. ОРЯС. 1889. Т. 46. Вып. 5. С. 347—349.

[104] *Веселовский А. Н.* Опыты по истории развития христианской легенды // ЖМНП. 1876. № 2—4; 1877. № 2—5. Слово «христианской» в оригинале отсутствует, очевидно вставлено редактором журнала.

жетов и памятников. Так, по словам В. Ф. Шишмарева, были уяснены отношения «„Откровений Мефодия Патарского" и жития византийского юродивого Андрея, „Видение пророка Даниила" и „Пророчеств имп. Льва Философа", а с другой стороны, отношения его к западным „Пророчествам Сивиллы" и „Диалогам Сидраха и Бокха", не говоря уже о длинном ряде разъясненных попутно европейских народных легенд».[105] К числу апокрифических текстов часто относят и такие, в которых устанавливается связь с определенными празднованиями, например «Сказание о 12 пятницах» в двух редакциях или «Епистолия о неделе», т. е. послание с неба о воскресном дне. Тексты, на основе которых строятся исследования христианских легенд, Веселовский чаще всего публиковал впервые.

Надолго заняло внимание А. Н. Веселовского и изучение странствующих повестей древнерусской и южнославянской литератур более светского содержания. Речь идет о двухтомном исследовании «Из истории романа и повести».[106] Странствующие повести А. Н. Веселовский разделил на византийско-греческие и славяно-романские. Это деление, по мнению А. И. Соболевского, безусловно «имеет полное основание, но сербская Александрия, которую он ставит в ряду повестей византийско-греческих, должна быть перенесена, несмотря на существование близкого к ней греческого текста (им изданного), в ряд новых повестей, переведенных на славянский с какого-нибудь романского языка, что значительно увеличивает ее значение».[107] Сербской Александрии посвящена первая часть собрания «Из истории романа и повести», во второй рассматриваются повести о Троянской войне, Тристане и Бове.

Особый интерес как объект исследования представляет «Александрия» — роман псевдо-Каллисфена, который превратился в поистине мировой памятник. Отголоски его встречаются у арабов, эфиопов и даже у малайцев, и вот почему изучение связанных с ним литературных произведений оказалось одной из приоритетных задач сравнительного литературоведения.

Повесть о «Бове» сохранилась в белорусском сборнике XVI века и в русских рукописях XVII—XVIII веков. Общим их источником стал сербский текст, в свою очередь восходящий к итальянскому оригиналу. Белорусский «Бова» был переведен с итальянского, русский «Бова Королевич» имеет отличия, не зафиксированные как ни в одной итальянской версии, так ни в одной русской народной переделке, и представляет собой, таким образом, самостоятельную переработку оригинала. «Бова» проник на Восток, по-видимому, через боснийских сербов, которые знали латинский и итальянский языки.[108] Тем же самым путем попал на Восток и «Тристан», однако вопрос о его посредниках Веселовский оставил открытым. Попутно он рассматрива-

---

[105] *Шишмарев В. Ф.* Указ. соч. С. 18.

[106] *Веселовский А. Н.* Из истории романа и повести. СПб., 1886—1888. Т. 1—2. Более ранние работы А. Н. Веселовского, посвященные данной теме: Отрывки византийского эпоса в русском. Повесть о Вавилонском царстве // Славянский сборник. 1876. Т. 2. Отд. I. С. 122 и сл.; Сказание о Вавилоне, Скинии и Грале // Известия АН. 1896. Кн. 4. С. 674 и сл.; Повесть о Варлааме и Иоасафе // Сб. ОРЯС. 1876. Т. 20. Приложение № 3.

[107] *Соболевский А. И.* А. Н. Веселовский как деятель истории древнерусской литературы // Памяти академика А. Н. Веселовского. С. 8.

[108] «Повесть о Бове Королевиче» — восточнославянская обработка известного во многих европейских странах средневекового рыцарского романа о Бюэве из Анстона. Старший из сохранившихся восточнославянских списков «Повести» — Познанский список XVI века. В России история о Бове Королевиче достигла пика популярности в XVIII—XIX веках, став достоянием фольклора благодаря лубочным картинкам. См.: *Веселовский А. Н.* 1) Белорусские повести о Тристане и Бове в Познанской рукописи конца XVI века // ЖМНП. 1887. Май. С. 58—136. Август. С. 185—244; 2) Работы о фольклоре на немецком языке (1873—1894). С. 476. Подробнее: *Кузьмина В. Д.* Рыцарский роман на Руси. М., 1964.

ет апокрифический материал о странствующих рассказах о земле и рае, о земле блаженных в Житиях Агапия и Макария Римского и мн. др.[109]

В целом исследование Веселовским повествовательной литературы дало блестящий результат: оно установило литературное общение Балканского полуострова и древней Руси с Италией и шире — с романским Западом. Произошло это через далматинских или боснийских сербов, среди которых было достаточно распространено знание латинского и итальянского языков. Однако Веселовский не выяснил посредников между сербами и Западной Русью, где тексты «Александрии» и других повестей были переведены, но можно догадываться, по словам А. И. Соболевского, «об участии в посредничестве, с одной стороны, хорватов-глаголитов, пользовавшихся церковно-славянским языком в богослужении, и с другой — западнорусских католиков, у которых должны были быть в обращении кое-какие хорватские церковно-славянские книги».[110]

Особую группу занимают труды А. Н. Веселовского по так называемой сказочной литературно обработанной повести и работы по народным обрядам и верованиям, тоже напрямую связанные с памятниками письменности. Так, Веселовский широко использовал литературные памятники, когда речь шла о генварских русалиях и готских играх в Византии в связи с русскими святочными обычаями, о купальских обрядах, в которых он видел остатки гетеризма, о значении скоморохов в обрядовой жизни русского народа в сравнении с западноевропейскими жонглерами, шпильманами и т. п.[111] Эти труды по обилию собранного в них материала представляют огромную ценность. Что же касается обобщений и выводов, то здесь, как считает А. И. Соболевский, в сложных вопросах, конечно, «каждый имеет право делать заключения сам и устанавливать свой взгляд».[112]

Вместе с легендами, с легендой о Граале в частности, которой А. Н. Веселовский периодически занимался вплоть до 1904 года, приводя все новые и новые материалы, ему удалось проникнуть в неизвестные ранее области Востока, снабжавшие Европу литературным материалом, — такие, как Палестина, Сирия и Эфиопия. Византия на этом пути оказалась посредницей, благодаря которой материал этот стал достоянием как романо-германского Запада, так и славяно-русского Востока.

«Опыты по истории развития христианской легенды» Веселовский закончил как серию в 1877 году,[113] «Разыскания» — значительно позднее, в 1891 году. Однако число работ, которые могли бы найти себе место в этих сборниках, продолжало расти: «К вопросу о родине легенды о св. Грале» появилась в 1904 году, а ей предшествовала статья на ту же тему, помещенная в «Archiv» Ягича в 1901 году. К 1896 году относятся «Сказания о Вавилоне, скинии и св. Грале», к 1897 году — «Две грузинские легенды об Александре Македонском и Соломоне», к 1895 году — «Молитва св. Сисиния и Верзилого коло», а также множество частных работ.

---

[109] См.: *Веселовский А. Н.* Из истории романа и повести. Т. 1. С. 306 и сл.; 504 и сл.

[110] *Соболевский А. И.* А. Н. Веселовский как деятель истории древнерусской литературы. С. 8.

[111] *Веселовский А. Н.* 1) Генварские русалии и готские игры в Византии. В серии: Разыскания. Ч. XIV // Сб. ОРЯС. 1889. Т. 46. Вып. 5; 2) Гетеризм, побратимство и кумовство в купальской обрядности. Хронологические гипотезы // ЖМРП. 1894. № 2; 3) Румынские, славянские и греческие коляды. В серии: Разыскания. Ч. VII // Сб. ОРЯС. 1883. Т. 32. С. 97—102.

[112] *Соболевский А. И.* А. Н. Веселовский как деятель по истории древнерусской литературы. С. 10.

[113] *Веселовский А. Н.* Опыты по истории развития христианской легенды // ЖМНП. 1875. № 4. С. 283—331; № 5. С. 48—130; 1876. № 2. С. 241—288; № 3. С. 50—116; № 4. С. 341—363; № 6. С. 326—367; 1877. № 2. С. 186—252; № 5. С. 76—125.

Подводя итог сказанному, необходимо подчеркнуть, что Веселовскому удалось определить важное значение древнерусской и южнославянской литератур для изучения средневековой литературы Западной Европы, что до этого было далеко не очевидно. Византийско-греческие произведения, принадлежавшие к апокрифической или просто народной (вульгарной) литературе, дошли до нас, писал А. И. Соболевский, «благодаря историческим судьбам Византийской империи, в слабых остатках; они, в переводах, сохранены древнею русскою и отчасти южнославянскою литературами, которые, таким образом, с одной стороны, пополняют литературу византийско-греческую, с другой — ее собою заменяют. Эти произведения укрепились на русской почве, проникли в народную массу и оставили более или менее значительные следы в былинах, духовных стихах, колядках, сказках, заговорах, поверьях, обычаях, связывая русский народно-поэтический и обрядовый материал с греко-византийским, а через него и с классическим греко-римским».[114]

В 1877 году А. Н. Веселовский закончил как серию «Опыты по истории развития христианской легенды» и его внимание переключилось на «Разыскания в области русских духовных стихов». В 24-х этюдах, которые выходили из печати с 1879 по 1891 год, Веселовский исследует не только собственно духовные стихи, но и апокрифы, легенды, обряды и даже сказки. Сюда вошли исследования о Крестном древе, Голубиной книге, о Судьбе-Доле, о змееборце Георгии Победоносце, об Илье Громовнике, Михаиле из Потука, Параскеве Пятнице и мн. др.

Задача А. Н. Веселовского состояла в изучении *истории сложения* русского духовного стиха. Само происхождение духовных стихов лучше всего иллюстрирует тесные взаимоотношения между устной словесностью и книжной, потому что религиозные христианские мотивы, которые лежат в основе духовных стихов, внесены к нам в более позднее время — с появлением христианства. Пришли они на Русь из византийской христианской литературы, чаще всего в книжном виде, т. е. духовный стих представляет собой устную народную переработку, как правило, книжного или заимствованного мотива. Но вопрос о взаимоотношении между источником и стихом решается совсем не просто. Мало определить, как утверждал М. Сперанский, опираясь на А. Н. Веселовского, что тот или иной стих обязан своим происхождением тому или другому письменному произведению (например, совсем недостаточно сказать, что стих об Егории Храбром возник из греческого жития Георгия Победоносца, переведенного на славянский), надо, по Веселовскому, указать не только, *откуда* устное произведение получило свое начало, но и то, «каким образом оно *переработало* свой источник, что оно внесло своего, нового в этот источник, в чем видоизменило первоначальное представление источника, как оно приспособилось к новой среде, в данном случае русской, и что оно стало, таким образом, выражать в общем течении нашей словесности?»[115] Веселовский поставил, как мы видим, целый ряд вопросов, которые не могут быть решены единственно указанием на источник.

Выяснить первоисточник того или иного духовного стиха — не означает понять его историю, потому что он, как и всякое народное произведение при его устной передаче, является результатом чрезвычайно сложного многовекового процесса. Необходимо разложить этот процесс на ряд последовательных моментов, «показать взаимодействие отдельных элементов, своих и чу-

[114] *Соболевский А. И.* Веселовский как деятель по истории древнерусской литературы. С. 11.

[115] *Сперанский М.* Русская устная словесность. М., 1917. С. 107.

жих, литературных и бытовых, устных и книжных, и значит — разъяснить, насколько позволяет современное состояние науки, процесс сложения произведения, в данном случае стиха, иначе — вскрыть психологию творчества в народно-устной среде, в ее историческом развитии, по крайней мере, дать материал для изучения этого развития».[116]

Частные мотивы, включенные в русский духовный стих, зачастую присутствуют и в иных фольклорных жанрах, причем в совершенно неожиданных порой сочетаниях. Изучение жизни отдельных мотивов позволило Веселовскому не только поставить вопрос, но в конечном итоге раскрыть общую картину жизни мотива и сюжета в народной словесности.

В серии «Разысканий» большой интерес представляют статьи об эсхатологическом Житии Василия Нового.[117] Изучение этого памятника привело Веселовского к открытию источника рассказа «Начальной летописи» о походе на Царьград Аскольда и Дира.[118] Этим источником оказался древнерусский перевод Жития. Однако наиболее существенные его исследования посвящены теме о змееборцах, изученной А. Н. Веселовским особенно широко и полно. Таковы, например, специальные его разыскания о южнославянском змееборце Михаиле Потуке и греческом Федоре Тироне, но главная и наиболее значительная его работа связана с изучением св. Георгия.[119] Статья «Св. Георгий в легенде, песне и обряде»[120] была написана А. Н. Веселовским по поводу книги А. И. Кирпичникова «Св. Георгий и Егорий Храбрый».[121] Книга эта заинтересовала Веселовского прежде всего тем, что данное новое исследование в области средневековой литературы и народной словесности современных европейских народов должно было показать, какое важное место предстоит занять в подобного рода изысканиях русскому и славянскому материалу. При этом значительную роль играет «не только расширение круга сравнений и достигаемая таким путем большая прочность выводов, открытие новых точек зрения... но и возможность восстановить при помощи славянских и древнерусских текстов такие литературные источники, которых прототипы ныне утрачены или не найдены, тогда как отзвуки их продолжают раздаваться в народной европейской словесности, необъяснимые для тех, кто не заглянул в славяно-русскую древность».[122]

Образ Георгия перешел из легенды в народные поверия и обряды, в апокрифические Жития. Сказания о св. Георгии, писал Веселовский, «стоят в центре небольшого круга Житий, объединенных аналогией типов и, может быть, одной и той же местностью. Свв. Никита, Николай и Георгий чередуются в одном и том же чуде со св. Феодором Тироном, как, с другой стороны, св. Феодор разделил с Георгием славу змееборца. Эллинский мир, боровшийся в Малой Азии с сарацинами, воспевавший своих эпических бойцов: Дигениса, Акрита, Армури и других, — должен был питать особое уважение к святым, победно отражавшим змеиную силу, спасавшим от вражьего плена. Светский песенный эпос становился бок о бок с религиозным эпосом Житий. Их совместное изучение могло бы доставить исследова-

---

[116] Там же. С. 108.

[117] *Веселовский А. Н.* Разыскания. Ч. XVII // Сб. ОРЯС. 1889. Т. 46. Вып. 5.

[118] См.: ЖМНП. 1889. № 7. С. 80 и сл.

[119] *Веселовский А. Н.* Большой стих о Егории и сказка об Илье и Змее. В серии: Разыскания. Ч. XXIII // Сб. ОРЯС. СПб., 1892. Т. 53. Вып. 6. С. 147—166. То же: *Веселовский А. Н.* Избранное: Традиционная духовная культура. С. 248—260.

[120] *Веселовский А. Н.* Св. Георгий в легенде, песне и обряде. В серии: Разыскания. Ч. II // Сб. ОРЯС. 1880. Т. 21. Вып. 2.

[121] *Кирпичников А. И.* Св. Георгий и Егорий Храбрый. СПб., 1879.

[122] *Веселовский А. Н.* Св. Георгий в легенде, песне и обряде. С. 7.

телю легенд о св. Георгии опоры и выгоды — и, вместе, опасности, — широкого обобщения».[123]

А. Н. Веселовский уточняет сходство и «типические отличия» отдельных житийных редакций, тем самым устраняет возможность их смешений в каких бы сочетаниях — сводных, слитных или интерполированных редакциях — они ни являлись. В отличие от А. И. Кирпичникова, А. Н. Веселовский сравнивает славянские тексты с латинскими, выявляя тем самым определенные отличия, которые, по его предположению, следует искать в их греческом подлиннике. Житие св. Георгия интересует Веселовского не только как памятник церковный, но и народно-литературный, а потому он подробно анализирует, помимо южнославянских народных обычаев, связанных с культом Георгия, еще и кавказские, греческие и латинские материалы. Веселовским были собраны также данные иранской мифологии, сванские обряды, учел он и данные памятников материальной культуры — такие, как надгробные истуканы, кавказские кресты и пр. Все это наглядно подтверждало легендарные мотивы битвы со змеем (чудовищем) из-за девицы, роль быка, элементы жертвоприношений. «Исследователи мифологической основы отреченных легенд о св. Георгии, — писал Веселовский, — едва ли не найдут более прочный материал в представлении о нем, как о змееборце, чем в рассказах о его мучениях, чудесные подробности которых столь же легко объяснить накоплением, развитием немногих первичных очертаний, как и отражениями древнего мифа».[124]

Вопрос о «Чуде св. Георгия со Змием» рассматривается им как вопрос методологический, так как в легенде о «Чуде» без объяснения остались «именно те черты, которые составляют его существенную особенность, побуждая нас ощущать ее не как символическую перелицовку данных Жития, а как целое определенного народно-поэтического типа. Возможно двоякое предположение: либо данные Жития, выраженные символически-образно (борьба со змеем-язычеством), разработаны были далее под влиянием народных представлений о змееборцах и реальной борьбе со змеями; либо самое обособление „Чуда" из Жития условлено было существованием подобного рода местных представлений и рассказов. Тот и другой процесс одинаково мыслимы в истории взаимодействия литературно-церковного и народного преданий».[125]

«Чудо со Змием» сохранилось в нескольких рукописных и народно-поэтических пересказах, в которых есть отличия в географическом приурочении, именах, а также в большей или меньшей степени подробности изложения сюжета.

Заключая IV раздел «Разысканий», А. Н. Веселовский делает очень важный общий вывод: «Предложенное здесь толкование некоторых мифических подробностей народно-славянского обряда значительно расходится с обычной их экзегезой. Не затрагивая их возможных основ, заложенных в языческом миросозерцании, оно выяснит, мне кажется, общую идею, руководившую мною в моих последних работах: что история народного суеверия в Европе не мыслима без углубления в христианские источники, отчасти определившие его материал. Трудность вопроса заключается в том, что эти источники должны быть еще предварительно раскрыты в самом материале народного обычая и поверья, что они восходят к двоеверной христианской поре, сохранившейся лишь в народной памяти и не попавшей в записи Житий и чудес, причем элемент язычества в этом двоеверии мог быть и не ту-

[123] Там же. С. 16.
[124] Там же. С. 48.
[125] Там же. С. 49.

земным-европейским. Можно сказать вообще, что мотивы народного обряда, насколько он обусловлен христианским содержанием, всегда древнее мотивов соответствующих духовных песен, в которых легче уследить связи с определенными текстами легенды, апокрифа, с древним песенным преданием, хотя и его нередко приходится восстанавливать из намеков и отголосков, отзывающихся с разных концов европейского литературного мира».[126] Пример подобного восстановления Веселовский предлагает читателю в V части «Разысканий русского духовного стиха».

Заканчивая анализ стиха о св. Георгии, А. Н. Веселовский показал, что громадная популярность св. Георгия в поэзии и религиозных представлениях европейских, и прежде всего славянских, народов, прочное усвоение его легенды обрядом и народной песнью делают данное Житие и примкнувшие к нему чудеса особенно интересным материалом для изучения. «Мне уже случилось указать, — пишет А. Н. Веселовский, — что плодотворность такого изучения стоит в прямой связи с широкой постановкой вопроса, имеющего обнять, вместе с Георгием, и Жития родственных ему по типу святых. Таким путем могут получиться не только обобщения теоретического характера, обещающие внести новый свет в „физиологию" и историю народного миросозерцания, но и фактические данные для развития народного эпоса. Я разумею, главным образом, русский былинный эпос, к разработке которого предложенные разыскания в области духовного стиха являются естественным введением... Свв. Георгий и Феодор перешли в русскую духовную поэзию, как змееборцы. Апокриф и духовный стих говорят о том, как св. Феодор спас свою мать от похитившего ее змея; св. Георгий также освобождает от змея царевну, которая в некоторых редакциях „Чуда" и в болгарской песне названа Марией; в одном русском прозаическом пересказе „Чуда" спасенная — мать Георгия и также носит имя Марии. Припомним в этой связи эпитет аникитов, аникиев, которым чествовались у греков, по свидетельству Илариона, св. Георгий и родственные ему святые; в русских пересказах Георгий назван: „аникит именем кумс, от анкирского имени комис" и т. п.»[127]

Совершенно естественно, что завершив свое исследование о св. Георгии духовного стиха и Жития и придя к каким-то определенным выводам, А. Н. Веселовский не мог не коснуться вопроса об эпическом змееборце — Добрыне. Он утверждал, что былины о Добрыне относятся к наиболее «смешанным и запутанным». Отметив совпадения в былине, духовном стихе и Житии — такие, как отчество Никитич, имена обольстительницы Марии (Марины), тетки Добрыни Марии Давыдовны (Запавы, Марфиды) и пр., Веселовский тем не менее не берет на себя смелость утверждать, что русские стихи о Добрыне находились в непосредственной связи с духовными легендами о змееборцах. «Та же почва, которая осложнила чудесными элементами народной саги рассказы о святых, могла сохранить и самые саги о змееборцах и змеях, и спасенных от них красавицах. К этим первоисточникам восходят, быть может, и русские былины о Добрыне. Я пока ставлю вопрос... — констатирует Веселовский, — поскольку предыдущие заметки назначены были выяснить границы этого исследования и лишь предусмотреть ожидаемые ответы».[128]

Изучая памятники средневековой литературы, исследователь должен был воссоздать все возможные ступени, через которые прошло то или другое литературное произведение — только тогда речь могла идти о достоверности изучения истории памятника. Точно так же обстоит дело и с народной сло-

[126] Там же. С. 68—69.
[127] Там же. С. 106—107.
[128] Там же.

весностью, с той только разницей, что в ней мы сталкиваемся уже исключительно с поздними записями, а потому дело воссоздания старины здесь более затруднительно. Если отсутствуют старые записи, то должны помочь варианты, в которых сохранились в разрозненном виде отзвуки старины. Исследователю предстоит здесь нелегкая задача — собрать и привести в систему все варианты того или иного народного сказания, отделить в них все то, что могло явиться в более позднюю эпоху под влиянием ли новых исторических событий или бытовых условий, и воссоздать ту основу, которая впоследствии постоянно продолжала облекаться новыми данными.

Работы Веселовского в этом отношении являются, как заметил В. М. Истрин, особенно поучительными. «Исследует ли он духовный стих, или народную былину, или средневековое сказание, или легенду, везде мы видим одну цель — восстановить и объяснить те *пути*, по которым шло то другое и третье».[129]

Исследования более позднего времени показали, что тема змееборства была присуща уже архаической стадии эпоса. Образ Змея в русском и южнославянском героическом эпосе имеет различные функции: хозяина подземного царства мертвых, хозяина водной стихии, похитителя и жениха (сюжеты былин: «Михайло Потык», «Добрыня и Маринка», «Добрыня и Змей»). Те же самые функции Змея были отмечены Б. Н. Путиловым и в южнославянских юнацких песнях. Что касается русской былины «Добрыня и Змей», то «она продвинулась значительно дальше по пути историзации, чем южнославянская эпическая песня с тем же сюжетом».[130]

В истории науки долго держалось мнение, что Древняя Русь в общем процессе движения потоков народных сказаний с Востока на Запад и обратно стояла особняком, что она «мало сносилась с другими народами, имела небогатую, почти только церковную письменность, рано отделилась от католического Запада и его литературного содержания и таким образом создала себе свою исключительную область поэтических сказаний».[131] Между тем исследования Веселовского раскрывали следы неизвестного ранее общения, путем которого приходила на Русь масса чужих преданий и культурных воздействий.

Приступая к сравнительно-историческому анализу анонимной литературы (сначала ее частных моментов), А. Н. Веселовский обнаружил многочисленные совпадения мотивов русской народной словесности с мотивами византийскими и западноевропейскими. Более того, то, в чем представлялся миф, оказалось книжным сказанием, но от продолжительного обращения в народе получило внешнюю народную окраску; а то, что считалось древним и исключительно русским, было сравнительно новым и весьма распространенным, чуть ли ни всеобщим достоянием европейских средних веков. Понятно, как писал по этому поводу А. Н. Пыпин, что, когда «найдены были такие недоразумения, необходим был новый пересмотр всего состава народного предания, новое указание своего и чужого, распределение действительно мифологических и чисто поэтических элементов, расположение их (насколько возможно) по хронологии народной жизни и письменности, определение их источников — для того, чтобы здание могло быть построено вновь по более правильному плану и более устойчиво».[132]

---

[129] *Истрин В. М.* Указ. соч. С. 27.

[130] *Путилов Б. Н.* Русские и южнославянские эпические песни о змееборстве // Русский фольклор. Л., 1968. Т. XI: Исторические связи в славянском фольклоре. С. 31—54. См. также его работы: «Героический эпос черногорцев» (Л., 1982); «Экскурсы в теорию и историю славянского эпоса». (СПб., 1999).

[131] *Пыпин А. Н.* Указ. соч. Т. 2. С. 256.

[132] Там же. С. 257.

Конкретный тщательный (иногда до мелочей) анализ Веселовским отдельных текстов, описание путей проникновения в русскую народную словесность мотивов и отдельных формул чужой литературы дали возможность в определенной степени ориентироваться в сложнейшем материале анонимных памятников и постепенно, шаг за шагом, выяснить, что именно попало к русским и как перерабатывалось в их творческом сознании. Например, рассматривая историю русского эпоса, мы легко можем впасть в ошибку и принять за органичность то, что на деле является результатом вторжения в национальную литературу византийских или восточных литературных образований. И это первый момент, который нельзя не учитывать.

Необходим был также новый взгляд на «двоеверие».[133] Мифологи старой школы понимали «двоеверие» скорее механически, они думали, что язычество сохранилось под христианским прикрытием — именами, обрядами. В народном предании, не носившем явно христианского характера, они склонны были видеть непосредственную первобытную старину. И если первоначально «двоеверие» и могло быть внешним объединением двух разных образов мыслей, что в определенной степени нашло свое отражение у древних книжников, то спустя какое-то время народные верования не могли не испытать определенное *перерождение*: языческие и христианские элементы должны были подвергнуться взаимному влиянию и оказалось, что именно они возобладали, так как, с одной стороны, истощалась «память старого язычества и подорван был самый источник его развития, с другой стороны, все более расширялся приток понятий, преданий, поверий и суеверий склада христианского».[134] Исследование народных верований непременно должно учитывать постепенное возрастание этих христианских влияний и именно в их популярной, «полупоэтической», «полусуеверной» форме.

А. Н. Веселовский, таким образом, в корне пересматривает характер изучения русской народной словесности. Он предлагает изучать ее с точки зрения международной, показывает место отдельных произведений или мотивов устной народной и письменной словесности в фонде мировой литературы. Тесная взаимосвязь и взаимозависимость между памятниками устной и письменной литературы характерна для самой природы литературного явления.[135] Более того, для Веселовского любой памятник национальной литературы, будь он устным или письменным, — один из членов общечеловеческого литературного движения. Изучая памятник, он исследует его как целое, исследует историю отдельных мотивов, которые вошли в этот памятник в разное время, что еще более осложняет работу, требует еще большей эрудиции. На это у Веселовского было достаточно и сил, и знания, и таланта. «В приложении к обособившейся историческим путем области устно-народной словесности, — писал М. Сперанский, — этот метод Веселовского ока-

[133] Известно, что христианизация Руси в конце X—начале XI века шла непросто, с большим сопротивлением. Христианство в виде верований, представлений проникало в народное сознание, но язычество сохранялось. В результате произошел симбиоз языческих и христианских представлений, получивший название «двоеверия». Эту точку зрения разделяют многие ученые, в том числе и Б. Н. Путилов (см.: *Путилов Б. Н.* Древняя Русь в лицах. Боги, герои, люди. СПб., 1999). Другое понимание процесса христианизации Руси было высказано Н. И. Толстым и Т. А. Бернштам. По мнению этих исследователей, «двоеверия» на Руси не было. Христианизация шла мирно, вера была *единой*, но в нее попали отдельные элементы язычества (см.: *Толстой Н. И.* Язык и народная культура. М., 1995. С. 56 и сл.; *Бернштам Т. А.* Новые перспективы в познании и изучении традиционной народной культуры. Киев, 1992. С. 117—184).

[134] *Пыпин А. Н.* Указ. соч. Т. 2. С. 259.

[135] Ранее о том, что памятники устной и письменной литературы являются в равной степени предметом исследования народности, писал Ф. И. Буслаев. См.: *Буслаев Ф. И.* О народности в древнерусской литературе. М., 1859.

зывал громадную услугу. Именно, благодаря Веселовскому, мы получили ясное представление об устной народной словесности, не как о чем-то вполне законченном и замкнутом в себе, а как о живом, постоянно движущемся продукте народного творчества, самостоятельном, как и все остальные произведения человеческого духа, чрезвычайно сложном, но подчиненном общим законам человеческого творчества, как акте психологическом».[136]

(*Продолжение следует*)

[136] *Сперанский М.* Русская устная словесность. С. 101.

© *Ю. М. ПРОЗОРОВ*

«ВЕНЕЦ СТРАДАНЬЯ НА ЧЕЛЕ...»

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ ИСТОРИИ ОБРАЗА МУЗЫ В ПОЭЗИИ Н. А. НЕКРАСОВА

Констатируя перерождение традиционных поэтических форм в творчестве Некрасова, филологи «формальной школы» 1920-х годов и ее круга искали ключ к некрасовскому своеобразию в осуществленном у поэта симбиозе классических ритмико-синтаксических структур с прозаическими темами и лексикой.[1] На ранних этапах творческой биографии Некрасова эти сочетания традиционного для поэзии и несовместимого с традицией могли выступать в виде стихотворных пародий. Однако комизм, свойственный пародийному жанру, в некрасовских поэтических экспериментах постепенно ослабевал и терял необходимость, прием же контрастного соединения разнородных художественных составляющих приобретал независимое от пародийных задач значение как важнейшее средство построения новой поэтики. «По уничтожении явной пародийности, — подчеркивал Ю. Н. Тынянов, — в высокие формы оказались внесенными и впаянными чуждые до сих пор им тематические и стилистические элементы».[2]

Нельзя вместе с тем пройти и мимо того обстоятельства, в соответствии с которым переосмыслению и перерождению подверглись в творчестве Некрасова не только собственно стиховые формы предшествующей поэзии, не только их художественные функции. Перемены в способах художественного применения стиха прежде всего означали, что у поэзии меняются философско-эстетические основания, идейный мир, тематический и образный репертуар, само, наконец, назначение. Об этом может свидетельствовать, наряду со многим другим, некрасовская рецепция стихотворения А. С. Пушкина «Странник».

Стихотворение «Странник», написанное Пушкиным в 1835 году и представляющее собой довольно точное переложение начальных страниц книги английского пуританского проповедника Дж. Беньяна «Путешествие пилигрима из здешнего мира в мир грядущий» («The Pilgrims Progress from this World, to that Which is to Come», 1678—1684), позднее, в 1880-м, вызвало восхищенный отклик Ф. М. Достоевского. В своей пушкинской речи он сказал, что «в грустной и восторженной музыке этих стихов чувствуется самая душа северного протестантизма...».[3] «Музыка» стихотворения, дейст-

---

[1] См.: *Тынянов Ю. Н.* 1) Стиховые формы Некрасова // Летопись Дома литераторов. 1921. № 4. С. 3—4; 2) То же // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 18—27; *Слонимский А.* Некрасов и Маяковский. (К поэтике Некрасова) // Книга и революция. 1921. № 2 (14). С. 5—10; *Эйхенбаум Б. М.* 1) Некрасов // Начала. 1922. № 2. С. 158—192; 2) То же // Эйхенбаум Б. М. О прозе. О поэзии. Сб. ст. Л., 1986. С. 340—373; *Шимкевич К. А.* Некрасов и Пушкин // Пушкин в мировой литературе. Сб. ст. Л., 1926. С. 313—344.

[2] *Тынянов Ю. Н.* Стиховые формы Некрасова // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 20.

[3] *Достоевский Ф. М.* Пушкин. (Очерк) // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 146.

вительно, необычна и находит лишь относительные соответствия в поэтических традициях; александрийский стих звучит здесь не так, как звучал бы стих сатиры, и не в мелодических тонах антологического или элегического жанров, но как музыкальная основа пламенной религиозной проповеди, произносимой, по словам Достоевского, «со всем безудержем мистического мечтания»:[4]

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь как больной:
«Что делать буду я? Что станется со мной?»[5]

С большим искусством Некрасов воспроизводит шестистопный ямб «Странника» в своем стихотворении «Вор» (из цикла «На улице», 1850), в точности повторяя акцентированный, изобилующий ударениями, близкий к метрической правильности ритмический рисунок Пушкина:[6] и достаточно редкие пиррихии, и цезуру после третьей стопы, и строгое чередование женских и мужских парных рифм, и синтаксическую завершенность каждой строки:

Спеша на званый пир по улице прегрязной,
Вчера был поражен я сценой безобразной:
Торгаш, у коего украден был калач,
Вздрогнув и побледнев, вдруг поднял вой и плач
И, бросясь от лотка, кричал: «Держите вора!»
И вор был окружен и остановлен скоро.
Закушенный калач дрожал в его руке;
Он был без сапогов, в дырявом сертуке;
Лицо являло след недавнего недуга,
Стыда, отчаянья, моленья и испуга...[7]

К числу грамматических отражений «Странника» в некрасовском «Воре» следует отнести также и деепричастное построение в первом стихе, и лаконичные включения прямой речи в поэтическое повествование. Главные же совпадения двух стихотворений обнаруживают себя в области интонации: в ее приподнятой риторичности, в несколько архаизированной «витийственности». Интонационные приемы подобного рода как нельзя лучше сочетались с жанровой формой проповеди у Пушкина. Они, однако, воссозданы и у Некрасова. Благодаря этим интонациям, а равно и поддерживающим их элементам фразеологической архаики («званый пир», «у коего», «моленья»), изображаемая «сцена» лишается исключительно бытового колорита и приобретает черты своего рода притчеобразности. Действующие лица («торгаш» и «вор») могут выступать здесь и в качестве типажей петербург-

---

[4] Там же.

[5] *Пушкин.* Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1948. Т. 3. [Кн. 1]. С. 391.

[6] На формальное сходство стихотворений Пушкина и Некрасова впервые обратил внимание Ю. Н. Тынянов. См.: *Тынянов Ю. Н.* Стиховые формы Некрасова. С. 21—22.

[7] *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л.; СПб., 1981—2000. Т. 1. С. 76. Далее сочинения Некрасова, за исключением особо оговоренных случаев, цитируются по этому изданию с указанием тома (римской цифрой) и страницы (арабской цифрой).

ской улицы, социально характерных персонажей физиологического очерка «натуральной школы», но и в роли символических «вечных образов», родословная которых восходит и к античным, и к библейским прототипам.

Среди критических, а порой и негодующих отзывов А. А. Фета о творчестве Некрасова есть один, в котором строка из стихотворения «Вор» приводится (с искажением одного слова) в значении отрицательного примера проникшей в поэзию «прозаичности». Это рассуждение из письма к великому князю Константину Константиновичу от 17(29) сентября 1888 года:

«Читаешь стих Некрасова:

Купец, у коего украден был калач, —

и чувствуешь, что это жестяная проза. Прочтешь:

Для берегов отчизны дальной, —

и чувствуешь, что это золотая поэзия. Дело не в содержании, а в том, кто к нему подходит».[8]

Фет последователен в своих литературно-эстетических оценках, но то, в чем он видел противостоящую пушкинской «поэтичности» «прозаичность», было все-таки исканием неизведанной поэтической выразительности. Посредством соединения стиховых форм традиционной классической лирики со «сниженным» социально-бытовым материалом, тематически связанным с прозой, Некрасов не просто обновлял «звучание» этих форм, преодолевая автоматизм их восприятия или расширяя диапазон их применимости. В соприкосновении со старыми формами преображалась содержательность самого материала. Материал обнаруживал скрытую эстетическую ценность, в нем пробуждался дремавший ранее поэтический ресурс, в его глубине происходила активизация поэтического потенциала, благодаря чему поэзия могла осваивать недоступные ей прежде сферы бытия, открывать поэтически значимое далеко за пределами допущенного литературными традициями.

Более сложный случай преобразования лирического наследия предшествующих эпох являет собой одно из самых известных некрасовских стихотворений — восьмистрочная поэтическая декларация «Вчерашний день, часу в шестом...» (1848). Здесь тоже использована старая стиховая форма — сочетание четырехстопного ямба с мужской клаузулой и трехстопного ямба с женской клаузулой. Для своей миниатюры, альбомного, как это ни странно, происхождения (см.: I, 597, (комм.)), Некрасов заимствовал ритмико-мелодическую структуру, распространенную в 1810-е годы в поэзии В. А. Жуковского, и в его балладах («Двенадцать спящих дев», 1810—1817), и в его лирических стихотворениях («Певец во стане русских воинов», 1812).

У Некрасова:

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

(I, 69).

[8] ИРЛИ. Ф. 137. Ед. хр. 75. Л. 199.

В военной рапсодии Жуковского:

Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?[9]

Воспроизведением акустического и отчасти графического рисунка, уже вошедшего в состав поэтической традиции, связь с ней в некрасовском стихотворении тем не менее не ограничивалась. Вполне очевидно, что из этой традиции, функционирующей в культуре, наряду с прочим, и как всеобщий фонд художественной символики, к Некрасову переходит и образ Музы, один из классических символов поэтического искусства, генетически еще эллинский и римский, прошедший через века, но помещаемый в новый, демифологизированный, реалистически окрашенный, диссонирующий контекст. Муза — общепризнанный поэтизм в арсенале лирической поэтики, и погружение его в среду заведомых прозаизмов выглядело для современных Некрасову читателей как резкое и, с определенной точки зрения, святотатственное «снижение» эстетически высокой условности, как ее развенчание и депоэтизация. По-другому едва ли могла быть прочитана метафора родства между Музой поэта и крестьянкой, казнимой мучительной и позорной казнью на торговой площади.

Эстетическое «снижение» было вместе с тем лишь одной стороной некрасовского творческого замысла. Образ Музы в его традиционных значениях — в классическом значении божества поэтического вдохновения или в более романтическом смысле «духа» индивидуального творчества — претерпевал в стихотворении, несомненно, «снижающее» перевоплощение. Однако образ страдающей крестьянки, породненной с божеством, столь же неоспоримо приобретал здесь эстетическое возвышение, перенимая и усваивая семантический ореол канонизированного поэтизма. Подобно тому, как традиционная стиховая форма делала возможным введение в поэзию чуждого традиции предмета, отбрасывая на него свет поэтической узаконенности, традиционный образ, отождествляясь с образом неопоэтизированной действительности, отчасти уступал последнему свое место в иерархии элементов искусства. Не случайно и такой прозаизм, как «кнут», попадающий в первом четверостишии в акцентированное положение рифмующего слова, во втором четверостишии находит себе синоним уже в таком поэтизме, как «бич», столь характерном, например, для политической лирики молодого А. С. Пушкина: «Везде бичи, везде железы...» («Вольность», 1817), «Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам...» («Деревня», 1819), «Ярмо с гремушками да бич...» («Свободы сеятель пустынный...», 1823).

Некрасовская поэтизация эстетически «сниженного» образа Музы предполагала, наряду с взаимообменом между традиционными и нетрадиционными семантическими тонами и оттенками, еще и усиление соединявшегося с образом трагического пафоса. Трагическое, природа которого, кстати сказать, неизменно сопряжена с переживанием отрицательных нравственно-психологических состояний и потому без противоречий может быть со-

[9] *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1999. Т. 1. С. 227.

гласована с эстетикой «низкого», «ужасного», «безобразного», тоже становилось в данном случае источником нового поэтического качества. Муза, принимавшая муки, в иных случаях принимала «терновый венец», ее образ сочетал античную родословную с христианской, врастая в контексты евангельской символики:

Так, помню, истощив напрасно
Всё буйство скорби и страстей,
Смирялась кротко и прекрасно
Вдруг Муза юности моей:

Слезой увлажены ланиты,
Глаза поникнуты к земле,
И свежим тернием увитый
Венец страданья на челе...

(I, 158)

В этом — заключительном — четверостишии стихотворения «Зачем насмешливо ревнуешь?..» (1855) на евангельскую реминисценцию как будто бы накладывается отзвук стихотворения-завещания Д. В. Веневитинова «Люби питомца вдохновенья...» (1827), с характерным совпадением ямбического ритма, интонации и рифмы:

Не много истинных пророков
С печатью тайны на челе,
С дарами выспренних уроков,
С глаголом неба на земле.[10]

Неявно обозначенный фон поэзии романтического идеализма тем не менее привносит в стихотворение «Зачем насмешливо ревнуешь?..» рефлексы романтических мотивов духовно-творческого избранничества поэта. Но уже в стихотворении «Безвестен я. Я вами не стяжал...», которое Некрасов написал в том же 1855 году, получает перевес собственно «некрасовское»: образ Музы является в окружении восходящих к христианскому преданию символов страстотерпчества:

Нет! свой венец терновый приняла,
Не дрогнув, обесславленная Муза
И под кнутом без звука умерла.

(I, 163)

В концовке стихотворения «Поэт и Гражданин» (1855—1856) эта уже закрепленная повторениями символика приобретает характер авторского «клейма»:

Склонила Муза лик печальный
⟨...⟩
Но шел один венок терновый
К твоей угрюмой красоте...

(II, 12—13)

В классической и романтической поэзии непременным атрибутом Музы был венок из благоухающих растений — цветов и листьев.

[10] *Веневитинов Д. В.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1960. С. 145 (Библиотека поэта. Большая сер. 2-е изд.).

Приди, о Муза благодатна,
В венке из юных роз, с цевницею златой,[11] —

восклицал Жуковский в элегии «Вечер» (1806). С Музой Жуковского сходствовала небесная гостья с семиствольной свирелью в стихотворении А. А. Дельвига «Видение» (1820):

Она в молчаньи фиалки и лилии
В венок вплетала...[12]

Музе Некрасова «не шло» эстетизированное флористическое убранство. Ее венец — из «страстей Христовых». В соседстве же с «терновым венцом» и «кнут» становился в один ассоциативный ряд не столько с памятью о русских торговых казнях, сколько с евангельским повествованием о бичевании Христа.

В XIX столетии христианские мифопоэтические начала были глубоко укоренены в искусстве слова. Но представление о Музе как трагическом образе страданий, мученичества, крестного пути далеко отстояло от традиций русской и европейской поэзии.

* * *

Образ Музы — один из наиболее постоянных и многократно варьирующихся в поэзии Некрасова. Появляясь в ранних стихотворениях 1840-х годов, он сохраняет в ней место и значение до «Последних песен» 1877 года, до предсмертного стихотворения «О Муза! я у двери гроба!..». «Муза мести и печали» («Замолкни, Муза мести и печали...», 1855) — locus communis некрасовской хрестоматии. Это имело свою художественную логику: образ, с одной стороны, соединял поэтический мир Некрасова с миром «высокой» лирики прошлого, а с другой — наглядно обнаруживал черты творческой индивидуальности поэта в ее отличиях от классики и романтики, ее небывалость.

Наиболее частыми явления Музы были у Некрасова в стихотворениях первой половины и середины 1850-х годов, времени становления его поэтической системы. К мотивам и образам этого периода по-своему отсылали читателя и автореминисценции, — а это были во многом автореминисценции, — «Последних песен». К этой поре относится и стихотворение, играющее роль определенного рода программы и творческого центра в очерченном нами образно-тематическом круге некрасовской лирики. Это стихотворение «Муза», написанное в 1852 году и впервые увидевшее свет в январском номере журнала «Современник» за 1854 год. Программность стихотворения «Муза» обнаруживает себя и в том, что им открывается IV раздел сборника «Стихотворения Н. Некрасова» 1856 года — раздел, объединивший лирические исповеди и творческие декларации поэта. Это стихотворение было призвано представить в олицетворенном образе идейно-тематическое содержание некрасовской поэзии, ее социально-моральный пафос, а равно и самоопределение поэта по отношению к литературной и прежде всего поэтической истории.

То обстоятельство, что «Муза» несет в себе осознанную память о традиции, хотя бы и преодолеваемой ее автором, оказалось отмеченным уже по

[11] *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. С. 75.
[12] *Дельвиг А. А.* Сочинения. Л., 1986. С. 145.

выходе текста, еще рукописного, из его творческой лаборатории. Одним из первых читателей стихотворения Некрасов избрал И. С. Тургенева, в письмо к которому, отправленное в середине ноября 1852 года, вписал 31 двустишие «Музы» (с некоторыми несовершенствами ранней редакции). В ответном письме от 18, 23 ноября (30 ноября, 5 декабря) 1852 года, отметив случаи дисгармонической тавтологии, «небрежности» (двукратное употребление слова «мечты» с промежутком в два стиха) и предложив редактуру, Тургенев не обошел стороной и характерных достоинств стихотворения: «Скажу тебе, Некрасов, что твои стихи хороши — хотя не встречается в них того энергического и горького взрыва, которого невольно от тебя ожидаешь ⟨...⟩ Но первые 12 стихов отличны и напоминают пушкинскую фактуру».[13] Заметим попутно, что со стилистической критикой Тургенева Некрасов согласился, оставив в окончательном тексте «Музы» 29 двустиший.

Обратившая на себя внимание Тургенева «пушкинская фактура» стихотворения Некрасова не заставила ждать и первых историко-литературных комментариев. В 1864 году педагог В. Я. Стоюнин указал на важнейший источник этого стихотворения: «Его „Муза", вызванная „Музой" Пушкина, как противоположность ей, ясно определяет отношение поэта к действительности и ту сторону, которою действительная жизнь представляется ему».[14]

Позднейшие историки литературы в качестве поэтических источников стихотворения Некрасова называли, наряду с пушкинской «Музой» 1821 года, и другие произведения Пушкина, в первую очередь стихотворение «Наперсница волшебной старины...» (1822), но вместе с ним и строфы I—VI «Главы осьмой» (1829—1830) романа «Евгений Онегин», в которых поэт описывал, как известно, метаморфозы своей Музы в разные эпохи творчества.[15] Рассмотрение «Музы» Некрасова на пушкинском фоне неизменно обнаруживало в стихотворении признаки полемической «парафразы» (Б. М. Эйхенбаум) по мотивам Пушкина, своего рода отрицательной вариации на пушкинские темы.

«Муза» Пушкина:

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила.
⟨...⟩
Прилежно я внимал урокам девы тайной,
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.[16]

Здесь, как и в пушкинском «Страннике», мы встречаем александрийский стих, но с иной интонационной, фразеологической и, как следствие, мелодической наполненностью. Эта «певучесть» и отзывается в «Музе» Некрасова:

---

[13] Переписка Н. А. Некрасова: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 398—399.

[14] *Стоюнин В.* О преподавании русской литературы. СПб., 1864. С. 380.

[15] См.: *Эйхенбаум Б.* Некрасов // Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. Сб. ст. С. 349; *Чуковский К. И.* Мастерство Некрасова // Чуковский К. И. Собр. соч.: В 15 т. М., 2005. Т. 10. С. 60—61; *Гиппиус В. В.* Некрасов в истории русской поэзии XIX века // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966. С. 239—242; *Скатов Н.* Некрасов. Современники и продолжатели. Очерки. М., 1986. С. 159—162.

[16] *Пушкин.* Полн. собр. соч. Т. 2. [Кн. 1]. С. 164.

Нет, Музы ласково поющей и прекрасной
Не помню над собой я песни сладкогласной!
В небесной красоте, неслышимо, как дух,
Слетая с высоты, младенческий мой слух
Она гармонии волшебной не учила,
В пеленках у меня свирели не забыла,
Среди забав моих и отроческих дум
Мечтой неясною не волновала ум
И не явилась вдруг восторженному взору
Подругой любящей в блаженную ту пору,
Когда томительно волнуют нашу кровь
Неразделимые и Муза и Любовь...

(I, 99)

Это именно те строки, в которых Тургенев распознал «пушкинскую фактуру». При всем том невозможно не услышать, что патетическое «нет», ораторски звучащее в зачине стихотворения, было опровергающим восклицанием в диалоге Некрасова с Пушкиным, как противополагался Пушкину и ряд глаголов с отрицательной частицей «не»: «не помню», «не учила», «не забыла», «не волновала», «не явилась». Некрасовское противостояние Пушкину удостоверяют не только четыре переходящих от Пушкина к Некрасову словесных комплекса (отмеченные в свое время К. И. Чуковским) с повышенным образным значением: *колыбель*, *пленительные напевы*, *пелены* (обращенные у Некрасова в «пеленки»), *свирель*. Некрасов переносит в свою «Музу» и другие компоненты пушкинских стихотворений-прототипов, например поэтическое представление о Музе как наставнице младенчества и возлюбленной юношеской поры, равно как и более общую мысль об изменчивости богини творчества, свойственной ей способности принимать разный облик. Показательны в этом смысле образы пушкинского стихотворения «Наперсница волшебной старины...»:

Я ждал тебя; в вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой,
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.
Младенчество прошло, как легкой сон.
Ты отрока беспечного любила,
Средь важных Муз тебя лишь помнил он,
И ты его тихонько посетила;
Но тот ли был твой образ, твой убор?
Как мило ты, как быстро изменилась!
Каким огнем улыбка оживилась!
Каким огнем блеснул приветный взор![17]

Метаморфозы некрасовской Музы знаменовали, впрочем, более отдаленные от поэтических идеалов явления действительности. Демонстрируя свое несходство с Пушкиным, лишь подчеркиваемое сходством стиховых форм, Некрасов последовательно отказывался от того, чтобы связывать

[17] Там же. С. 272.

свою Музу с миром эстетически прекрасного, с морально-психологическими переживаниями, вызываемыми прекрасным. Муза некрасовской поэзии рождена миром социального несчастья, погружена, подобно многим героям поэта, в темные бездны «Насилия и Зла, Труда и Голода» (заглавные литеры в данном случае возвышают умозрительные социальные абстракции до значения классических аллегорий), окружена низменной предметной средой («В убогой хижине, пред дымною лучиной...»), ей ведомы просветления религиозного чувства, но вместе с ними и доходящее до гиперболизма множество отрицательных душевных состояний: «кручина», «тоска», «жалоба», «томительное горе», «проклятье», «ярость», «порыв жестокости мятежной», «буйство дикое страстей и скорби лютой...»:

Но рано надо мной отяготели узы
Другой, неласковой и нелюбимой Музы,
Печальной спутницы печальных бедняков,
Рожденных для труда, страданья и оков, —
Той Музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей,
Которой золото — единственный кумир...

(I, 99)

Не имеет литературных аналогов метафора, посредством которой изображается здесь покровительство богини поэтического искусства — «отяготели узы». И вовсе беспрецедентно указание поэта на то качество, которое, конечно, соединяло его Музу с породившей ее исторической почвой, но могло быть истолковано и как нравственный порок («Той Музы... Которой золото — единственный кумир...»).

Концентрация образов социально-морального зла вокруг высокой поэтической мифологемы сопровождалась у Некрасова рядом собственно художественных сдвигов (если воспользоваться терминологией Ю. Н. Тынянова). Признавая, что замысел некрасовского стихотворения находит свою полную реализацию лишь на контрастном фоне пушкинских источников, таких как «Муза» и «Наперсница волшебной старины...», следует заключить, что в более широком, хотя и совершенно конкретном смысле объектом творческого противостояния для Некрасова были в данном случае жанровые основы антологической лирики. Упомянутые пушкинские произведения имели к ней самое прямое отношение, стихотворение же «Муза», открывавшее в сборнике 1826 года «Стихотворения Александра Пушкина» антологический раздел «Подражания древним», являло собой вольное переложение нескольких фрагментов элегий и идиллий Андре Шенье, классика французского антологизма конца XVIII века.[18]

«Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques»,[19] — этот призыв Шенье к созданию неоклассической поэзии, нашедший сочувственный отклик у русских поэтов,[20] сыграл в истории обновлявшейся лирики XIX века

---

[18] См.: *Любомудров С.* Античные мотивы в поэзии Пушкина. 2-е изд. СПб., 1901. С. 23—25; *Гроссман Л.* Пушкин и Андрэ Шенье // Гроссман Л. От Пушкина до Блока. Этюды и портреты. М., 1926. С. 25—28; *Кибальник С. А.* Русская антологическая поэзия первой трети XIX века. Л., 1990. С. 168—181.

[19] «Будем слагать современные стихи в античном духе» (*фр.*) — стих из поэмы А. Шенье «Замысел» («L'Invention», 1787—1788). В поэтическом переводе Е. П. Гречаной: «Мысль нашу облечем античными стихами» (*Шенье А.* Сочинения. 1819. М., 1995. С. 20 (Серия «Литературные памятники»)).

[20] Изречение фигурирует в качестве эпиграфа к двухтомному собранию стихотворений Н. Ф. Щербины. См.: Стихотворения Николая Щербины. СПб., 1857. Т. 1. С. [VI].

роль продуктивной жанровой идеи. Определяемый ею «антологический род» не был инструментом литературно-филологической реконструкции античных поэтических форм, в большей степени он представлял собой опыт осознания и артистического оформления того образа античности, который складывался в европейской культуре Нового времени и нес на себе печать романтической идеализации. Известно, сколь большое значение придавалось в антологической поэзии совершенству форм, композиционных, словесных, музыкальных. Эта гармонизация форм должна была служить зеркалом античных понятий о гармонической согласованности элементов мироздания. Но не одна гармоничность вменялась в правило антологическому поэту. Уже К. Н. Батюшков и С. С. Уваров, авторы одного из ранних русских трактатов об антологическом жанре — проиллюстрированной поэтическими образцами брошюры «О греческой Антологии», высказывали суждение, согласно которому стихотворец, подражающий древности, должен отличаться «простодушием, совершенно противным нашему искусству выражать все полусловами...».[21] Утраченные человеком новейших эпох «простоту» и «спокойствие» созерцания и «наивность выражения» относил к числу видовых особенностей антологической поэзии высоко ценивший ее художественные возможности В. Г. Белинский. «Простота и единство мысли, способной выразиться в небольшом объеме, — отмечал критик, — простодушие и возвышенность в тоне, пластичность и грация формы — вот отличительные признаки антологического стихотворения».[22]

Эти теоретические характеристики проистекали из художественной практики первооткрывателей русской антологической лирики, по преимуществу Батюшкова и Пушкина. С константами антологической поэтики было соотнесено и стихотворение Некрасова «Муза» с его классической по своей генеалогии героиней, но соотнесено как эстетическая и художественная оппозиция. Гармоничность и «спокойствие» внешнего и внутреннего мира уступали место дисгармонической разноголосице, «безумному смешению» противоречивых индивидуальных страстей, неистовым порывам плача, «ярости», «мрачного веселья». Акт творчества, призванный запечатлеть и воссоздать «прелесть важной простоты» (если воспользоваться одним из определений, даваемых Пушкиным простодушно-романтической поэзии Ленского), становился своей противоположностью, превращаясь в акт протеста, проклятия, мщения.

В порыве ярости, с неправдою людской
Безумная клялась начать упорный бой.
Предавшись дикому и мрачному веселью,
Играла бешено моею колыбелью,
Кричала: «Мщение!» — и буйным языком
В сообщники свои звала Господень гром!

(I, 100)

Стихотворение «Муза» было рождено далеко не только персональным творческим волеизъявлением Некрасова. Типологически оно примыкало к большой тематической группе стихотворений русских поэтов — посвящений поэтическому ремеслу и его мифологической вдохновительнице. У истоков этого тематического ряда стояли такие корифеи неоклассических жанров, как К. Н. Батюшков («Беседка муз», 1817), А. А. Дельвиг («Му-

[21] [Б. п.]. О греческой Антологии. СПб., 1820. С. 13.

[22] *Белинский В. Г.* Римские элегии. Сочинение Гете. Перевод Струговщикова. С.-Петербург. 1840 // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. V. С. 257.

зам», 1821). Через посредство А. С. Пушкина и поэтов его круга тема и образ были унаследованы поэтической средой позднейших эпох, получив в середине XIX века широкую распространенность у лириков некрасовского поколения. Свое участие в развитии входившей в традицию поэтической линии обозначили Н. Ф. Щербина, автор стихотворений «К музе моей» (1843) и «Музам» (1851); М. Л. Михайлов, в 1847 году создавший гекзаметрическую вариацию по мотивам А. Шенье «Муза»; А. А. Фет, написавший первую из пяти своих «Муз» («Не в сумрачный чертог Наяды говорливой...», 1854), можно предполагать, в параллель Некрасову; более старший В. Г. Бенедиктов со стихотворением «К моей Музе» (1854); Я. П. Полонский со стихотворением «Муза» (1867); некоторые представители массового стихотворства.

При всем многообразии различий между названными поэтическими произведениями у них были объединяющие основания. Это явное или подразумеваемое присутствие пушкинской «Музы» в творческом кругозоре авторов — присутствие в качестве классической меры, показателя литературной преемственности образно-тематического материала, точки художественного отсчета, но равно и ориентира для преодоления, повода для индивидуального преломления традиции. Экспозиционная часть фетовского стихотворения, как и у Некрасова, была наполнена риторикой отрицания: «не прилегла», «не ласкал», «не мечтал», «О нет!», «Мне Музу молодость иную указала...» (ср. некрасовское: «Другой, неласковой и нелюбимой Музы...»). Антологическому облику Музы, его «декоративной пышности» («Скрывая низкий лоб под ветвию лавровой, С цитарой золотой, иль из кости слоновой...») противостояла у Фета, по замечанию его исследователя, «какая-то простодушная интимность»,[23] следствие, прибавим, постромантической интериоризации образа, его дробления на психологические микроэлементы, во многом иррациональной или даже метафизической природы:

Мне Музу молодость иную указала:
Отягощала прядь душистая волос
Головку дивную узлом тяжелых кос;
Цветы последние в руке ее дрожали;
Отрывистая речь была полна печали,
И женской прихоти, и серебристых грёз,
Невысказанных мук и непонятных слёз.
Какой-то негою томительной волнуем,
Я слушал, как слова встречались с поцелуем,
И долго без нее душа была больна
И несказанного стремления полна.[24]

Свою психологическую конкретизацию вносил в характеристику героини стихотворения «К моей Музе» Бенедиктов. Полная самооправданий, его поэтическая декларация «и в зрелом возрасте» не была свободна от характерной «безвкусицы», двусмысленности словоупотребления, стилистической «какофонии», допускающей эклектическую перепутанность книжной романтической патетики с языком мещанского «галантерейного» обихода:

---

[23] *Бухштаб Б. Я.* А. А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1974. С. 73; см. также в связи с темой: *Дерябина Е.* Фет. Явление Музы. Пятидесятые годы // А. А. Фет и русская литература. Материалы Всероссийской научной конференции «XVII Фетовские чтения». Курск, 2003. С. 60—73.

[24] *Фет А. А.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1959. С. 266—267 (Библиотека поэта. Большая сер. 2-е изд.).

Но в тишине, в глуши меня ты не забыла
И в зрелом возрасте мой угол посетила, —
Благодарю тебя! — Уже не молода
Ты мне являешься, не так, как в те года:
Одета запросто, застегнута под шею,
Без колец, без серег, но с прежнею своею
Улыбкой, лаской ты сидишь со мной в тиши,
И сладко видеть мне, что ты не без души,
Что мир тебя считал прелестницей минутной
Несправедливо... нет! В разгульности беспутной
Не промотала ты святых даров творца;
Ты не румянила и в юности лица,
Ты от природы так красна была, — и цельный
Кудрявый локон твой был локон неподдельный,
И не носила ты пришпиленной косы,
Скрученной напрокат и взятой на часы.[25]

Вместе с тем и в этих, как многое у Бенедиктова, имитационных стихах находила свое выражение та же поэтическая тенденция, которая в стихотворениях Фета и Некрасова заявляла о себе как «знамение века». Мы имеем в виду последовательное «снижение» классического образа Музы, его освобождение от условностей древнего, родившегося из мифологии искусства, его сближение с кругом переживаний и впечатлений современного человека.

Нельзя, впрочем, не отдать должного справедливости суждений В. В. Гиппиуса, который в своей известной работе «Некрасов в истории русской поэзии XIX века» замечал, что подобного рода «приземление» Музы началось еще в поэзии пушкинской эпохи. «... Ведь и у Пушкина, — пояснял ученый, — свирель оставляет „меж пелен" вовсе не слетевшая с высоты муза, а „веселая старушка ... в больших очках и с резвою гремушкой"; пушкинский образ тоже своеобразно снижен по сравнению с традиционными. Снижение это не случайно: это был симптом романтического, в широком смысле слова, движения, переосмыслявшего классические мифологемы, вносившего в них более жизненные и более индивидуальные черты. Противопоставление *своей* музы традиционному образу богини, волшебницы, красавицы свойственно было романтическим поэтам разных оттенков, и это всегда был наиболее видный, наиболее демонстративный образ в поэзии каждого».[26] Ссылка на пушкинское стихотворение «Наперсница волшебной старины...» здесь неоспоримо подкреплялась указанием на стихотворение Е. А. Баратынского, носившее при первой публикации авторское заглавие «Муза» («Не ослеплен я музою моею...», 1830).

Своеобразие некрасовской трактовки традиционно-поэтического образа Музы заключалось, следовательно, не в его «снижении» и даже не в резкости и глубине «снижения», хотя имело значение и это. В «обмирщении» и индивидуализации образа Некрасов заходил дальше других поэтов, но шел он в том же творческом направлении, что и его предшественники и современники. Тем не менее на путях, условно говоря, демифологизирующей секуляризации образа Музы ни один из участников русского поэтического движения XIX века, за исключением Некрасова, не разделял Музу с тем ее прирожденным свойством, которое в классической античности составляло

[25] *Бенедиктов В. Г.* Стихотворения. Л., 1983. С. 307 (Библиотека поэта. Большая сер. 2-е изд.).

[26] *Гиппиус В. В.* От Пушкина до Блока. С. 240.

единое целое с ее божественным назначением. Быть богиней поэтического искусства, каковой Муза предстала после слияния мифологических девяти сестер, дочерей Зевса и Мнемозины, покровительниц искусств и наук, водимых Аполлоном-Мусагетом, в собирательное символическое лицо, означало прежде всего быть богиней поэтического наслаждения. «Тростник был оживлен божественным дыханьем / И сердце наполнял святым очарованьем», — эти строки пушкинской «Музы» в полной мере отражали первоначальную сущность классического образа.

Тому находится немало подтверждений в словесности Древней Греции. В поэме Гесиода «Теогония» (VIII—VII в. до н. э.), одном из наиболее архаических памятников греческой поэзии, посвященном родословным олимпийских богов, о Музах сказано следующее (цитируем подстрочный перевод Г. Властова):

...С Муз начнем, которые Зевса-отца
пением услаждают, великого разумом на Олимпе,
вещая настоящее, и будущее, и прошедшее
в согласном хоре голосов. Неустающая голосов льется
гармония из уст. Веселится жилище отца,
Зевса громовержца, богинь голос, как лилии нежный,
отражая...
⟨...⟩
Кого почтить (захотят) Зевса великого дочери,
на кого из царей любимого Зевсом при рождении они
взглянут,
тому на язык сладкую возливают росу,
и у того с уст льется речь приятная...
⟨...⟩
...Тот поистине счастлив, которого Музы
любят: сладкий у него из уст течет голос.
Если кому даже свежее горе дух его
печалит, и он страдает душою, но певец,
Муз служитель, славу древних людей
и блаженных богов, живущих на Олимпе, в гимнах
воспевает, —
вдруг страдание свое он забывает и печаль свою не
помнит: скоро изменяют его дары богинь.[27]

Чрезвычайно показательно для мифологического сознания это не раз повторяемое Гесиодом представление, согласно которому пение Муз дарует человеку забвение зла и печали и духовное блаженство.

Сославшись на древнегреческий эпос, сошлемся и на ранние образцы хоровой лирики. Один из ее родоначальников — Пиндар — оставил многозначительное славословие упорядочивающим и гармонизирующим мир Музам и «золотой лире» в 1-й Пифийской оде (470 г. до н. э.):

Золотая лира,
Единоправная доля
Аполлона и синекудрых Муз!
Тебе вторит пляска, начало блеска;
Знаку твоему покорны певцы,
Когда, встрепенувшись, поведешь ты замах
к начинанию хора;

[27] *Гезиод*. Подстрочный перевод поэм с греческого. Вступ., пер. и прим. Г. Властова. СПб., 1885. С. 152, 154—156.

Ты угашаешь
Молниеносное жало вечного огня,
И орел на скипетре Зевса
Дремлет, обессилив два быстрые крыла,
Орел, царь птиц:
На хищную голову его
Пролила ты темную тучу,
Сладкое смежение век,
И во сне
Он вздымает зыбкую спину,
Сковываемый захватом твоим.
Сам насильственный Арес,
Отлагая жесткое острие копья,
Умягчает сердце
Забытьем, —
Ибо стрелы твои
Отуманивают и души богов
От умения сына Латоны
И глубоколонных Муз.[28]

И у Пиндара важны мотивы очарованного забытья, в которое погружают богов и людей Музы.

Обобщая материалы греческой мифологии и культуры, А. Ф. Лосев писал о значении, которое вкладывал в почитание Муз античный мир: «После тысячелетней хтонической истории, после стихийных и оргийных ступеней своего развития классические музы стали, наконец, воплощением и олицетворением всяких искусств и художественной мысли, всякого эстетического вдохновения и восторга. Классические античные музы — это не просто богини, которые только еще создают искусство, и не просто искусство само по себе, изолированное от жизни, от материи, от действительности. Это, наоборот, есть сама действительность со всей своей материальной стихией, но действительность преображенная, просветленная, совершенная, безболезненная, всегда светлая и радостная, всегда мудрая, прелестная...».[29]

Бытие в состояниях совершенства, взятое со стороны своих высших возможностей, отражающее исторически изменчивые, но ценностно незыблемые идеалы эстетически и этически прекрасного, радующее, гармоничное и благотворное, — в этом обнаруживало себя не только содержание античного культа Муз, но, через посредство обитательниц Геликона, и содержание многовековой истории классического в широком смысле искусства. Под знаком такого понимания вещей искусство так или иначе развивалось от античности вплоть до Нового времени, когда художественное творчество стала завоевывать и подчинять себе социально-гуманистическая идея. Она до неузнаваемости изменила художественную картину мира: образы искусства начали приобретать цену, не будучи радующими и прекрасными. В русской поэзии послепушкинской поры олицетворением этих исторических процессов оказался Некрасов. Некрасовская Муза перестала быть источником и образом художественного наслаждения, для того чтобы явиться средоточием и голосом социального страдания:

---

[28] *Пиндар. Вакхилид.* Оды. Фрагменты / Изд. подг. М. Л. Гаспаров. М., 1980. С. 58—59 (Сер. «Литературные памятники»).

[29] *Лосев А. Ф.* Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957. С. 311.

Чрез бездны темные Насилия и Зла,
Труда и Голода она меня вела —
Почувствовать свои страданья научила
И свету возвестить о них благословила...
(I, 100)

Эту трагическую метаморфозу, понимая ее как прием охранной маскировки традиционных поэтических ценностей, а в конечном счете и условие исторического выживания поэзии, констатировал в Некрасове (еще в 1928 году) К. В. Мочульский: «Некрасов поднял на свои плечи такой груз „проблем", „проклятых вопросов", идей и идеек, такой балласт всевозможного „созерцания", глубоко враждебного самой природе поэзии, что выносливость его кажется нам непостижимой. ⟨...⟩ Под этикеткой „гражданства" ему удалось контрабандой провезти поэзию; она была искусно переодета и загримирована; никто и не догадывался, что Нищенка с грязным лицом и хриплым голосом — Муза».[30]

Однако далеко не случайно некрасовское стихотворение «Муза» еще до появления в печати вызывало протестующие реакции современников, и в первую очередь тех из них, в биографии которых важное место занимали классическое образование и созданные им культурные предпочтения. Таков был, в частности, А. Н. Майков, поэт-эллинист, певец Рима, переводчик Сафо и Анакреона, Горация и Овидия, виднейший представитель русской антологической лирики, в 1853 году написавший «увещевательное» послание «Н. А. Некрасову по прочтении его стихотворения „Муза"»:

С невольным сердца содроганьем
Прослушал Музу я твою,
И перед пламенным признаньем,
Смотри, поэт, я слезы лью!..
Нет, ты дитя больное века!
Пловец без цели, без звезды!
И жаль мне, жаль мне человека
В поэте злобы и вражды![31]

Не подлежат сомнению искренность и принципиальность заявленного здесь эстетического и общественно-культурного «возмущения». Но столь же несомненно и то, что за субъективную подверженность поэта «злобе» и «вражде» Майков принимает объективную закономерность исторической эволюции поэтического искусства.

Образ Музы получил, как мы отметили, развитие в позднейшем некрасовском творчестве, и развитие в том направлении, которое предопределялось стихотворением «Муза». Литературно-полемическое стихотворение 1855 года «Чуть-чуть не говоря: „Ты сущая ничтожность!.."» включало в себя прямое продолжение характеристики образа, сложившейся ранее, а к тому же и особого рода классическую реминисценцию, напоминавшую об античных истоках поэтического труда:

Друзья мои по тяжкому труду,
По Музе гордой и несчастной,
Кипящей злобою безгласной!

---

[30] *Мочульский К. В.* Н. А. Некрасов. (К пятидесятилетию со дня смерти) // Мочульский К. В. Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты. Томск, 1999. С. 43.

[31] *Майков А. Н.* Избр. произведения. Л., 1977. С. 635 (Библиотека поэта. Большая сер. 2-е изд.).

Мою тоску, мою беду
Пою для вас...

(I, 156)

Одическое, а равно и эпическое «пою», столь чужеродное, казалось бы, для некрасовского стиля, тем не менее занимало в нем, хотя бы и в функции иронического заимствования, вполне оправданное место. Старая поэтика, подобно и самому образу Музы, становилась носителем новой поэзии.

В стихотворении же «Баюшки-баю» (1877), вошедшем в состав сборника «Последние песни», возник, впрочем, еще более радикальный и уже совершенно невозможный в сколько-нибудь традиционной лирике диссонанс:

Где ты, о Муза! Пой, как прежде!
«Нет больше песен, мрак в очах;
Сказать: умрем! конец надежде! —
Я прибрела на костылях!»

(III, 203)

Умирающая Муза на костылях — образ, несовместимостью своих слагаемых предвосхищающий поэтическое мышление модернизма.

* * *

«Русская литература есть одна из литератур, происшедших от рецепции античности»,[32] — утверждал Л. В. Пумпянский. Судьба традиционно-поэтического образа Музы в творчестве Некрасова свидетельствует о том, что в истории этой культурной преемственности есть свои противоречия и свой драматизм.

На исходе пушкинской эпохи античный компонент русской культуры, переживавший стадии своего расцвета в XVIII—первой трети XIX столетия, начал утрачивать былую актуальность и ослабевать. Культура устремлялась на иные пути, и одним из ее репрезентативных символов становилась категория «современности», наполнявшаяся социальным содержанием и неотделимыми от него ценностями новой истории. Уже Пушкин, словно предугадывая пафос грядущих десятилетий, дал основанному им в конце жизни журналу название «Современник». Позднее оно приобретет программное значение для журнальной деятельности Некрасова, реализовавшего заложенный в этом названии идейный потенциал. Античное наследие все глубже уходило в подпочвенные слои культуры.

«С античным наследием, — читаем мы у сегодняшнего историка «русской античности», — связывалось представление о высокой гражданской норме ⟨...⟩ о классическом равновесии субъективного и объективного начал в жизни и в искусстве, о совершенстве эстетической формы как выраженном единстве личного таланта художника и воздействия его на общество. Мировоззрение, шедшее на смену, строилось на понимании ценности рядового человека, важности условий его повседневно-трудовой жизни, народно-национальной субстанции его существования».[33]

Обращаясь к культурным традициям, в том или ином отношении окрашенным в тона античности, к несущим ореолы античной поэтики стиховым

---

[32] *Пумпянский Л. В.* К истории русского классицизма // Пумпянский Л. В. Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 30.

[33] *Кнабе Г. С.* Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. М., 2000. С. 152.

формам, к образам греческой и римской мифологии, поэты послепушкинских литературных генераций с неизбежностью оказывались перед лицом этого исторического противостояния и не оставляли попыток найти его разрешение. В 1840—1850-е годы, в пору имевшего объективные причины кризиса в развитии русской поэзии или во всяком случае поэтического затишья (до 1856 года), происходит, вопреки времени, необыкновенный подъем антологической лирики. Это была своеобразная демонстрация обретенных русским поэтическим искусством и в большой степени русским поэтическим языком эстетических богатств, изобразительно-выразительной виртуозности, еще недавно недоступного и наконец появившегося материального блеска. Вместе с достоинствами в «антологическом роде» обнаружилась, однако, и ограниченность: антологическое стихотворение — замкнутый в себе мир, вполне отрешенный от реальной действительности, от живых интересов практического существования человека. Наиболее проницательные из поэтов середины XIX века, будучи авторами ряда антологических шедевров, при всем том искали для антологических форм новые области художественных мотивов, пытались применить условные приемы создания античного колорита для поэтического освоения русского народно-национального бытия. К числу этих поэтов, бесспорно, принадлежал Фет, видевший в антикизации средство претворения народно-национальной натуры, прежде всего «простого», «обыкновенного» пейзажа, в достояние поэзии. В арсенале приемов поэтического возвышения непоэтического предмета не последнее место занимали его «облагораживание» ритмико-мелодическим аккомпанементом, хорошо знакомая и Некрасову гармонизация прозаических материй звуковым строем стиха. Фет тоже широко этим пользовался.

Слышишь ли ты, как шумит вверху угловатое стадо?
С криком летят через дом к тёплым полям журавли,
Желтые листья шумят, в березнике свищет синица.
Ты говоришь, что опять теплой дождемся весны...[34]

В стихотворении, ранняя редакция которого вышла из-под пера Фета в 1842 году (в составе цикла «Вечера и ночи») и потом дорабатывалась для издания «Стихотворения» 1856 года, решающим средством поэтизации образов национальной природы становится гомеровский гекзаметр. В обращении к нему таился неожиданный художественный эффект: если о том, как «в березнике свищет синица», можно было говорить в той же стихотворной форме, которая была создана, наряду с прочим, для описания дивных орнаментов, выкованных олимпийским богом Гефестом на щите Ахиллеса (песнь восемнадцатая «Илиады»), то это означало, что между двумя объектами творчества двух поэтов, древнего и нового, устанавливается эстетическое тождество. Аналогичную роль играло в русской лирике, не исключая и стихотворений Фета, поэтическое освещение предметов, получаемое от античных мифологических реминисценций. Оно «позлащало» соседствующие образы действительности, в то же время не ставя под сомнение их подлинность.

Некрасов видел эти творческие пути и порой сближался с ними. Но в отношении к такой части античного наследства, как образ Музы, он избрал подходы новые. «Память образа», бесспорно, и в данном случае «возвышала» перенасыщенный прозаизмами предметно-тематический материал и стиль. Вместе с тем поэту удалось наполнить классический образ неклассическим содержанием, преобразить его инокультурную сущность, сделать его носителем интересов, ценностей и страстей культурного мира своей современности.

[34] *Фет А. А.* Полн. собр. стихотворений. С. 209.

«ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО»: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. ИЗ АРХИВА С. А. МАКАШИНА (К 80-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ИЗДАНИЯ)*

(ПУБЛИКАЦИЯ И ПОДГОТОВКА ТЕКСТА © А. Ю. ГАЛУШКИНА; ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ © А. Ю. ГАЛУШКИНА ПРИ УЧАСТИИ © М. А. ФРОЛОВА; КОММЕНТАРИИ © М. А. ФРОЛОВА (РАЗДЕЛ 1) И © А. Ю. ГАЛУШКИНА (РАЗДЕЛЫ 2—4))

В августе этого года исполнится 80 лет со дня основания «Литературного наследства». В июле 1931 года Отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), изучив докладную Российской ассоциации пролетарских писателей и Института литературы и языка Коммунистической академии, разрешил выпуск нового издания.[1] Сама идея его — как и тексты докладных в ЦК ВКП(б), планы первых номеров и пр.[2] — почти исключительно принадлежали Илье Самойловичу Зильберштейну (1905—1988), который по праву считается *инициатором* издания. Честь же *создателя* «ЛН» как научного издания нового типа вместе с И. С. Зильберштейном безусловно и справедливо разделяет Сергей Александрович Макашин (1906—1989),[3] известный российский ученый, доктор филологических наук,[4] бессменный редактор, инициатор многих томов и начинаний «ЛН». Он пришел в «ЛН» не более чем на полгода позже И. С. Зильберштейна и, пережив своего соредактора лишь на полтора года, отдал «ЛН» почти 60 лет своей жизни.[5]

* Раздел 4-й выполнен при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Евгений Замятин: Новые материалы и исследования» (№ 10-04-00190а).

[1] Первое печатное упоминание о «марксистском историко-литературном журнале», выходящем в издательстве «Огонек», см.: *Кут А.* [Кутузов А. В.] За высококачественную литературу об ударниках: (На секретариате РАППа) // Веч. Москва. 1931. 19 июля. См. также анонс: Сборники «Литературное наследство» // Известия. 1931. 29 авг.

[2] Эти и другие материалы, сохранившиеся в фонде И. С. Зильберштейна в РГАЛИ (Ф. 3290, не разобран), готовятся нами к публикации; в частности, — в составе 1-й книги справочного тома 104 «Литературного наследства» (далее — «ЛН») «„Литературное наследство" за 80 лет». Благодарю вдову И. С. Зильберштейна Н. Б. Волкову и руководство РГАЛИ за возможность ознакомиться с материалами этого фонда.

[3] См. о нем: *Баскаков В. Н.* Сергей Александрович Макашин // Русская литература. 1986. № 2. С. 253—254; *Рев М.* С. А. Макашин (1906—1989) // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, 1989. T. 35, fasc. 3—4. 470—471. old.; Сергей Александрович Макашин. (1906—1989) // Лит. наследство. Т. 97. Кн. II. С. 706—708; *Туниманов В. А.* О Сергее Александровиче Макашине и его последней книге // Русская литература. 1990. № 4. С. 170—175; *Трифонов Н.* К 85-летию со дня рождения С. А. Макашина // Московский литератор. 1991. 1 марта; *Николаев Д. П.* Макашин, биограф Щедрина // Литературная газета. 1992. 9 дек.; Пушкинский Дом: Материалы к истории. 1905—2005. СПб., 2005. С. 475—476. См. также биографическую справку «Фундаментальной электронной библиотеки»: http://feb-web.ru/feb/person.

[4] Степень присуждена в 1961 году в ИРЛИ honoris causa.

[5] Л. К. Чуковская записывает в дневнике 9 ноября 1989 года: «На прошлой неделе умерли два человека: Наташа Роскина (от долгого рака) и почти одновременно С. А. Макашин (старше ее лет на 15—20). Ну, конец Серг⟨ея⟩ Ал⟨ександрович⟩ча — это конец „Лит⟨ературного⟩ Насл⟨едства⟩"» (сообщено Е. Ц. Чуковской).

Незадолго до кончины С. А. Макашин разобрал свой личный архив, особо выделив материалы «ЛН»; часть из них и составила настоящую публикацию,[6] призванную представить некоторые из направлений и видов деятельности «ЛН».

Документы печатаются впервые по машинописным оригиналам и копиям из архива «ЛН» и фонда «ЛН» в Отделе рукописей и художественных иллюстраций ИМЛИ им. А. М. Горького РАН (ОРиХИ ИМЛИ).[7]

[6] Бóльшая часть личного архива С. А. Макашина, содержащего в том числе и материалы о работе в «ЛН», сдана в тверской Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина и хранится ныне в Научном архиве Тверского государственного объединенного музея (НА ТГОМ. Ф. Р-13). Коллекция его документов находится и в Собрании рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва) — в составе фонда «Исследователи жизни и творчества Л. Н. Толстого».

[7] Первый хранится в помещении Отдела «ЛН» в ИМЛИ РАН; второй составил фонд 575 (не разобран) указанного архивохранилища. Благодарю заведующего ОРиХИ ИМЛИ М. А. Айвазяна за возможность ознакомиться с материалами этого фонда. Копия первого из публикуемых документов см. также: НА ТГОМ. Ф. Р-13. Оп. 1. № 90.

1

С. А. МАКАШИН

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА НАУЧНОМ ЗАСЕДАНИИ ОЛЯ И ИМЛИ 3 ФЕВРАЛЯ 1982 ГОДА, ПОСВЯЩЕННОМ 50-ЛЕТИЮ «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»

Публикуемый ниже текст выступления С. А. Макашина подготовлен для торжественного заседания Отделения литературы и языка и ИМЛИ РАН по случаю 50-летия «ЛН».[1]

Из всех юбилейных дат «ЛН» эта, несомненно, была отмечена с наибольшим размахом. Юбилею предшествовали и последовали статьи в научных и популярных изданиях.[2] На заседании в ИМЛИ председательствовал член-корреспондент АН СССР М. Б. Храпченко, с докладами, кроме И. С. Зильберштейна и С. А. Макашина, выступали главный редактор

[1] Дата проведения этого и некоторых других юбилейных мероприятий увязана не с 1931 годом, так как выход первого номера «ЛН» по цензурным причинам состоялся только весной 1932 года. По решению ЦК ВКП(б) публикация В. В. Буша «Марксисты 90-х годов в письмах к Н. К. Михайловскому» была выдрана из уже отпечатанного тиража и бóльшая его часть появилась с недостающими страницами 165—185 и извещением: «По техническому недосмотру допущена неправильная нумерация страниц. Начало статьи Д. О. Заславского должно быть обозначено 165-й страницей, а отпечатано 185-й». Постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) о «ЛН» от 5 марта 1932 года и материалы к нему см. в кн.: Большая цензура: Писатели и журналисты в стране Советов. 1917—1956: Документы / Сост. Л. В. Максименков. М., 2005. С. 226—229.

Первый, 15-летний, юбилей «ЛН» был отмечен в 1947 году в Пушкинском Доме на заседании Ученого совета, см.: «Литературное наследство» // Вечерний Ленинград. 1947. 2 июля; Новые книги «Литературного наследства» // Литературная газета. 1947. 12 июля. Стенограмма: РГАЛИ. Ф. 3290 (не разобран). В Пушкинском Доме отмечалось и 25-летие «ЛН» в 1957 году, когда оно стало уже органом Отделения литературы и языка АН СССР, стенограмма: Там же.

[2] *Баскаков В. Н.* «Литературному наследству» — 50 лет // Русская литература. 1981. № 4. С. 201—216; *Ломунов К.* Уникальное издание: К 50-летию «Литературного наследства» // Вопросы литературы. 1981. № 12. С. 148—171; *Никитин Е. Н.* К юбилею «Литературного наследства» // Советская библиография. 1981. № 3. С. 54; *Зильберштейн И. С.* Золотой юбилей «Литературного наследства» / Беседа с А. Басмановым // Огонек. 1982. № 32. С. 22—25; *Трифонов Н.* «Литературному наследству» — 50 лет // Информационный бюллетень Международной ассоциации по изучению и распространению славянских культур. 1982. Вып. 7. С. 33—37; *Щербина В. Р.* «Литературному наследству» исполнилось 50 лет // Вестник АН СССР. 1982. № 7. С. 120—128.

«ЛН» В. Р. Щербина и Д. Д. Благой, с приветствиями и поздравлениями — директор Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС П. А. Родионов, профессор МГУ В. И. Кулешов, директор Института литературы АН Украинской ССР И. А. Дзеверин, главный редактор журнала «Русская литература» В. В. Тимофеева, заместитель директора ЦГАЛИ И. П. Сиротинская, ученый секретарь ГБЛ А. В. Кокорев, заместитель директора ГМТ по научной части Б. М. Шумова, заместитель главного редактора журнала «Вопросы литературы» Е. И. Осетров и директор ИМЛИ Г. П. Бердников, также в заседании приняли участие Л. М. Леонов и секретарь Союза писателей СССР В. М. Озеров.[3]

Судя по аудиозаписи этого заседания, сделанной В. В. Радзишевским, выступлению С. А. Макашина предшествовало приветствие М. Б. Храпченко, развернутые доклады И. С. Зильберштейна и В. Р. Щербины, вследствие чего С. А. Макашину пришлось сократить свою речь почти на треть.[4] Необходимо отметить, что ко времени этого выступления личные отношения И. С. Зильберштейна и С. А. Макашина были осложнены уже около 25 лет, и в макашинском выступлении этот факт нашел некоторое отражение.[5] Однако публикуемый текст остается и сегодня единственным связным очерком истории «ЛН», принадлежащим к тому же одному из его создателей, и уже только по одной этой причине достоин внимания.

---

[3] См. отчеты: «Литературному наследству» — 50 лет // Книжное обозрение. 1982. 5 февр.; То же: Литературная Россия. 1982. 12 февр. См. также: Каждый том — открытие: К 50-летию «Литературного наследства» // Литературная газета. 1982. 28 апр. В последней публикации со значительными сокращениями напечатаны тексты выступлений И. С. Зильберштейна, В. Р. Щербины и фрагментарно — текст С. А. Макашина.

[4] Отдел устной истории Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова, № 844. Благодарю сотрудников Отдела Д. Б. Спорова и М. В. Радзишевскую, а также дочь С. А. Макашина Т. С. Макашину за разрешение использовать эти записи. Сведения о воспоминаниях С. А. Макашина см.: Краткие аннотации использованных в книге фонозаписей из фонда В. Д. Дувакина / Сост. В. Б. Кузнецов // Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников / Вступ. ст., подг. текста, сост. и комм. О. С. Фигурнова, М. В. Фигурнова. М., 2001. С. 521.

[5] О редакции «ЛН», вспоминала С. В. Житомирская, «можно было бы написать еще один, подобный булгаковскому, „Театральный роман": настолько сложившаяся издавна там ситуация оказалась похожа на притяжение и отталкивание двух отцов-основателей Художественного театра. ⟨...⟩ Скрытое и явное соперничество Зильберштейна и Макашина проявлялось во всем...» (*Житомирская С. В.* Просто жизнь. М., 2006. С. 348). С. А. Макашин выступал на похоронах И. С. Зильберштейна (см.: НА ТГОМ. Р-13. Оп. 1. № 73), текст этого выступления лег в основу некролога (см.: Литературная газета. 1988. 1 июня).

Так же, как у И. С. Зильберштейна полвека моей жизни, за исключением лет Великой войны, прошло в «ЛН».

В начале осени 1931 года А. В. Луначарский[1] — он знал меня по работе в «Энциклопедии», где возглавлял Отдел литературы, искусства и языка, а я был секретарем,[2] — сказал мне: «У Кольцова,[3] в Журнально-газетном объединении затевается любопытное издание. Оно будет интересно для Вас. Сходите туда». И я пошел. Жургаз — так сокращенно звали это издательство — помещался на Страстном бульваре, 11, в небольшом особняке бывшего коньячного короля Шустова. Здесь произошло мое знакомство с И. С. Он сидел в указанной мне комнате за письменным столом и диктовал машинистке письма, готовя 1-й номер нового издания. Без малейших формальностей я был приглашен к участию в работе и сразу же окунулся в нее с головой. Было мне тогда 25 лет.[4]

Прошедшие с того дня года — целая жизнь — двоятся в моей памяти. С одной стороны, многое в них уже навсегда скрылось в дымке изжитого

или стало почти иллюзорным, то ли бывшим, то ли не бывшим. Вместе с тем иногда кажется, что «ЛН» началось совсем недавно, и тогда в сознании вдруг возникают самомалейшие детали полувековой работы, и вся она уплотняется до какого-то этапа малого срока.

Но сегодня у нас не вечер воспоминаний, а научное заседание. Попытаюсь и я взглянуть на «ЛН» объективно, то есть осмыслить это явление — а «ЛН» это явление в советской культуре — исторически. 50 лет — это уже та мера времени, которая требует такого подхода и делает его возможным.

И здесь, прежде всего, возникает вопрос: вследствие каких общих обстоятельств и потребностей времени возникло «ЛН»? Автор личной инициативы известен — им был И. С. Зильберштейн. И это, конечно, его большая заслуга. Но «кесарю — кесарево, а Божие — Богови». Определяя взаимосвязь между субъективными и объективными факторами в движении искусства, Луначарский однажды сказал: «Каждая эпоха, каждая историческая минута нажимают на нужные им клавиши».[5] Так было и с «ЛН», возникшим в 1931 году, т. е. всего через 13 лет после Великой революции и через 10 лет после окончания гражданской войны.

Появление тогда «ЛН» объективно отвечало, на мой взгляд, трем главным обстоятельствам, или велениям, времени.

Первое обстоятельство. Потребность тогдашнего советского общества, только еще складывавшегося, так сказать, оглядеться во времени, в эпохе и попытаться осмыслить произошедшие «неслыханные перемены, невиданные мятежи» (А. Блок) также и при помощи поучений истории. Середина 1920-х — начало 1930-х годов — это время повышенного интереса к публикациям документальных свидетельств ушедшего времени — мемуарам, дневникам, письмам. Это время основания В. Д. Бонч-Бруевичем Литературного музея[6] и развернувшейся здесь под его руководством замечательной работы по собиранию писательских архивов и бумаг. Это время деятельности издательств «Academia» и братьев Сабашниковых, время появления «Красного архива», «Звеньев», выхода в свет многих сборников документальных материалов.[7] Появление «ЛН» в это время не было ни изолированным, ни спонтанным.

Второе обстоятельство — оно прямо шло навстречу первому и, в свою очередь, «подпиралось» им — огромность открытых революцией документальных материалов в правительственных и дворцовых архивах самодержавия, а также в многочисленных частных собраниях, хранившихся в дворянских усадьбах и купеческих особняках. Эти архивные «монбланы» требовали систематической разработки. Этим и призвано было заняться, на своем участке, «ЛН».

Третье обстоятельство. В идеологическом движении времени «ЛН» отвечало тому этапу происходившей в стране культурной революции, который проходил под лозунгом «учебы у классиков», призванном противостоять нигилистическому пролеткультовскому и рапповскому отношению к культурному наследию прошлого.[8]

Раз возникнув и начав существовать, «ЛН», конечно, не стояло на месте, а находилось в движении, в развитии. Оно не сразу нашло свои теперешние методы, свою теперешнюю структуру и теперешний господствующий тип «монографических» томов — «персональных» и «проблемно-тематических». Вместе с тем нужно указать на одну, едва ли не важнейшую особенность «ЛН», которая, проявившись в самом начале, оказалась, несмотря на все свои последующие модификации, постоянной в деятельности издания, стала его константой. Я имею в виду то обстоятельство, что «ЛН» никогда не ставило себя в зависимость от самотека, но всегда само заботилось об ар-

хивном текстово-документальном, а также иллюстративно-изобразительном обеспечении каждого планируемого тома издания. К этой работе мы, обычно, привлекали и привлекаем не только отдельных специалистов, но и создаваемые нами группы их, а в последние годы все чаще кооперируемся с научными коллективами целых учреждений, например, с Музеем Толстого при издании Дневника Маковицкого.[9]

Но инициатива и организация архивных поисков, а затем определение методов и форм эдиционно-текстологической и научно-исследовательской их разработки, как правило, принадлежат редакции и, уж во всяком случае, контролируются ею.

Когда в конце 1920-х гг. вышел в свет 1-й том первого издания Советской Энциклопедии, «Правда» отозвалась на это событие фельетоном Мих. Кольцова, озаглавленным «Важный кирпич»[10] — т. е. «кирпич» в начавшемся строительстве первого энциклопедического свода знаний в освещении марксистско-ленинского мировоззрения.

«ЛН» пришло к своему золотому юбилею с целой библиотекой томов, о которых один из рецензентов патетически воскликнул: «Каждый том — открытие!»[11] Отправляясь от метафоры Кольцова можно сказать, что тома «ЛН» — это уже не отдельные «кирпичи», а целые «блоки» или «этажи» и даже здания в строительстве филологической, а также исторической науки на соответствующих их участках.

Общее значение и главные итоги полувековой деятельности «ЛН» очевидны: своими публикациями оно существенно расширило текстово-документальный фонд русской литературы и русской общественной мысли. Наглядное доказательство тому, во-первых, в неподдающемся учету количестве ссылок в научных трудах на «ЛН» и на обнародованные в нем первоисточники и, во-вторых, в том факте, что за годы существования «ЛН» нет ни одного научного собрания сочинений русской классики, которое в той или иной мере не было бы обязано своими «новинками» нашему изданию. Наибольшие вклады внесены здесь в Собрания сочинений и писем Герцена (до 80 %), Салтыкова (до 60 %) и Василия Слепцова (до 100 %, т. е. удвоение корпуса его ранее известных сочинений).[12]

Важно подчеркнуть, что новые материалы появляются в «ЛН», во-первых, с эвристической подготовкой — археографической, текстологической, атрибутивной, библиографической и пр., и, во-вторых, в сопровождении статей и комментариев, содержащих научную разработку содержания публикуемого документа, или группы их, или всей проблематики данного тома. В зависимости от содержательности и объема публикуемых текстов сопроводительные статьи и комментарии к ним перерастают иногда в крупные проблемные исследования (например, статья «Герцен и молодая эмиграция» Б. П. Козьмина, «Щедрин — литературный критик» И. М. Лаврецкого, «Творческие дневники Достоевского» Л. М. Розенблюм и др.).[13] Многие тома имеют самостоятельный раздел, о содержании которого говорит его название «Статьи и исследования» (в тт. «Пушкин, «Гете», «Белинский», «Щедрин», «Блок» и др.).

Назову несколько публикаций, которые со всей объективностью можно квалифицировать как вклады в научное исследование. Беру примеры только из томов, посвященных революционным демократам. Им «ЛН» с первых шагов своего существования уделяло много внимания и места. И это также было одним из велений времени. Ведь их литературное наследие, идеологически наиболее близкое победившей Революции, было хуже всего собрано и наименее изучено, а многое в нем и вовсе было скрыто самодержавием от русского общества. Заняться революционными демократами нам энергично

посоветовали А. М. Горький в письме в редакцию[14] и М. С. Ольминский[15] в устных рекомендациях. Мы посвятили специальные тома всем лидерам этого направления: Белинскому, Герцену, Огареву, Некрасову, Добролюбову, Чернышевскому и Салтыкову-Щедрину.

Вот несколько публикаций, которые я хочу назвать для примера.

В трехтомнике «Белинский» появился впервые научно-установленный текст знаменитого зальцбруннского «Письма к Гоголю» — политического завещания великого критика.[16] Здесь же напечатаны несколько десятков вновь открытых рецензий Белинского и впервые дано научное описание его библиотеки.[17]

Главное богатство в трехтомнике «Некрасов»[18] — его эпистолярный раздел. В нем опубликовано около 600 писем периода «Современника» и «Отечественных записок»: 126 самого поэта к 38 адресатам и 486 писем к нему — от 146 корреспондентов. И так же, как и по отношению к Белинскому, дано описание библиотеки поэта.

В томе «Добролюбов и Чернышевский» наследие обоих обогащено публикациями двух чрезвычайно сильных произведений их публицистического пера. Это запрещенная цензурой статья Чернышевского «В оправдание памяти честного человека» и попавшее в III Отделение «якобинское» письмо-памфлет Добролюбова, обращенное к Гречу по поводу его статьи о смерти Николая I. Письмо было подписано псевдонимом Анастасий Белинский, т. е. «воскресший» Белинский («анастасиос» по-гречески — воскресший). Авторство Добролюбова III Отделением не было раскрыто.[19]

Главнейшие ценности, открытые щедринскими томами, — это, во-первых, несколько статей из цикла «Наша общественная жизнь», крупнейшего публицистического памятника шестидесятых годов; во-вторых, статья «Современные призраки» — изложение фундаментальных философско-исторических основ мировоззрения писателя и одна из неизвестных ранее вершин в русской общественной мысли.[20] М. С. Ольминский, успевший ознакомиться с главнейшими материалами щедринского двухтомника, определил их в своем отзыве как «платформа нового изучения Щедрина».[21] Высоко оценила двухтомник и Н. К. Крупская, за исключением, однако, публикации «Щедрин у Ленина», которая, напротив того, подверглась ее суровой критике.[22]

Совсем особенное место в публикациях «ЛН» заняли и продолжают занимать Герцен и Огарев. Им — больше, конечно, Герцену — посвящено 9 книг (считая 3 еще не вышедшие, но уже собранные), общим объемом в 8200 страниц.[23] Рядом с ними стоит в наших томах только Лев Толстой, как всегда и во всем огромный. Ему посвящено 12 книг (считая одну еще не вышедшую), но с несколько меньшим числом страниц, а именно 7300.[24]

В отношении Герцена и Огарева перед «ЛН» постепенно вызревала и встала, наконец, как необходимость задача национально-исторического масштаба и, я бы сказал, провиденциального значения. Задача эта — собрать на родине издателей «Колокола» их заграничный архив, некогда единый и огромный, хранившийся после смерти Герцена сначала у его сына Александра и старшей дочери в Лозанне, а впоследствии постепенно распавшийся на ряд частей, оказавшихся в нескольких странах Западной Европы и США.

Еще в годы швейцарской эмиграции Ленин говорил М. С. Ольминскому, а он рассказал об этом нам, о необходимости, когда возникнут для этого условия, собрать полностью все рукописное наследие Герцена и полностью издать его. Условия эти появились лишь после Великой Отечественной войны, когда правительство Чехословацкой Республики принесло в дар Академии наук СССР, в знак благодарности за освобождение страны от немецко-фашистской оккупации, материалы Русского заграничного архива и

среди них т. н. «пражскую коллекцию» бумаг Герцена и Огарева и их окружения.[25] Разработка этой богатейшей коллекции указала ряд новых путей в деле собирания других частей архива, оставшихся на Западе. В результате разного рода инициатив, переписки, поездок за границу, а главное, усилий в области организации обмена микрофильмами между зарубежными и советскими архивохранилищами, многолетнюю работу по собиранию заграничных бумаг Герцена и Огарева можно сейчас считать, в основном, завершенной. За последние 15—20 лет «ЛН» получило из архивных собраний Амстердама, Женевы и Парижа[26] несколько тысяч кадров микрофильмов, а также ксеро- и фотокопий герцено-огаревских материалов. Неизданные рукописи (среди них автограф 5-й части «Былого и Дум»), а также изданные только за границей, подготовлены сейчас к печати и составляют 3 книги по 75 листов каждая, т. е. в общем объеме 225 листов. И мы с нетерпением ожидаем выхода этих книг, чтобы с облегчением и глубоким удовлетворением сказать свое «ныне отпущаеши...» по отношению к этой самой крупной по объему и самой длительной по времени работе «ЛН».

Репертуар публикаций «ЛН», которые с полным основанием можно признать вкладами в науку, обширен. Многие из них уже были сегодня упомянуты. Но, кажется, не были названы принципиально важные и высоко оцененные в научной литературе такие публикации, как пять «Философических писем» Чаадаева,[27] донесения русского посла в Париже Симолина о событиях Великой Французской революции, письма Бальзака и документы о нем, позволившие впервые воссоздать «русскую главу» в биографии великого романиста,[28] замечательные путевые письма Гончарова из кругосветного путешествия,[29] русские народные песни из Собрания Киреевского в записях писателей, в частности Пушкина, Гоголя, Кольцова и др.,[30] большое количество неизвестных ранее произведений Бунина, Брюсова, наконец, относительно недавно начатые нами публикации материалов из истории советской литературы.[31]

Помимо основного значения «ЛН» как канала, по которому в историю русской литературы и общественной мысли вливались новые материалы, нужно указать и на значение побочных и менее видных результатов деятельности издания.

Мало кому известно, что идея создания такого фундаментального издания, как академическое 30-томное Собрание сочинений Герцена, осуществленное ИМЛИ, возникла и получила практическое развитие после того, как сначала Б. П. Козьмин, а затем В. П. Волгин — тогда вице-президент, ознакомились с начатыми «ЛН» в конце 1940-х годов разработками «пражской коллекции», поразившей всех своими богатствами.

Еще один побочный продукт деятельности «ЛН» — обогащение советских архивных собраний копиями рукописей и других документов, получаемых нами из заграничных архивов по операциям обмена. Так, все упомянутые микрофильмы, ксеро- и фотокопии с бумаг Герцена, Огарева и их окружения, полученные нами из Нидерландов, Швейцарии и Франции, а ранее из Италии, Англии и США,[32] переданы на постоянное хранение в рукописные отделы Библиотеки Ленина, Публичной библиотеки Салтыкова-Щедрина, в ЦГАЛИ и в ЦГАОР.[33] Таким образом, весь фонд заграничного архива Герцена, Огарева, хотя наполовину и не в подлинниках, собран сейчас в СССР, хотя находится, к сожалению, в разных местах (в соответствии с участием названных учреждений в обменных операциях).

Передаются нами в архивные учреждения и подлинники, когда они попадают в редакцию, например, бунинские и замятинские материалы, переданные нами отчасти в Орел, в Музей писателей местного края, отчасти в ЦГАЛИ.[34]

Еще один побочный результат деятельности «ЛН» — это ее значение как практической школы эдиционно-текстологической и комментаторской работы. Через эту школу прошло за полвека множество литературоведов, как те, у которых мы сами учились, так и те, которые потом учились у нас.

Сегодня уже не раз говорилось, что «ЛН» развивалось вместе со всем советским литературоведением, как одна из его составных частей. Были сообщены и впечатляющие цифры, указывающие на число наших авторов за полвека. Среди них было немало и таких ученых и разного рода специалистов, сотрудничество которых с «ЛН» не ограничивалось авторским участием, а было гораздо бóльшим.

В кино и в телевидении актер иногда участвует «за кадром»: его слышно, но не видно. В «ЛН» почти всегда были и есть редакторы «вне титульного листа». Это обычно крупные специалисты по проблематике публикуемых материалов, которых мы приглашаем для консультаций. Всех их не назовешь, а некоторые уже названы. Хочу к этим названным добавить еще следующие имена ученых, с указанием какие материалы и тома они помогали нам редактировать. Это:

Франц Петрович Шиллер[35] — для публикации эстетических документов Маркса и Энгельса;

Александр Георгиевич Габричевский и Виктор Максимович Жирмунский — для «гетевского тома»;[36]

Георгий Александрович Гуковский — для XVIII века;[37]

Вас. Вас. Гиппиус, Иванов-Разумник, Б. М. Эйхенбаум и Н. В. Яковлев — для двухтомника «Салтыков-Щедрин»;[38]

Александр Александрович Сиверс, Д. П. Мирский, Борис Викторович Томашевский и Андре Мазон — для томов «Русская культура и Франция»;[39]

Николай Иванович Мордовченко[40] — для трехтомника «Белинский»;

Влад. Евг. Евгеньев-Максимов, С. А. Рейсер и К. И. Чуковский — для трехтомника «Некрасов»;[41]

В. П. Волгин, Б. П. Козьмин, М. В. Нечкина, Я. З. Черняк — для томов «Герцен и Огарев»;[42]

Н. Н. Гусев, Влад. Александрович Жданов, Ев. Ефим. Зайденшнур, К. Н. Ломунов, Лид. Дм. Опульская, М. Б. Храпченко и Ал. Иосиф. Шифман — для «толстовских» томов.[43]

[*Зачеркнуто*: Помогали нам советами и прямым участием наши крупные писатели — Л. М. Леонов («Толстой»), К. А. Федин («Чехов», «Бунин»), К. М. Симонов и А. А. Сурков («Писатели на фронтах Отеч⟨ественной⟩ войны»)[44] и др.]

Говоря о строителях «ЛН», нельзя ограничивать их круг авторами и редакцией. Принципиально не менее важную роль в нашей работе играли архивы и архивисты. Без теснейшего сотрудничества с ними, без научной эксплуатации результатов их собственной деятельности «ЛН» не могло бы существовать. И сегодня, на юбилейном празднике «ЛН» должно прозвучать наше слово благодарности всем архивным учреждениями страны, с которыми мы десятилетиями сотрудничаем, с которыми у нас существуют добрые деловые отношения и, как правило, полное взаимопонимание. Но больше всего мы обязаны рукописным отделам Пушкинского дома, Библиотеки им. Ленина, Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, Историческому музею, Историческому архиву, Архиву Октябрьской революции, Архиву Горького, а в последние годы более всего ЦГАЛИ. Из заграничных архивных учреждений мы наиболее деятельно сотрудничали и продолжаем сотрудничать с Национальной библиотекой в Париже, с Публичной и Университетской биб-

лиотекой в Женеве и Международным институтом социальной истории в Амстердаме.

Но, конечно, главные работы по созданию томов «ЛН» — научно-организационные, архивно-поисковые и практического редактирования — осуществлялись и осуществляются редакцией издания.

На юбилейном празднике «ЛН» нельзя не назвать имена всех работников редакции — прошлых и нынешних. В ее трудах в разное время участвовали И. Л. Андроников и Н. А. Роскина (8 лет). На пенсии находятся ветераны «ЛН» К. П. Богаевская (... лет),[45] А. Н. Дубовиков (25 лет) и старейший наш ветеран с 45-летним стажем Н. Д. Эфрос. Уже нет с нами И. В. Сергиевского и В. В. Жданова. В теперешнем же составе редакции трудятся, кроме И. С. Зильберштейна и меня, Т. Г. Динесман (стаж 20 лет), Л. Р. Ланский (36 лет), Л. М. Розенблюм (26 лет), Н. А. Трифонов (21 год) и недавно вошедшие в редакцию Ю. П. Благоволина и Е. Г. Коляда.[46]

Руководство «ЛН» на уровне редколлегии и возглавлявших ее главных редакторов и их заместителей осуществлялось известными деятелями советского литературоведения. В разное время в нее входили и входят: И. И. Анисимов, Г. П. Бердников, Д. Д. Благой, А. С. Бушмин, В. В. Виноградов, П. И. Лебедев-Полянский, К. Д. Муратова, П. В. Палиевский, Л. И. Тимофеев, М. Б. Храпченко и В. Р. Щербина. Последние два — также ветераны «ЛН»: М. Б. Храпченко участвует в трудах редколлегии с 1934 г. — 48 лет, а В. Р. Щербина — с 1960 г. — 21 год, главным же редактором состоит 14 лет.[47]

Общему планированию «ЛН» и решению возникающих принципиальных и масштабных вопросов — организационных и научно-исследовательских — содействует то обстоятельство, что в состав редколлегии входят как академик-секретарь Отделения литературы и языка,[48] так и дирекция ИМЛИ. Тем самым редакция имеет прямые выходы к высшему в стране академическому руководству филологической наукой.

Каждый юбилей, как двуликий Янус, обращен к прошлому юбиляра и к его будущему. О прошлом «ЛН» сказано и написано много. Но с чем, с каким самосознанием, с какими планами и надеждами вступает, и уже вступило, наше издание в свое второе пятидесятилетие?

Иногда спрашивают: не близки ли к исчерпанию запасы пригодной для «ЛН» архивной руды и не грозит ли ему «энергетическое» угасание, «энтропия»? Ответ должен быть отрицательным, за одним, однако, важным исключением — вершин русской классики XIX века. Здесь, особенно в отношении писателей, уже получивших академические и полные научные издания, можно рассчитывать лишь на неисчерпаемых Толстого и Горького да на неожиданные архивные открытия.

Однако за упомянутым исключением в архивных собраниях нашей страны имеется немало драгоценных материалов, относящихся к крупным именам и важным явлениям русской литературы XVIII—XIX вв., которые настоятельно ждут своей очереди быть изданными и изученными. Назову лишь некоторые из них. Прежде всего — идя по хронологии — был бы возможен новый том «ЛН», посвященный XVIII в. Для него имеются богатые материалы в архиве Державина, Н. А. Львова, Тредиаковского и Хвостова. Очень интересен был бы том, посвященный Карамзину и его окружению. Неизданных литературных текстов Карамзина относительно мало, но много его неизданных писем. Бунин отзывался о них как о высоких образцах русской прозы, и не только эпистолярной.[49] Реальны по имеющимся материалам тома, посвященные Жуковскому и Вяземскому. В этих материалах немало «выходов» к Пушкину и к его окружению. Есть соблазнительная воз-

можность после того, как мы одолели издания крупных памятников — Записных книжек и тетрадей Достоевского, дневника Маковицкого и др. — подняться еще на одну ступень в монументализации наших публикаций и попытаться предпринять научные издания целых архивных собраний. Избирательные публикации главнейших рукописей данного собрания сопровождались бы здесь научно комментированным описанием всего его содержания и указателями, именными и тематическими, относящимися ко всем материалам архива. Это могло бы стать дальнейшим шагом в поступательном движении «ЛН». Первым опытом мог бы стать Архив братьев Александра и Николая Тургеневых. Это огромное собрание драгоценных материалов, литературных и исторических, отечественных и зарубежных, с выходом к Пушкину, декабристам и т. д. Оно лишь в малой мере затронуто изданиями.[50] Есть и другие крупные писательские архивы, в целом не изученные, эксплуатировавшиеся фрагментарно, например, архивные фонды Соболевского, Одоевского, Краевского, Киреевских-Елагиных[51] и др. Одним словом, недостатка в архивных материалах для работы «ЛН» нет даже и по отношению к XIX в., не говоря о веке XX и о советской литературе, о чем здесь уже была речь [*зачеркнуто*: и к чему можно лишь добавить, что К. А. Федин очень рекомендовал нам, вслед за Буниным, заняться в специальном томе наследием Евг. Замятина и сам собирался принять участие в этом томе. Можно бы вероятно взвесить возможность возвращения к начинавшимся, но по ряду причин приостановленных работ над томами «Есенин», «Твардовский». Следовало бы подумать и о томе «Шолохов».[52]]

Кроме того, остаются нетронутыми разработками «ЛН» имеющиеся материалы для томов, которые продолжили бы нашу «компаративистскую» серию, начатую томами «гетевским» и «Русская культура и Франция», продолженную «англо-русским» томом-монографией М. П. Алексеева[53] и ведущейся работой над «итало-русским томом».[54] Имеются возможности создания тома «Русская культура и Германия», нового и очень богатого «русско-французского» тома и даже тома «русско-испанского», план которого по собственному почину, на свой страх и риск разработал один молодой испанист,[55] представивший его М. П. Алексееву и получивший от последнего восхищенную поддержку.

Но что еще, кроме перспективных и возможных планов томов, стоит на череду у «ЛН», перешагнувшего в свой второй полувек? У нас есть многое, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. У нас есть опытные, работоспособные кадры, есть преданность делу, есть хорошее положение и устройство как органа головного литературоведческого института Академии наук, есть авторитетное руководство и годами проверенные добрые, деловые и личные взаимоотношения с ним, чего, к сожалению, нельзя сказать о наших теперешних взаимоотношениях с издательством.[56] Но на пройденном долгом пути мы не только многое приобрели, но кое-что и утеряли... Прежде всего мы утратили свои годы, — и это суровая биологическая закономерность. Для старших работников «ЛН» прошла уже и пора листопада. Конец трудового пути приближается. И наша первейшая забота должна быть о смене, такой смене, которая была бы в состоянии повести корабль «ЛН» по морям и океанам второго пятидесятилетия и которой мы смогли бы передать наш опыт.

Чего же нужно пожелать как этой будущей смене, так и нам, теперешнему коллективу «ЛН», на том пути, который нам еще предстоит?

Главнейшее, что мне хочется пожелать со всей энергией, со всей возможной силой убедительности, это хорошо помнить об одной важной истине. Она изложена еще древними римлянами и в переводе с латинского зву-

чит так: «От согласия (concordia) и малые дела растут, от несогласия (discordia) и большие распадаются».[57]

Итак, пусть постоянным спутником «ЛН» в его начавшемся втором полувеке будет всегда доброе согласие и дружеское общение. Пусть и в начавшемся новом пятидесятилетии «ЛН» послужит науке и обществу с не меньшими результатами, чем оно служило им в пятидесятилетии ушедшем.

30. I. 82

[1] Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — общественный и политический деятель, литератор. О его сотрудничестве с «ЛН» см.: *Трифонов Н.* Луначарский — участник «Литературного наследства» // Лит. наследство. Т. 82. С. 493—496.

[2] В середине 1920-х годов С. А. Макашин по рекомендации В. Я. Брюсова начал работать в редакции Большой Советской Энциклопедии и до 1931 года был секретарем Отделения литературы, искусства и языкознания, возглавляемого А. В. Луначарским.

[3] Кольцов (Фридлянд) Михаил Ефимович (1898—1940) — журналист, руководитель Журнально-газетного объединения (Жургаз; 1927—1938), созданного на базе акционерного общества «Огонек». По воспоминаниям И. С. Зильберштейна, он приехал в 1930 году в Москву по приглашению М. Е. Кольцова и весной 1931 года приступил к подготовке первого номера «ЛН» (см.: И. С. Зильберштейн. Штрихи к портрету: К 100-летию со дня рождения. М., 2006. С. 7). В Жургазе вышли 16 томов «ЛН», и только завершающая, третья книга тома «Русская культура и Франция» (т. 33—34) была издана под грифом Института русской литературы (Пушкинский Дом) в Издательстве АН СССР (после закрытия Жургаза решением Оргбюро ЦК ВКП(б) в мае 1938 года «ЛН» по инициативе тогдашнего его главного редактора и директора Пушкинского Дома П. И. Лебедева-Полянского было переведено в ведение Пушкинского Дома).

[4] С. А. Макашин в первом выпуске «ЛН» участвовал в комментировании публикации М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также, судя по гонорарным ведомостям, готовил отдел «Хроники» (РГАЛИ. Ф. 3290, не разобран).

[5] Неточная цитата из работы А. В. Луначарского «Социологические и патологические факторы в истории искусства» (1930): «...всякая общественность может найти в человеческой клавиатуре такие клавиши, которые соответствуют ей...» (*Луначарский А. В.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1967. Т. 8. С. 115).

[6] Государственный Литературный музей образован в 1934 году путем объединения Центрального музея художественной литературы, критики и публицистики и Литературного музея при Библиотеке им. В. И. Ленина. Руководителем музея был назначен Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873—1955) — партийный и государственный деятель, историк, писатель, этнограф. О сотрудничестве — а часто и соперничестве — Литературного музея и «ЛН» см.: *Шумихин С. В.* В. Д. Бонч-Бруевич и И. С. Зильберштейн у истоков советского музейно — архивно — публикаторского дела // И. С. Зильберштейн. Штрихи к портрету... С. 72—119.

[7] Упомянуты: издательство «Academia» (1922—1937); «Издательство братьев Сабашниковых» (1891—1934); «Красный архив» — исторический журнал, издававшийся в Москве в 1922—1941 годах; «Звенья» — серия сборников «материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX в.», выходила под редакцией В. Д. Бонч-Бруевича и А. В. Луначарского в 1932—1951 годах.

[8] Скорее всего, С. А. Макашин сознательно допускает неточность: лозунг «учебы у классиков» был выдвинут в 1927 году критиками журнала «На литературном посту», позднее объединившимися в РАПП, и активно дискутировался до 1931 года. Под «учебой у классиков» рапповцы понимали прежде всего усвоение приемов и методов писателей XIX века в сочетании с коммунистической идеологией. «Нигилистическое» же отношение Пролеткульта к классическому наследию было еще в 1922 году осуждено советской и партийной печатью. Ко времени выхода № 1 «ЛН» в 1932 году дискуссия об «учебе у классиков» утратила свою актуальность, а вскоре апрельским постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» РАПП, Пролеткульт и другие организации были расформированы. В предисловии к первому выпуску «ЛН» обращение к классическому наследию увязывалось с ленинскими статьями и выступлениями (в частности, против Пролеткульта), разоблачались «контрреволюционная» деятельность Пушкинского Дома, занимающегося «печатанием материалов, относящихся к буржуазно-дворянской линии истории литературы» и провозглашалось, что новое издание должно стать не «убежищем „архивных крыс"», а «боевым большевистским органом, достойным тех задач, которые ставят перед наукой партия и рабочий класс». В своих воспоминаниях С. А. Макашин так характеризовал это предисловие: «...мне стыдно сейчас вспоминать [его], стыдно его смотреть: до такой степени оно покрыто темной, так сказать, печатью рапповщины. И тут парадокс заключается в том, что рапповщина, как известно, весьма нигилистично относилась все-таки к литературному наследию прошлого, классики, отрицала необходимость изучения XVIII века и так далее и так далее, то есть как раз то, чем мы стали заниматься в „Литературном наследстве". Ну, это была печать времени, неизбежная печать, и тут можно даже не

особенно предъявлять им упреки, потому что так распределила, действительно, история, когда других не было» (Отдел устной истории Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова. № 871). Автором предисловия С. А. Макашин называл И. Ипполита.

[9] Имеется в виду том 90 «У Толстого (1904—1910). Яснополянские записки Д. П. Маковицкого» (в 5 книгах, 1979—1981).

[10] *Кольцов М.* Важный кирпич // Правда. 1926. 5 марта.

[11] *Полевая П.* Каждый том — открытие: К 45-летию издания «Литературного наследства» // В мире книг. 1976. № 10. С. 52—54.

[12] Речь идет о Собраниях сочинений А. И. Герцена в 30 томах (1954—1966) и М. Е. Салтыкова-Щедрина в 20 томах (1965—1977; главный редактор С. А. Макашин). В 1963 году вышел том 71 «ЛН» «В. А. Слепцов: Неизвестные страницы».

[13] Упомянутые публикации появились соответственно в томах 41—42 («А. И. Герцен»), 11—12 («Щедрин») и 83 («Неизданный Достоевский: Записные книжки и дневники (1860—1881 гг.)»). Козьмин Борис Павлович (1883—1958) — историк, литературовед, сотрудничал с «ЛН» с 1933 года; Лаврецкий А. (наст. имя: Иосиф Моисеевич Френкель, 1893—1964) — критик и литературовед, в 1930—1940-е годы опубликовал в «ЛН» несколько статей о В. Г. Белинском, М. Е. Салтыкове-Щедрине, А. И. Герцене, Н. А. Некрасове; Розенблюм Лия Михайловна (род. 1922) — литературовед, в «ЛН» с 1955 года, с 1987 года — член редколлегии.

[14] Письмо А. М. Горького в «ЛН» от 30 марта 1932 года опубликовано в № 4 «Бюллетеня Журнально-газетного объединения РСФСР» за 1932 год под названием «Советы М. Горького „Литературному наследству"»; полный текст: Лит. наследство. Т. 95. С. 5—6.

[15] Ольминский (Александров) Михаил Степанович (1863—1933) — деятель революционного движения, соратник В. И. Ленина.

[16] Публикация «Письмо Белинского к Гоголю» появилась в 1950 году в томе 56 за подписью К. П. Богаевской. Первоначально критически установленный Ю. Г. Оксманом текст письма предполагалось опубликовать в томе 55, но главный редактор «ЛН» П. И. Лебедев-Полянский категорически запретил упоминать имя Ю. Г. Оксмана, и работа была снята на этапе корректуры (см.: *Азадовский М. К., Оксман Ю. Г.* Переписка. 1944—1954 / Изд. подг. К. Азадовский. М., 1998. С. 64—65). В следующем томе, несмотря на старания С. А. Макашина и И. С. Зильберштейна, имя истинного автора публикации восстановлено не было — текст был напечатан с предисловием К. П. Богаевской и комментарием Я. З. Черняка. См. также в письмах К. П. Богаевской Ю. Г. Оксману от 3 февраля 1949 года и Ю. Г. Оксмана К. П. Богаевской от 13 февраля 1949 года: Новое литературное обозрение. 1998. № 29. С. 127—128. Монографическая статья Ю. Г. Оксмана «Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ», включающая текстологический анализ всех дошедших до нас списков документа, а также его историко-литературную характеристику, была опубликована два года спустя (Ученые записки Саратовского Государственного университета. 1952. Т. XXXI (вып. филолог.). С. 111—204).

[17] Без малого пятьдесят рецензий Белинского за 1830—1840-е годы были републикованы в томах 55 и 56 Л. Р. Ланским, К. П. Богаевской, В. М. Жирмунским, Ю. И. Масановым, С. И. Машинским, Э. Э. Найдичем, М. Я. Поляковым, Н. А. Соколовым и В. С. Спиридоновым. «Описание книг библиотеки Белинского» было составлено Л. Р. Ланским и появилось с его предисловием в томе 55.

[18] Имеются в виду тома 49—50, 51—52, 53—54 «Н. А. Некрасов», выходившие в 1946—1949 годы. Эпистолярное наследие поэта было напечатано во втором «некрасовском» томе, а «Описание книг из библиотеки Некрасова», подготовленное Н. С. Ашукиным, в третьем.

[19] Речь идет о томе 25—26 (1936), посвященном Н. А. Добролюбову, Н. Г. Чернышевскому и др. Упомянутая статья Н. Г. Чернышевского подготовлена Н. М. Чернышевской. Письмо-памфлет Н. А. Добролюбова, явившееся ответом на статью Н. И. Греча «18 февраля 1855 года» и подписанное «Анастасий Белинский» (т. е. «Воскресший Белинский»), было опубликовано Б. П. Козьминым в томе 57 в 1951 году.

[20] Упомянутые публикации подготовлены соответственно В. И. Невским и Я. Е. Эльсбергом (предисловие А. В. Луначарского).

[21] Возможно, речь идет об устном отзыве М. С. Ольминского.

[22] О своем знакомстве с М. С. Ольминским и его участии в подготовке «щедринских» томов, а также об отношении Н. К. Крупской к этим томам, С. А. Макашин вспоминал: «„Литературное наследство" было учреждено как орган РАПП и Института ЛИЯ Комакадемии. Соответственно, редколлегия первых номеров была рапповской: Л. Авербах, И. Ипполит (Ситковский) и Ф. Раскольников. Последний, правда, принадлежал РАПП лишь формально. Зато И. Ипполит был рапповцем, что называется, чистой воды и вместе с тем деятелем, „стоявшим на страже". ⟨...⟩ В качестве главного редактора И. Ипполит запретил печатание моего уже набранного и сверстанного обзора («Судьба литературного наследства М. Е. Салтыкова-Щедрина» — *прим. коммент.*). Причина запрещения заключалась в том, что я был недавно репрессирован. Ф. Раскольников был против такого решения, Л. Авербах колебался и задумал посоветоваться с М. Ольминским... Ему и был послан мой обзор. Не только эмоциональные, но и практические результаты первой же встречи с М. Ольминским оказались весьма значительными для меня. Во-первых, Михаил Степанович высоко оценил мою работу... и тем снял наложенный на нее

И. Ипполитом запрет. Обзор был напечатан в ближайшем же, 3-м номере „Литературного наследства" (вышел в свет летом 1932 года). Во-вторых, был одобрен возникший у меня замысел специального „щедринского" тома (в ходе работы он скоро превратился в два «щедринских» тома). ⟨...⟩ Надежду Константиновну заинтересовали помещенные в первом томе материалы о Щедрине и Ленине. „Указатель" цитат из Щедрина в ленинских сочинениях не вызвал каких-либо замечаний. Возражения были сделаны по поводу некоторых выводов в упомянутых выше сопроводительных статьях (имеются в виду статьи М. В. Нечкиной «Щедрин у Ленина» и Г. Е. Зиновьева «Большевики о наследстве Щедрина» — *прим. коммент.*). „Эта арифметическая методология, — говорила Надежда Константиновна, — невольно приводит читателя к мысли, что Владимир Ильич лучше всего знал в русской литературе Щедрина и чаще всего обращался к его произведениям, что неверно... Авторы сопроводительных статей и комментариев к «Указателю», видимо, не принимают в расчет, что Щедрина, как крупнейшего писателя — обличителя существовавшего строя, широко цитировали все литераторы левого оппозиционного лагеря... Но делать отсюда выводы о каком-то исключительном предпочтении Щедрина по отношению ко всем другим писателям неправильно"» (*Макашин С.* Изучая Щедрина: (Из воспоминаний) // Вопросы литературы. 1989. № 5. С. 131—132, 133, 147—148).

[23] А. И. Герцену и Н. П. Огареву посвящены тома 39—40, 41—42 («А. И. Герцен», 1941), 61—63 («Герцен и Огарев», 1953—1956), 64 («Герцен в заграничных коллекциях»), 96 («Герцен и Запад», 1985) и 99 («Герцен и Огарев в кругу родных и друзей», в двух книгах, 1997).

[24] Л. Н. Толстому посвящены тома 35—36, 37—38, 69 (в двух книгах), 75 («Толстой и зарубежный мир», в двух книгах), 90 («„У Толстого". 1904—1910. „Яснополянские записки" Д. П. Маковицкого») и 94 («Первая завершенная редакция романа „Война и мир"»).

[25] «ЛН» приняло участие в послевоенной судьбе Русского зарубежного исторического архива. И. С. Зильберштейн вспоминал, что, узнав о том, что советские войска 4 мая 1945 года вошли на территорию Чехословакии в районе города Оломоуца, он в тот же день обратился с запиской о судьбе пражского архива к президенту АН СССР С. И. Вавилову (см.: *Зильберштейн И. С.* Парижские находки: Эпоха Пушкина. М., 1993. С. 12). С. И. Вавилов впоследствии ходатайствовал о включении И. С. Зильберштейна в комиссию по приему архива, но в ЦК ВКП(б) отклонили эту просьбу. В статье «И. С. Зильберштейн и возвращение в Россию культурных ценностей» А. Н. Артизов пишет: «Представители НКВД И СМЕРШа... появились в Тосканском дворце в Праге, где располагались основные фонды РЗИА, уже 10—12 мая 1945 г. 13 июня 1945 г. правительство Чехословацкой республики постановило передать РЗИА Академии Наук СССР в честь ее 220-летия. Вслед за контрразведчиками и чекистами в Прагу для приемки архива приехала комиссия во главе с начальником ГАУ НКВД СССР И. И. Никитинским (на его назначении руководителем комиссии настоял Л. П. Берия), состоявшая из архивистов и представителей Академии Наук — члена-корреспондента АН СССР С. К. Богоявленского и И. И. Минца... Акт о передаче архива в дар Советскому Союзу премьер-министр Чехословакии З. Филингер вручил комиссии 6 декабря 1945 г.» (И. С. Зильберштейн. Штрихи к портрету... С. 46). После того как судьба РЗИА была решена, И. С. Зильберштейн обращался к С. И. Вавилову с запиской «О произведениях искусства и документальных фондах по истории русской культуры, находящихся в Чехословакии» (предположительно октябрь 1945 года), где, в частности, говорилось: «Еще задолго до освобождения нашими войсками Праги в подробной докладной записке, переданной Вам, я дал характеристику Русскому заграничному архиву и писал о том, что предстоящим вступлением Красной Армии в Прагу можно воспользоваться, чтобы перевести в СССР этот самый больший из числа сохранившихся на Западе фонд архивных материалов, собранных русской эмиграцией. ⟨...⟩ Но Русский заграничный исторический архив является лишь частью того, что находится в Чехословакии и имеет прямое отношение к прошлому нашей страны и что можно различными путями вновь сделать достоянием русского народа и русской культуры» (Там же. С. 55—56). В это же время в Праге находился С. А. Макашин, попавший туда в качестве военнослужащего Советской Армии. Летом 1945 года он познакомился там с заведующим архивом А. Ф. Изюмовым. С января 1946 года «Пражская коллекция» находилась в ЦГАОР СССР. В ЦГАЛИ поступила значительная часть материалов РЗИА, в том числе составивших фонд «Заграничный архив А. И. Герцена и Н. П. Огарева».

[26] Имеются в виду собрания Международного Института социальной истории (Амстердам), куда передал свой архив сын А. А. Герцена Владимир, Национальной библиотеки (Париж), куда поступила часть личного архива Н. А. Герцена, и Публичной и университетской библиотеки (Женева), купившей часть герценовского архива у родственников его внука Николая. Подробнее об этом см.: *Попов А. В.* Архивное наследие А. И. Герцена на родине и за рубежом // Герценовские чтения VIII: Материалы научной конференции. Киров, 2002. С. 6—12. О личном вкладе С. А. Макашина в дело воссоединения архива Герцена и Огарева см., в частности: *Житомирская С. В.* Судьба архива Герцена и Огарева // Лит. наследство. Т. 96. С. 549—640.

[27] «Неизданные „Философические письма" Чаадаева» опубликованы В. Ф. Асмусом и Д. И. Шаховским в томе 22—24.

[28] Публикация «Французская революция 1789 г. в донесениях русского посла в Париже И. М. Симолина» (в томе 29—30) подготовлена Н. М. Лукиным, Е. В. Александровой и

О. А. Старосельской. Значительную часть второго «русско-французского» тома 31—32 занимало исследование Л. П. Гроссмана «Бальзак в России».

[29] «Путевые письма И. А. Гончарова из кругосветного плавания» подготовил и прокомментировал Б. М. Энгельгардт (том 22—24).

[30] Материалы из собрания народных песен П. В. Киреевского, открытые в конце 1950-х годов П. Д. Уховым, составили 79-й том «Песни, собранные писателями».

[31] Имеются в виду тома 70 («Горький и советские писатели»), 74 («Из творческого наследия советских писателей»), 78 («Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны»), 84 («Иван Бунин») и 85 («Валерий Брюсов»).

[32] Речь идет об уже упоминавшихся выше собраниях, а также о материалах, хранящихся в Библиотеке Фельтринелли (Милан), Музее Рисорджименто (Милан), Музее города Рима, Британском Музее (Лондон), Колумбийском Университете (США), получившем часть герценовского архива от младшей дочери Герцена Ольги Моно в 1952 году.

[33] В ОР ГБЛ поступили, в частности, копии писем и рукописей А. И. Герцена из Амстердама, коллекция фотографий, связанных с перенесением праха Н. П. Огарева из Лондона в Москву, копии материалов А. И. Герцена из Национальной библиотеки Парижа, Британского Музея, Бодленской библиотеки в Оксфорде.

[34] После выхода «бунинского» тома в ЦГАЛИ и Музей писателей-орловцев в 1974 году были переданы несколько десятков документальных материалов и иллюстраций (в том числе, не вошедшие по цензурным причинам в том воспоминания писателей-эмигрантов о И. А. Бунине); бунинские материалы были переданы также в НИОР РГБ. О материалах Е. И. Замятина см. прим. 4 к документу 2, раздел 4.

[35] Шиллер Франц Петрович (1898—1955) — литературовед, специалист по западноевропейской литературе. В первых томах «ЛН» подготовил публикации «Фридрих Энгельс о литературе» и «Фридрих Энгельс о Бальзаке».

[36] Габричевский Александр Георгиевич (1891—1968) — искусствовед, литературовед, переводчик. В томе 4—6 «Гете» опубликовал обзор «Автографы Гете в СССР». Жирмунский Виктор Максимович (1891—1971) — историк английской и немецкой литературы, стиховед, лингвист; автор статьи «Гете в русской поэзии» в этом же томе.

[37] Григорий Александрович Гуковский (1902—1950) — литературовед. О нем и «ЛН» см.: *Костин А. А.* Изучение русской литературы XVIII века в 1930-е годы: (Переписка редакции «Литературного наследства» с Г. А. Гуковским и другими авторами) // Русская литература. 2009. № 2. С. 104.

[38] Гиппиус Василий Васильевич (1890—1942) — литературовед и переводчик. Иванов-Разумник (Иванов) Разумник Васильевич (1878—1946) — критик, историк литературы. Арестован в феврале 1933 года по фальсифицированному политическому обвинению и три года находился в ссылке в Саратове, поэтому подготовленные им публикации М. Е. Салтыкова-Щедрина в первом «щедринском» томе (1933) — статьи и хроники из цикла «Наша общественная жизнь» — появились без подписи. Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959) — литературовед. Яковлев Николай Васильевич (1891—1981) — историк русской литературы XIX века.

[39] Сиверс Александр Александрович (1866—1954) — генеалог, нумизмат, коллекционер. Мирский (Святополк-Мирский) (1890—1939) — литературный критик. Томашевский Борис Викторович (1890—1957) — литературовед. Мазон Андре (Mazon Andre, 1881—1967) — французский славист, многолетний автор и партнер «ЛН», см. его переписку с И. С. Зильберштейном: *Решетникова И. Л.* Русско-французские культурные связи: И. С. Зильберштейн и А. Мазон // И. С. Зильберштейн: Штрихи к портрету... С. 163—206.

[40] Мордовченко Николай Иванович (1904—1951) — историк литературы, текстолог.

[41] Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич (Максимов, 1883—1955) — историк литературы и журналистики XIX века, один из основоположников советского некрасоведения. Рейсер Соломон Абрамович (1905—1989) — литературовед, библиограф. Чуковский Корней Иванович (Корнейчуков Николай Васильевич, 1882—1969) — писатель, литературный критик, переводчик.

[42] Волгин Вячеслав Петрович (1879—1962) — историк, общественный деятель, главный редактор Собрания сочинений А. И. Герцена в 30-ти томах (1954—1966). Нечкина Милица Васильевна (1901—1985) — историк русского революционного движения и общественной мысли XIX века. Черняк Яков Захарович (Бер Хаимович, 1898—1955) — историк, литературовед.

[43] Гусев Николай Николаевич (1882—1967) — историк литературы, секретарь и биограф Л. Н. Толстого. Жданов Владимир Александрович (1898—1977) — литературовед, текстолог. Зайденшнур Эвелина Ефимовна (1902—1985) — текстолог, редактор, архивист. Ломунов Константин Николаевич (1911—2005) — писатель, историк литературы. Громова-Опульская Лидия Дмитриевна (1925—2003) — литературовед. Шифман Александр Иосифович (1907—1993) — историк литературы.

[44] Леонов Леонид Максимович (1899—1994) — писатель, автор «Слова о Толстом», опубликованного в томе 69 («Лев Толстой»). Федин Константин Александрович (1892—1977) — писатель. Его «Слово о Чехове» открывает том 60 («Новое о Чехове»). Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915—1979) — писатель. Сурков Алексей Александрович (1899—1983) —

писатель. В соавторстве с Н. С. Тихоновым и А. А. Сурковым К. М. Симонов написал предисловие к тому 78 («Советские писатели на фронтах Великой Отечественной Войны»). Об участии К. М. Симонова в работе над этим томом, а также в подготовке неосуществленного «булгаковского» тома, см.: *Трифонов Н.* Его дружба с «Литературным наследством»: (К 80-летию со дня рождения К. М. Симонова) // Филологические науки. 1996. № 3. С. 90—93.

[45] Пропуск в тексте. К. П. Богаевская работала в «ЛН» с 1949 года, а это значит, что к 1982 году стаж ее работы в «ЛН» насчитывал 33 года.

[46] В разные годы в редакции «ЛН» работали или сотрудничали с ней литературоведы: Андроников Ираклий Луарсабович (1908—1990) — ленинградский представитель «ЛН» в начале 1930-х годов; Роскина Наталия Александровна (1927—1989), в «ЛН» в 1951—1959 годах; Богаевская Ксения Петровна (1911—2002), в «ЛН» в 1949—1990-х годах; Дубовиков Алексей Николаевич (1905—1984), в «ЛН» в 1954—1979 годах; Эфрос Наталья Давыдовна (1892—1989), в «ЛН» в 1933—1941 и 1946—1978 годах; Сергиевский Иван Васильевич (1905—1954), в «ЛН» в 1933—1940-х годах; Жданов Владимир Викторович (1911—1981), в «ЛН» в конце 1930—1940-х годах; Динесман Татьяна Георгиевна (род. 1921), в «ЛН» с 1968 года; Ланский (Каплан) Леонид Рафаилович (1913—2000), в «ЛН» в 1946—1998 годах; Трифонов Николай Алексеевич (1906—2000), в «ЛН» в 1961—1989 годах; Благоволина Юлия Павловна (1928—2005), в «ЛН» в 1978—2005 годах; Коляда Елена Григорьевна (1927—1992), в «ЛН» в 1980—1992 годах.

[47] Анисимов Иван Иванович (1899—1966) — директор ИМЛИ в 1952—1966 годах и главный редактор «ЛН» в 1961—1966 годах; Бердников Григорий Павлович (1905—1989) — директор ИМЛИ в 1977—1987 годах и член редколлегии «ЛН» в 1979—1989 годах; Благой Дмитрий Дмитриевич (1893—1984) — член редколлегии «ЛН» в 1961—1983 годах; Бушмин Алексей Сергеевич (1910—1983) — директор ИРЛИ в 1950—1951 и 1978—1983 годах и член редколлегии «ЛН» в 1960—1968 годах; Виноградов Виктор Владимирович (1895—1969) — академик-секретарь Отделения литературы и языка АН СССР в 1950—1963 годах и главный редактор «ЛН» в 1956—1960 годах; Лебедев-Полянский (Лебедев) Павел Иванович (1882—1948) — главный редактор «ЛН» в 1934—1948 годах; Муратова Ксения Дмитриевна (1904—1998) — член редколлегии «ЛН» в 1960—1990-х годах; Палиевский Петр Васильевич (род. 1932) — заместитель директора ИМЛИ по науке в 1977—1995 годах и член редколлегии «ЛН» с 1979 года; Тимофеев Леонид Иванович (1904—1984) — член редколлегии «ЛН» в 1961—1984 годах; Храпченко Михаил Борисович (1904—1986) — заместитель главного редактора «ЛН» в 1934—1939 годах и член редколлегии в 1956—1985 годах; Щербина Владимир Родионович (1908—1989) — заместитель директора по науке в 1953—1988 годах, и. о. директора ИМЛИ в 1966—1968 и 1974—1975 годах, главный редактор «ЛН» в 1967—1989 годах.

[48] Из академиков-секретарей Отделения в редколлегию «ЛН» в разное время входили В. В. Виноградов и М. Б. Храпченко.

[49] Возможная аберрация: известен отзыв Н. М. Карамзина о поэтессе А. П. Буниной («Ни одна женщина не писала у нас так сильно»), приведенный, в частности, в очерке И. А. Бунина «Семеновы и Бунины» (1932) и в томе 91 «ЛН» (с. 255). Отзыв Бунина о письмах Карамзина не известен.

[50] Архив братьев Н. И., А. И. и С. И. Тургеневых находится в ОР ИРЛИ.

[51] Архивные фонды С. А. Соболевского, В. Ф. Одоевского и А. А. Краевского сосредоточены, в основной своей части, в РГАЛИ, ОР ИРЛИ и ОР РНБ; собрание А. П. Елагиной и И. В. и П. В. Киреевских — в НИОР РГБ.

[52] О проекте «замятинского» тома см. ниже. Работа над томами, посвященными С. А. Есенину и А. Т. Твардовскому, в 1970-е годы не вышла за рамки устных обсуждений и контактов с комиссиями по литнаследству. В своем отчете за 1986 год С. А. Макашин писал о есенинском томе: «План тома разработан при участии Ю. Прокушева. Но в настоящем виде он неудовлетворителен. Мало интересных документальных материалов. В основном документальный фонд тома состоит из воспоминаний и нескольких писем. Для окончательного решения вопроса о „есенинском" томе нужно еще подождать обещанных Ю. Прокушевым новых материалов» (Архив «ЛН»). По устному свидетельству В. А. Твардовской, «ЛН» интересовал дневник А. Т. Твардовского, публикация которого стала возможна лишь в последнее время, см.: *Твардовский А.* «Я в свою ходил атаку...»: Дневники. Письма. 1941—1945. М., 2007; *Твардовский А.* «Новомирский дневник». В 2 т. М., 2010.

[53] Алексеев Михаил Павлович (1896—1981) — литературовед, специалист по русской и западноевропейской литературам. Его монография «Русско-английские литературные связи (XVII — первая половина XIX века)» составила том 91. Переписка его с И. С. Зильберштейном: *Евстигнеева А. Л.* Полвека совместного труда: Из переписки И. С. Зильберштейна и М. П. Алексеева // И. С. Зильберштейн: Штрихи к портрету... С. 261—351.

[54] Работа над томом «Русская культура и Италия» (под редакцией З. М. Потаповой, от «ЛН» — А. Н. Дубовиков) шла во второй половине 1970-х годов. После сбора материалов «ЛН» решило отказаться от подготовки этого тома; материалы его хранятся в ОРиХИ ИМЛИ (Ф. 575, не разобран) и Архиве «ЛН».

[55] Проект «русско-немецкого» тома был разработан С. В. Тураевым, но работа над ним развернута не была. Под «молодым испанистом» подразумевается Всеволод Евгеньевич Багно

(род. 1951), в то время — младший научный сотрудник Сектора взаимосвязей русской и зарубежных литератур ИРЛИ.

[56] В начале 1980-х годов тогдашний директор «Науки» Г. Д. Комков пытался провести реорганизацию научного книгоиздания, предусматривающую, в частности, сокращение репертуара и тиража изданий, снижение гонораров и т. п. (см. доклад Г. Д. Комкова и дискуссию в Президиуме АН СССР: О совершенствовании издательской деятельности Академии // Вестник АН СССР. 1982. № 2). Попытки ввести лимит в 15 % на объем комментария и снизить гонорарные ставки авторам вызвали протест «ЛН» и обращения к Г. Д. Комкову академика А. Л. Яншина, тогдашнего главного редактора «ЛН» В. Р. Щербины и др. (см., например, письма А. Л. Яншина (середина января 1981 года) и В. Р. Щербины (26 октября 1981 года): РГАЛИ. Ф. 3290, не разобран; ОРиХИ ИМЛИ. Ф. 575, не разобран). В разгар этого противостояния Г. Д. Комков обратился с неофициальным письмом к вице-президенту АН СССР П. Н. Федосееву (не позднее 2 апреля 1981 года), в котором обращал его внимание на уменьшение в «ЛН» «удельного веса» документальных публикаций и увеличение «объема интерпретаций» (в качестве примера приводились том 91, «представляющий собой монографию» М. П. Алексеева, и первые две книги «блоковского» тома 92), сообщал о вопиющих случаях сверхнормативной правки и «недостаточной требовательности при подборе авторов различных статей и комментариев»: «Так, один из авторов 92-го тома (Азадовский) привлечен к уголовной ответственности за антигосударственную деятельность, что повлекло за собой значительные выдирки в книге» (Архив «ЛН»; о «ЛН» и «деле» К. М. Азадовского см.: *Дедюлин С. В.* «Мы живем в век юбилеев» // Русская мысль (Париж). 1981. 4 июня).

[57] «Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur» (*лат.*). Высказывание принадлежит римскому историку Гаю Саллюстию Криспу.

2

С. А. МАКАШИН — СЕКРЕТАРИАТУ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Значительное место в деятельности «ЛН» как научной институции занимал поиск (прежде всего — с целью дальнейшей публикации) архивных материалов за рубежом. Связи с иностранными архивами и специалистами установились еще в начале 1930-х годов и прерывались только на время «холодной войны».

В 1967 году по инициативе А. К. Бабореко С. А. Макашин вместе с сотрудником «ЛН» А. Н. Дубовиковым начали подготовку тома «Иван Бунин» (вышел в 1973 году). Неизбежно встал вопрос о зарубежном архиве И. А. Бунина.

К тому времени вопрос о передаче его в СССР обсуждался в советских верхах (а затем — и в руководстве Союза писателей СССР) не менее 12 лет. Вдова И. А. Бунина В. Н. Муромцева-Бунина успела передать лишь некоторые материалы в советские архивы; после ее кончины, как известно, владельцем архива стал Л. Ф. Зуров. Именно с ним (а затем и с М. Грин, которой отошел архив от Л. Ф. Зурова) С. А. Макашин и вел переговоры как во время своих командировок в Париж в 1968 и 1970 годах,[1] так и в письмах;[2] привлек он к переговорам и некоторых эмигрантов — авторов бунинского тома;[3] неоднократно обращался и в Посольство СССР в Париже, и в Союз писателей СССР.

Политическая конъюнктура, которая в значительной мере определяла интерес советских руководящих инстанций к бунинскому архиву, была вне

---

[1] Одна из его встреч с Л. Ф. Зуровым даже получила беллетристическое описание, см.: *Лавров В.* 1) Судьба архива // Голос Родины. 1984. № 29 (Июль); 2) «В мире круга земного»: За строкой автографа И. А. Бунина // Альманах библиофила. М., 1985. Вып. 19. С. 232.

[2] Переписка С. А. Макашина и А. Н. Дубовикова с Л. Ф. Зуровым сохранилась в ОРиХИ ИМЛИ (Ф. 575, не разобран) и в Архиве-музее Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына (Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 61).

[3] В ОРиХИ ИМЛИ (Ф. 575, не разобран) сохранилась переписка С. А. Макашина по этому поводу с Н. В. Кодрянской, Г. Н. Кузнецовой и С. Ю. Прегель, а также с А. Я. Полонским.

интересов С. А. Макашина. «Когда я вижу за границей принадлежащие русской литературе архивы и бумаги, находящиеся в условиях фамильно-наследного квартирного хранения, полного случайностей, я испытываю чувство величайшей тревоги и горечи, — писал он позднее в частном письме. — Ведь в самом лучшем случае эти бумаги, раньше или позже, попадут на постоянное хранение в один из западно-европейских или американских архивных учреждений и будут таким образом навсегда изъяты из русского национального фонда культуры. ⟨...⟩ Мой 45-летний опыт работы в „Литературном наследстве" печально обогащен знанием обширного мартиролога частных архивных собраний — советских и зарубежных — погибших или распавшихся и практически утраченных для национальной культуры».[4]

Ниже публикуется одно из первых обращений С. А. Макашина по поводу бунинского архива к руководству Союза писателей СССР.

---

[4] Из письма Т. А. Осоргиной-Бакуниной от 12 февраля 1977 года: НА ТГОМ. Р-13. Оп. 1. № 479.

К. А. Федину
Г. М. Маркову
К. В. Воронкову[1]

Уважаемые товарищи!

Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой вернуться к старому вопросу о парижском архиве И. А. Бунина и изыскать пути и средства к положительному решению этого трудного, но очень важного дела.

Речь идет о судьбе бумаг, книг, а также иконографических материалов Бунина и его жены Веры Николаевны Буниной, хранящихся по завещанию последней у писателя Л. Ф. Зурова,[2] жившего в семье Буниных с 1929 г. на правах приемного сына.

Не входя в подробности истории вопроса, хорошо известные руководству Союза Писателей, напомню о главнейшем.

После смерти Бунина (1953 г.) его вдова, в ответ на соответствующее обращение к ней, передала в Советский Союз часть автографов Бунина (черновые рукописи «Жизни Арсеньева», «Митиной любви» и некоторых рассказов). Специалисты знали, что переданные рукописи составляли весьма малую часть бунинского архива и что большая и ценнейшая его часть осталась по воле В. Н. Буниной в распоряжении Зурова. Руководство Союза Писателей предприняло ряд попыток получить эту часть архива. Зуров ссылался на предсмертную волю В. Н. Буниной, которая ставила условием приобретения архива Советским Союзом одновременное приобретение также мемориально-музейного комплекса парижской квартиры Бунина. Переговоры с Зуровым тянулись с начала 1962 г. до конца 1964 г., но не привели к положительному результату. В ходе переговоров у советской стороны возникли подозрения в том, что либо у Зурова ничего ценного в «остатках» бунинского архива и не было, либо он все важное уже распродал. Подозрения эти возникли у специально ездивших к Зурову В. Ажаева и Л. Никулина[3] (во всяком случае, последний говорил мне лично об этих подозрениях). Основаниями для подозрений явились, видимо, два обстоятельства: 1) Зуров почти ничего не показал Ажаеву и Никулину из материалов и 2) Зуров категорически отказывался от предложений предварительно разобрать архив с помощью советских специалистов, составить описание бумагам и дать им оценку.

За время своего краткого пребывания в Париже в минувшем декабре я был у Зурова. Непосредственной целью моего визита было выяснение возможности участия Зурова в документальных публикациях подготавливаемого к изданию под редакцией моей и А. Н. Дубовикова большого «бунинского» тома «Литературного наследства». Но то, что я и жена моя увидели у Зурова, живущего в одной из комнат бывшей бунинской квартиры, и то, что мы услышали от него, далеко выходит по своей важности за рамки публикаторских интересов «Литературного наследства» и должно, на мой взгляд, привлечь внимание руководства Союза Писателей. Вот вкратце главные впечатления и выводы, которые можно сделать после визита к Зурову.

1

В распоряжении Зурова бесспорно продолжает и по сей день находиться обширное собрание рукописей, документов, книг, журнальных ⟨и⟩ газет⟨ных⟩ вырезок и прочих материалов, принадлежащих трем архивам: 1) И. А. Бунина, 2) В. Н. Буниной (также отличной писательнице) и 3) самого Л. Ф. Зурова (в дальнейшем обозначаю эти три собрания словами «бунинский архив»).

В парижском архиве Бунина находятся, в частности:

1) Рукописи многих художественных и литературно-критических произведений Бунина, среди которых есть и неизданные.

2) Дневники Бунина за многие годы.

3) Собрание сочинений Бунина, изд. «Петрополиса», в 11 томах с обширной авторской правкой, сделанной незадолго до смерти писателя и с его завещательным указанием, что правка эта (весьма обширная) выражает его последнюю авторскую волю.

4) Опубликованные стихотворения с авторской правкой, а также автографы ряда неопубликованных стихотворений.

5) Рукопись неопубликованного перевода «Гамлета».

6) Наброски начатой книги по Лермонтову.

7) Рукописи «Темных аллей».

8) Большое количество (много сотен) писем к Буниным, в которых, по выражению Зурова, «вся жизнь их».

9) Обширное собрание газетно-журнальных вырезок, содержащих первопечатные публикации произведений Бунина, также отзывы критики о творчестве Бунина (Бунин намеревался издать «критику о себе» в двух томах).

10) Деловые бумаги Бунина.

11) Собрания материалов, относящихся к получению Буниным Нобелевской премии.

12) Дневники В. Н. Муромцевой, начиная с жизни в России — драгоценный источник для биографии не только самого Бунина, но и его окружения его времени.

13) Альбом В. Н. Буниной, с большим количеством записей в нем самого Бунина, Куприна, Зайцева, Алданова, Шмелева, Рахманинова и многих других.

14) Множество писем Бунина к жене за 1906—1935 гг.

Часть перечисленных материалов в единичных образцах была продемонстрирована мне Зуровым. По возвращении в Москву я попросил наших известных буниноведов А. К. Бабореко и Н. П. Смирнова,[4] многие годы переписывающихся с Л. Ф. Зуровым, извлечь из этой переписки все сведе-

ния о хранящихся у него материалах. Сведения эти в главном и основном совпали с тем, с чем я имел возможность (повторяю — избирательно) познакомиться или услышать из уст Зурова месяц тому назад. «Свидетельские показания» А. К. Бабореко и Н. П. Смирнова я прилагаю к настоящему письму.[5]

2

Мемориально-бытового комплекса обстановки и вещей из квартиры Бунина, о покупке которых шли переговоры в 1962—1964 гг., больше не существует. Произошло это более чем печальное событие таким образом. После смерти Веры Николаевны и требования управляющего домом освободить бунинскую квартиру, Зуров перевез всю обстановку на склад. В течение ряда лет он платил за хранение вещей, но некоторое время тому назад вынужден был за отсутствием средств прекратить платежи. Все вещи погибли. Единственно, что сохранилось, лишь письменный стол Бунина. Он был выкуплен со склада парижско-русской поэтессой Величковской[6] и составляет теперь ее собственность.

Но портреты и фотографии, висевшие на стене квартиры, также как и вещи, находившиеся на столе Бунина, Зуров сохранил, хотя, по-видимому, и не все. Но и то, что осталось, представляет большую музейную ценность.

3

В гибели мемориального комплекса квартиры Бунина Зуров, по-видимому, винит советскую сторону (прямо этого он не говорит, однако). Так или иначе, он считает, что в связи с этой гибелью оказалась нарушенной предсмертная воля Веры Николаевны Буниной не разрознивать архив и вещи, но хранить их вместе. Данное обстоятельство, по мнению Зурова, освобождает его от обязательности переговоров о судьбе архива с советской стороной. Вместе с тем он не раз выражал в беседе согласие с моими доводами, что местом постоянного хранения бунинского архива должна быть Родина писателя.

4

Из некоторых намеков Зурова можно, кажется, сделать заключение, что Вера Николаевна сама внушила ему надежду (повторяю — он жил в семье на правах приемного сына), что бунинский архив поможет ему в его трудных материальных обстоятельствах. И поскольку соглашение с советской стороной не состоялось, Зуров, по-видимому, разрешил себе начать понемногу делать изъятия из архива, правда, не самых ценных материалов. Во всяком случае он сказал мне, что накануне моего визита он продал некоему американцу за 1200 долларов 12 писем Марины Цветаевой к Вере Николаевне.[7] Факт этот был приведен, по-видимому, в качестве примера того, на каких, примерно, условиях Зуров готов и теперь продать нам архив: «деньги на бочку и забирайте все, что есть у меня»; впрочем, это мои слова, а не Зурова, но они рельефнее резюмируют его мысль. При этом Зуров не раз возвращался к тому, что ни его настроение, ни его здоровье, ни помещение (комната в пять-шесть кв. метров), ни желания закончить большую творче-

скую работу не позволяют ему принять наши предложения о предварительном изучении архива, составлении его описи и прочих «бюрократических процедурах».

Помимо начавшейся утечки материалов в руки частных коллекционеров, архиву Бунина угрожает опасность и физической гибели. Трудно описать то гнетущее впечатление, которое произвели на меня условия, в которых хранятся материалы. Как сказано, Зуров живет в маленькой комнатушке-закутке. Ночует же он в соседней ванной комнате. Рукописи и книги находятся не только на столе, который служит и обеденным, и не только на полках, но и прямо на полу. Все это покрыто слоями пыли и грязи. Зуров — человек совершенно одинокой и больной. Он болен не только физически, но и психически. Как узнал в Париже, он довольно частый пациент психиатрической больницы. Кстати, данное обстоятельство само по себе весьма затрудняет переговоры с Зуровым. В разговоре он предельно рассредоточен, возбужден и как только доходит дело до конкретных предложений, он тут же уходит совсем в другую сторону. Есть у него и маниакальные пункты обид, которые также мешают переговорам — от судьбы русского мужика («что вы сделали с ним?») до смертельной обиды на Валентина Катаева за созданную им остро-гротескную и действительно неуважительную зарисовку Веры Николаевны Буниной (в «Траве забвения»).[8]

5

Хотя Зуров, по-видимому, потерял доверие ко всяким официальным переговорам с нами и не хочет их, все же расстались мы с ним с обоюдно выраженными надеждами на то, что все это дело с архивом Бунина когда-либо и как-либо «образуется», но как именно, ему неясно. Очевидно, однако, что он не хочет официальных переговоров.

На другой день я был в нашем посольстве и подробно рассказал о беседе с Зуровым советнику посольства по делам культуры А. Н. Казанскому.[9] К сожалению, я почувствовал, что некий скептицизм по отношению к объему и ценности материалов бунинского архива внушен был моими предшественниками по встречам с Зуровым также и посольству. Но, как мне показалось, я сумел, хотя бы отчасти, убедить Казанского в неосновательности такого взгляда. На этом основании он выдвинул некоторый новый план дальнейших действий. План этот хорош также и тем, что осуществление его потребовало бы ассигнование средств не в иностранной, а в советской валюте.

Заканчивая настоящее письмо, я выражаю еще раз глубокую убежденность в том, что хранящийся у Зурова архив Бунина — это реальность, а не миф. Вместе с тем свидетельствую, реальность эта представляет выдающуюся ценность в масштабах национальной русской культуры, и что вместе с тем над этими драгоценными материалами нависла угроза полного распыления по частным коллекциям, а возможно, и материальной гибели.

Пока не поздно необходимо еще раз проявить действенное внимание к делу приобретения бунинского архива и довести это дело до конца.

С глубоким уважением

С. А. Макашин.

17 января 1969 г.

[1] К. А. Федин в то время — первый секретарь Правления Союза писателей СССР, академик АН СССР, неизменно покровительствовавший «ЛН». Марков Георгий Мокеевич (1911—1991) — писатель и общественный деятель, секретарь Правления Союза писателей. Воронков Константин Васильевич (1911—1984) — в 1959—1979 годах секретарь Правления Союза писателей по организационным вопросам.

[2] Зуров Леонид Федорович (1902—1971) — писатель, с 1929 года жил на вилле И. А. Бунина в Грассе.

[3] Ажаев Василий Николаевич (1915—1968), Никулин Лев Вениаминович (1891—1967) — писатели.

[4] Текст заключения о бунинском архиве Александра Кузьмича Бабореко (1913—1999) и Николая Павловича Смирнова (1898—1978) сохранился в ОРиХИ ИМЛИ (Ф. 575, не разобран).

[5] Это приложение не сохранилось.

[6] Величковская Тамара Антоновна (1908—1990) — писатель. Письменный стол И. А. Бунина позднее поступил в экспозицию орловского музея писателя.

[7] Письма были приобретены Г. П. Струве в 1967 году, см.: *Цветаева М.* Неизданные письма. Париж, 1972. С. 393.

[8] Повесть В. П. Катаева «Трава забвения» впервые опубликована в 1967 году.

[9] Казанский Аркадий Николаевич (род. 1919) — дипломат. 10 января 1969 года С. А. Макашин писал ему: «Нет никаких сомнений, что приостановившееся движение в деле приобретения архива Бунина должно возобновится» (НА ТГОМ. Р-13. Оп. 1. № 479).

3

С. А. МАКАШИН

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По вопросу о принципах внесения купюр в подготовленный к печати текст «Яснополянских записок» Д. П. Маковицкого

«Яснополянские записки» Д. Маковицкого — один из самых впечатляющих и трудоемких «макашинских» томов «ЛН», работа над которым растянулась почти на десять лет. Как это часто бывало в «ЛН», и без того сложная и кропотливая текстологическая работа, не прекращавшаяся до последней корректуры, постоянно осложнялась необходимостью согласовывать подготавливаемый текст с различными инстанциями: «внутренними» и «внешними» рецензентами рукописи, Ученым советом ИМЛИ, членами редколлегии «ЛН», редакторами издательства «Наука», чиновниками Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли СССР (Госкомиздат) и т. д. (как результат — редкий том «ЛН» обходился без так называемой «сверхнормативной» правки, стоимость которой издательство часто предлагало вычесть из гонораров авторов «ЛН»).[1]

Внимание цензурных инстанций к «ЛН» было особенно пристальным после известного скандала с томом «Новое о Маяковском»,[2] жертвой которого пали не только вторая его книга, но несколько разделов в томе «Чехов», том писем А. А. Блока Л. Д. Менделеевой-Блок (издание его состоялось почти 20 лет спустя) и др.[3] В этих условиях редакторы «ЛН» не могли не идти на «упреждающую» автоцензурную правку.

---

[1] См. в письме С. А. Макашина и Н. А. Трифонова в издательство «Наука» от 25 сентября 1978 года: «Означенная правка возникла ⟨...⟩ в результате предложений Госкомиздата, акад. М. Б. Храпченко и издательских редакторов о введении дополнительных купюр в текст «Записок» и новых идеолого-корректирующих материалов в вводные статьи и комментарии (переверстка вызвана именно этими видами правки)» (НА ТГОМ. Р-13. Оп. 1. № 494).

[2] См.: Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958—1964: Документы / Сост. Е. С. Афанасьева, В. Ю. Афиани, Л. А. Величанская, З. К. Водопьянова, Е. В. Кочубей. М., 1998. С. 141—149.

[3] Чиновники ЦК КПСС критиковали тогда «ЛН»: «...выпущены в свет и такие книги, в которых содержатся грубые ошибки, допущено отступление от принципов марксистско-ле-

Публикуемый ниже доклад С. А. Макашина Ученому совету ИМЛИ демонстрирует несколько примеров как такого рода сокращений, так и продиктованных текущими политическими требованиями (недавние советско-китайские территориальные притязания и пограничные конфликты, «еврейский вопрос» в СССР и т. п.).[4]

нинского литературоведения на буржуазно-объективистские позиции, проявилось стремление публиковать случайные, малозначительные, сугубо личные факты и подробности, бросающие тень на передовых представителей русской культуры прошлого. Так, например, в томе „Литературного наследства", посвященном Герцену, опубликована переписка, воспроизводящая подробности интимной связи жены Герцена с поэтом Гервегом... В томе о Чехове снова коллекционируются подчас совершенно случайные и ненужные материалы, заслоняющие существенные стороны чеховского наследия. В подборке „Письма разных корреспондентов" содержится много спорных и неверных высказываний о Л. Толстом, М. Горьком, даются резко отрицательные характеристики их творчества» (Документы свидетельствуют...: Из фондов Центра хранения современной документации (ЦХСД): Вокруг творческого наследия Маяковского / Вступление, публ. и прим. Л. Пушкаревой // Вопросы литературы. 1994. № 2. С. 212—213).

[4] Так, анонимный рецензент Госкомиздата призывал купировать, в частности, все «высказывания» Толстого «о социализме, евреях»: «Здесь есть богатейший материал для советологов, ибо они давно ждали таких уничтожающих реплик великого русского писателя о революции и Горьком. Антигосударственные идеи Толстого иногда приближают его к современным „диссидентам", в то же время он иногда явно близок к черносотенцам, любил читать их прессу и в особенности „Новое время", ненавидел либералов. В современном Китае с большим удовольствием прочтут и непременно используют мысли Толстого и его предсказания о судьбе Китая, о его культуре и т. д.» (Архив «ЛН»).

Как было доложено мною Ученому Совету и как об этом будет сказано читателям в предисловии «От редакции» в т. 90 «Литературного наследства», огромный дневник Д. П. Маковицкого принципиально и практически не допускает публикации in extenso.[1]

Во-первых, некоторые места текста дублируют друг друга, а другие изложены столь несовершенно, что не поддаются сколько-нибудь удовлетворительному осмыслению;

во-вторых, в дневнике есть записи, не имеющие никакого отношения к Толстому и, вместе с тем, не представляющие сколько-нибудь существенного интереса в каком-либо другом отношении;

в-третьих, есть в дневнике записи одиозного характера. Если бы они были оставлены в тексте, они, несомненно, привлекли бы к себе внимание Главлита. Большая часть этих последних записей воспроизводит высказывания не самого Толстого, а членов его семьи и посетителей яснополянского дома;

в-четвертых, имеются неудобные для печати записи, относящиеся к некоторым сторонам семейной драмы Толстого;

в-пятых — такие же записи, относящиеся к врачебной практике Маковицкого.

В письмах к друзьям и знакомым Маковицкий не раз признавал, что «немыслимо» представить себе совершенно полную публикацию его дневника. «Мне некогда разбираться, что важно и что неважно, — говорил Маковицкий — записываю все. Пусть редакторы берут, что им нужно».[2] Редакторы издания нашли вполне обоснованной эту «авторскую волю». Ряд купюр был сделан по рекомендации рецензентов рукописи К. Н. Ломунова, Л. Д. Опульской и А. И. Шифмана.[3] В разработанной «Литературным наследством» эдиционно-текстологической инструкции для подготовки издания дневника Маковицкого, пункт 17, относящийся к изъятиям (купюрам) текста, сформулирован следующим образом:

«Исключаются из публикации записи:

а) „дубликатные", оставшиеся в тексте случайно, по недосмотру или в расчете на последующий выбор редактора одного из двух предложенных вариантов;

б) „плохо записанные", не поддающиеся уяснению, хотя бы в основном смысле;

в) „не относящиеся к Толстому" и вместе с тем не представляющие сколько-нибудь существенного интереса в каком-либо другом отношении;

г) „интимно медицинские" — о болезнях Толстого и членов его семьи, а также некоторые записи, характеризующие врачебную практику Маковицкого среди крестьян;

д) „о семейной драме Толстого" и о психической болезни Софьи Андреевны, — изымаются резко враждебные, ругательные и тенденциозные отзывы о Софье Андреевне Александры Львовны и некоторых обитателей яснополянского дома;

е) идеологически и политически-одиозные высказывания Толстого и его собеседников о революционерах и социалистах, о Марксе и партийности, о евреях и еврейском вопросе, о русско-корейской (sic!) границе и др.»

Сделанные редакцией купюры в тексте не обозначаются и в примечаниях не оговариваются. Указания на то, что текст публикуется не полностью и принципиальная мотивировка данного обстоятельства содержится в предисловии «От редакции» и в редакционной же справке «Источники и принципы публикации».

К купюрам следует отнести также и изъятие приложенных Маковицким к своему дневнику некоторых писем, полученных Толстым, и ответов на эти письма самого Толстого и Маковицкого, по поручению Толстого. Переписка эта, духовно-религиозного содержания, в подавляющей своей части уже известна в печати по юбилейному 90-томному Собранию сочинений и писем Толстого. Все письма Толстого напечатаны здесь полностью и по автографам, а наиболее интересные письма к Толстому использованы в примечаниях.

В отличие от купюр, обозначенных выше, пропуски приложенных к соответствующим местам дневника писем всюду оговариваются в примечаниях, со ссылками на том Юбилейного издания, в котором опубликованы соответствующие письма Толстого.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Несколько примеров купюр, сделанных в дневнике Маковицкого при подготовке текста к изданию.

Член редколлегии «Литературного наследства», ответственный за подготовку издания т. 90 — «Яснополянские записки» Маковицкого

С. Макашин.

15 июля 1976 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ

Несколько образчиков купюр, внесенных в подготовленную к печати рукопись дневника Д. П. Маковицкого

26 октября 1904 г.

Войну за выход к незамерзающему морю надо рассматривать, (обдумывать, взвешивать) с точки зрения сибиряков, а они скажут, что́ им нужно. Северные народы тянутся в более теплые края.

— С этим я вполне согласен, — сказал Л. Н. — Сибирякам выбирать, под чьим правительством хотят жить. Но если видят, что за это гибнут десятки, сотни тысяч русских и столько издержек, что они будут обременять даже следующие поколения, то они лучше откажутся от России.

Я рассказывал, что Кропоткин говорил еще, что Маньчжурия должна принадлежать Китаю.[4] Китайцы — душа народа. Однако же японцы хотят захватить Пекин и из мирных китайцев сделают солдат.

4 марта 1905 г.

Американцы такие же дельцы и барышники, как и евреи; они считают наживу и обогащение целью жизни. Кто так не поступает, того они считают дураком. Поэтому они не могли понять кишиневских событий:[5] по их мнению, евреи-эксплуататоры поступают правильно, а русский народ глуп; почему же он бьет тех, кто с ним не конкурирует, у кого он может учиться? Евреи достигнут огромного влияния в Америке, благодаря тому, что все они отдают своих детей учиться. Итальянцы и др. посылают своих детей на фабрики, чтобы они зарабатывали. Ирландцы пропивают заработок, не отдают детей в школы, дети сами на себя зарабатывают. В Нью-Йоркском университете 93% слушателей — евреи. Через 20 лет интеллигенция (адвокаты, врачи) будет еврейской.

7 ноября 1905 г.

Л.Н.: Мне ночью хорошо думалось о социализме, теперь не так ясно. Социализм — это отсутствие (нравственных) идеалов и отрешение от остатков свободы. Тульский рабочий на самоварной фабрике, не видящий (ничего) дальше своего носа, примкнет к социал-демократии, когда ему скажут: «Теперь барыш идет хозяину; в социалистическом государстве будет делиться между рабочими». Они хотят, чтобы все было государственное, т. е. заставят потом работать всех предметы первой необходимости и потом раздавать из общего, кому что нужно, как у духоборов в Канаде.

Мария Александровна:[6] Ведь это мерзость! Обезличится каждый человек.

Л.Н.: Да, уж хуже этого ничего быть не может. Будет царствовать одно насилие.

29 ноября 1906 г.

По словам Николая Леонидовича,[7] Сулержицкий[8] говорил, что Горький не сочувствует социал-демократическому течению, но не сопротивляется ему: у него нет мужества отречься от него, потому что его сейчас же бы свергли с пьедестала (кончилась бы его слава).

13 июня 1908 г.

О еврейском вопросе договорились до того, что Николаевы[9] признали, что евреи — ненавистники русского народа и что нельзя о них говорить лег-

комысленно, повторяя то, что пишут сами они в газетах о себе и об отношении человеконенавистников к ним.

23 июня 1908 г.

Это интересовало его, узнал, как русские дипломаты завладели Маньчжурией и Шатунгом. Русское правительство взяло сперва Порт-Артур, за ним немецкое взяло Кио-Чао, а английское Вен Хаи-Вей.[10] И за это ограбление китайцев русским правительством Л. Н-чу тяжело, досадно, стыдно.

Я принес Л. Н-чу, у которого геморроидальное кровотечение, коробку нарезанной марли с ватой и восковой бумагой, промоченной борной водой, для употребления при отправлениях. Л. Н. отказывался.

Сентябрь 1910 г.

Утром П. И. Бирюков[11] рассказал мне, почему у Софьи Андреевны половая ревность к Черткову,[12] она прочла в дневнике Л. Н. молодых лет, что он мало влюбчив в женщин, а больше в мужчин: в Пушкина, в Дьякова[13] и других, которых любит и уважает, но тут же прибавляет Л. Н., что никаких противоестественных влечений у него нет.[14] Она же это переводит на Черткова.

Июнь 1910 г.

Она (Софья Андреевна) говорила Дунаеву,[15] что если Л. Н. увидится с Чертковым, она себя убьет. Дунаев же и Александра Львовна[16] на это смотрят, как на пустые слова (себя она не убьет), но оба высказались, что она может убить (застрелить) Л. Н.

Ноябрь 1910 г.

В 5 ч. вечера Л. Н. мне:

— Давайте, чтобы что-нибудь было.

— Чтобы что было?

— Не понимаете? Делайте, чтобы что-нибудь было.

Владимир Григорьевич догадался, что надо горшок. Так и было.

Еще сказал Л. Н.:

— Не довольно проявление (или проявления). Ах, ах, ах! Как эта икота...

[1] In extenso (*лат.*, букв. «в длинном виде») — дословно, полностью.

[2] Из воспоминаний С. М. Белинького, приведенных в предисловии Э. Е. Зайденшнур (Лит. наследство. Т. 90. Кн. 1. С. 56).

[3] Рецензии К. Н. Ломунова, Л. Д. Опульской и А. И. Шифмана сохранились в Архиве «ЛН». А. И. Шифман, в частности, одобрительно отзывался о цензурировании «ЛН» «некоторых записей о мелких событиях, не представляющих общественного интереса, о бытовых мелочах яснополянской жизни, об интимно-медицинских деталях лечения Толстого и его близких» (от 12 июня 1975 года — Архив «ЛН»). К. Н. Ломунов рекомендовал «освободить» книгу от записей, в которых «затрагиваются чувства национального достоинства отдельных народов (см. суждения о евреях, армянах, японцах и др.)», фиксации «малозначительных событий или событий интимного характера (касающихся семейной драмы Толстого)», а также придать «корректирующий характер» комментариям к «негативным суждениям писателя о деятелях освободительного движения или известных литераторах» (от 17 июня 1975 года — Там же).

[4] П. А. Кропоткин в 1864 году участвовал в экспедиции в Северную Маньчжурию, входившую в состав Китая, о чем вспоминал позднее в «Записках революционера» (1902). Однако в этой книге приводимого утверждения не содержится. В начале XX века Россия проводила политику закрепления в Маньчжурии (вплоть до создания в ней «Желтороссии»).

[5] Имеется в виду один из наиболее известных еврейских погромов, состоявшийся 6—7 апреля 1903 года в Кишиневе. По поводу его Л. Н. Толстой обратился к кишиневскому городскому голове К. А. Шмидту и к доктору И. С. Мучнику с письмом и пожертвовал в пользу кишиневских евреев 15 тыс. руб.

[6] Шмидт Мария Александровна (1844—1911) — близкий друг и единомышленница Л. Н. Толстого.

[7] Оболенский Николай Леонидович, кн. (1872—1934) — помещик, зять Л. Н. Толстого.

[8] Сулержицкий Леопольд Антонович (1872—1916) — режиссер; знакомый, корреспондент и адресат Л. Н. Толстого.

[9] Семья экономиста и переводчика Сергея Дмитриевича (1861—1920) и Ларисы Дмитриевны (1875—1956) Николаевых.

[10] Упомянутые эпизоды относятся к 1895 году, когда тихоокеанская и средиземноморская эскадры России совместно с эскадрами Франции, Германии и Великобритании участвовали в дипломатическом противостоянии Японии, которой в результате пришлось освободить захваченные ею в ходе войны с Китаем порты Артур, Вей-Хай-вей и Циндао (у Толстого: Кио-Чао).

[11] Бирюков Павел Иванович (1860—1931) — литератор и общественный деятель.

[12] Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936) — литератор и общественный деятель, издатель.

[13] Александр Иванович (1827—1903) или Алексей Иванович (1825—1879) Мусин-Пушкин — один из дальних родственников Толстого. Дьяков Дмитрий Алексеевич (1823—1891) — помещик, крестный отец Т. Л. Толстой, друг семьи Л. Н. Толстого.

[14] Имеется в виду запись от 29 ноября 1851 года: «Я никогда не был влюблен в женщин. ⟨...⟩ Я влюблялся в м[ужчин], прежде чем имел понятие о возможности педрастии (sic!); но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову».

[15] Дунаев Александр Никифорович (1850—1920) — банковский деятель; последователь и близкий знакомый Л. Н. Толстого.

[16] Толстая Александра Львовна (1884—1979) — дочь Толстого.

4

ИЗ ИСТОРИИ ТОМА «ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН. МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ»

Идея издания «замятинского» тома относится к одному из тех начинаний С. А. Макашина в «ЛН», которым не суждено было осуществиться.

17 сентября 1987 года в беседе с М. В. Радзишевской С. А. Макашин вспоминал, как в 1967 году он «пошел к Константину Александровичу Федину, который возглавлял тогда Союз писателей. Я говорю: „Константин Александрович, вот приняли мы сегодня одного буниноведа.[1] Вот один из членов комиссии сказал: «Отчего не заняться Буниным?»" Он говорит: „Великолепная идея. Займитесь этим. Но сначала я попрошу вас заняться Замятиным. У нас здесь создается комиссия по литературному наследию Евгения Замятина.[2] — (Был такой там Дорофеев,[3] он работал в Гослитиздате тоже, ну, а потом работал в аппарате Союза писателей. Вот он организовал.) — Мы вас просим быть председателем этой комиссии, и давайте издадите... сначала (я вам буду помогать) том по Замятину, а потом том по Бунину". Я говорю: „Константин Александрович, не просите меня об этом", — „Почему?" Я говорю: „Во-первых, я не могу понять, почему я должен возглавлять комиссию по Замятину, когда вы друг Замятина личный, вы с ним вместе работали и вы председатель Союза писателей, у вас возможности

[1] Речь идет о А. К. Бабореко, позднее активно участвовавшем в подготовке «бунинского» тома. См. об этом, а также о роли С. А. Макашина в этой работе: *Бабореко А.* Дороги и звоны: Воспоминания. Письма. М., 1993. С. 88, 171—172. Полемику с оценкой С. А. Макашина см.: *Трифонов Н. А.* Неверные «звоны» // Литературная Россия. 1994. 18 нояб.

[2] Эти намерения инициировал московский литератор Александр Николаевич Стрижев (род. 1934), собиравший материалы о Е. И. Замятине с 1966 года и встречавшийся по этому поводу с К. А. Фединым и другими советскими писателями с 1967 года. 14 октября 1967 года он, в частности, обратился в Секретариат Союза писателей СССР с письмом о необходимости поиска и возвращения архива Е. И. Замятина на родину, см.: Замятин на фоне эпохи / Публ. А. Н. Стрижева // Литературная учеба. 1994. № 3. С. 114.

[3] Дорофеев Виктор Петрович (1900—1972) — редактор и критик.

совершенно не сопоставимы с моими". Он сказал: „Вот именно поэтому мне и неудобно быть. Но я обещаю вам всяческую, так сказать, помощь". Я говорю: „Ну, помощь заключается прежде всего в том, что нужно ехать в Париж и постараться заполучить, купить архив Замятина, потому что он хранится у Зайцева Бориса Константиновича". — „Вот поезжайте в Париж, мы вам дадим командировку. Заодно там поищите материал о Бунине".

Ну, я взял себе месяца три на подготовку, подготовился, и составил список лиц, которые знали лично Замятина, покойного уже, и которые знали Бунина. ⟨...⟩ Я составил при помощи Бабореко и других буниноведов список живых литераторов, которые знали Бунина и Замятина, потому что я маленький доклад сделал там на секретариате Федину и сказал, что, если серьезно браться в масштабах такого источниковедческого издания, как „Литературное наследство" за издание томов Замятина и Бунина, то нужно поговорить со всеми людьми, которые их знали, потому что половина их жизни прошла за границей. Как же можно, так сказать, писать, не опросив этих людей, не попросив их написать воспоминания, не собрав письма и так далее. Константин Александрович со мной совершенно согласился.

Я составил список, примерно там человек двадцать было. Ну... в это время Федин уехал в Берлин лечиться, замещал его тогда Озеров Виталий Михайлович.[4] Ну, сейчас я произнесу грубое слово (я их не люблю произносить, но из песен слов не выкинешь): когда я ему дал на подпись этот список, с кем я должен встретиться во Франции, в Париже, на юге Франции, он посмотрел и сказал: „И охота вам с таким дерьмом знаться?" Это все были друзья Бунина, в том числе там был такой крупный писатель, как Борис Зайцев. Конечно, не такого масштаба, как Бунин — Бунин, так сказать, классик...

Ну, я его не послушал, я пошел в ЦК, хотя я не член партии, и сказал, что, вот, Федина, так сказать, нет, его заместитель мне так ответил — мне нет смысла ехать, потому что же я буду в библиотеках только, так сказать, искать архивы его? А они же были эмигрантами, наверняка это все у них, так сказать, по домам. Ну, в ЦК оказались люди более понятливые, чем этот. Мне разрешили: пожалуйста, встречайтесь, с кем угодно. Я показал им письма, которые я всем написал, всем, с которыми я хотел встречаться. Это все эмигранты, писатели».[5]

Переговоры С. А. Макашина с Б. К. Зайцевым и Н. Б. Зайцевой-Соллогуб, унаследовавшей после смерти вдовы Е. И. Замятина Л. Н. Замятиной парижский архив писателя, начались в 1968-м и продолжились в 1970, 1976 и 1977 годах. Несмотря на свою исключительную занятость другими томами «ЛН», С. А. Макашин не оставлял идеи «замятинского» тома и вернулся к ней в начале 1980-х годов, накануне 100-летия со дня рождения Е. И. Замятина.[6] Тогда и был сформирован окончательный проект тома, датируемый 1983 годом и публикуемый ниже.

---

[4] Озеров Виталий Михайлович (1917—2007) — литературовед, работал на руководящих постах в «Правде», «Литературной газете» и др., с 1967 года секретарь Правления Союза писателей.

[5] Отдел устной истории Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова, № 844. Кроме перечисленных инстанций, эти списки согласовывались с Иностранной комиссией Союза писателей СССР и Посольством СССР в Париже.

[6] В архиве «ЛН» сохранился 1-й экземпляр машинописного обращения А. Н. Стрижева в Правление Союза писателей СССР от 4 января 1982 года с просьбой «рекомендовать» ИМЛИ АН СССР включить замятинский том в план редподготовки «ЛН».

По воспоминаниям участников тома (А. Н. Стрижев, Е. Ц. Чуковская), с этим проектом С. А. Макашин обратился «наверх»,[7] где ему рекомендовали оставить идею этого издания. А через три года, в 1986 году, в Воронеже тиражом 50 000 экземпляров вышел сборник Е. И. Замятина «Повести. Рассказы», подготовленный одним из участников «замятинского» тома «ЛН» О. Н. Михайловым.

[7] Скорее всего, в Отдел культуры ЦК КПСС, к сотрудникам которого А. А. Беляеву, И. С. Черноуцану и др. И. С. Зильберштейну и С. А. Макашину приходилось часто обращаться в 1960—1980-е годы. 100-летие Е. И. Замятина было отмечено в СССР одной публикацией, см.: *Кастров Д.* Художник слова: О писателях-земляках // Путь Октября. Лебедянь, 1984. 30 августа.

С. А. Макашин — Н. Б. Зайцевой-Соллогуб

1

21 ноября 1969 г.
№ 200

Глубокоуважаемая Наталья Борисовна!

К Вам обращается редакция «Литературного наследства».

Нашу редакцию интересует судьба заграничного архива писателя Евг. Замятина. По имеющимся у нас сведениям, а вернее, слухам, большая и главная часть бумаг из этого архива ушла, к сожалению, в США (в Колумбийский университет?),[1] другая же, меньшая, но также весьма ценная, часть находится в Вашем распоряжении.

Мы обращаемся к Вам с двумя вопросами.

Первый вопрос частного порядка. Нет ли в бумагах Замятина каких-либо материалов, относящихся к И. А. Бунину? Вы, вероятно, знаете, что один из ближайших томов нашего «Литературного наследства» будет специально посвящен Бунину. Так вот, в связи с работой над этим «бунинским томом» нас интересуют всякого рода материалы, относящиеся к жизни и творчеству Ивана Алексеевича. В частности, нас интересует существовали ли какие-либо личные или творческие взаимоотношения между Буниным и Замятиным? Мы были бы Вам весьма признательны за сообщение любых сведений, относящихся к этой теме.

Второй вопрос общего характера. Мы убеждены, что архив Е. Замятина, как и архивы всех других крупных русских писателей за рубежом, в первую очередь, конечно, архив Бориса Константиновича, представляют такие ценности общенациональной русской культуры, которые должны рано или поздно получить место вечного хранения на Родине этих писателей. Мы знаем, что в отношении архива Бориса Константиновича соответствующие переговоры с Вами уже ведутся. Но нельзя ли было распространить эти переговоры и на находящуюся у Вас часть архива Замятина?

В случае Вашего согласия вступить в переговоры, мы поставим об этом в известность Центральный Архив Литературы и Искусства в Москве, с директором которого Н. Б. Волковой[2] Вы, если не ошибаюсь, знакомы.

С уважением и приветом
член редколлегии «Литературного наследства»

С. Макашин.

P. S. Полное отсутствие времени не позволило мне в прошлом году, когда я был в Париже, посетить Бориса Константиновича и лично вручить ему

листки клена из рощи вокруг «дворянского гнезда» в Орле, где я был на тургеневском юбилее.[3] Но по делам архива Бунина я виделся с Л. Ф. Зуровым и просил его передать эти листки Борису Константиновичу.

[1] Эта бóльшая часть архива Е. И. Замятина была передана в Колумбийский университет вдовой писателя Л. Н. Замятиной; ныне хранится в: Bakhmeteff Archive, Rare Book & Manuscript Library, Butler Library, Columbia Univresity.

[2] Волкова Наталья Борисовна (род. 1924).

[3] В 1968 году С. А. Макашин был назначен заместителем председателя Всесоюзного юбилейного комитета по празднованию 150-летия И. С. Тургенева. О празднествах в Орле см.: *Макашин С.* На родине Тургенева // Советская Россия. 1968. 25 октября.

2

24 июля 1982 г.

Многоуважаемая и дорогая Наталья Борисовна!

Позвольте напомнить о себе и вернуться к нашим разговорам в Париже о некоторых рукописях и других материалах Е. И. Замятина, а также к вопросу о судьбе архива Бориса Константиновича. Сначала об этом, последнем вопросе. Недавно, в качестве члена редакционного Совета издательства «Художественная литература», я вновь поставил вопрос о необходимости перевести наконец издание однотомника избранных сочинений Б. К. из перспективного плана, где это издание давно уже присутствует, в план практической подготовки и выпуска (состав однотомника был определен Б. К. в письме ко мне, в Париже, на другой же день после нашей встречи на Вашей старой квартире).[1] При обсуждении этого вопроса, встал и другой, о судьбе архива Б. К. Я нисколько не преувеличу, сказав Вам, что вся наша литературоведческая общественность, на том ее участке, который имеет отношение к делу собирания и сохранения архивов отечественной литературы, единодушна в том, что архив известного русского писателя Бориса Зайцева должен получить «прописку» на постоянное и вечное хранение на родине писателя, в России. Другими словами, мы полагаем, что настало время для передачи всех сохранившихся бумаг Б. К. и других документальных материалов в один из государственных архивов нашей страны.

Сообщая Вам об этом, очень прошу Вас обсудить этот вопрос и принять положительное и, по возможности, действенное его решение. В конце концов сейчас только на Вас обстоятельства возложили ответственность за это дело, принадлежащее литературе русской. Б. К. был москвичом и любил Москву. Поэтому передать его бумаги следовало бы в один из московских архивов, лучше всего в Центральный Архив Литературы и Искусства (ЦГАЛИ). Здесь сосредоточены архивные собрания большинства русских писателей XX века, в том числе И. А. Бунина (именно сюда передала часть его архива Вера Николаевна и сюда же поступил от Т. А. Осоргиной архив ее покойного мужа.)[2] Как член Ученого Совета ЦГАЛИ я могу заверить в образцовом состоянии хранения материалов в этом архивном учреждении. Прошу также иметь в виду, что Вы можете, если найдете это нужным, наложить запрет на обращение к некоторым бумагам. В таком случае вложите эти бумаги в отдельный пакет и сделайте на нем соответствующую запретительную надпись, указав срок запрета (25—50 лет).

Если Вы примите решение о передаче архива, то доставить бумаги в Москву (а также желательно фотографии, книги с надписями и другие документальные материалы) необходимо будет через Советское посольство. Но ни ходить Вам туда, ни писать какие-либо заявления Вам не придется.

К Вам заедет советник по культуре (в день и час, Вами назначенный), заберет материалы и даст Вам расписку. А из ЦГАЛИ Вы получите через какое-то время подробную опись всего полученного.

Теперь о бумагах Е. И. Замятина.

Редакция «Литературного наследства» задумала создать специальный том своего издания, посвященный Замятину (аналогичный по типу нашему «бунинскому тому»). Главный архив его хранится у нас в Москве.[3] Возможно, что кое-что мы получим также из тех материалов, которые по воле Людмилы Николаевны оказались в Колумбийском Университете Нью-Йорка. Но главнейший интерес представляют для нас лекции по русской литературе, которые Замятин читал в 1920-е годы в петроградском Доме искусств.[4] Во время наших с Вами встреч Вы говорили, что рукопись (вероятно, машинопись?) этих лекций была передана для издания в Италии[5] и что, если в обусловленный срок издатель не издаст эти материалы, Вы сможете передать их для издания нам, в «Литературное наследство». С тех пор, как состоялись эти разговоры, прошло уже несколько лет, и нужно думать, что все договорные сроки с итальянским издателем давно миновали. Очень прошу Вас сообщить мне, как обстоит здесь дело и можно ли надеяться на получение этих лекций для опубликования? Помните, Вы дали мне одну из этих лекций (она тотчас же, по возвращении моем в Москву, была передана на постоянное хранение в ЦГАЛИ). Судя по этому образцу, лекции эти — материалы первостепенного интереса, и они одни могли бы решить вопрос быть или не быть «замятинскому тому» «Лит. наследства». Добавлю к сказанному, что если бы эти лекции и появились в Италии на итальянском ли, на русском ли языках, данное обстоятельство не помешало бы их издать в Москве.

Мы ведем сейчас работу над подготовкой издания «русско-итальянского» тома «Лит. наследства» и связаны с рядом лиц в Италии, участвующими в этом деле, в том числе с сыном Вяч. Иванова.[6] Может быть, через них можно было бы, будь на то Ваше желание и Ваше согласие, вызволить замятинские «лекции».

Сверх «лекций» нас интересуют и те документальные изобразительные материалы, которые я видел в «замятинской комнате» Вашей прежней квартиры: фотографии, афиши замятинских спектаклей, книги с надписями и др. Материалы эти показывала мне молодая чешка, фамилию которой я забыл.[7] Все эти материалы также следовало бы передать на постоянное хранение в Москву, в ЦГАЛИ.

Вот, многоуважаемая и дорогая Наталья Борисовна, мое очень <u>важное</u> деловое послание Вам, за обширность которого прошу заранее прощения.

Мне осталось добавить, что все эти дела мы обговорили также с Натальей Иосифовной Ильиной.[8] Она едет на днях во Францию, будет сначала где-то на юге, а потом в Париже, где свидится с Вами и добавит к моей слезнице свою. Узнал от нее, что у Вас и Андрея Владимировича[9] не все ладно со здоровьем. Это, конечно, не весело. Сочувствую Вам и надеюсь на лучшее. Но и у нас примерно такое же положение дел. Здоровье Таисии Михайловны[10] неважно, она очень страдает от болей (артроз).

Всего Вам доброго. Т. М. и я низко кланяемся Вам и Андрею Владимировичу.

Ваш С. Макашин.

P. S. Н. И. любезно согласилась передать Вам книгу с моей статьей (послесловием). В основе статьи лежит доклад, который я читал в парижском Институте славяноведения. Помнится, что Вы присутствовали на этом чте-

нии. Увы! Иллюстрации Кукрыниксов не соответствуют моему пониманию «Истории одного города», как оно изложено в статье.[11]

P. P. S. Сейчас разговаривал по телефону с Н. Б. Волковой, директором Центрального Архива Литературы и Искусства (она была у Вас несколько лет тому назад и вела переговоры с Борисом Константиновичем о судьбе его бумаг). Она просила передать Вам вместе со своим приветом, что возглавляемое ею учреждение будет счастливо принять на постоянное хранение архив Вашего отца. При этом она просила еще сообщить Вам, что в связи с передачей Архива Вы могли бы на какой-то желательный для Вас срок приехать в Москву (может быть, также и в Ленинград) за счет Главного Архивного Управления, за исключением, впрочем, стоимости дороги от Парижа до Москвы (т. е. Вам была бы оплачена комната в гостинице, полная стоимость всего пребывания у нас и обратный путь до Парижа, самолетом или поездом).

Что касается транспортировки архива через Советское посольство, то Вы могли бы запаковать бумаги в несколько пакетов и, запечатав их, передать их под расписку сотруднику посольства, который бы приехал к Вам в назначенное Вами время по нашему, отсюда, телефонному звонку.

[1] 23 ноября 1970 года Б. К. Зайцев писал С. А. Макашину: «...предлагаю список рассказов, возможных для опубликования в России. Разумеется, я остаюсь по-прежнему эмигрантом. Книга должна называться „Голубая звезда": „Молодые", „Студент Бенедиктов", „Маша", „Жемчуг", „Вечерний час", „Голубая звезда", „Малые сии: 1. Домашний лар, 2. Республиканец Кимка, 3. Сережа"», ниже приписано еще три названия: «Аграфена», «Печаль полей» и «Дальний брат» (НА ТГОМ. Р-13. Оп. 1. № 479). О согласии издательства «Художественная литература» на издание сборника Б. К. Зайцева С. А. Макашин сообщал его дочери в феврале 1972 года (НА ТГОМ. Р-13. Оп. 1. № 491). По впечатлению С. А. Макашина, издание сборника могло стать «предварительным условием каких-либо переговоров о передаче определенной части архива» писателя в СССР (отчет о поездке во Францию в Секретариат и Иностранную комиссию Союза писателей — Архив «ЛН»). Издание не состоялось.

[2] Архив М. А. Осоргина оказался в РГАЛИ несколько иным, чем описывает С. А. Макашин, образом. В 1940 году он был вывезен из Парижа немцами вместе с фондами русской Тургеневской библиотеки и оказался в Праге, откуда Советская Армия вывезла его вместе с другими документами в СССР. Часть этого архива М. А. Осоргина находится ныне в Российском государственном военном архиве (в составе бывш. Центра хранения историко-документальных коллекций, преемника Центрального государственного Особого архива СССР), часть — в РГАЛИ, часть — в НИОР РГБ. Осоргина (урожд. Бакунина) Татьяна Алексеевна (1904—1995) — историк, библиограф, жена М. А. Осоргина.

[3] Имеется в виду фонд Е. И. Замятина, сформированный на основе его архива доэмигрантского периода; ныне — в ОРиХИ ИМЛИ (Ф. 47).

[4] По копиям, полученным от Н. Б. Зайцевой-Соллогуб, замятинские лекции под названием «Техника художественной прозы» опубликованы позднее А. Н. Стрижевым: Литературная учеба. 1988. № 6. Другая копия была передана С. А. Макашиным в РГАЛИ (Ф. 1776. Оп. 1. Ед. хр. 5).

[5] Речь идет об издании: *Zamjatin E.* Tecnica della Prosa / A cura di M. Olsoufieva. Bari, 1970. 152 p.

[6] Иванов Дмитрий Вячеславович (1912—2003) — журналист, сын Вяч. Иванова. О русско-итальянском томе см. прим. 54 к документу 1.

[7] Хобзова Дагмар (Hobzova Dagmar, род. 1942) — франко-словацкий лингвист. Составила описание парижской части архива Е. И. Замятина, см.: *Hobzova D.* Catalogue des archives parisiennes d'Evgenij Zamjatin // Cahiers du Monde Russe et Soviétique. Paris, 1972. № 13. P. 232—285. Ныне материалы этого архива составили замятинский фонд в: Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (Нантерр, Франция).

[8] Ильина Наталия Иосифовна (1914—1994) — писатель.

[9] Граф Соллогуб Андрей Владимирович (1906—1996) — экономист и инженер, банковский работник, муж Н. Б. Зайцевой-Соллогуб.

[10] Велембовская Таисия Михайловна (1912—1994) — жена С. А. Макашина.

[11] Речь идет об издании «Истории одного города» (М., 1981).

3

18 марта 1983 г.
Исх. № 73

Многоуважаемая Наталья Борисовна!

Хотя я и опасаюсь навлечь на себя сильный гнев Ваш за свою, быть может, действительно неприличную настойчивость, все же решаюсь вновь и вновь обратиться к Вам с известной Вам даже не просьбой, а мольбой о присылке лекций Е. И. Замятина. И решаюсь я на это лишь потому, что мне уже 77 лет и скоро я отойду от работы в «Литературном наследстве». А без меня — это, поверьте, не нескромность — «замятинский том» не будет издан. Издать же его необходимо в интересах русской литературы и никаких других интересов в этой моей просьбе у меня нет.

Еще раз повторяю Вам: наше издание (если будут присланы «лекции») могло бы выйти не ранее чем через 4—5 лет (это средний срок подготовки наших томов к изданию), т. е. не ранее 1987—88 гг. До этого времени Вы могли бы издать лекции на Западе, если действительно для них найдется издатель. Нас бы такое издание не остановило. Ведь издание «лекций» требует статей и комментариев, которые, конечно, у нас будут другие, чем у иностранных издателей.

Затем, не обязательно, чтобы «лекции» были присланы в подлинниках. Мы удовлетворились бы и хорошими (отчетливыми) ксерокопиями, изготовление которых стоит (по крайней мере у нас) копейки.

Итак, еще одна мольба, к Вам обращенная. Неужели она останется гласом вопиющего в пустыне?!

Всего доброго Вам и многоуважаемому Андрею Владимировичу и не сердитесь на меня.

С глубоким уважением

С. Макашин.

4

С. А. Макашин — Т. А. Бакуниной-Осоргиной

6 мая 1983 г.

Многоуважаемая Татьяна Алексеевна!

Простите, что с большим опозданием благодарю Вас за письмо и за все сведения, которые в нем содержатся. Ваши замечания, относящиеся к отдельным словам в моем предисловии к книге «Герцен и Запад», я нашел вп⟨олне⟩ справедливыми и с благодарностью принял их.

«К вопросу о Нечаеве возвращаться не имеет смысла», — пишете Вы. Я думаю об этом иначе. Я полагаю, что обширная публикация С. В. Житомирской и Н. М. Пирумовой,[1] в которой впервые собрана воедино вся главная документация, относящаяся к «нечаевской истории» 1870 г. и к участию в ней Огарева, Бакунина и Таты, представляет значительный интерес как для историков, так и для литературоведов. Для последних — по значению, какое Нечаев и «нечаевщина» имели для «Бесов» Достоевского. Но даже и тот материал, который был опубликован Конфино, необходимо повторить у нас. Наш взгляд на предмет несколько иной. Да и «Cahiers du monde Russe et Soviétique» — издание, мало у нас известное.[2]

Хорошо, мы Вас поблагодарим по Вашему желанию более скромно. Но не могу не скрыть, что меня удивили и огорчили Ваши слова: «Я давно и прочно объевропеилась... и этого фольклора совершенно не переношу». Вы ударили сразу и по «фольклору», и по «национальной культуре» — двум объективным ценностям фундаментального значения. Но разве русская культура не часть общеевропейской? Разве все великие деятели русской культуры, начиная с Пушкина, не строили ее — вполне сознательно — как одну из великих европейских национальных культур, в тесном общении с ними, с учетом и творческой переработкой их опыта? И Герцен, пожалуй, наиболее яркое тому доказательство. Но простите мне это «теоретическое» отступление от Вашего письма. Продолжаю отвечать на его пункты.

О Замятине и его лекциях. То, что эти лекции занимают всего 60 страниц, — для меня и новость, и разочарование. Когда я впервые начал разговор об этих лекциях с Натальей Борисовной, — это было еще при жизни Бориса Константиновича — она сказала мне, что «лекции» могут быть предоставлены «Литературному наследству» лишь после того, как они будут изданы отдельным изданием в Италии. Отсюда я и умозаключил, что объем лекций довольно значителен. Ведь 60 страниц — это не книга, а маленькая брошюра. Все же, однако, и эти 60 страниц нас сильно интересуют, да и не 60, а несколько больше. Ведь Н. Б. уже передала мне две лекции, когда я был последний раз в Париже, да и в московской части Архива Замятина сохранились — в черновиках — еще две лекции.[3] Всего этого будет примерно 100—110 страниц, пять листов. Конечно, и это не книга, но это уже часть или раздел в проектируемом нами «замятинском томе». Это отнюдь не том «Из истории советской литературы 1920-х — 1930-х годов». Том этот уже вышел из печати (в нем: «Народ на войне» С. З. Федорченко, повесть А. Малышкина, автобиографический роман Ларисы Рейснер, пьеса А. Луначарского, первоначальная редакция «Страны Муравия» А. Твардовского, стихи Н. Асеева, переписка с писателями А. Воронского и Бориса Пастернака). В проекте «замятинского тома» (структура его сходна с нашим «бунинским томом», Вам, наверное, известным). Вот она — в предварительной схеме (sic!):

I. Художественная проза
«Атилла»
«Сенсация»
«Жизнь Ивана»
«Сюрприз» и др.[4]
II. Литературно-критические статьи
Лекции о литературе читателям в Петрограде в 1921 г.[5]
Гоголь
Чехов и др.
III. Воспоминания
«Арцыбашев»
Горький[6]
Блок
Сологуб и др.
IV. Инсценировки
«История одного города» Щедрина и др.
V. Переписка

Среди адресатов и корреспондентов Замятина более 250 имен — среди них А. Ахматова, Андрей Белый, М. Булгаков, О. Мандельштам, Б. Пастер-

нак, Б. Пильняк, М. Пришвин, А. Ремизов, Ф. Сологуб, О. Форш, К. Чуковский, Р. Якобсон и мн. другие.

Но «вытянуть» том легче всего «лекциями», почему я с такой настойчивостью вот уже несколько лет хлопочу о них. Мое глубокое убеждение, что иностранному читателю эти лекции малоинтересны, и я всегда удивлялся, что где-то в Италии нашелся издатель для них. Для русского же читателя лекции представляют значительный интерес. Но, повторяю, предварительное опубликование «лекций» на Западе — по-русски или в переводе на каком-либо языке — не может быть помехой для их появления в «Литературном наследстве». Как транспортировать лекции нам — подлинники или качественные ксерокопии — Наталья Борисовна знает. Ей говорила об этом и предварительно все устроила Наталья Ильина. Важно лишь знать, чтобы было дано согласие и чтобы Наталья Борисовна назвала время, когда к ней можно будет зайти за материалом.

О сроках «замятинского тома» говорить еще рано. Если «лекции» будут получены, они, вероятно, и решат — быть или не быть «замятинскому тому». Тогда и начнем работать над ними и определим сроки.

Я бы очень был Вам благодарен, дорогая Татьяна Алексеевна, если бы Вы дали себе труд ознакомить Наталью Борисовну с относящейся к ней частью этого письма. Вместе с тем прошу передать ей и ее мужу привет и лучшие пожелания от Т. М. и меня. Вас я прошу извинить за безобразно длинное письмо.

Всего Вам доброго.

Т. М. кланяется Вам.

С глубоким уважением

Ваш С. Макашин.

P. S. Я совсем не помню, когда и кому я говорил об архиве Осоргина в ЦГАЛИ. Вероятно, я говорил об этом, а скорее всего, писал как раз Наталье Борисовне. И говорил я, вероятно, со слов директора ЦГАЛИ Н. Б. Волковой. Я благодарю Вас за разъяснение сути дела и, конечно, приму к исполнению Вашу просьбу.[7] С. А.

[1] См.: Огарев, Бакунин и Н. А. Герцен-дочь в «нечаевской» истории (1870 г.) / Статья и публ. С. В. Житомирской и Н. М. Пирумовой // Лит. наследство. Т. 96. С. 413—546.

[2] Речь идет о публикации: *Confino M.* Bakounin et Nechaev // Cahiers du monde russe et soviétique. Paris, 1966. Vol. VII. № 4.

[3] Имеются в виду лекции по русской литературе конца XIX—начала XX века (М. П. Арцыбашев, В. В. Вересаев, М. Горький, А. С. Серафимович, Скиталец, Н. Д. Телешев, С. С. Юшкевич), читавшиеся Е. И. Замятиным в Ленинградском педагогическом институте в 1919—1920 годах и не имеющие отношения к лекциям «Техника художественной прозы» в Доме искусств (хранятся: ОРиХИ ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 1. Ед. хр. 175, 177—178).

[4] Перечислены драматические произведения, инсценировки и либретто Е. И. Замятина (Там же).

[5] См. прим. 3.

[6] О М. П. Арцыбашеве и М. Горьком см. прим. 3. А. А. Блоку и Ф. Сологубу посвящены статьи и воспоминания Е. И. Замятина, к настоящему времени опубликованные (Там же).

[7] См. прим. 2 к документу 2. В письме к С. А. Макашину Т. А. Бакунина-Осоргина 23 января 1977 года писала, что фонд М. А. Осоргина был передан в РГАЛИ «помимо моей воли» (НА ТГОМ. Р-13. Оп. 1. № 479).

5

«ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО»

Евгений Замятин. Материалы и исследования

Содержание тома:

Творческий портрет Евг. Замятина. Статья О. Н. Михайлова.[1]

Трифонов Н. А. Замятин и Горький. К характеристике отношений. Публикация источников, предисловие и комментарии.[2]

А. М. Ремизов в переписке с Замятиным. 13 писем. Публикация, предисловие и комментарий М. Чудаковой.[3]

Второстепенные реалисты. Чехов и мы. Статьи Замятина. Публикация, комментарий Л. К. Кувановой.[4]

История одного города. Щедрин и Замятин. Вступительная статья, публикация и комментарии С. А. Макашина.[5]

Письма Замятина к Чуковскому. Выдержки из дневника. Публикация и комментарий Е. Ц. Чуковской.[6]

Замятин и Шапорин. К постановке «Блохи». Публикация и комментарий В. Васиной-Гроссман.[7]

Переписка Замятина с Пильняком. Предисловие, публикация и комментарий Г. А. Белой.[8]

В. А. Каверин. Странички воспоминаний.[9]

Письма Замятина к родным. Предисловие, публикация и комментарий А. Н. Стрижева.[10]

Шейн А. А. Из архива Калифорнийского университета.[11]

Замятин. История русской литературы. Лекции. Публикация, комментарий С. А. Макашина.[12]

Замятин — редактор Уэллса (тема).

Замятин и молодые советские прозаики (Чапыгин, Яковлев и др.).

Библиография произведений Замятина и литература о нем.

Том будет иллюстрирован редкими фотографиями, снимками с автографов и деловых бумаг.

[1] Михайлов Олег Николаевич (род. 1932) — литературовед, прозаик.

[2] О Трифонове Н. А. см. прим. 46 к документу 1. Упомянутые материалы опубликованы позднее: *Примочкина Н. Н.* М. Горький и Е. Замятин: (К истории литературных взаимоотношений) // Русская литература. 1987. № 4.

[3] Письма Е. И. Замятина А. М. Ремизову опубликованы только по фондам ОР ИРЛИ (см.: «Автобиография» Е. И. Замятина; Письма Е. И. Замятина к А. М. Ремизову / Публ. В. В. Бузник // Русская литература. 1992. № 1) и Бахметевского архива Колумбийского университета (см.: [Shane A.] Two Letters from Remizov to Zamyatin // Russian Literature Triquarterly. Ann Arbor, 1972. № 2). Чудакова Мариэтта Омаровна (род. 1937) — литературовед, прозаик.

[4] «Второстепенные реалисты» — подзаголовок лекций Е. И. Замятина (см. прим. 3 к документу 4). Заметки «Чехов и мы» не являются частью этого лекционного курса. Куванова Людмила Кирилловна (1909—1998) — архивист.

[5] Инсценировка «История одного города» опубликована А. Ю. Галушкиным: Странник: Литература. Искусство. Политика. 1991. Вып. 1.

[6] Переписку Е. И. Замятина и К. И. Чуковского см.: Е. И. Замятин и К. И. Чуковский: Переписка. (1918—1928) / Вступ. статья, публ. и коммент. А. Ю. Галушкина // Евгений Замятин и культура XX века: Исследования и публикации / Сост. М. Ю. Любимова. СПб., 2002. Чуковская Елена Цезаревна (род. 1931) — литературовед.

[7] Шапорин Юрий Александрович (1887—1966), композитор; автор музыки к постановке замятинской «Блохи» в ленинградском БДТ. Васина-Гроссман Вера Андреевна (1908—1990) — музыковед.

[8] Наиболее полный вариант этой переписки: «...Мне сейчас хочется тебе сказать...»: Из переписки Бор. Пильняка и Евг. Замятина с Конст. Фединым / Публ. Н. К. Фединой; [Вступ.

ст. и комм.] А. Н. Старкова. См. также: *Любимова М. Ю.* Е. И. Замятин и Б. А. Пильняк: (Материалы к биографии) // Источниковедческое изучение памятников письменной культуры. СПб., 1994. Белая Галина Андреевна (1931—2004) — литературовед.

[9] Каверин Вениамин Александрович (1902—1989) — писатель, ученик Е. И. Замятина по литературной студии Дома искусств. Е. И. Замятину посвящены лишь отдельные фрагменты его опубликованных мемуарных текстов.

[10] Эти письма появились в печати позднее: Из переписки с родными / Публ. А. Н. Стрижева // Наше наследие=Our Heritage. 1989. № 1.

[11] Alex M. Shane — американский славист. С. А. Макашин имеет в виду архив Колумбийского университета.

[12] См. прим. 3 к документу 4.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

© *Е. И. Карташева*, © *А. Н. Пашкуров*

Г. П. КАМЕНЕВ: НОВЫЕ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

История жизни и творчества Гавриила (Гаврилы) Петровича Каменева, писателя, масона, представителя известной в Казанской губернии купеческой династии, до сих пор таит немало белых пятен.

В обширной литературе, от первых посмертных некрологов 1800-х годов до диссертационных исследований и статей 1990—2000-х годов, выделяется несколько главных исследовательских аспектов.

Во-первых, изучение проблемы соответствия между трагическими обстоятельствами жизни писателя (раннее сиротство, несчастье в браке, смертельная болезнь) и основными мотивами его творчества 1790—1800-х годов. Этот вопрос был поставлен еще в некрологе, опубликованном «Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств» (1803). К последней трети XX века в литературоведении окончательно сложилась традиция рассматривать жизнь и творчество Каменева в контексте восприятия готической поэтики в русском предромантизме.[1] На первых двух Каменевских конференциях, прошедших в Казани в 1997 и 2000 годах, были предложены новые трактовки этой проблемы в связи с мотивами сна и пророчества в позднем творчестве писателя.[2]

Во-вторых, исследование каменевского эпистолярия и как одного из важнейших источников, запечатлевших мировоззрение автора, и как связующего звена между биографией Каменева и его творчеством. Биограф Каменева профессор Казанского университета Е. А. Бобров в начале XX века опубликовал письма поэта к литератору и масону С. А. Москотильникову.[3] Более четверти века занимается этой проблемой Р. М. Лазарчук, кандидатская диссертация которой была посвящена особенностям эпистолярия русских писателей XVIII века.[4] Е. И. Карташева опубликовала по результатам архивных разысканий исследование о неизданных письмах Каменева в фондах Национального музея Республики Татарстан.[5] На Каменевских чтениях 2008 года Ю. А. Благов на материале писем Каменева к Моско-

---

[1] *Вацуро В. Э.* Г. П. Каменев и готическая литература // XVIII век. Л., 1975. Сб. 10. С. 271—277; *Лазарчук Р. М.* Письма Г. П. Каменева и их историко-литературное значение // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1976. Вып. 2. С. 74—84; *Suchaneк L.* Twórczość poetycka Gabriela Kamieniewa. Z abserwacji nad poesja preromantyzmu rosyjskiego // Slavia orientalis. 1980. № 3. S. 347—352; *Валеев Э. Н.* Судьбою прерванный полет... Казань, 2001.

[2] *Григорьев Е. И.* Пророческие мотивы в поэзии Г. П. Каменева // Диалог поэтов в культурном пространстве Казани. Литературно-публицистические чтения к 200-летию смерти Г. П. Каменева и 170-летию приезда А. С. Пушкина в Казань. Материалы выступлений. 23—24 октября 2003 года. Казань, 2004. С. 29—38; *Карпов И. В.* Г. П. Каменев. «В трех верстах от Казани»: Проблема метода и жанра // Чтения, посвященные 225-летию со дня рождения Гавриила Каменева, поэта и жителя Казани. Казань, 1998. С. 31—33.

[3] *Бобров Е. А.* Письма Г. П. Каменева к С. А. Москотильникову // Бобров Е. А. Литература и просвещение в России XIX века. Казань, 1902. Т. 3. С. 109—170, 190—199.

[4] *Лазарчук Р. М.* Дружеское письмо второй половины XVIII века как явление литературы. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1972.

[5] *Карташева Е. И.* Неизданные письма Гавриила Петровича Каменева (по материалам фондов Национального музея Республики Татарстан) // Диалог поэтов в культурном пространстве Казани. С. 62—73.

тильникову, хранящихся в фонде Национального музея Республики Татарстан, сделал доклад «О театральных воззрениях Г. П. Каменева».

В-третьих, рассмотрение историко-философской проблемы «Каменев и масонство». Еще исследователи XIX века обратили пристальное внимание на важнейшие биографические факты: личную дружбу Каменева с Москотильниковым, его тесное общение во время последней поездки в Москву с одним из виднейших московских масонов — И. В. Лопухиным. Р. М. Лазарчук недавно обнаружила письмо Каменева к известному масону, сподвижнику Н. И. Новикова — М. И. Невзорову.[6] Несколько ранее А. И. Серков в энциклопедическом словаре «Русское масонство. 1731—2000 годы» указал на то, что писатель был вхож в казанскую ложу «Восходящей звезды».[7]

В-четвертых, воссоздание общей картины «казанской топографии» Каменева. Вслед за Н. И. Второвым и Е. А. Бобровым к этой проблеме обратился в 20-е годы XX века Г. М. Залкинд.[8] В 2008 году в рамках Каменевских чтений прошло заседание, посвященное этому вопросу.

Долгое время незыблемыми оставались данные о датах рождения и смерти казанского писателя. В пределах этих хронологических и смысловых границ, собственно, и рассматривались все выделенные нами выше научные проблемы.

Сохранившиеся и выявленные материалы, связанные с Каменевым и его ближайшим окружением, хранятся в различных государственных хранилищах: в Казани — в Национальном музее Республики Татарстан, Научной библиотеке им. Н. И. Лобачевского Казанского государственного университета, Национальном архиве Республики Татарстан, в Москве — в Государственном музее А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Литературном музее; в Санкт-Петербурге — в Российской национальной библиотеке, Институте истории Российской академии наук, Пушкинском Доме.

Источники, выявленные в архивном фонде Казанской духовной консистории, дают новую информацию о датах рождения и смерти Каменева.

До настоящего времени считалось, что поэт родился 3 февраля 1772 года. Эта дата вошла в работы авторитетных биографов поэта Н. Я. Агафонова, Е. А. Боброва в конце XIX—начале XX века, без ссылок на источник сведений, и с того времени не подвергалась сомнению.[9]

Однако недавно в книге Покровской церкви г. Казани за 1773 год, в части первой (о рождавшихся), была обнаружена метрическая запись, сообщавшая, что 9 марта этого (1773) года «у президента Петра Григорьева сына Каменева» родился сын Гавриил.[10] Данное документальное свидетельство имеет первостепенное значение для биографии Каменева.

Ни в одной из биографических публикаций о Каменеве не сопровождалась ссылками на документы и дата смерти, в отношении которой встречаются разночтения.

Метрическая запись в книге Крестовоздвиженской церкви г. Казани за 1803 год, в части третьей (о умерших), вносит окончательное уточнение и в этот вопрос. Доку-

---

[6] *Лазарчук Р. М.* Письмо Г. П. Каменева М. И. Невзорову // XVIII век. СПб., 2002. Сб. 22. С. 431—434.

[7] *Серков А. И.* Русское масонство. 1731—2000. М., 2001. С. 948. См. также: *Сидорова М. М.* К вопросу об изучении масонства в Казани // Диалог поэтов в культурном пространстве Казани. С. 129—134.

[8] *Залкинд Г.* Г. П. Каменев (1772—1803): Опыт имущественной характеристики первого русского романтика. Казань, 1926.

[9] *Агафонов Н. Я.* Казань и казанцы. Казань, 1906. Ч. 1. С. 39; *Бобров Е. А.* Первый русский романтик Г. П. Каменев: Биографический очерк // Исторический вестник. 1903. № 8. С. 526.

[10] Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 4. Оп. 2. Д. 70. Л. 49.

мент удостоверяет, что «казанский купец Гаврила Петрович Каменев помре от чахотки» 26 июля, тридцати лет.[11]

Именно эта дата была указана в примечании к стихотворению «Вечер 14 июня 1801 года» в первой посмертной публикации произведений поэта в «Периодическом издании» Вольного общества любителей словесности, наук и художеств: «Сия пиеса есть последняя автора — он скончался 26 июля к сожалению Общества, которое надеялось со временем от него плодов, могущих украсить российскую словесность».[12] 26 июля как день смерти поэта указывает и Е. А. Бобров.[13] Но впоследствии в биографических сведениях о поэте утвердилась двойная дата — 25 или 26 июля.[14]

Данные о возрасте Каменева к моменту кончины — тридцать лет — служат и подтверждением 1773 года как даты рождения поэта.

Эти важнейшие биографические данные напрямую соотносимы и с проблемой «казанской топографии» Каменева.

В Национальном архиве Республики Татарстан в фонде Казанской городской общей и шестигласной думы находятся документы, характеризующие социально-сословное и имущественное положение Каменева как казанского купца первой гильдии, одного из богатейших людей города.

К периоду его отрочества, второй половине 1780-х годов, относятся сведения в «Книге города Казани городовых обывателей».[15]

Особой ценностью обладает документ с автографом (подписью) Каменева, вошедший в состав «Описания домов владельцев г. Казани» за 1796 год.[16] «Описание» — репрезентативный исторический источник, востребованный исследователями. Возможно, Каменев участвовал в составлении этого документа в начальный период своей службы в магистрате (в должности ратмана), в 1794—1796 годах.

В конце «Описания», вне рамок основных сведений, дана краткая выписка о планируемой сумме денежных податей с 3 квартала г. Казани на содержание полиции и «прочие надобности» на 1798 год. Документ имеет подписи: «бургомистр Гаврила Каменев» и «в должности секретаря регистратор Савва Москотильников».[17] Данный источник позволяет точнее определить время службы поэта в должности бургомистра — 1797—1799 годы.

Сведения о домовладениях Каменева, включенные в «Описание»,[18] дают возможность рассмотреть вопрос о месте жительства поэта в Казани, представить его окружение.

Считается, что поэт жил и скончался в доме по улице Воскресенской. Однако по этому домовладению указаны многочисленные лавки — в верхнем этаже двадцать три, в нижнем — шестнадцать. Учитывая образ жизни Каменева, тяготевшего к дворянскому быту и литературным занятиям, уединенному чтению, трудно представить его обитателем дома с таким количеством торговых помещений. Рядом располагались подобные же купеческие дома, несколько казенных зданий; напротив — Гостиный двор.

Три домовладения принадлежали Каменеву на улице Арской, из них в ее начале самое крупное — общей площадью 1485 квадратных сажен, главный корпус и

---

[11] Там же. Д. 425. Л. 76.

[12] Периодическое издание Вольного Общества любителей словесности, наук и художеств. СПб., 1804. Ч. 1. С. 56.

[13] *Бобров Е. А.* Первый русский романтик Г. П. Каменев. С. 526.

[14] *Валеев Э. Н.* Гавриил Петрович Каменев (1772—1803): Пособие к спецкурсу по русской литературе конца XVIII—начала XIX века. Елабуга, 2001. С. 47; *Лазарчук Р. М.* Каменев Гаврила Петрович // Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 1999. С. 12.

[15] Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 114. Оп. 1. Д. 1. Л. 156—156 об.

[16] Там же. Д. 2.

[17] Там же. Л. 95.

[18] Там же. Ф. 114. Оп. 1. Л. 1, 3 об., 4—4 об.

флигель в два этажа, а дальше по улице еще два — в 258 и 126 квадратных сажен каждое. В одном из зданий помещалась полиция.

Можно выдвинуть гипотезу, что Каменев в последние годы жил и скончался в первом доме по улице Арской. Впоследствии домовладение принадлежало наследникам поэта по линии его старшей дочери Екатерины (в замужестве — Рубановой). Косвенным доказательством проживания Каменева в этом доме служит то, что метрическая запись о его кончине была сделана в книге Крестовоздвиженской церкви, которая располагалась по соседству.

В социальном составе домовладельцев по улице Арской преобладали дворяне. Среди них есть представители известных фамилий — Е. И. Великопольский, Х. Л. Молоствов, И. И. Депрейс, Ф. Ф. Геркен, Н. М. Мусин-Пушкин.

На этой же улице располагалось Главное народное училище и дом, где квартировали его учителя. По крайней мере один из них, И. И. Чернявский, входил в круг близкого дружеского окружения Каменева.

На улице Арской также находился дом «иностранца Михаила Богданова Вилфина» (Вюльфинга),[19] в пансионе которого поэт в отрочестве получил образование.

Документ, подтверждающий высокое социальное положение Каменева, найден в архивном фонде Казанской мужской гимназии — рекомендательное свидетельство, данное Ивану Протопопову, сыну симбирского мещанина, в том, что он «по известности нам в живописном и рисовальном искусстве при обучении детей показал отличные опыт и искусство, а равно и поведения очень хорошего». В числе подписей значится: «коммерции советник Гаврила Каменев».[20] Документ датирован 9 апреля 1802 года.

Не менее важны и продолжающиеся архивные поиски, касающиеся судьбы мемориального и творческого наследия Каменева.

В фондах Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского государственного университета выявлены три книги из библиотеки поэта — «Описание в начале 1744 года явившейся кометы купно с некоторыми учиненными об ней рассуждениями» Г. Гейнзиуса (СПб., 1744), «Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассирианах, о вавилонянах, о мидянах, персах, македонянах и о греках» Ш. Роллена (СПб., 1751. Т. 2), «Сатиры и другие стихотворческие сочинения» А. Д. Кантемира (СПб., 1762). Книги имеют на форзаце владельческие подписи Каменева с указанием порядкового номера (№ 1, 7, 9) и общей датой — 27 февраля 1791 года.[21]

В фондах Национального музея Республики Татарстан находятся также списки неизданных писем Каменева.[22]

В комплексе материалов представлены двенадцать писем и записка неизвестному лицу (без обращения). Одиннадцать писем относятся к поездке Каменева в Москву и Петербург летом—осенью 1802 года, одно датировано 1800 годом. Во время пребывания в столице, 30 августа 1802 года, поэт стал членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

Известны и опубликованы письма Каменева из Москвы, адресованные его другу Москотильникову, но в них отражены поездки 1799 и 1800 годов, только одно письмо принадлежит к 1802 году.[23]

---

[19] Там же. Ф. 114. Оп. 1. Д. 2. Л. 4 об.

[20] Там же. Ф. 87. Оп. 1. Т. 7 (1802). Д. 8238. Л. 6.

[21] *Аристов В. В.* Его биографию хотел написать А. С. Пушкин... // Аристов В. В. Казанские находки: Поиски литературные и исторические. Казань, 1985. С. 126—137; *Новицкая И. А.* Библиотека Г. П. Каменева // Диалог поэтов в культурном пространстве Казани. С. 97—98.

[22] Национальный музей Республики Татарстан. ОПИ. Коллекция П. А. Пономарева. КППи-100861/а.

[23] Письма Каменева Москотильникову были опубликованы: *Второв Н. И.* Г. П. Каменев // Вчера и сегодня. Лит. сб. / Сост. В. А. Соллогуб. СПб., 1845. Кн. 1. С. 29—64; *Бобров Е. А.* Письма Г. П. Каменева к С. А. Москотильникову.

Адресаты писем из фондов Национального музея Республики Татарстан — Пелагея Петровна и Гавриил Иванович Дедевы (сестра и зять Каменева), купец Родион Петрович Хворов (?). Подлинные письма находились в семье потомков Дедевых, списки (с сокращениями) были сделаны в конце XIX века казанским археологом и краеведом П. А. Пономаревым (1847—1919), членом Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.

Несмотря на «вторичность» происхождения данных материалов, они обладают большой ценностью как биографические и литературные источники.

Письма Каменева к Москотильникову являются признанным образцом эпистолярного творчества конца XVIII—начала XIX века.[24] Послания Дедевым и Р. П. Хворову значительно отличаются от них — это довольно краткие письма-сообщения, в основном имеющие фактически-бытовое содержание. Однако они по-новому открывают личность поэта, свидетельствуют, что Каменев прекрасно владел мастерством эпистолярного общения, умел выбирать формы и средства выражения в зависимости от цели послания, ситуации, адресатов и пр. Особую значимость данному эпистолярному комплексу придает то, что он относится к завершающему периоду жизни Каменева.[25]

Представлено в архивных фондах Национального музея Республики Татарстан и раннее творчество писателя. Речь идет о нигде до сих пор не публиковавшемся творческом автографе Каменева — «Осень, сочинения г. Рейрака, в стихи переложенная».[26]

Думается, что продолжение исследований различных аспектов жизни, деятельности и творчества Гавриила Каменева, видного представителя русского предромантизма, даст возможность и далее расширять круг источников, дополнять и уточнять имеющиеся сведения о писателе, открывать новые факты его личной и творческой биографии.

Публикуемое произведение является стихотворным переложением прозаического сочинения Ф. Ф. де Лорана де Рейрака (Reyrac, 1734—1781) «Конец осени» («La fin de l'automne», около 1770).[27] Большинство переводческих решений в нем обнаруживает явную зависимость от прозаического перевода Т. И. Можайского (1760—1805), опубликованного в 1789-м, а затем переизданного в 1790 году.[28]

Стихотворение датируется сентябрем 1792 года и, наряду с уже введенным в научный оборот произведением «Авелева смерть» (март 1792 года),[29] относится к числу сохранившихся ранних литературных опытов поэта, а также дополняет представление о переводческой деятельности Каменева.[30]

Этот документ поступил в Государственный музей ТАССР в 1951 году в составе комплекса материалов семейного архива К. И. Мануйловой, включившего документы, относящиеся к Каменеву и его потомкам Рубановым и Мануйловым, из со-

[24] *Лазарчук Р. М.* Письма Г. П. Каменева и их историко-литературное значение.

[25] См.: *Карташева Е. И.* Указ. соч. С. 62—73.

[26] Национальный музей Республики Татарстан. ОПИ. КППи. 115869. Л. 1—3 об.

[27] См., например: [*Reyrac*]. La fin de l'automne // Hymne au soleil suivi de plusieurs morceaux du même genre, par M. l'abbé de Reyrac... nouvelle édition. Amsterdam, 1781. P. 87—93.

[28] См.: [*Рейрак Ф. Ф. де Лоран де*]. 1) Осень // Солнце / [Пер. с фр. Т. И. Можайский]. СПб., 1789. С. 122—130; 2) ⟨Гимн солнцу. Отрывок⟩ // Жирар Ж. Ф. А. де. Друг природы / Пер. с фр. Т. Можайской. СПб., 1790. С. 30—33. Известны и другие переводы сочинений Рейрака в России 1780—1790-х годов, например: [Рейрак Ф. Ф. де Лоран де]. Поема, на сотворение мира: в трех песнях / [Пер. с фр. П. Дивов]. СПб., 1785.

[29] Первая относительно полная подборка стихотворений Каменева, с необходимыми текстологическими комментариями, появилась в XX веке в книге: Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств / Ред. и комм. В. Орлова. Л. 1935 (Библиотека поэта. Большая сер.). См. также: Поэты-радищевцы / Вступ. статья, биогр. справки, сост. и подг. текста П. А. Орлова и Г. А. Лихоткина. 2-е изд. Л., 1979 (Библиотека поэта. Большая сер.).

[30] См.: *Heithus C.* Unbeachtete russische Übersetzungen um 1800 aus der deutschen Literatur // Arcadia. Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft. 1990. Bd 25. H. 3. S. 245—254.

брания А. М. Вилькена. В 1957 году он экспонировался, описание его было внесено затем в отдельный каталог.[31] На эти данные в ряде своих краеведческих работ ссылался проф. Н. М. Валеев. Однако «Осень...» Каменева до сих пор не привлекала внимания литературоведов.

Автограф стихотворения представляет собой рукопись, написанную чернилами на двух двойных листах бумаги голубого цвета, сшитых между собою по вертикальному сгибу хлопчатобумажными нитями. В конце карандашная приписка. Нумерация строф авторская. Листы и страницы не пронумерованы. Орфография и пунктуация при публикации приведены в соответствие с современными нормами, за исключением ряда случаев, отражающих особенности оригинала.

[31] Выставка автографов. Государственный музей ТАССР. Каталог. Казань, 1957. С. 18—19.

ОСЕНЬ,

сочинения г. Рейрака,
в стихи переложенная

Куда, прекрасны дни, от взора удалились,[1]
Которых прелестьми все чувства веселились?
Тогда, в цветущие укрывшися кусты,
Где густо меж собой сплетаются листы,
Недремлющий певец приятно воспевал
И свисты день и ночь громчайше простирал,
Пришествие весны восхи́тительно пел
И дух мой наполнять восторгами умел.
Не тучный клас в полях наполнившися зреет,
Нет, в нивах и лугах все вянет и мертвеет,
Помону с Флорою изгнал осенний мрак,
Сам Феб, скрывая свой ясноблестящий зрак,
Сквозь темны облака луч слабый ниссылает
И с сожалением как будто освещает
Мест сельских красоты в осенни скучны дни,
Великолепия развалины одни.
Прелестные певцы, вспевающие нежно,
Изгонит вас зима, повея хладно, снежно,
Пестреясь перьями, престанете в лесах,
Сугубя их красу, вспевать на древесах.
Не буду долго я восторгом наслаждаться,
В дубравах голос ваш не будет повторяться.
Как нежно ласточка, по воздуху летя
И насекомых в снедь достать себе хотя,
Своими легкими крылами управляя,
Вкруг озеров полет кружится[2] устремляя
Иль вод касается, когда добычу зрит,
Поверхности кристалл лазоревы струит.
Не узрю я сего, ветр хлады развевает,
В теплейшие она климáты улетает,
Оставивши гнездо, что, хитростью своей,
Под кровлею свила у хижины моей.
Аи́сты, журавли до облак возлетают,
Суровостей зимы, морозов избегают.

[1] Первоначальный вариант конца строки: «от взор моих сокрылись».
[2] Было: «стремится».

Полетом тяжестным, холодных житель стран,
Стеняще плавает в эфире хищный вран,
Он крики жалостны повсюды возглашает
И эхом о́крестность унылым наполняет.
Как пременилися прекрасные места!
Не видно более на древесах листа,
Великолепные поля от ветров сильных
Лишились с красотой растениев обильных,
Сады, мной зримые в приятнейших плодах,
Во обнаженных днесь являются ветвях,
Долин прекраснейших и жатвой плодоносных
Не познаю теперь от вихрей хладных грозных,
Где нивы тучные являлися глазам,
Печальны только зрю остатки ныне там.
Не нежные цветы на гибких вижу розах
И не зеленый лист на виноградных лозах,
Не зрелы гроздия обилием висят,
Которы соком нас приятным веселят,
Погодой и дождем зрю стебли обнаженны
И красоты своей приятнейшей лишенны.
Густые облака скрывают небеса,
И темновидные древнейшие леса,
Что о́крест горизонт от взора преграждают,
Пришествие зимы и стужи возвещают.
Величественна тень не видна от вязов,
Распространенная в час солнечных жаров,
Все бурный Орион разит и сокрушает.
И густы листвия[3] в дубравах обдувает,
Порывами чинит всеместну пустоту,
И ве́ршины древес являют желтоту.
В прелестных рощах сих, что дух красой пленяли
И восхищением меня упоевали,
Влиянье горестно, унынье днесь живет,
В печальных видах мрак задумчивость несет.
Цветник, что пестротой в очах моих блестился,
В сухие ветвия и стебли превратился.
Свершилось все, и я от зрелища сего
Сокроюся против желанья своего.
Последних ясных[4] дней тогда земля красилась,
Как поздну розу длань моя сорвать стремилась.
Но си любезны дни, о коих я грущу,
В предбудущей весне с восторгами сыщу,
Приятна тень древес к отрадам возвратится,
И вид полей с травой цветами упестрится.
Живящий со́лнца зрак, в долины сыпля луч,
Вселенну изведет из мрака зимних туч.
Одетая земля снежистым белым кровом,
Открыв себя,[5] явит в великолепье новом.
Лишь грешников бежит веселие всегда,
Они конца зимы не узрят никогда.
На Стиксовых брегах, во мраке заблуждаясь,
Унынъем, горестью, печалию терзаясь,
Свет будут во слезах, но тщетно, вспоминать
И жизнь прошедшую себе воображать,
Которою они в утехах восхищались,
Но вдруг, лишась всего, в руках тоски остались.

[3] Было: «и густоту листов».
[4] Первоначально в скобках: «светлых».
[5] Первоначальный вариант начала строки: «открывшися».

К несчастным таковым несносен и жесток
Судбины грозныя неумолимый рок,
Преграды навсегда в тех областях воздвигнет,
И их стенания и вечна скорбь постигнет.
Осенний мрак своей печальной пустотой
Такими мыслями весь дух смущает мой.
Мне мнится, люта смерть длань тяжку направляет
И всюды свой полет за мною устремляет,
Среди густых лесов, при вьющихся ручьях,
Во ужасе всегда мечтается в очах.
Печальны зрелищи, в окрестности мной зримы,
Лишь множат горестей удары нестерпимы.
Задумчивостью я глубокой окружен,
Осеннею мой взор картиной поражен.
Земля унылою одеждой облеченна,
Густые облака твердь носит помраченна,
Воздушный мглисто круг темнеет от паров,
И горды верхи гор белеют от снегов.
Из льдом блестящего гористого вертепа,
Из дебрей северных грядет зима свирепа,
По нивам стелет мраз, снег, иней и туман,
И хладной ветр, дыша от полуночных стран,
Величественных рек на бьющиеся волны,
Катящиеся вслед друг другу шума полны,
Оковы наложив, крепит прозрачный свод
И в льдистом гробе бег скрывает быстрых вод.
Я слышу рев морей, их буря страшна кроет,
Порывистый Борей в эфире грозно воет,
Стихии брань ведут, сражаясь меж собой.
Небес темнеет зрак туч черных густотой.
Всемирный пламенник на тверди не блистает!..
Не в ужасе ли днесь природа исчезает,
Не сверженным ли зрю шар зе́мный в мрачный ров,
И не свершилось ли течение веков?
Прости, убежище, толико мне любезно,
В тебе я мирно жил, спокойно и полезно,
Блаженные часы невинно провождал!
Прости! ручей, что́ я вседневно посещал,
Меж златовидными стремящийся камнями,
В сребристом дна песке играючи струями!
Простите, кустики, которые любил,
Над вами много я труда употребил!
Дубравы тихие и рощей мрак безмолвны,
Все чувствия мои от вас восторгом полны,
Где[6] пенье соловья в весенние часы
С великолепием возобновит красы,
Не прежде у́зрю вас, как, осенясь листами,
Вы будете шуметь приятно ветерками.
Пронзает ветр меня и смертоносный хлад.
Спокойно возвращусь во многолюдный град,
При сильном стоне где бореев напряженных
Я скроюсь в хижину, и в мыслях откровенных
С друзьями искренно беседу поведу
Иль в сладком сне покой с приятностью найду.

1792 года сентября 11 дня

Переложил Г. Каменев
Гаврила Каменев[7]

[6] Первоначальный вариант начала строки, затем взятый в скобки, — «в вас».
[7] Более поздняя надпись карандашом.

© *В. А. Кошелев*

«АВОСЬ, ДОРОГИ НАМ ИСПРАВЯТ...»: О СЕМАНТИКЕ «ДЕСЯТОЙ ГЛАВЫ» «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»

Приведенный в заглавии стих в известной шифрованной записи так называемой «десятой главы» «Онегина»[1] занимает несколько особое место. Он находится на левой странице листа во втором столбце среди четырех стихов:

Моря достались Албиону
Авось дороги нам испр⟨авят⟩
Измучен казнию покоя
Кинжал Л⟨?⟩ тень Б⟨?⟩[2]

Б. В. Томашевский, рассказывая об «истории разгадки» «десятой главы», представил математически рассчитанную и логически непротиворечивую «криптограмму», расшифрованную П. О. Морозовым (и уточненную С. М. Бонди): двенадцать «онегинских строф» с сохранившимися первыми четырьмя стихами (в них — несколько ошибок поэта, составлявшего «криптограмму») и четыре строфы, в которых сохранилось три начальных стиха. Но в эту расшифровку не укладывались как раз четыре приведенных выше строки.

Исследователь логично предположил: «Очевидно, это стихи одного порядка из тех же 16 строф. Однако их никак не приспособить в качестве пятых стихов. Надо думать, что здесь дальнейшие стихи (вероятнее всего — девятые; за это говорит женское окончание и синтаксический строй, свойственный начальному стиху некоторого периода). Локализуются по строфам два стиха. Второй явно попадает в серию, посвященных слову „авось" (строфы VI и VII). Третий стих в измененном виде находится в том же самом стихотворении „Герой", что и все четыре начальных стиха VIII строфы. Наконец, слово „Кинжал" четвертого стиха заставляет предполагать, что речь идет о событиях 1820 г. (убийство герцога Беррийского Лувелем), которым посвящена строфа IX».[3]

В конце концов эти четыре стиха в Большом Академическом издании оказались в следующем контексте:

⟨6⟩

Авось, о Шиболет народный
Тебе б я оду посвятил
Но стихоплет великородный
Меня уже предупредил
. . . . . .
Моря достались Албиону

⟨7⟩

Авось аренды забывая
Ханжа запрется в монастырь
Авось по манью ⟨Николая⟩
Семействам возвратит ⟨Сибирь⟩
. . . . . .
Авось дороги нам исправят

[1] ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Ед. хр. 170.

[2] *Пушкин.* Полн. собр. соч.: В 17 т. [М.; Л.] 1937. Т. 6. С. 520. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием тома и страницы.

[3] *Томашевский Б. В.* Десятая глава «Евгения Онегина» (История разгадки) // Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 2. М.; Л., 1961. С. 216—217.

⟨8⟩

Сей муж судьбы, сей странник бранный
Пред кем унизились ц⟨ари⟩
Сей всадник Папою венчанный
Исчезнувший как тень зари
. . . . . .
Измучен казнию покоя

⟨9⟩

Тряслися грозно Пиринеи —
Волкан Неаполя пылал
Безрукий князь друзьям Мореи
Из К⟨ишинева⟩ уж мигал
. . . . . .
Кинжал Л⟨?⟩ тень Б⟨?⟩

(VI, 522—523)

Из предложенной вроде бы непротиворечивой «расшифровки» выбивался стих «Моря достались Албиону»: «морская» политика Англии плохо соотносилась с «русским авосем». Н. Л. Бродский в своем комментарии предпочел считать этот стих (в отличие от двух следующих, оставленных на своих местах) начальным в специальной строфе, якобы рассказывавшей о переделе Европы державами Священного союза. В связи с этим исследователю пришлось произвольно «перетасовать» (в соответствии с якобы «реконструированной» логикой Пушкина) и порядок других строф,[4] что нарушило логику расшифрованной «криптограммы».

Б. В. Томашевский, критикуя подобные «новации», особенно негодовал на то, что стихи с «авосем» оказались в этой «реконструкции» в самом финале «десятой главы» и с иронией замечал: «Последняя, строфа занимает заключительное положение, очевидно, потому, что в ней есть стих „Авось дороги нам исправят", а по обязательной справке литературоведа-социолога первая шоссейная дорога была построена только в 1830 г., т. е. после событий 1825 г.».[5]

Недавно новую попытку «реконструктивного анализа» этого текста предпринял С. А. Фомичев, который в своем «логическом» анализе строф тоже не очень следует за «криптограммой». Он указал на неуместность стиха про «Альбион» в серии рассуждений про «авось»: «По смыслу, речь должна идти о результатах войны, плоды которой народу не достались. Тогда на место встанет строка о морях, а ниже можно ожидать перечисления остальных „благ" (может быть, — «Французский трон опять Бурбону» и т. д.), а смерду русскому пришлось лишь полагаться на авось».[6] «Альбион» оказывается рядом с «русским глупым нашим народом», а стих про «авось» и «дороги» отнесен к строфе, где поминается «стихоплет великородный».

Кстати, все последующие интерпретаторы «десятой главы» интересующие нас четыре не укладывающиеся в «криптограмму» стиха склонны считать не «девятыми» по счету в реконструируемой «онегинской строфе» а «пятыми». В. В. Набоков по поводу стиха о «дорогах» заметил: «Какая могла быть рифма в стихе 6? Заставят? Позабавят? Поставят? Прославят? Расставят? Раздавят? Убавят? Удавят? Есть и еще несколько вариантов, менее очевидных».

А по поводу «авося» о сосланных в Сибирь декабристах указал: «Здесь анжамбеман: стих 5 наверняка начинался прямым дополнением, относящимся к недописанному предложению (4—5): „Семействам возвратит Сибирь / ⟨Их сыновей⟩".

---

[4] *Бродский Н. Л.* «Евгений Онегин». Роман А. С. Пушкина. 4-е изд. М., 1957. С. 375—398.

[5] *Томашевский Б. В.* Указ. соч. Кн. 2. С. 238—239.

[6] *Фомичев С. А.* «Евгений Онегин»: Движение замысла. М., 2005. С. 156.

В конце строфы скорее всего говорилось о Наполеоне; последним словом в стихе 14 могло быть и само его имя. Декабристов Сибирь еще может возвратить их семействам, но Святая Елена своего пленника уже не отдаст. Возможно, так завершалось это очень пушкинское перечисление и тривиальных, и значительных вероятностей, подсказанных поэту словом „авось"».[7]

С. А. Фомичев не согласен с этой гипотезой: «Разумеется, словесное продолжение в пятой строке, намеченное Набоковым, вполне условно, но необходимость завершить мысль о возвратившихся из Сибири не позволяла там повторять „Авось..."». Но почему именно «авось» не увязывается с декабристской темой (тем более, что Пушкин с «авося» и начал), и чем плохо, если декабристы возвратятся из Сибири по «исправленной» дороге?

Во второй половине XX века в связи с актуализацией темы «Пушкин и декабристы» появился ряд собственно поэтических «реконструкций» «десятой главы», две из которых показательны для нашей темы, поскольку их авторы исходили из текста расшифрованной «криптограммы», представленной в Большом Академическом издании (правда, интересующие нас стихи переместились там не на девятое и не на пятое, а на *шестое* место в «онегинских строфах»). Одна (принадлежащая, вероятно, Д. Н. Альшицу) была создана в ГУЛАГе в начале 1950-х годов, другая, А. Ю. Чернова, — в середине 1980-х годов. На обеих сохранился отпечаток эпохи, в которую они создавались.[8]

1950-е гг.

Авось, о Шиболет народный,
Тебе б я оду посвятил,
Но стихоплёт великородный
Меня уже предупредил.
«Авось» теперь на службе трону:
Моря достались Албиону,
А что за вычетом морей,
Авось, подляжет под царей.
Мечтать об этом так отрадно...
Наш просвещённый новый царь
Всей суши будет господарь
И с ней управится изрядно,
А нынче всё и вкривь и вкось,
Но я ... надеюсь на авось!

*

Авось, аренды забывая,
Ханжа запрётся в монастырь,
Авось, по манью ⟨Николая⟩
Семействам возвратит ⟨Сибирь⟩
Тех, что в народе тайно славят,
Авось дороги нам исправят,
Авось, российская печать
О правде сможет не молчать...
Авось, поэт, служитель лиры,
Придворным сможет и не быть
И даже сможет не носить
Камер-лакейские мундиры...
Но я отвлёкся от времён,
Когда был свержен Напольон.

1980-е гг.

Авось!.. О Шиболет народный,
Тебе б я оду посвятил,
Но стихоплёт великородный
Меня уже предупредил.
Вернулась Франция к Бурбону.
Моря достались Албиону,
Свобода — ляху. Ну а нам —
Восторг провинциальных дам
Да дидактические оды.
Авось, когда-нибудь потом
Вослед иным и мы войдём
Под свод пленительной свободы
И просвещения венец
На нас натянут наконец.

*

Авось, аренды забывая,
Ханжа запрётся в монастырь;
Авось, по манью ⟨Николая⟩
Семействам возвратит ⟨Сибирь⟩,
Кого *по случаю* представят;
Авось, дороги нам исправят;
Авось, цензуре надоест
Охота к перемене мест;
Авось, раба отпустит барин,
Авось, газетный патриот
Сам за собою подотрёт;
Булгарин станет невульгарен...
Авось, — про то слыхали вы —
Не тронет матушки-Москвы.

[7] *Набоков В.* Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 647.

[8] Судьба Онегина / Сост. В. и А. Невских. М., 2001. С. 449, 460.

Две несхожих «реконструкции», как бы к ним ни относиться, наглядно демонстрируют «непротиворечивость» соединения разговорной частицы «авось» с «высокой» декабристской тематикой. Кроме того, по-разному представленные «авоси» оказываются в данном случае очень широки в их семантических связях и оттенках. С одной стороны, «*Авось* теперь на службе трону», с другой — «*Авось*, раба отпустит барин»: и мотив укрепления самодержавия, и надежда на отмену крепостного права представлены с помощью одной и той же частицы. Поэтому стоит приглядеться к семантическим возможностям «авося», довольно часто встречающегося в сочинениях и письмах Пушкина.

В словаре В. И. Даля частица *авось* обозначена как наречие (то бишь значимая часть речи), этимологически возводится к сочетанию «*а-во-се* — а вот сейчас» и толкуется следующим образом: «может быть, станется, сбудется, с выражением желания или надежды (латинское fore ut)». Толкование это сопровождается целым ворохом примеров «пословичного» словоупотребления: «Авось Бог поможет. Авось — вся надежда наша. Авось, небось, да третий как-нибудь. Авось — хоть брось. Наше авось не с дуба сорвалось, рассудительное. На авось мужик и хлеб сеет. На авось и кобыла в дровни лягает. Авось и рыбака толкает под бока. На авось казак на конь садится, на авось его и конь бьет. Русак на авось и взрос. Ждем, пождем, авось и мы свое найдем. Авось не унывает. От авося добра не жди. Авось плут, обманет. Авось в лес уйдет. Авось до добра не доведет. Авосю верь не вовсе. Авось да живет, не к добру доведет. Авось, что заяц: в тенетах вязнет. Авось задатку не дает. Авось велико слово. Авось не бог, а полбога есть. Авось живы будем — авось помрем. Авось — дурак, с головою выдаст. Держись за авось, поколе не сорвалось. Авося жданки съели». От этой частицы («наречия») образованы существительные *авоська* («будущий желанный случай, счастье, удача, отвага; кто делает всё на авось»), прилагательное *авосьный*, глаголы *авоськать*, *авосьничать*.[9]

Кроме множества вариантов обычного употребления этого слова, оно может провоцировать и «неочевидные» смыслы. Так, в лермонтовском «Герое нашего времени» Печорин, говоря о своем будущем, заключает: «Мне осталось одно средство: путешествовать. ⟨...⟩ только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге!»[10] Здесь слово *авось* несет особенную нагрузку: оно употреблено семантически «незаконно» — и эта «незаконность» подчеркивает особенную усталость героя от жизни.[11]

Показательно, что в этом случае явно преувеличивается упование «на авось» как собственно *русское* чувство («да понадеялся он на русской авось»): такая национальная привязка явно преувеличена, и беспечная надежда, как заметил И. А. Гончаров во «Фрегате „Паллада"», не столько «в характере русского человека», сколько «в характере просто человека». Это, кстати, очень хорошо показал М. И. Михельсон, сопоставляя «русскую мысль и речь» с инонациональной.[12] В качестве «шиболета народного» словечко *авось* стало ощущаться именно с появлением нашумевшей сатирической оды «стихоплёта великородного» И. М. Долгорукова «Авось» (1798).

Из обширного (двадцать три одических строфы) стихотворения Долгорукова комментаторы обыкновенно ограничиваются цитированием четырех стихов, «авосю» посвященных:

О слово милое, простое!
Тебя в стихах я восхвалю!

---

[9] *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. Т. 1. С. 3—4.

[10] *Лермонтов М. Ю.* Собр. соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 232.

[11] См.: *Жиркова Е. А.* Неочевидные доминанты и их значение в адекватной интерпретации художественного текста. Краснодар, 2006. С. 51—52.

[12] См.: *Михельсон М. И.* Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. М., 1994. Т. 1. С. 4—5.

Словцо ты русское прямое,
Тебя всем сердцем я люблю![13]

Между тем содержание чрезвычайно яркой для своей эпохи оды никак не сводится только к «воспеванию» этого «прямого слова». Принцип «возвышения на авось» оказывается, например, способом жизни и «возвышения» новой знати — «вельмож в случае». Ведь «случай» здесь — то же, что «авось»:

Когда бедняк пот крови точит,
Слезами каждый грош промочит,
По лестнице тот благ летит:
«Авось взойду!» — себе вещает,
И, где не сеял, пожинает,
Что восхотел, то и творит.

Отсюда является представление о том, что «авось» оказывается общим показателем «счастливого пути», путеводной звездой успешных в жизни русских людей:

Авось велико, право, дело!
Он всех затеев наших руль;
Лови успех, чтоб всё кипело,
Коль в мире быть не хочешь нуль ⟨...⟩

С «авосем» легче и путешествовать по «неисправным» российским дорогам: не рассчитаешь, где лучше проехать, — удобнее передвигаться «наперекор рассудку»:

На свете мыкался я много,
Ходил, езжал и так и сяк;
Пойдешь авось — везде отлого,
Пойдешь с умом — всё буерак.
Удача, матушка ты наша!
Земля такая ныне каша,
Что без тебя всё наплевать.

«Авось» кажется универсальным способом жизнестроения, «всему и всем подпорой». Он — замечательный помощник и в азартной игре:

С ним любо и за карты сесть;
Не глядя в них, кричи знай скоро:
«Бостон!» — открыл — он тут и есть. —

и универсальная «премудрость» в любовных затеях:

Скажи «люблю», скажи, не бойсь;
И верь, что нежно то словечко
Пройдет насквозь ее сердечко.
В любви премудрость вся — авось.

А весь этот «универсум» способен развиваться только потому, что универсальным принципом бытия «в отечестве моем преславном, ни с чьим в подсолнечной не равном», становится способ всеобщего обмана и надувательства — «жизни по лжи». И тут уже без «русского авося» не обойтись никак:

Сожитель женку уверяет,
Что он чужих не терпит жен;
Супруга мужа лобызает,
Твердя, что боле всех мил он;

[13] Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Л., 1959. С. 402—408. Далее цитируется по этому тексту.

Скупой свою шкатулу прячет;
Бродяга весь свой век маячит;
Приказный крадет что есть сил;
А всякий сам в себе смекает:
Авось никто-де не узнает,
Что я проказу сгородил.

Ода Долгорукова, при всем своем сатирическом запале, представляет отнюдь не ироническое, а абсолютно серьезное отношение к такому русскому явлению, как жизнь «на авось»: только таким способом и можно выжить в «преславном» отечестве. *Авось* — универсальный двигатель русского бытия.

К творчеству «стихоплета» Долгорукова Пушкин с полным правом относился столь же иронически, как к стихам «пиита» М. Н. Муравьева (в первой главе «Онегина»). Но, отправляя читателя к известной его оде, конечно же, не мог не оценить ту степень внутренней свободы и полноты выражения творческой индивидуальности автора, которая в этом творении проявилась.[14] И совершенно искренне сетовал, что стихи о слове «авось» уже написаны, — и написаны не им.

Впрочем, «ода» Пушкина, как она может быть реконструирована из сохранившихся упоминаний этого слова, была бы совершенно иной. В «Словаре языка...» зарегистрировано сорок семь случаев употребления Пушкиным «авося». Он воспринимал упование на «авось» иначе, чем Долгоруков. В основе любого «авося» — «необеспеченное» разумной реальностью упование (надежда) на благоприятное течение событий. Долгоруков в своей оде рисовал примеры *«удачных»* «авосей». Объявил на авось «Бостон!»; «открыл — он тут и есть». Полетел «по лестнице благ» — и сделался «вельможей в случае». Решил, что «авось никто-де не узнает» про его проделку — никто и не узнал. И так далее.

У Пушкина — иное отношение к «необеспеченной» надежде: «надежда им *лжет* (курсив мой. — *В. К.*) детским лепетом своим» (VI, 100). «Авоси», высказанные его героями, почти всегда оборачиваются *неудачей*. Героиня баллады «Сестра и братья» (из «Песен западных славян») Павлиха заявляет: «У той церкви авось исцелюся» — и тут же раздается предупреждающий «голос»: «Здесь не будет тебе исцеленья» (III, 359). Монах Бертольд («Сцены из рыцарских времен») собирается просить денег на алхимические опыты: «Пойду к барону Раулю, авось даст он мне денег». И тут же — резонный ответ: «Барон Рауль? да где взять ему денег? Вассалы его разорены» (VII, 217). Поп из сказки о Балде понадеялся «на русской авось» (III, 497), хотя умом прекрасно понимает, что от «щелка» нового работника ему явно не поздоровится...

Персонажи прозаических повестей очень часто уповают на авось. «Авось, — думал смотритель, — привезу я домой заблудшую овечку мою» — и не получилось (VIII, 102—103). Анна Савишна, персонаж «Дубровского», надеется, что «авось, Бог пронесет» — и снова не «проносит» (VIII, 193). В «Капитанской дочке» Гринев понадеялся на авось — и попал в буран (VIII, 288); защитники Белогорской крепости надеются: «Авось дадим отпор Пугачеву» (VIII, 316) или: «Видали и башкирцев, и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!» (VIII, 319); жена священника, прощаясь с Гриневым, высказывает надежду: «Авось увидимся в лучшее время» (VIII, 337); и сам Пугачев надеется на успешный исход восстания: «Авось и удастся» (VIII, 353). Но во всех случаях эти упования на авось оборачиваются неудачей и, что называется, «обломом».

И «биографический» пушкинский «авось» того же порядка и с тем же предощущением невозможности осуществления мечтаний. Вот — из писем поэта к В. А. Жуковскому периода «михайловской» ссылки: «Я всё жду от человеколюбивого сердца императора, авось-либо позволит он мне современем искать стороны

[14] См.: *Овчинников Г. Д.* Историк собственного сердца // Долгоруков И. М. Капище моего сердца. Ковров, 1997. С. 7—20.

мне по сердцу и лекаря по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства» (XIII, 187). «Губернатор обещался отнестись, что лечиться во Пскове мне невозможно — итак погодим, авось ли царь что-нибудь решит в мою пользу» (XIII, 236).

В «Евгении Онегине» «авось» поминается единственный раз — и с прямой констатацией того же «облома». Мать Татьяны рассказывает соседу об ухаживаниях за дочерью некоего «гусара Пыхтина»:

Уж как он Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался!
Я думала: пойдет авось;
Куда! и снова дело врозь.
(VI, 150)

И даже тогда, когда «лестная надежда» кажется возможной, Пушкин предощущает и «не задавшийся» вариант. Так, упованием на «авось» завершается вторая глава романа: «Быть может, в Лете не потонет / Строфа, слагаемая мной... и т. д.» (VI, 49). Но вплоть до белового автографа поэт сохранил и указание на иную возможность:

Но может быть и это даже
Правдоподобнее стократ
Изорванный, в пыли и в саже
Мой недочитанный рассказ
Служанкой изгнан из уборной
В передней кончит век позорный
Как прошлогодний календарь
Или затасканный букварь.
(VI, 572)

Вторая возможность реализации «авося», о которой не принято было рассуждать в собственном творении, признается более «правдоподобной», чем первая.

В «десятой главе» Пушкин представил еще более показательные примеры «недостижимого авося». Кроме всего прочего, перед нами такая «надежда», реализация которой по закону парадокса вряд ли и приведет к чему-то хорошему.

Вернемся к стиху, вынесенному в заглавие: «*Авось дороги нам исправят*».

Страдания человека, путешествующего по русским дорогам, Пушкин красочно описал в «Путешествии из Москвы в Петербург» (1834): «Не решившись скакать на перекладных, я купил тогда дешевую коляску и с одним слугою отправился в путь. Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но путешествие наше было неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый» (XI, 243).

Но далее следует замечательный пушкинский парадокс: «Вообще дороги в России (благодаря пространству) хороши и *были бы еще лучше, если бы губернаторы менее об них заботились*» (курсив мой. — *В. К.*). Эта губернаторская «забота» по «исправлению» дорог состоит в том, чтобы сдирать с них дерн, который «есть уже природная мостовая», и «заменять наносной землею, которая при первом дождике обращается в слякоть». Тут же приводится пример с «воеводой», который «вместо рвов, поделал парапеты, так что дороги сделались ящиками для грязи» (XI, 243—244). И — невеселое замечание: «Таких воевод на Руси весьма довольно».

Гоголю приписывается знаменитое высказывание о двух извечных бедах России: «*дураки* и *дороги*». Кажется, что оно восходит к Пушкину, который к тому же воспринимал эти беды «неразъединенно»: *дороги* в России потому и плохи, что

«исправлять» их призваны *дураки* (в данном случае — государственные чиновники). В связи с этой констатацией факта Пушкин представляет сложную систему «предпочтений», которые на первый взгляд кажутся парадоксально противоположными.

Вот путешественник из публицистического сочинения 1834 года, сидя в дилижансе и «катясь по гладкому шоссе», замечает: «Великолепное московское шоссе начато по повелению императора Александра; дилижансы учреждены обществом частных людей. Так должно быть и во всем: *правительство открывает дорогу: частные люди находят удобнейшие способы ею пользоваться*» (курсив мой. — *В. К.*) (XI, 244).

Но в письме к В. Ф. Одоевскому от ноября—декабря 1836 года, касаясь разгоревшейся в то время полемики о железных дорогах, указывает на нечто иное: «...по моему мнению правительству вовсе не нужно вмешиваться в проэкт этого Герстнера. Россия не может бросить 3 000 000 на попытку. *Дело о новой дороге касается частных людей*: пускай они и хлопочут. ⟨...⟩ Я конечно не против железных дорог; но *я против того, чтоб этим занялось правительство*» (курсив мой. — *В. К.*) (XVI, 210).

Но противоположность этих утверждений — видимая и легко объяснимая. «Гладкое шоссе» между Петербургом и Москвой создавалось под руководством графа А. А. Аракчеева и при непомерном «утеснении и взятках» (XI, 243) более пятнадцати лет. Сколько же потребуется времени, чтобы «исправить» остальные российские дороги? Это, кажется, можно сделать «по расчисленью философических таблиц лет чрез пятьсот». Другое дело, когда эта проблема будет решена заинтересованным «обществом частных людей». Да и результат «дорожного» прогресса с подачи «правительства» будет своеобразным:

Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Прорoем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.
(VI, 153)

Современный исследователь так комментирует это отступление из седьмой главы «Онегина»: «Пушкинское представление нетрадиционно и имеет „оборотную сторону": оно *насквозь иронично* (курсив мой. — *В. К.*). Зачем-то через пятьсот лет упорных трудов Россию „пересекут" соединенные друг с другом „шоссе", непонятно для чего „раздвинут горы" и какие-то „дерзостные своды" прорoют под водой — все это, как показал М. П. Алексеев, имеет своим источником газетные и журнальные сообщения пушкинского времени... Но в процитированном нагромождении „новшеств" чувствуется их явная бессмысленность и совершенное отрицание *конечной цели* прогресса: „прорoем", „раздвинем", а дальше все сводится к неизбежному „трактиру" — стоит ли так усердствовать в пятисотлетней муравьиной работе?»[15]

Не менее ироничным оказывается и упование «на авось» применительно к «исправлению» дорог в «десятой главе»: оно не соответствует действительным «надеждам» Пушкина. Но ведь и два других упования на тот же «авось», находящиеся рядом, носят такой же «игровой» характер.

Вот прославленный «арендами» «ханжа», которому неплохо бы «запереться в монастырь». Роль «ханжи» (т. е. «облеченного властью набожного мошенника,

[15] *Кошелев А. В.* Пушкин о проблеме железных дорог в России // Русская литература. 1999. № 2. С. 167.

одинаково увлеченного и очередным мистическим поветрием, и радостями более материальными — извлечением дохода»)[16] в разных комментариях оспаривают два «кандидата»: известные мистики и обскуранты «александровской» эпохи А. Н. Голицын и М. Л. Магницкий. Приводятся существенные «доказательства» в пользу как того, так и другого... Но к осени 1830 года ни Голицын, ни Магницкий уже не представляли никакой опасности для русского просвещения и культуры: первый еще в 1824 году был отставлен с высших должностей министра народного просвещения и обер-прокурора Синода (и остался лишь «безобидным» начальником почтового департамента), а второй в марте 1826 года, после ревизии Казанского университета, был уволен с наложением ареста на имущество и сослан в Ревель. Так что ни о каком «монастыре» для них речи быть не могло.

Если же предположить, что Пушкин ведет речь о последних годах правления Александра I, — то при чем здесь появляющаяся в соседних стихах «Сибирь», которая должна «возвратить» кого-то? Кого именно? Обыкновенно этот «авось» связывается с восклицанием Пушкина в письме к П. А. Вяземскому от 5 ноября 1830 года: «Каков государь? молодец! того и гляди, что наших каторжников простит...» (XIV, 122). Здесь имеется в виду «рыцарское» поведение Николая I, посетившего в октябре 1830 года холерную Москву. Но могут ли совмещаться в соседних стихах два «разновременных» «авося»?

Кроме того, в контексте пушкинского пожелания о возвращении декабристов странным кажется слово «*семействам*». Ведь вернуть декабристов «семействам» — это значит заменить им сибирскую каторгу и ссылку, допустим, ссылкой в родовые имения. Это как будто не соответствует устремлениям Пушкина, ценившего их именно в качестве необходимых для России дворянских *деятелей* нового поколения...

Словом, «авоси», представленные в сохранившихся стихах «десятой главы», выглядят, по меньшей мере, странно. Как, впрочем, и начальное представление «авося» в качестве «Шиболета народного». Уже давно отмечено, что Пушкин в данном случае следовал за Байроном, назвавшим в 11-й песне «Дон-Жуана» английским «шиболетом» («национальным паролем») междометие «god damn».[17] Но Байрон в этом случае следовал за Бомарше, который в знаменитом монологе героя «Женитьбы Фигаро» расширительно представил возможности английского «god damn». Фигаро подробно повествует о том, что это междометие может заменить любое английское высказывание. Но что-то подобное про «авось» утверждать было бы нелепо.

В данном случае *авось* выполняет особенную организующую функцию семантически объединяющего знака всего повествования «десятой главы» — во всяком случае, сохранившихся семнадцати строф. Пушкин читал их нескольким верным друзьям (Вяземскому, А. И. Тургеневу, П. А. Катенину), представляя при этом как фрагменты («только отрывки») именно «десятой главы» романа в стихах, «предполагаемой» (Вяземский), но невозможной для печати: «она останется надолго под спудом» (Тургенев).

Вяземский в дневнике охарактеризовал слышанное как «строфы о 1812 годе и следующих — *славная хроника*» (здесь и далее курсив мой. — *В. К.*). Тургенев указал, что здесь Пушкин «описывает путешествие его (Онегина. — *В. К.*) по России, возмущение 1825 года» и дает «*прелестные характеристики русских и России*».[18] При этом соединение «хроники» и «характеристик» следовало под знаком мнимого «шиболета народного» — всеобъемлющей и всегда обманывающей надежды на авось.

---

[16] *Набоков В.* Указ. соч. С. 647.

[17] См.: *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1980. С. 402—403.

[18] Цит. по: *Томашевский Б. В.* Десятая глава... С. 208—209.

В общем виде эта «надежда» была представлена еще в известной нецензурной «шалости» Вяземского «Сравнение Петербурга с Москвой», созданной в «первой молодости» поэта (в 1810 году), но оказавшейся одной из причин царского недовольства поэтом и через десять лет.[19] Она завершалась «пуантом», адресованным столице империи:

У вас авось —
России ось —
Крутит, вертит,
А кучер спит.[20]

Пушкин, конечно же, знал знаменитую «шалость» Вяземского и вовсе не случайно в последних стихах своей «славной хроники» представил того же «спящего кучера»:

[Россия]
Наш Ца⟨рь⟩ дремал
(VI, 526)

Начиналась же эта «хроника» общей сатирической и желчной характеристикой того же «кучера» («Вл⟨адыка⟩ слабый и лукавый...»), которую С. А. Фомичев прямо предлагает «продолжить» ранней пушкинской эпиграммой «Послужной список» («Воспитанный под барабаном...»).[21] Затем следовало ироническое «обозрение» основных событий его правления: начало наполеоновских войн, «гроза 12 года», «Мы очутилися в Париже»...

Находящиеся в центральной части «хроники» строфы про «авось» выбиваются из общего характера «хроники» именно тем, что явно не «привязаны» к каким-то конкретным, хронологически выделяемым «событиям». Пушкин дает в них своеобразное «лирическое отступление» — но «отступление» особого, почти «абсурдного» рода, соединяя данности прошлого и настоящего под общим знаком «авося», определяющего все в России и шевелящего ее «ось».

Затем «событийная» хроника продолжается: послевоенный передел Европы, смерть Наполеона, серия европейских революций, мятежей и покушений, конгрессы Священного союза, восстание Семеновского полка, запрещение масонских лож («⟨Масоны⟩ присмирели снова...»),[22] появление «искр пламени иного», т. е. рождение движения декабристов. Но характеристика деяний, предшествовавших «возмущению 1825 года», дана тоже с явной установкой на абсурд и на «авось» всего происходящего. Собрания «за рюмкой русской водки» «у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи», «вдохновенные бормотания», «цареубийственные кинжалы»... И — как итог:

[Всё это было только] скука
Безделье молодых умов
Забавы взрослых шалунов ⟨...⟩
(VI, 525—526)

На фоне «грозных» и даже «вулканических» (но все равно ничего принципиально не изменивших) европейских потрясений «эти заговоры между лафитом и клико» действительно должны были казаться только «забавами», предпринятыми от «безделья» и рассчитанными разве что на тот же *авось*.

[19] См.: *Вяземский П. А.* Моя исповедь // Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1880. Т. 2. С. 95.

[20] *Вяземский П. А.* Стихотворения. Л., 1958. С. 53.

[21] *Фомичев С. А.* Указ. соч. С. 152—153.

[22] Чтение С. А. Фомичева, в данном случае очень мотивированное. См.: Там же. С. 162—163.

Отсюда вытекают и весьма нетривиальные идеи текста «десятой главы». 1. Движение декабристов было прямым следствием неумной и недальновидной внутренней и внешней политики, проводившейся «владыкой слабым и лукавым», и вполне естественной реакцией на эту политику. 2. Движение это, в духе времени, захватило широчайшие круги русских дворян: в нем так или иначе приняли участие все «молодые умы» России, которые — тоже в духе времени — полагались не на что-то реальное, а на тот же «русский авось». 3. Завершилось это движение «Сибирью» — наказанием для его участников; но жертвы этого наказания были выбраны тоже «на авось»: одни (как «беспокойный Никита» — Муравьев) попали в Сибирь, для других (как для «осторожного Ильи» — Долгорукова) молодые «забавы» остались без последствий. Потому что в противном случае правительству пришлось бы арестовывать и наказывать *всех* «молодых умов» — что же тогда осталось бы для России?

Последняя идея очень понравилась Вяземскому, который занес в дневник и подчеркнул именно цитату *«...у вдохновенного Никиты, у осторожного Ильи»*. В этой же строфе Пушкин упомянул и самого себя: «Читал свои Ноэли Пушкин», — понимая, что и его самого миновала чаша искупления только благодаря «авосю».

В свете вышесказанного мы можем выдвинуть гипотезу о том, *зачем* Пушкин осенью 1830 года решил «добавить» к законченному уже «Онегину» еще какую-то «главу», для печати не предназначавшуюся. Нет оснований утверждать, что дошедшая до нас во фрагментах «десятая глава» представляет собой зачин какого-то самостоятельного произведения, написанного онегинской строфой, но к «Онегину» отношения не имеющего.[23] Когда Пушкин знакомил А. И. Тургенева с не предназначавшимися для печати строфами, он специально подчеркнул принадлежность их к роману в стихах и указал, что они «надолго еще останутся под спудом». То есть *стихи «потаенные»*. Их нельзя было не только напечатать — их опасно было даже провозить через холерные карантины.[24]

Кажется, что таких стихов у него было намного больше, чем мы знаем. В январе 1837 года, буквально накануне последней дуэли, Пушкин особенно активно общался с А. И. Тургеневым. Последний жил тогда в близком соседстве с поэтом (в гостинице Демута) — и старые приятели постоянно посещали друг друга. «Он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровище таланта, наблюдений и начитанности в России», — так сообщил об этих встречах Тургенев в письме к своему двоюродному брату И. С. Аржевитинову от 30 января 1837 года, на другой день после смерти Пушкина. И далее, в том же письме: «За несколько дней, 16 Генваря, прочел он мне наизусть *много стихов, коих я не знал, ибо они не были напечатаны*».[25] Одно из таких стихотворений («Так море, древний душегубец...», 1826) поэт даже записал в специальном письме к Тургеневу, а Тургенев, в свою очередь, послал его за границу к брату Николаю).[26]

Речь шла не о последних стихотворениях поэта. Тургенев был для Пушкина в этот период живым напоминанием о прошедшем. Подолгу живший за границей, непрерывно хлопотавший за брата, он, собственно, был далек от «современного» Пушкина. Не случайно общавшийся в этот период с Пушкиным едва ли не чаще всех других друзей поэта Тургенев ничего не знал о готовящейся дуэли и был не в курсе преддуэльной истории. Пушкин видел в нем живое напоминание о своих молодых временах. Кроме всего прочего, сама «потаенность», как Пушкин ее понимал в последние годы, означала не просто «возмутительные стихи», не эпиграммы политического содержания, не выпады против тирании, присутствовавшие в комплексе

---

[23] См.: *Пугачев В. В.* Радищев, Карамзин, Пушкин. Саратов, 1992. С. 196—205.

[24] См.: *Фомичев С. А.* Указ. соч. С. 151.

[25] Русский архив. 1903. Кн. 1. С. 144.

[26] См.: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. 3-е изд. М.; Л., 1928. С. 287—288.

«потаенных» произведений молодого Пушкина. Это уже странные обобщения, которые могут иногда и пройти в печать, но которые несут очень общий глубинный вопрос о бытии человека в атмосфере, названной Блоком «отсутствием воздуха».

«Несуществование» таких стихов в печати (а часто и в письменных источниках) не означало их «несуществования» как таковых. Пушкин в ряде случаев предпочитал не оставлять «следов» написания того или иного поэтического текста, но этот текст продолжал существовать в его памяти. Так же получилось и с «десятой песнью»: сожженный в октябре 1830 года объемный текст был лишь частично зашифрован: первые четыре стиха каждой из строф; остальное Пушкин просто *запомнил*.[27] Он не мог его опубликовать, не мог даже часто читать вслух, не собирался «вставлять» в текст написанного романа в стихах, но *помнил*. И кто знает, сколько таких стихов хранилось у него в памяти и сколько ушло вместе с ним...

В черновом проекте предисловия к восьмой и девятой главам «Онегина», датированном 28 ноября 1830 года (т. е. уже после того, как была «сожжена X песнь»), Пушкин собирался прямо намекнуть на существование некоего «потаенного» текста, имеющего отношение к роману в стихах: «Вот еще две гл⟨авы⟩ Евгения Онегина — последние *по крайней ⟨мере⟩ для печати...*» (VI, 541). Но все попытки «угадать» в сохранившемся «тексте для себя» какой-то «сюжет» или намек на продолжение жизни героя (вступление его в то же декабристское общество) изначально бессмысленны. В тексте «для себя» Пушкину этого было не нужно. Задачи подобного текста не столько «сюжетные», сколько «внутренние», собственно поэтические.

Ю. М. Лотман в комментарии выдвинул интересную гипотезу о структуре и содержании этой «десятой главы» и об отношении ее к целостному замыслу. По его наблюдению, в 1830 году Пушкин особенно интересовался «проблемой повествования от лица условного рассказчика» и даже специально выработал в «Повестях Белкина» такой тип текста. Он мог позволить затрагивать опасные темы эффективнее, чем повествование от авторского лица. «Обращает на себя внимание, что оба основных замысла декабристского цикла: „Повесть о прапорщике Черниговского полка ⟨Записки молодого человека⟩" и „Русский Пелам" писались от лица условных повествователей — недалекого молодого человека белкинского типа в первом случае и русского денди — во втором». Сигналами некоего «условного повествователя» в десятой главе становится, во-первых, ряд высказываний, далеких от собственно пушкинских (типа: «О русский глупый наш народ»); во-вторых, то обстоятельство, что здесь, единственный раз в романе, Пушкин упомянут в третьем лице и по фамилии: «Читал сво⟨и⟩ Ноэли Пу⟨шкин⟩». То есть в десятой главе Пушкин становится *тем, о ком говорит некто иной*.

На основании этого исследователь предположил, что «десятая глава задумана была как текст от лица Онегина, параллель к его „Альбому"». По мнению исследователя, это объясняет и «известный налет иронии в декабристских строфах, вызвавший столь болезненную реакцию, например, Н. И. Тургенева, одновременно с тем странным обстоятельством, что наиболее лирические и поэтические строки в главе посвящены Наполеону. В отличие от злой сатиры в адрес Александра I, элемент иронии в декабристских строфах глубоко дружествен и проникнут сочувствием» (они даже сопоставляются с похожими высказываниями П. Я. Чаадаева). К тому же «можно было бы отметить близость стилистической конструкции десятой главы к сохранившимся строфам „Альбома" Онегина».[28]

Эта гипотеза кажется очень привлекательной, но она невольно разрушает всю «криптограмму» реконструкции «десятой главы», опорным пунктом которой становится то обстоятельство, что глава написана онегинскими строфами. Ведь пред-

[27] См.: *Фомичев С. А.* Указ. соч. С. 151.

[28] *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. С. 413—415; *Лотман Ю. М.* О композиционной функции «десятой главы» «Евгения Онегина» // Пушкинские чтения в Тарту. Тезисы докладов научной конференции. Таллин, 1987. С. 3—7.

полагавшийся изначально к включению в седьмую главу «Альбом Онегина» (точнее «кой-что», из него «выписанное») — это не онегинские строфы, а самостоятельная сложная конструкция из одиннадцати разнородных по объему фрагментов. Он сохранился в беловой рукописи[29] и вполне продуман. И вообще автор «Онегина», предоставляя «документальное» слово персонажам («Вот вам письмо его *точь-в-точь*»), предпочитал не использовать для него основной стихотворной формы романа. Да и «неонегинские» тексты, написанные онегинской строфой («⟨Езерский⟩»), обречены были на то, чтобы остаться незавершенными.

«Десятая глава» создавалась Пушкиным в очень интересный момент. Только что он, находясь в Болдине, завершил «труд многолетний», растянувшийся на «7 ле⟨т⟩ 4 ме⟨сяца⟩ 17 д⟨ней⟩» (VI, 532). После завершения большой работы автор всегда испытывает сомнения — и некий текст «для себя», призванный проверить «онегинский» комплекс на представлении общего исторического фона глазами «разочарованного» и «охлажденного» жизнью героя, был собственно авторской «поверкой» смысла всего романа. Такого рода текст и не претендовал на то, чтобы занять какое-то определенное место в структуре романа в стихах — он был предназначен для того, чтобы «оценить» героя на фоне того времени, в котором он живет: эпохи, представленной *его* глазами.

И не герой виноват, что эта эпоха организовалась по принципу «неразумного» «*авося*», — поэтому эпоха и оказалась воспринятой столь иронически и сатирически. Поэтому, собственно, в тексте единственным «лирическим отступлением» стало рассуждение про *авось*, продолжавшего раздумья на эту тему «стихоплета великородного».

Шесть лет спустя, в последнем своем стихотворении на «лицейскую годовщину» («Была пора: наш праздник молодой...») Пушкин предпринял попытку решить вопрос, как воздействуют на сознание умного человека те разнородные и неразумные исторические события, которые предстают перед ним: «Чему, чему свидетели мы были?..». Эта попытка была поставлена уже в ином тоне и ключе — без всякого «авося». Но и она осталась незавершенным «текстом для себя»...

[29] ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Ед. хр. 840. Л. 3—7 об.

© *В. В. Головин*

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»: ПОЧЕМУ БАРАТЫНСКИЙ «РЖАЛ И БИЛСЯ»

Критика и отзывы современников на «Повести Белкина» распадаются на четыре типа:

1. Неодобрительные рецензии — от сочувственных до уничижительных.[1] М. П. Погодин назвал «Барышню-крестьянку» просто дурной повестью,[2] а В. Г. Белинский — жалкой.[3]

[1] Наиболее полно критика «Повестей Белкина» разобрана в статье: *Сидяков Л. С.* Пушкин и развитие русской повести // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 193—217.

[2] *Погодин М. П.* Из «Дневника» // Пушкин в воспоминаниях современников. 3-е изд., доп. СПб., 1998. Т. 2. С. 31. «Читал повести Пушкина. Рассказ к сборнику замысловатый. Разговор — не его дело. Последняя дурна» (Запись от 20 октября 1831 года).

[3] «В 1831 году вышли „Повести Белкина", холодно принятые публикою и еще холоднее журналами. Действительно, хотя и нельзя сказать, чтоб в них уже вовсе не было ничего хорошего, все-таки эти повести были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Это что-то вроде повестей Карамзина, с тою только разницею, что повести Карамзина имели для своего времени великое значение, а повести Белкина были ниже своего времени, особенно жалка из них

2. Пародические тексты — О. И. Сенковского и, как нам кажется, О. Сомова. О. И. Сенковский в 1835 году за подписью «А. Белкин» издал «Потерянную для света повесть», где некто пытается рассказать историю, но слушатели так и не могут понять ее смысл. Орест Сомов в 1832 году опубликовал повесть «Роман в письмах», где присутствует изрядное количество нарочито нескрываемых мотивов «Метели» и «Барышни-крестьянки».

3. Единичные положительные оценки — «Повести Пушкина, так называемого Белкина, — писала М. Н. Волконская в письме к С. Н. Раевской в 1832 году, — являются здесь настоящим событием. Нет ничего привлекательнее и гармоничнее этой прозы. Всё в ней картина. Он открыл новые пути нашим писателям».[4]

4. В. Кюхельбекер находил «Станционного смотрителя» смешным.[5] Е. Баратынский, прочитав повести, как утверждает Пушкин, «ржал и бился».[6]

Не будем судить строго критиков, не заметивших тончайшего изящества Пушкина. В конце концов, они кое-что подметили, называя повести анекдотами и сказочками.[7] Но мы принадлежим партии Баратынского.[8]

Первая причина почему «ржал и бился».

Опубликовано немало статей о реминисценциях, узнаваемых сюжетах и персонажах в «Повестях Белкина».[9]

Есть среди них и весьма убедительные. Напомним выводы только двух статей. В 1928 году Д. П. Якубович предположил, что источником сцены встречи на охоте Берестова и Муромцева является IX глава весьма популярного в России романа Вальтер Скотта «Ламмермурская невеста» (1819): «Мне думается, что не без некоторого влияния этих сцен „Ламмермурской Невесты" и охотничьи сцены в Пушкинской „Барышне-крестьянке"». Он перечисляет общие мотивы: вражда соседей, один из которых имеет дочь, другой сына. Юноша на охоте встречает своего врага — Лорда Астона с дочерью. Из-за грозы лошадь девушки чуть не понесла, но Равенсвуд помогает ей. Герои вынужденно (испуг девушки) следуют вместе домой, где у них, доселе относившихся друг к другу неприязненно, завязывается дружеская беседа. Далее Якубович параллельно публикует два текста — Вальтера Скотта и Пушкина, и все становится более чем убедительным. Приводим только два фрагмента статьи Якубовича:

1. W. Scott	Пушкин
«Незнакомец заговорил с Равенсвудом весьма учтиво, но с некоторым замешательством» («He accosted Ravenswood very politely, but not without some embarrassement»).	«Делать было нечего: Муромский, как образованный Европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал»...

одна — „Барышня-крестьянка", неправдоподобная, водевильная, представляющая помещичью жизнь с идиллической точки зрения...» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. VIII. С. 448).

[4] Цит. по: *Султан-Шах М. П.* М. Н. Волконская о Пушкине в ее письмах 1830—1832 годов // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 267.

[5] Дневник В. К. Кюхельбекера. Материалы к истории русской литературной и общественной мысли 10—40 годов XIX века. Л., 1929. С. 106—107 (Запись от 20 мая 1833 года).

[6] В письме от 9 декабря 1830 года, сделав особую помету: «Для тебя единого», Пушкин писал П. Плетневу: «Еще не всё: (Весьма секретное) Написал я прозою 5 повестей, от которых Боратынский ржет и бьется...»: *Пушкин.* Полн. собр. соч.: В 17 т. М., 1941. Т. 14. С. 133. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием номера тома, части и страницы.

[7] Московский телеграф. 1831. Ч. 42. С. 255—256.

[8] В наследии Баратынского ни подтверждений, ни опровержений пушкинского замечания о его реакции на «Повести Белкина» мы не нашли. Критические отзывы касаются других пушкинских сочинений (см.: Татевский сборник С. А. Рачинского. СПб., 1899).

[9] О «Повестях Белкина» написаны сотни научных трудов, но нам удалось обнаружить только одну статью столетней давности, отдельно посвященную «Барышне-крестьянке»: *Сперанский М. Н.* «Барышня-крестьянка» Пушкина и «Урок Любви» Монтолье // Сб. Харьковского историко-филологического общества. 1910. Т. XIX. С. 125—133.

2. «В главе XIV „Ламмермурской Невесты" лорд Астон с дочерью обедают в жилище недавнего врага: „Равенсвуд, несмотря на предубеждение и на основательные причины злобы против сэра В. Астона, тем не менее находил удовольствие и интерес в его беседе, а лорд... с блеском выказывал всё свое красноречие". (Ср. у Пушкина сначала: «Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно» и потом: «Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцой кобылки»).[10]

Другие фрагменты в статье Якубовича столь же показательны.

М. Елиферова в статье «Шекспировские сюжеты, пересказанные Белкиным» анализирует соответствующие мотивы «Ромео и Джульетты» и «Барышни-крестьянки», их инверсии и модификации и показывает явное сходство диалога кормилицы и Джульетты и Насти и Лизы у Пушкина (медлительность одной и нетерпение другой). М. Елиферова справедливо отмечает, что диалог Насти с Лизой «почти копирует диалог кормилицы и Джульетты (акт II, сц. 5)».[11]

Она также указывает на специфичность переводов на русский язык трагедии Шекспира В. Померанцева 1790 года и А. Ротчева 1825—1827 годов, в которых были и наперсницы и благополучные концовки. М. Елиферова считает, что Белкин мог ориентироваться только на такие переводы, потому что, судя по его биографии, он не знал английского. Нам представляется возможным, что Пушкин обыграл это обстоятельство. Его герой, англоман Муромский, за всю повесть только однажды выговорил по-английски в конце русского предложения расхожую этикетную формулу — «my dear», а дочь англомана и ученица англичанки мисс Жаксон Лиза говорит только на русском, на его местном диалекте, и на французском, даже когда ситуация требует английского.

В «Гробовщике» Белкин блеснул своей просвещенностью: «Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностию сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру, и принуждены признаться ⟨...⟩» (VIII, 1, 89).

Итак, можно «ржать и биться» над тем, как Белкин вставляет в свою повесть предельно узнаваемые «кальки» известнейших и популярнейших произведений. Баратынский «ржет» над Белкиным-прозаиком и остроумием Пушкина.

Но главное, что подтверждает наши предположения, — свидетельство самого Пушкина. В «Заметке о „Графе Нулине"» Пушкин пишет: «Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть» (XI, 188). Заметка датируется 1830 годом, через пять лет после выхода «Графа Нулина». Таким образом, мысль о пародировании Шекспира для него по-прежнему актуальна. «Гробовщик», где прямо упоминается Шекспир, датируется в рукописи 9 сентября того же 1830 года, а «Барышня-крестьянка» — 20 сентября. Мысли о пародировании Шекспира и их воплощение датируются одним годом и месяцем.

Вторая возможная причина почему «ржал и бился».

Переодетая в крестьянку Лиза выходит на первое свидание с Алексеем, проснувшись «ни свет ни заря», в то время когда пастух выгоняет деревенское стадо. Временна́я формула «ни свет, ни заря» означает «очень рано», и в данном случае, скорее всего, фиксирует самое раннее утро. Автор уточняет, что «заря сияла на

---

[10] *Якубович Д. П.* Реминисценции из Вальтер Скотта в «Повестях Белкина» // Пушкин и его современники: Материалы и исследования / Комиссия для издания сочинений Пушкина при Отд. гуманитарных наук АН СССР. Л., 1928. Вып. 37. С. 110.

[11] *Елиферова М.* Шекспировские сюжеты, пересказанные Белкиным // Вопросы литературы. 2003. № 1. Электронная версия статьи: http://magazines.russ.ru/voplit/2003/ 1/mel.html

востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию» (VIII, 1, 113). Следующая временна́я характеристика — «в шестом часу утра весеннего утра» (VIII, 1, 114). В этот момент она встречает Алексея. Алексей охотится с легавой, это значит, что Петров день (29 июня ст. ст.; 12 июля н. ст.) — день начала охоты — уже прошел. Ранее охотиться Алексею было невозможно. И дело не в традиции, закрепленной государственным правилом, начинать охоту с Петрова дня.[12] Алексей просто не мог как благородный человек охотиться ранее, ибо его собака без выстрела хватала бы не вставших на крыло «хлопунцов». Это было бы чистейшим варварством и не достойно дворянина. Более того, он сам бы расстроил себе всю будущую охоту, поскольку его собака передавила бы все выводки. Пушкин знал сроки начала разных охот.[13] Получается некоторая временна́я нестыковка. Весна продолжается после Иванова (7 июля) и Петрова дня, когда по русской традиции этими днями она заканчивается. Световые и природные характеристики, в том числе невзошедшее солнце в районе пяти часов утра, скорее, свидетельствуют о более раннем календарном времени. К тому же Лиза оправдывается перед Алексеем, что идет по грибы и несет на веревке кузовок. Алексей верит ее оправданиям.

Летнее время подтверждается игрой Насти накануне с тугиловскими крестьянками в горелки. Обычно эта игра приурочивается к Иванову дню.[14] Как утверждает автор лучшей книги о русских играх Е. А. Покровский: «игра эта особенно часто ведется летом, вечером, после того как схлынет жарь, а сон после нея, по замечанию игроков, бывает особенно крепок».[15]

Пространство «отдаленной губернии» повести склоняется к югу: псовая охота была значительно более распространена в степных местах. То есть лето здесь наступало ранее, чем в северных губерниях. Но это ни в коем случае не меняло регламентированного времени начала охоты, да и горелок.

Итак, возникает некоторая «календарная» несогласованность, что также может смешить: весной, но летом, после Иванова и Петрова дня, а сбор грибов в читательском сознании тяготеет к осени, наступающей после Ильина дня (2 августа). Три времени года в один день. И писатель, и читатель, и тем более крестьянин той поры никогда не регламентировали времена года по первым числам марта, июня, сентября и декабря.

---

[12] Государственный указ от 17 июля 1773 года гласил: «...марта с 1 числа до Петрова дня никому и нигде во всем государстве зверей и птиц ⟨...⟩ не ловить, так и собаками не ездить и не стрелять». Этот срок подтверждался государственными актами в 1827, 1837, 1839, 1858, 1867, 1875, 1891 годах (*Соловьев Д. Н.* Основы охотоведения. М., 1926. Ч. IV. С. 692—700).

[13] В письме П. А. Вяземскому от 7 июня 1824 года он употребляет расхожую поговорку: «Нет, душа моя Асмодей, отложим попечение, далеко кулику до Петрова дня — а еще дале [нам] бабушке до Юрьева дня» (XIII, 97). Алексей Николаевич Вульф, сын тригорской соседки П. А. Осиповой от первого брака и друг Пушкина, был страстным ружейным охотником. В его дневниках, разумеется, не нарушаются сроки охоты, и более того, в его дневниках отмечены дни, когда он и общался с Пушкиным, и охотился (*Вульф А. Н.* Дневник, 1828—1831 гг. // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Пг., 1915. Вып. 21—22. С. 1—200). В записках В. И. Даля отмечен любопытный анекдот, где по просьбе Пушкина капитан Артюхов страстно рассказывает о прелестях ружейной охоты с легавой собакой (*Даль В. И.* Записки о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 262—264). В пушкинской библиотеке была книга об охоте с легавыми Логина Краузольда «Наставление человеку, упражняющемуся в охоте, и разговор двух приятелей Пустынника и Лесолюба, о должности охотника в наблюдении охоты и хранении заповедных мест, с приобщением о качестве винтовального и другого охотничья ружья, о примечаниях, употребляющихся во время применения себя к стрельбе, о порохе и как его приуготовлять и узнавать доброту, о обучении легавых щенят и о содержании собак» (СПб., 1766).

[14] См.: *Некрылова А. Ф.* Круглый год. М., 1989. С. 253—254.

[15] *Покровский Е. А.* Детские игры, преимущественно русские. В связи с историей, этнографией, педагогией и гигиеной. СПб., 1994. С. 111.

Допустить, что Белкин просто повторяет рассказ девицы К. И. Т., сообщившей ему этот сюжет, невозможно — слишком велико стилистическое отличие этой части повести от предшествующей. Здесь он определенно выступает как наивный писатель.

Предложим объяснение такому парадоксу. Данная часть повести — сгусток сентиментальных формул (об этом ниже), и Белкин не чувствует времени текста, пасторальная любовь наиболее созвучна весеннему состоянию природы, таким образом естественные и выдуманные причины встречи Алексея (охота) и Лизы (сбор грибов) он подчиняет времени и настроению сентиментальной встречи.[16]

Но, возможно, Пушкин и Белкин стоят на разных полюсах читательской игры «веришь — не веришь», и в тексте они могут как разделяться, так и соседствовать.

Случайного у Пушкина не встретишь: «Ярко солнце горело на востоке» из черновой рукописи, сменилось в беловом тексте на сияющую на востоке зарю (VIII, 2, 673). Пятый час весеннего утра сменился шестым. Передвинув знак природы и конкретное время на час, Пушкин сменил и время года.

Третья причина смеха.

До похода Лизы автор вполне реалистично характеризует персонажей повести, их противоречия и страсти. Выход Насти в Тугилово резко меняет стилистику повествования. Не смеяться, на наш взгляд, нельзя. Белкин соревнуется с эпигоном сентиментализма князем П. И. Шаликовым, доводя концентрацию сентиментальных формул разного характера почти до абсурда.

Без всякого перехода начинается тривиальное сентиментальное изложение. «Настя за воротами ожидала пастуха». Отметим, что стилистически новое повествование начинается со знаковой сентиментально-пасторальной фигуры — пастуха. Далее звуковая сентиментальная формула: «заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора». В следующем предложении Лиза уже сентиментальная пейзанка — «Лиза тихонько нарядилась крестьянкою» (VIII, 1, 113).

Далее концентрация сентиментальности нарастает: «Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела» (VIII, 1, 114). Лиза входит в рощу (в черновиках был лес), а роща — самое частотное место для пасторальной встречи.[17] Вспомним сельскую повесть П. Ю. Львова «Роза и Любим». Роза «в один день поутру, очень рано, когда еще *румяная заря* освещала все предметы...», «*взяла корзинку*», под пение соловья («Какое восхитительное его пение! Как звонко раздается оно по *рощам*»), услышала рыбака Любима и «оторопевшая пастушка молчит, *собака залаяла...*» (курсив мой. — *В. Г.*). Далее Любим просит поцелуя...[18]

Этот короткий фрагмент Пушкина удивительно похож на бóльшую часть знаковых сентиментальных повестей. В повести В. В. Измайлова «Ростовское озеро» наблюдатель в настроении «весеннего ветерка» встречает молодого человека, который рассказывает ему свою историю: отправившись из деревни в Московский университет (в черновиках у Пушкина есть такой вариант учения Алексея: «Он воспитан был в М.⟨осковском⟩ унив.⟨ерситете⟩» (VIII, 2, 664)), он, по окончании его,

---

[16] Возможно и другое объяснение, хотя оно нам кажется «притянутым»: действие происходит в районе Кузьминок (14 июля), когда по некоторым русским традициям идет последнее прощание с весной. Это соответствует двум дням охоты Алексея, а Лиза благополучно собирает ранние грибы — колосовики.

[17] В конце повести эта роща получит собственный топоним: «Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий» (VIII, 121). Общеизвестно, что роща — одно из самых частотных мест встреч возлюбленных в сентиментальных повестях и самых популярных пасторалях XVIII—начала XIX века (см.: *Новикова А. М.* Русская поэзия XVIII—первой половины XIX в. и народная песня. М., 1982).

[18] *Львов П. Ю.* Роза и Любим // Русская сентиментальная повесть. М., 1979. С. 33—61.

возвращается в родные места, не забыв упомянуть про «блеяние прогоняемого стада» и «песни веселых поселян», на берегу озера встречает черноволосую (NB!) поселянку с голубыми глазами. Измайлов тут же комментирует: «предупреждая критиков, требующих для черных волос черных и глаз, мы скажем, что натура не сообразуется иногда с ее правилами» (ср. у Лизы).[19] Более того, измайловская крестьянка Анюта говорила «самым чистым французским языком». Напомним, что пушкинская Акулина в черновиках просила Алексея обучить ее французскому (VIII, 2, 688).

Через несколько предложений в «Барышне-крестьянке» объявляется и необходимый для сентиментальной повести наблюдатель («Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку» (VIII, 1, 144)). Для полного набора сентиментальных знаков не хватает только журчания ручья и запаха амброзических испарений. Впрочем, «нехватка» водяных звуковых символов, на наш взгляд, отчасти восполняется звуковой характеристикой рощи: «Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку» (VIII, 1, 114). В черновике в роще был «невнятный» шум (VIII, 2, 673). Как нам представляется, звуковая характеристика рощи (глухой, перекатный) более подходит к звуковой характеристике водопада и быстрой реки, несущейся по камням.

Такое нагромождение в одном предложении природных, звуковых и прочих знаков сентиментального повествования, на наш взгляд, должно было вызывать у просвещенного читателя не чувствительное переживание, а разве что смех. Искушенный читатель мог смеяться от проделки Пушкина, сотворившего провинциального автора-эпигона, который мало того что бездумно перечислял сентиментальные символы, но и умудрился ходячую сентиментальную характеристику водопада применить к роще.

Добавим еще один сентиментальный локус — ферму: «Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее» (VIII, 1, 115). Ферма — не только творение ее отца-англомана. Ферма — архитектурное олицетворение сентиментализма. В 1831 году по проекту А. Менеласа в Петергофе, в Александрии, недалеко от Коттеджа появляется Ферма, где реализуются пасторальные мотивы: луга, пастушки, коровы. Как свидетельствует Л. Динцес, Ферма является «едва ли не единственным в истории русского искусства большим архитектурным памятником николаевского сентиментализма, без налета романтики».[20] После превращения А. Штакеншнейдером Фермы во дворец всю живность с «пастушками» перемещают на так называемую Новую Ферму в той же Александрии.

Не увидеть во фрагменте пушкинской повести использование сентиментальной формульности и известнейших мотивов невозможно. Значит, вполне можно «ржать и биться».

Четвертая причина смеха: охотник встречает девушку и влюбляется.

Охотничья поэзия включала только три мотива: охотничьей страсти, восхищения природой и встречи охотника с прекрасной девушкой. Если в первом первенствовал Сумароков, то в последнем, разумеется, Державин. Его стихотворение «Охотник» 1802 года, с изрядным эротическим подтекстом, следует процитировать полностью:

За охотой ты на Званку
Птиц приехал пострелять;
Но, белянку и смуглянку
Вдруг увидев, стал вздыхать.

---

[19] *Измайлов В. В.* Ростовское озеро // Там же. С. 151.

[20] *Митюрин Д.* Фермерский дворец в контексте «Железа и Крови»: http://www.antiq.info/6212.html (журнал «Антик.Инфо»).

Что такое это значит,
Миленький охотник мой?
Ты молчишь, а сердце плачет:
Птицы ль не убил какой?
Дев ли остренькие глазки
Понаделали хлопот?
С их ланит, из алой краски,
Зрел я, целился Эрот.
Как же быть? И чем лечиться?
Птичек ты багрил в крови:
И тебе пришло томиться
От смертельныя любви.[21]

Обратим внимание на описание девушки в первой строфе (белянка и смуглянка) и сравним ее с пушкинской Лизой («Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо»), однажды изрядно набелившейся (VIII, 1, 111).

Вспомним и другое стихотворение Державина «Пчелка златая», где пчелка влюблялась в Лизу (!), у которой «желтые власы» и «алые уста». Быстро появившийся народный вариант приблизил описание Лизы к пушкинскому:

У моей у Лизочки
Русая коса,
Голубая лента
Ниже пояса,
Черные брови,
Серые глаза...[22]

Стихотворение Г. Р. Державина быстро попало в песенники и быстро фольклоризировалось. Его фольклорный вариант, с рядом эротических стихов, широко бытует и сейчас, особенно в казачьем распеве.

Однако все это — лишь вступление к презентации другого текста, который часто приписывают Державину. Речь идет о знаменитой фольклорной песне «В островах охотник целый день гуляет», с мотивом встречи охотника и девицы, также с явным эротическим подтекстом. Автор этих строк не только периодически слышит ее в концертных трансляциях, но и последний раз записывал песню в 2006 году в старообрядческих деревнях на реке Пижма Усть-Цилемского района Республики Коми. Ее источником служит пасторальный текст, впервые опубликованный в двух редакциях в Новом Российском песеннике в 1781 году:[23]

Один манный охотник в полях разъезжает
И в лавровых островах везде разглядает;
Разразить печали судьбой,
Провождает время в мыслях сам с собой.

(Последний стих повторяется дважды в каждом куплете. — *В. Г.*)

Наехал на речку, где кристальны воды,
Зефиры летали с приятной погоды;
На брегу хотел отдохнуть,
Эхе, эхе, эхе, гончих стало чуть.

Охотник не медля на лошадь садился,
Зверя любопытно видети он тщился;

[21] *Державин Г. Р.* Охотник // Державин Г. Р. Стихотворения. 2-е изд. Л., 1957. С. 288.
[22] Цит. по: *Новикова А. М.* Указ. соч. С. 19.
[23] Новый Российский песенник. СПб., 1781. Ч. 1. С. 117. № 109. Вторую редакцию см.: Там же. С. 119. № 111.

И увидал, задрожал, упал,
— Венера! Венера! — тихонько сказал.

Лицо у той покрыто алыми цветами,
Груди белей снега, открыты судьбами,
От страстей задрожал, упал,
И так ту красотку бедну испугал.

Из прекрасных очей слезы показались,
Была как уже мертва, ничем не владела,
Пастушка, в память приходя,
Промолвила слово, на него глядя:

— Злодей ты, охотник! Поступил бесстыдно,
Зверское в том дело учинил ехидно:
Отнял ты честь, как лютейший зверь,
Есть ли в том рассудок иль какой пример?

Не найдешь ты зайца ни в прекрасных пущах,
Отъезжай ты дальше от мово жилища
И из лесов с лавровых дерёв,
Где пасут овечек, пригорских коров.

— Моя дорогая! Тому уж не статься,
Чтобы мне с тобой столь скоро расстаться;
Слышишь ли, стали в трубы играть,
Поедем со мною, будем ночевать.

Садились на лошадь, хоть не весёлы,
Приехали в лагерь, веселиться стали;
Дивились слуги тому русаку,
Пошло наше счастье теперь на руку.

Добавим, что в вариантах этого текста охотник встречает возлюбленную не в островах, а в рощах. Настоящий сюжет — исключительно редкий, в остальных пасторальных произведениях того времени встречаются пастухи и пастушки. Возможно в этом и заключается причина его фольклоризации. У нас нет фактов фольклорной жизни этого произведения в начале XIX века, но его варианты неоднократно печатались на рубеже XVIII—XIX веков. Удвоение последнего стиха каждой строфы, как справедливо считает А. М. Новикова, свидетельствует о том, что эта пастораль в конце XVIII века не только читалась, но и пелась.[24]

По-поводу второй строфы возникает одно предположение. Встречаемая возлюбленная дважды обозначается Венерой. А в повести Пушкина Лиза во время первого свидания клянется святой пятницей, которой не клялись. Но на французском языке, который к месту и не к месту предпочитает Лиза, пятница обозначается как день Венеры (vendredi).

Узнавание в пушкинской повести сюжета расхожей песни не только усиливало комическое восприятие «Барышни-крестьянки», но и добавляло эротические коннотации.

В заключение просто перечислим названия самых известных пасторалей, которые вошли в многочисленные рукописные сборники начиная с середины XVIII века: «Лишь только занялась заря», «Разлейтеся по рощам, потоки чистых вод», «Поди прочь, не докучай мне, молодец», «Собирались красны девки за околицу гулять», «На зеленом на лужку, где бежала речка», «Лишь лучи солнца свет дали, пастушки овец погнали». Как видно, практически все названия поразитель-

[24] *Новикова А. М.* Указ. соч. С. 22.

но близки текстуально к фрагменту пушкинской повести, в которой описывается первое свидание Лизы и Алексея.

Таким образом, чтение пушкинской повести превращалось в ежесекундное узнавание знакомых символов. «Оригинальность» Белкина доведена Пушкиным до абсурда, который мог изрядно тешить читателя.

«Отрицательные» персонажи повести

Обычно после прочтения пушкинской повести не складывается негативного отношения к какому-либо из героев. В то же время детальный анализ повести показывает, что всем, кроме Алексея, автор дает только отрицательные и нейтральные характеристики. Попытаемся разобраться в этом парадоксе.

Иван Петрович Берестов

Первая характеристика Берестова приводится во втором предложении повести: «В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор оттуда не выезжал». Б. В. Томашевский комментирует ее так: «В 1796 году 6 ноября умерла Екатерина II. Восшедший на престол Павел I окружил себя новыми людьми, всячески преследуя сторонников Екатерины, в частности офицеров гвардии» (VIII, 109).[25]

Такая точка зрения возможна. Берестов, как гвардеец, мог подать в отставку, видя преследование старших полковых товарищей. Но в данном случае мы считаем комментарий авторитетнейшего пушкиниста недостаточным. Томашевский упустил возраст Берестова-гвардейца — «в молодости». Преследования младших чинов не было. Гвардия давно вела столичную гарнизонную жизнь, не воевала, а воцарение Павла сулило перемены. С первых дней воцарения нового государя изменилась и сама служба, а молодой офицер Берестов не желал таких перемен.

Дальнейшее описание Берестова напоминает камертон и определяет код начального повествования, где на первых двух страницах читателя знакомят с героями повести. За положительной характеристикой следует отрицательная, которая перевешивает первую. Или же наоборот. Подчеркнем, что это часто происходит в одном предложении.

Следующее предложение дает Берестову новую и оригинальную характеристику: «Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле» (VIII, 1, 109). Сначала положительный момент — женат на бедной дворянке, второй — безусловно отрицательный: покинул беременную жену, дабы на месяц удалиться на охоту. При таком обороте событий он безусловно был бы осужден. И поскольку в повести фигурирует только один его сын, у читателя возникает справедливая мысль: как можно покинуть жену, ожидающую первенца и, возможно, первого наследника? Охота пуще неволи, но так вести себя дворянину негоже.

Далее: «Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околодке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками». Умное хозяйствование сочетается с особой характеристикой: *не его, а он* «стал почитать себя умнейшим человеком во всем околодке».

Обратим внимание и на пространственное определение: околоток. Едва ли Пушкин соотносил обозначенное пространство с границами полицейского участка,

[25] *Томашевский Б. В.* Примечания // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 6. С. 522.

но околоток — это принципиально небольшое, ближайшее пространство. Поэтому самоопределение «умнейший человек околотка» явно уступает «первому поэту уезда» и соотносимо с «лучшим дворянином прихода». Комические смыслы в представлении Берестова читателям очевидны. «В чем и не прекословили ему соседи» — дополнительный знак его характера, с намеком на вспыльчивость или вздорность.

Следующее предложение также подобно камертону: «В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме Сенатских Ведомостей». Оценка по-прежнему противоречива. Первая и третья части (плисовая куртка и запись расходов) — положительные знаки скромности и домовитости. Чередующиеся с ними 2 и 4 часть на первый взгляд нейтральны, но мы предполагаем в них наличие отрицательных коннотаций.

Начнем с «сертука из сукна домашней работы». Праздничный сюртук — скорее форма, чем одежда.

Исключительное чтение только «Сенатских Ведомостей» мы относим к важнейшим из характеристик Берестова. В черновиках Пушкин предполагал чтение «Московских Ведомостей», но отказался от них в пользу «Сенатских Ведомостей» (VIII, 2, 662).

Что же читал Берестов? «Сенатские Ведомости» выходили с 1809 года. Неужели Берестов начал читать только одну газету и только на тринадцатый год жизни в деревне? Читатель имеет право об этом задуматься. Газета публиковала указы и распоряжения правительства, продвижение по государственной службе и списки награжденных. Возможно, Берестов наблюдал за продвижением своих бывших товарищей, не оставивших службу или вернувшихся на нее после павловского правления. За текстом о чтении газеты как бы следуют комментарии тугиловского помещика о его бывших друзьях.

Если бы Пушкин оставил, как в черновой редакции, чтение «Московских Ведомостей», то перед нами предстал бы совершенно другой человек. Он бы, наряду с материалами о внутренней жизни, читал иностранные известия, статьи по литературе, искусству, науке, статистические материалы, библиографию. Но Пушкин отказал Берестову в звании интеллектуального читателя.

Сопоставим: Берестов «ничего не читал, кроме Сенатских Ведомостей», но «стал почитать себя умнейшим человеком во всем околодке», а его конкурент Муромский «почитался человеком не глупым». Комментарии излишни.

Продолжим характеристику Берестова. Соседи «вообще его любили, хотя и почитали гордым» (VIII, 1, 109). Элемент его осуждения очевиден. Более того, именно он первый беспрестанно злился и острословил в адрес соседа Муромского. Муромскому доносили «с дополнением и объяснениями» его шутки, а не наоборот. Какое ему дело до увлечений соседа. Почему он не был к ним снисходителен: «Да-с! — говорил он с лукавой усмешкою, — у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты» (VIII, 1, 110).

Кроме вздорности характера Берестова, Пушкин явственно показывает главную причину их вражды. Берестов не мог не первенствовать. В Муромском он видел не увлекающегося соседа, а *конкурента*. Хотя бы на уровне околотка.

Пафосное изречение Берестова: «Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты» — имеет, на наш взгляд, еще один иронический комментарий. Берестов имеет право его произнести — он утроил доходы, в отличие от англомана, входившего в новые долги. Но учитывая позерство помещика из Тугилова (топоним имеет явные коннотации «упрямства»), его изречение несколько ура-патриотично и соответствует популярному тогда спору о русском и английском типах хозяйствования. В 1806 году Ф. В. Растопчин выпустил в связи с этим спором бро-

шюру «Соха и плуг» (в пользу сохи), имевшую в том числе эпиграф, схожий с рассуждением Берестова «отцы наши не глупее нас были». Если Пушкин отчасти сопоставлял Растопчина и Берестова, то ирония над ура-патриотизмом очевидна. Однако в этой фразе возможна и другая ирония: автор высокопарной фразы и защитник сохи граф Растопчин ранее выписал себе англичанина-фермера, применял удобрения и заменял соху английским плугом! Не случайно же Пушкин заметил, что Муромский: «Поля свои обработывал ⟨...⟩ по английской методе» (VIII, 1, 109).

Следующее появление Берестова происходит в сцене встречи двух соседей на охоте: «Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками» (VIII, 1, 117).[26] Если Берестов, выезжая на охотничью прогулку, а не настоящую охоту, снисходительно берет «пары три борзых», стремянного и несколько мальчишек, то это свидетельствует о том, что он владелец «комплектной» охоты, а не мелкотравчатой или односворной. Комплектная охота должна включать 5—12 свор борзых (20—36 собак), стаи гончих (18—40 собак) и целый штат обслуги: ловчего, борзятников, выжлятников, заездного, доезжачего, стремянного (он обозначен), обоза для «отъезжих полей», верховых и упряжных лошадей.[27] Пускай у Берестова все было по-минимуму, пускай он для выездов кооперировался с соседями, но факт остается фактом — он, как настоящий помещик, тратил огромные средства для того, чтобы тешить свою страсть. Этим фактом дискредитируются все прежние эпитеты его скромности и нерасточительности (каждодневная плисовая куртка, домотканая одежда, собственная запись расходов).[28]

Муромский увидел его «гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом» (VIII, 1, 117). Где прежняя скромность (домотканый сюртук)? Предложение «таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным» также намекает на редкое самодовольство тугиловского помещика, познавшего *военною победу* от затравленного зайца и ушибленного соседа (VIII, 1, 118).[29] О таких чувствах Берестова нам позволяет говорить и блестящее «измерение» Пушкина: «но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела» (VIII, 1, 117). Вместо напряженного «пистолетного выстрела» в черновиках фигурировало расстояние «от него в 20 шагах» (VIII, 2, 680).

Откомментируем еще один поступок Берестова: «В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо-зеленого дернового круга» (VIII, 1, 119). Берестов устроил ни что иное, как генеральский выезд. В столицах, в губернских и даже уездных городах ему

[26] Пушкин, который не был охотником, тем не менее, хорошо знал псовую охоту. Сцены псовой охоты с очень точными описаниями ее правил, обычаев, ритуалов, атрибутики есть в «Дубровском», «Графе Нулине», в повести «Капитанская дочка» (благодаря стремянному Савельичу Гринев «выучился ⟨...⟩ грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля») (VIII, 1, 279). Пушкин пенял Загоскину на неправильное употребление охотничьей лексики в рецензии на «Юрия Милославского» (X, 365). В письме жене от 14 сентября 1833 года он пишет: «...Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Чорт его побери, дорого бы дал я, чтоб его затравить... Дорого бы дал я, чтоб быть борзой собакой; уж этого зайца я бы отыскал». Некоторые из соседей Пушкина были страстными псовыми охотниками, например болдинский приятель Валерьян Ермолов, племянник известного борзятника Н. П. Ермолова — заводчика так называемых «ермоловских» собак.

[27] См.: *Губин П.* Полное руководство ко псовой охоте. М., 1890.

[28] Намек на такую характеристику уже прозвучал в начале повести, когда Пушкин говорит о соседях, гостивших у Берестова «с своими семействами и сбаками» (VIII, 1, 109).

[29] Для полноты картины и создания зрительных впечатлений из книги П. Губина (см. № 27) добавим следующее. Поскольку заяц затравлен, то Берестов должен был, соскочив с лошади, принять его от собак; отколоть зайца (воткнуть нож в грудь между плечами на 1½—2 вершка в глубину в вертикальном направлении), отпазанить и второчить в заднее торок к седлу за задние ноги.

сразу бы заметили: «не по чину», а здесь «он стал почитать себя умнейшим человеком во всем околодке» и, видимо ревниво начитавшись в «Сенатских Ведомостях» о продвижениях своих бывших товарищей, сопоставил себя с генералом. Правда, на уровне околотка. Коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, — блестящий культурный оксюморон. Есть чему смеяться.

Далее в повести следуют совершенно нелестные характеристики Берестова. При первом визите к соседу он «смеялся своему смеху», затем он придумал партию своему сыну, поскольку сосед был «редкой оборотливости», но главное: «Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович), вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом» (VIII, 2, 120; 122).

Разговор с сыном о женитьбе показывает Берестова изрядным самодуром и упрямцем. Моментально вспылив, в случае отказа он грозит лишить наследства и родительским проклятием, бессердечно равнодушен к чувствам сына и предлагаемой невесты.

Автор после такого диалога уместно сравнивает тугиловского помещика с Тарасом Скотининым.

Итак, комментируя текст, мы составили приличный список негативных характеристик Берестова. Но отрицательное отношение к нему нейтрализуется тем, что он быстро проявил дружелюбие к своему врагу и пускай из меркантильно-статусных соображений, но стремился к счастью Алексея и Лизы, чего жаждал и читатель.

Григорий Иванович Муромский

Самой главной характеристикой Муромского, возможно, является следующее описание: «Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, *провозгласивший себя отличным наездником,* дал ей волю и внутренно доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел» (курсив мой. — *В. Г.*) (VIII, 1, 117). Муромский как бы повторяет самооценку Берестова «стал почитать себя умнейшим человеком во всем околодке» — «провозгласивший себя отличным наездником». Но провозгласив себя, он позорно упал. Ирония очевидна. Учитывая такую близость самооценок соседей-помещиков, падение Муромского, на наш взгляд, отчасти и комментарий к самохарактеристике Берестова.

В остальном описание прилучинского помещика выдержано в более мягких тонах, но не изобилует позитивными оценками. Статус «настоящего русского барина» определяется словами «промотав» и «проказничать»: «Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве бо́льшую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде».

«Английские» увлечения Муромского привели к тому, что «он и в деревне находил способ входить в новые долги». Ничего хорошего в этом нет — Муромский рисковал «последней своей деревней», т. е. родовым поместьем, потеря которого для дворянина является поступком бесчестным. В такой ситуации приглашать англичанку за две тысячи рублей годовых было явно не по средствам.[30] Но Пушкин

[30] Муромский платит англичанке вполне достойную сумму, плата за гувернера-англичанина тогда составляла 1,5—3 тыс. рублей ежегодно. П. А. Висковатов отмечает, что англичанин Виндсон, бывший гувернером в семье Уваровых и потом поступивший к М. Ю. Лермонтову, имел жалованье в 3000 рублей годовых и отдельный флигель для себя и жены. (*Висковатый П. А.* М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891. С. 37.)

верен повествовательному «камертону». И характеристику Муромского он заканчивает предложением с позитивной оценкой: «со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский Совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым» (VIII, 1, 109). Заложить имение таким образом — не только возможность получить новые средства, но и путь к спасению родового поместья.

Рассуждения о замужестве дочери у Муромского также подкреплены коммерческими интересами: «Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе» (VIII, 1, 122).

В итоге легкость прекращения ссоры, любовь к дочери и желание ее брака с Алексеем, хоть и основанное на коммерческих соображениях, снимают негативный фон его характеристик.

Лиза-Бетси

Самая главная негативная характеристика Лизы заключается в следующем: уже будучи влюблена в Алексея («Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его»), она была движима «темной, романическою надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца» (VIII, 1, 117). Даже ради проверки любви Алексея жаждать его серьезного конфуза, которое чревато прекращением отношений, — не самая лучшая оценка прилучинской девицы.

Первоначально репутация Лизы складывается из культурной репутации ее имени[31] и двух первых характеристик Пушкина: «Ей было семнадцать лет. ⟨...⟩ Она была единственное и следственно балованное дитя»; «За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня» (VIII, 1, 111).

Лиза — девушка весьма страстная: ее нетерпение и даже ревность выдает диалог с Настей, когда та рассказывает об игре в горелки с Алексеем. Сцена с переодеванием свидетельствует о ее вздорности и изрядном кокетстве: «Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава à l'imbécile торчали как фижмы у Madame de Pompadour; талия была перетянута, как буква икс, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах ⟨...⟩ Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом» (VIII, 1, 120).

Для современного читателя маскарадная одежда Лизы несколько непонятна. Но сравнение рукавов («рукава à l'imbécile» — т. н. «свиные окорока») с «колоколом» платья («как фижмы у Madame de Pompadour») определенно должно вызывать смех.[32]

Отметим еще один момент, который вызывает вопросы. Лиза-Акулина клянется на первом свидании «святой пятницей»: «Ну вот те святая пятница, приду». Лиза явно переигрывает — святой Параскевой-пятницей не клялись.[33] Но на фран-

[31] *Топоров В. Н.* Имя и образ Лизы в русской литературе XVIII века // Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина. Опыт прочтения: К двухсотлетию выхода в свет. М., 1995. С. 393—480.

[32] Фижмы — каркас для придания пышной формы платью (см.: *Кирсанова Р. М.* Розовая ксандрейка и прадедамовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе. М., 1989. С. 248).

[33] Б. А. Успенский, на наш взгляд, неточно комментирует этот пушкинский отрывок. Встречаемая единственный раз, и только в литературном произведении, клятва «вот те святая

цузском пятница — vendredi — день Венеры, т. е. день богини любви. Пушкин прекрасно знал «о пятницах» — это престольный и ярмарочный день в Святых горах.[34] Таким образом, Пушкин не только обыгрывает нелепое подражание, но и возможно, подразумевает и любовный подтекст. Лиза, как мы знаем, и с русскими, и с англичанкой говорит только на русском и французском, а во французском языке достаточно фразеологизмов с «пятницей». Напомним, что в пасторальной песне, анализировавшейся в четвертом разделе статьи, искомый персонаж тоже обозначался Венерой.

Черновики также свидетельствуют, что Пушкин и не предполагал представлять Лизу как идеальную героиню: «Приехав домой, Гр⟨игорий⟩ Ив⟨анович⟩ объявил своей дочери, что завтра к обеду будут у них гости. Кто такие, спросила Лиза с видом неудовольствия (она была не в духе: дождик шел во всю ночь и целое утро)»; «уговорить балованн⟨ую⟩ девицу» (VIII, 2, 682).

Пушкин в начале повести создает «прелестный» образ уездной барышни,[35] читатель жаждет счастливой развязки, он хочет любовного благополучия Алексея — это и определяет отношение к Лизе, которая хоть и влюбилась в милого Алексея — на самом деле вздорное, балованное, ревнивое и ветреное дитя. Одна реплика Насти в черновиках может толковаться по-разному: «Распустите косу — и ступайте смело в Тугилово». Тугиловский молодой барин Алексей был не прочь поволочиться за крестьянками. Вспомним его игру в горелки и попытку обнять Лизу-Акулину («Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее» (VIII, 1, 114)). Распущенные волосы — точный знак готовности к самым близким отношениям.[36]

пятница», не дает основания утверждать о ее существовании в крестьянском бытовании (*Успенский Б. А.* Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982. С. 135—136).

[34] О появлении Пушкина на Святогорской ярмарке писал в своем «Дневнике» опочецкий мещанин И. И. Лапин: «1825 год... 29 мая в Св. Горах был о девятой пятницы... и здесь имел щастие видеть Александру Сергеевича Г-на Пушкина, который некоторым образом удивил странною своею одеждою» (*Софийский Л. И.* Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414—1914). Псков, 1912. С. 203).

[35] «Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам» (VIII, 1, 110).

[36] Такое поведение женщин вне ритуала (появление с распущенными волосами) в этнографических описаниях нам не встречалось. В то же время даже в собственной экспедиционной практике автор статьи неоднократно фиксировал запрещение появления женщины в публичном месте с распущенными волосами именно как знака «беспутства». Д. К. Коновалов, описывая религиозные практики хлыстовцев, пишет: «На тех же собраниях случалось, что среди прыганья и судорог женщины распускали волосы и стремительно бросались к мужчинам с страстными объятиями и поцелуями. Вообще, эротические, страстные позы и движения, иногда с соответствующими галлюцинациями были нередким явлением в экстазе малеванцев» (*Коновалов Д. Г.* Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Сергиев Посад, 1908. С. 131). Осуждение такого поведения встречается и у византийцев. «Иоанн Камениат, описавший разорение арабами Фессалоники в 904 г., приводит одну деталь, которая, по его мысли, способна сама по себе дать представление о грандиозности постигшей город катастрофы. Описывая картины убийств и разбоя, автор поражается, что женщины „не желали сдерживать себя и прятаться от глаз мужчин, не испытывая смущения, носились по городу с распущенными волосами, презрев всякое приличие" и издавая вопли. И это делали, удивляется Камениат, не только матроны, но даже девушки-затворницы, „лелеемые для брака"» (цит. по: *Литаврин Г. Г.* Как жили византийцы. М., 1974. С. 162). Овидий, описывая римский праздник Ферне Анне Перение, также фиксирует такое разгульное поведение женщин: «Женщин найдешь, что года даже Сивилл перепьют. / Песенки также поют, каким научились в театрах, / Сопровождая слова вольным движением рук, / И хороводы ведут неуклюжие, выпив, подружки, / И, распустив волоса, пляшут в нарядах своих. / А возвращаясь, идут, спотыкаясь, толпе на потеху» (*Овидий.* Собр. соч.: В 2 т. СПб., 1994. Т. 2. С. 411. Ст. 536—540). В ритуале распускание волос встречается и у русских, например в обряде опахивания: «В самую полночь, известив наперед, чтоб никто не выходил на улицу, женщины собираются у околицы, и шествие начинается следующим порядком. Впереди идет девка с образом, за ней женщина верхом на помеле, с распущенными волосами, с обнаженной грудью, в одной рубахе, в исступлении пляшет и кривляется...» (*Померанцева Э. В.* Роль слова в обряде опахивания // Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982. С. 27).

Настя

Для характеристики Насти достаточно одного, часто употребляемого Пушкиным обозначения — «наперсница». Как наперсница Настя выполняет указы хозяйки: «Настя за воротами ожидала пастуха ⟨...⟩ Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение» (VIII, 1, 113). Настя переплатила вдесятеро — действие должно сохраниться в тайне. Она «ветрена», не прочь целоваться и «тискаться» с барином. Мы сознательно употребили такой глагол. Такая форма выражения симпатии у крестьян вполне традиционна. Но Настя не совсем крестьянка — она дворня. Статус и мировоззрение дворни и крестьян разные. «Развратная дворня» — достаточно устойчивый эпитет. Пушкин ничего развратного Насте не приписывал, но сравнивал ее с наперсницами во французской трагедии. Более того, в черновике он обозначил ее любимую песню: «Капитанская дочь». Современный Пушкину читатель прекрасно знал весь текст расхожего романса, где после падения капитанская дочь поет: «Уж я *глядь-поглядь* меня некому поднять» (курсив мой. — *В. Г.*).

Мисс Жаксон

Для характеристики данного персонажа достаточно одной пушкинской цитаты: «Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки *в этой варварской России*» (VIII, 1, 111).

Алексей

Оставим в стороне миманс и у нас остается только один позитивный герой — милый и благородный Алексей. Он не идеален, поскольку не брезгует невинными дворянскими шалостями. Он может вызывать улыбку, когда играет роль овеянного хандрой посетителя отцовского имения. Но именно он, и только он, готов к совершению нравственного поступка, пускай и не без влияния романического чтения.

В его описании перемежается пушкинское и белкинское, причем иногда они соседствуют. Весьма любопытно первое знакомство с Алексеем: «Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай». Алексей встает в один ряд с тугиловским и прилучинским антиподами, а характеристика заканчивается банальной, абсолютно белкинской фразой, говорящей о его гусарском пристрастии: «отпустив усы на всякий случай». Следующей фразой Пушкин как бы выводит Алексея из этого поля соседской склоки и тривиальных характеристик: «Алексей был, в самом деле, молодец» (VIII, 1, 110).

В пушкинской повести есть уникальный каламбур, который вроде бы не замечен критикой. Пушкин... списывает с Пушкина. Вернее, Белкин с «Евгения Онегина»: «Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было

чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума» (VIII, 1, 111). На наш взгляд, это почти изложение Белкиным пушкинского романа в стихах и блестящая пародия на Татьяну и Онегина самого Пушкина. Сам Пушкин указывает на это, мягко и лирично комментируя «хандрическую роль» Алексея и показывая его истинную натуру: «Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности». Искренность Алексея подчеркивается мгновенным разоблачением его попыток искусственного поведения (представление Акулине камердинером), реакцией на желание поклясться «женской» клятвой: «Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его» (VIII, 1, 116).

Есть мягкая ирония и в описании решения Алексея жениться на крестьянке Акулине. Его решение отчасти и отповедь отцу: «стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим, и наконец об Акулине». Эпитет «романический» говорит о книжности его чувства: «романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову». Ирония читается и в концовке: «Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою». Но все это не суть важно: «В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен» (VIII, 1, 123). При всех иронических оговорках он решился на поступок, не суливший ему легкой и привычной жизни. Нравственная победа остается за Алексеем. Лизе Пушкин в таких переживаниях отказал.

Существует множество причин, чтобы понять восприятие Баратынского. С первого же предложения, напоминающего обрамляющую формулу сказки («В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова»), Пушкин сразу начинает «играть» с читателем: часто даже в одном предложении даются как уважительные, так и сниженные характеристики того или другого персонажа. В итоге получаются: домовитый позер (Берестов), чудак, но умный (Муромцев), притворяющийся, но смелый и хороший (Алексей), приятная, но вздорная и ветреная (Лиза). Примечательно, что, четко обозначив положительную характеристику (например: «Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы ⟨...⟩» (VIII, 1, 109)), негативную оценку Пушкин как бы маскирует нюансами действия или одежды персонажа (например: «В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми ⟨...⟩»). Увы, но скрывающийся со временем от читателя игровой подтекст хрестоматийного произведения не всегда позволяет ему понять пушкинский взгляд на своих героев.

Пушкин просто издевается над Белкиным. Он постоянно заимствует известные мотивы — Шекспира, Вальтера Скотта и даже самого Пушкина; выставляется «наивным писателем»: он бывает и графоманом, и неудачным эпигоном сентиментализма. Сконцентрировав в одном небольшом отрывке повести всю сентиментальную формульность и легко узнаваемые мотивы и сюжеты других сентиментальных произведений, он дошел до того, что смешал три времени года в одно утро и приписал роще «водные» эпитеты.

Герои повести изрядно комичны: англоман Муромский весьма затруднен в английском языке, бывший гвардейский офицер Берестов ощущает «военную победу», затравив зайца и препровождая ушибленного соседа. Лиза обуреваема чувствами — ею движет любопытство, *страсть и ревность*. Любопытство очевидно, ревность объясняется желанием Лизы увидеть Алексея сразу после рассказа Насти о его игре в горелки с поцелуями с деревенскими девками. Все это подкрепляется намеками на страстность Лизы, чему служит культурная репутация ее имени, обозначение служанки наперсницей, ассоциации с расхожей песенной пасторалью. Страстность невозможна без эротического начала, а его в повести изрядное количе-

ство — от эпиграфа из «Душеньки» Богдановича до пасторального сюжета «В островах охотник».

Только поведение главной героини затрудняет искомое любовное разрешение. Желанием проверить любовь Алексея (если бы он объяснялся с рябой Акулиной — дочерью кузнеца) она могла прервать отношения, ее переодевание тоже не способствовало сближению. Все остальные — влюбленный и решительный Алексей (который сначала не прочь пошалить с крестьянками), расчетливые Берестов и Муромский, служанка Настя, пастух, мальчишки с трещотками, стремянной, куцая кобылка и даже борзые и заяц — все действуют во благо счастливой развязки.

Если бы Пушкин не оставил в черновиках песенные «куплеты», то повесть вполне могла бы напоминать водевиль. Веселая театральность, комедия положений повести очевидна. Уже в самом начале (шестое предложение) Пушкин начинает переодевать своих героев. Он неоднократно и очень подробно описывает их одежду, ролевые костюмы (крестьянская и маскарадная одежда Лизы, сюртук и чекмень, подбитый лисьим мехом у Берестова).[37] С самого начала все получают «прозвища» — один англоман, другой медведь, третья — Бетси и Акулина.[38]

Все в пьесе играют роли: один — уездного генерала, другой — англичанина, третья — крестьянку. Приехавший в деревню Алексей, попытавший роль дворецкого и мгновенно разоблаченный, никакой маски не носит. У него нет прозвища и ничего не говорится о его одежде. Он ведет себя естественно и одерживает нравственную победу. И Пушкин его искренне обозначает молодцом. А над «актерами», благодаря своим «камертональным» и иным оценкам, он изрядно смеется, тем самым их и разоблачая.

Если постоянно смеется Пушкин, то не грех повеселиться и Баратынскому. Тем более что Пушкин явно доволен такой реакцией. В своем письме П. Плетневу 9 декабря 1830 года, с пометой «Для тебя единого», он пишет: «Еще не всё (весьма секретное) 1. Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется — и которые напечатаем также Anonyme». Если Пушкин только приписал такую реакцию Баратынскому, то комментарий повести заставляет нас присоединиться к желаемому.

[37] Пушкин прямо не описывает только одежду Муромского, но косвенных описаний множество, даже «конюхи его были одеты английскими жокеями» (VIII, 1, 109).

[38] На театральность действия возможно намекает и пушкинский курсив в «как пишет один старинный комментатор». Аналогичная фраза звучит во втором предисловии Расина в его «Андромахе» (*Расин Ж.* Трагедии. Л., 1977. С. 10).

© *Н. Е. Никонова*

ПИСЬМА В. А. ЖУКОВСКОГО К. К. ЗЕЙДЛИЦУ: РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ДИАЛОГ

(*Окончание*)*

26

31 декабря 1847 года. Франкфурт-на-Майне

Мой милый Зейдлиц, пишу к тебе живой, но получишь письмо от мертвого. Если бы письмо мое было адресовано из того края, где я буду в то время, когда ты

* Начало см.: Русская литература. 2011. № 1. С. 95—119.

будешь его читать, то я бы что-нибудь тебе сказал об этом таинственном крае; но я пишу к тебе, еще будучи жителем Земли. Да и нет никакой нужды описывать человеческим языком этого края; об нем все, что нам нужно знать, сказано языком божественным. Этот язык ты знаешь. А я, помышляя о своем отбытии в тот край, но не зная, когда его срок наступит, забочусь о своих, которые вероятно позже меня покинут край здешний, и хочу исполнить свою обязанность, устроить с человеческим предусмотрением их будущее, которое Бог устроит по-своему и лучше, нежели я.

Вследствие этого, в полной надежде на твою дружбу, на твою деятельность и совестливую точность, на твое знание дел, я назначаю тебя в своей духовной ⟨...⟩ попечителем моих детей, то есть помощником жены моей, которой предоставил опеку. Другим попечителем назначен мой искренний друг Радовиц (теперь генерал в прусской службе, министр при Баденском дворе, и состоящий по делам военным при Германской Динсте//Dienst.[1] Его местопребывание в Карлсру и частью во Франкфурте-на-Майне). Ты будешь помощником жены по делам ее фортуны в России; а Радовиц — когда жена останется, в случае смерти моей, за границей. Я желал бы однако, чтобы ты вошел в письменное соглашение с Радовицем.

После меня найдут два завещания: одно на немецком языке, засвидетельствованное во Франкфурте; оно находится во Франкфурте. Canzley des Staatsgerichts,[2] куда передано мне под расписку; другое на русском языке такого же точно содержания; оно найдется между моими бумагами. По сему завещанию и по тем приложениям, которые могут быть с сего времени мною сделаны, ты будешь знать мои распоряжения относительно моего семейства.

При этом главном назначении, поручаю тебе другую заботу; она же и следует тебе, как попечителю детей моих. В последних месяцах нынешнего (1847) года я начал печатать в Карлсру в типографии Гаспера полное собрание моих сочинений. Изданием и корректурой заведывает мой знакомец Рейф, известный сочинитель русского лексикона; а в Петербурге приемом экземпляров, их сохранением, продажею, собранием денег и помещением сумм на мое имя в казенные места будет заведывать наш общий знакомец Родионов; на его деятельность и честность можно вполне положиться. Но как попечитель ты должен будешь принять участие в этом деле; и это участие будет состоять в том, чтобы войти в сношения с Родионовым и получать от него сведения о ходе продаж экземпляров и о помещении вырученных сумм куда следует. Издание моих сочинений должно составить капитал моим детям; деньги, на него употребленные, взяты мною из капитала, помещенного в Комиссии погашения долгов.

Сверх того надобно тебе знать, что вся моя небольшая движимость, состоящая из картин, гипсов, гравюр и книг, отдана под сохранение действ. ст. советника Жиля и находится в мраморном дворце, где все это помещено с соизволения Министра двора. Драгоценный стол мой находится у тебя. Все это должно быть сохранено жене моей, кроме бумаг, которые должны быть преданы сожжению.

Прости, друг. Благословляю всю твою жизнь и твое семейство. Поручаю тебе мое.

1847, 31 декабря, Франкфурт-на-Майне.

Прилагаю при сем: 1. выписку из моего завещания; 2. копию с билетов Комиссии погашения долгов. Расписка, данная Жилем в приеме вещей моих, находится в моих бумагах.[3]

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 106. Л. 35—35 об., перед текстом помета рукой Зейдлица «Письмо писано 1847, доставлено мне после смерти Жуковского в 1852 году. Зейдлиц».

Впервые до слов «прилагаю при сем»: Зейдлиц. С. 254—256.

[1] Служба (*нем.*).

[2] Канцелярия Государственного Суда (*нем.*).

[3] См. комм. к письму 41 от 8/20 ноября 1851 года.

27

21 марта/2 апреля 1848 года. Франкфурт-на-Майне

Мой милый Зейдлиц, благодарю тебя за дружеское письмо; оно было пластырем на болящую душу. Обстоятельства мои давно уже грустны: упорная болезнь жены (не опасная, но самая мучительная, потому что мучит с телом и душу) давно портит мою жизнь и разрушает всякое семейное счастие, присоедини к этому теперь всеобщую болезнь, которая обхватила все народы: это политическое землетрясение, которое все опрокинуло в настоящем и для каждого из нас сделало неверным будущее, наконец, прибавь к этому известие о смерти Екатерины Афанасьевны, мною на сих днях полученное, и ты будешь иметь понятие о том грустном расположении духа, в каком застало меня письмо твое; но оно было пластырем на болячку; посреди черных моих дней светло просияло воспоминание о тебе и твоей дружбе. А между печалей, которые теперь отовсюду собрались ко мне в гости, самая тихая и так сказать утешительная есть эта кончина моей сестры после такой прекрасной жизни, после такой тихой разлуки с нею. Эта кончина имеет в себе что-то успокоительное при виде того, что вокруг нас происходит, при мысли о том, что может еще таиться в последних годах моей оканчивающейся жизни и в начинающейся жизни детей моих. Для нас все прекрасно окончилось, думаешь об этом с отрадою. А наше все во власти Божией. Он Отец и хозяин в своем доме, и всем найдет приличное место.

Я не стану тебе описывать происходящее кругом меня. Мы здесь у самого кратера; но лава льется мимо нас. Наш Франкфурт теперь самое безопасное место в Германии, долго ли это так будет, не ведаю; теперь вековые путешествия совершаются часами; по утру нельзя предсказать, что будет в вечеру. Жене нужно быть в Эмсе, с первой же возможностью я ее туда отвезу; по окончании курса мы отправимся в Россию. На первый случай я хочу жену оставить в Лифляндии, дабы не вдруг ее передать суровому нашему климату. Вот предмет, в котором ты можешь оказать мне великую помощь и быть моим руководителем. Я же тебе уже писал, что назначил тебя в своей духовной попечителем детей моих. Эту роль можешь начать ты играть еще и при моей жизни. Начни это теперь же, подумай о том, как бы удобнее и где поселить мою семью в Дерпте. Если Бог позволит, мы явимся туда в начале или половине августа, а может быть и раньше, смотря по обстоятельствам, которые могут вдруг принудить нас пуститься в путь, отказавшись от Эмса. Думая о тебе, прихожу на мысль, что между твоею и моею судьбою есть какая-то таинственная связь, которая продлится и на все наше будущее. Эта связь между прочим выражается и в следующем: доктор Копп весьма обрадовался, когда я ему сказал, что на первых порах передам жену свою из его рук в твои; он тебя хорошо знает и уважает по всем мнениям, которые получали от тебя твои больные, прибегшие к его помощи. Хоть ты и бросил практику, но я уверен, что не оттолкнешь от себя жены моей.

Прошу тебя отвечать мне на это письмо и прислать мне свой адрес, но отвечай немедленно.

Обнимаю. Принужден был диктовать письмо. Глаза болят.

Жуковский.

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 1—2 об., на л. 2 об. рукой Жуковского «Обнимаю. Принужден был диктовать письмо. Глаза болят. Жуковский».

Копия: Там же. Л. 38, 39.

Впервые до слов «он тебя хорошо знает»: Зейдлиц. С. 220—221.

28

весна 1848 года

Мой милый Зейдлиц, дело начинает приходить к концу не на шутку. Вот уже две недели, как жена моя в Эмсе; мои пожитки все уложены; через два дня я сам переезжаю в Эмс, и мне велено купаться и пить Kesselbrunnen.[1] В Эмсе пробудем мы до 3/15 июля. Потом в Россию — через Любек ли, через Штеттин[2] ли, не знаю; кто теперь что-нибудь знает? Один Бог. Дьявол думает и хвастает, что он что-нибудь знает — он врет, свинья; он только все портит — а знает еще меньше нежели мы, которым он бросает в глаза пыль и которых потом водит за нос. Итак, что с нами будет, знает один Бог, и слава Богу. Но это не препятствует обдумывать то, что мы должны делать. Я полагаю, что мы поедем прямо в Ригу через Штеттин. Я намерен из Риги переехать в Дерпт, где оставлю семью свою, поеду один в Петербург, потом в Москву, потом возвращусь к своим в Дерпт; и вероятно устрою постоянное житье-бытье свое в Дерпте. Видишь ли, что Судьба Божия меня с тобою сводит. Но о дальнейшем будущем поговорим обстоятельно, когда позволит Бог нам вместе устроить ближайшее. Чтобы мне приехать в Дерпт и не иметь необходимости в продолжение неопределенного времени бивакировать самым неприятным образом всею семьею, прошу тебя позаботиться о том, чтобы нам приготовить на первый случай pied a terre,[3] такой, чтобы мы могли после на просторе устроить свое постоянное жилище согласно с обстоятельствами, которых всех теперь ни определить, ни предвидеть не можно. Я пишу к тетке жены моей Смиттен о том, чтобы она позволила нам на первый случай поселиться в деревне Сор; находящейся на большой дороге из Дерпта в Ригу близ станции Тейлиц. Там есть устроенный дом, в котором мы все можем удобно найти место. Если тетка Смиттен найдет возможным исполнить мою просьбу, то она тебя уведомит об этом и тебе на первый случай не будет никаких хлопот: ты можешь только наперед обдумать план для нашего будущего помещения; что мы после исполним совокупными силами вместе и на просторе. Если же тетка Смиттен не может нам очистить своего дома в Соре, то она и об этом тебя уведомит; и тогда, прошу тебя, как моего старинного благодетельного друга и брата, может будущего товарища всей остальной моей жизни, позаботиться о том, чтобы нам приготовить pied a terre — в Дерпте ли, у тебя в Мейергофе или где в ином месте (Карловы??).[4] Нас будет следующее количество: я, жена, дочь, сын, две швейцарские женского рода персоны, камердинер с женою, юный российский служитель, всего на все девять штук. Все эти штуки имеют нужду в помещении, стоя, ходя, сидя, лежа, имеют нужду в еде и в приготовлении еды. По сим обстоятельствам устрой план сей и будь и мне и моей семье благотворным покровителем. Прошу тебя немедленно отвечать на это письмо. Я из Эмса тронусь 3/15 июля, то есть не прежде, как через 6 недель, в течение этого времени успеешь получить мое письмо, все обдумать и мне отвечать. Только не откладывай. Ты, как я, ленив на переписку. Уже три месяца прошло, как я писал к тебе, в ответ на твое письмо через Родионова. Не знаю, получил ли ты мое письмо. Но ответа мне не было. Нехорошо. На это же письмо не прошу длинного ответа; напиши две записочки. Одну пошли через Родионова, а другую прямою дорогою через Ригу; кажется, что письма пропадают. Но из двух верно одно дойдет. Отвечай на мое имя в Эмс.

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 8—9 об.
Копия: Там же. Л. 45—46.
Публикуется впервые.

[1] Кассельбруннен — один из питьевых источников курортной зоны Эмс Бад.

[2] Штеттин (Stettin) — главный город прусской провинции Померания, теперь Щецин (Польша).

[3] pied-à-terre (*фр.*) — временное жилище.

[4] Карлово — поместье Ф. В. Булгарина близ Дерпта.

29

17/29 мая 1848 года. Эмс

Мой милый Зейдлиц, это письмо доставит тебе тетка жены моей Смиттен. Я писал к тебе подробно через Петербург; и это Петербургское письмо вероятно ты уже получил; если же нет; то здесь из него выписка:

Я возвращаюсь в Россию. В июле 3/15 покидаю Эмс и еду или через Любек, или через Геттинген, если будет можно прямо в Ригу; из Риги в Дерпт, где намерен оставить свою семью и где вероятно поселюсь на житье. При моем приезде нужно мне иметь на первый случай: pied a terre. Об этом я писал к тетке Смиттен, которая может быть найдет возможным очистить для нас на первый случай свой дом в деревне Сор, находящейся на самой большой дороге из Дерпта в Ригу близ станции ⟨...⟩ Если это будет возможно или невозможно, то ты при этом письме получишь от нее уведомление позитивное или негативное.[1] Если возможно, то хлопот тебе никаких не будет, ибо тогда мы приедем прямо в Сор, и я тебя тотчас о нашем прибытии уведомлю; и мы вместе устроим мое будущее помещение. Но ты на всякий случай подумай наперед о том, что может быть для нас удобнейшим, и сделай план, который после мы совокупными силами исполним. Если же нельзя будет поселиться в Соре, то тебе надобно будет взять на свою душу приготовить нам — в Дерпте ли, у тебя ли в Мейергофе — временный pied a terre, дабы нам не пришлось бивакировать целою семьею.[2] Я уверен, что ты по дружбе ко мне не откажешься взять на себя эти хлопоты. Вот роспись наших персон: я, жена, дочь, сын, Швейцарская мадам при дочери, няня при сыне, Камердинер с женою и Русский юноша, встреченный мною посреди свободной Германии и весьма недовольный своею судьбою, всего на все девять лиц, имеющих нужду в горницах, постелях, стульях и прочих конфектах, услаждающих земную жизнь человеческую. Будь благосклонным квартирмейстером этого миролюбивого войска.

Прошу тебя немедленно отвечать на это письмо; оно через две недели может быть в твоих руках; если ты употребишь дня два-три или неделю на разрешение; то все-таки опять через две недели твой ответ может быть получен мною; таким образом буду его иметь ровно через пять недель, считая от сего дня, то есть 25 июня/6 июля. Пиши прямо на мое имя в Эмс, откуда, если не загорится кругом война, я ранее 3/15 июля не выеду. Если же надо будет выехать прежде, то уже это будет не путешествие, а бегство. Тогда мы приедем как и куда Бог велит; ты только знай, что наше явление может воспоследовать и прежде назначенного срока; в таком случае не испугайся и прими нас за выходцев с того света. Прости. Отвечай, отвечай немедленно.

Твой Жуковский.

17/29 мая

Не сдается ли в наймы Булгаринское Карлово близ Дерпта? Узнай об этом. Мне всегда, по какому-то предчувствию; этот дом нравился. В самом же Дерпте надобно будет выбрать жилище подальше от Реки и поблизости к площади. В эту минуту слышу от княгини Барклай,[3] долго жившей в Дерпте (что впрочем и сам знал), что низшая часть города весьма нездорова. Итак, ищи нам квартиру наверху, там, например, где жил Зенф,[4] и в подобных воздушных регионах. Впрочем, как доктор, краса всех докторов, ты в этом случае не имеешь нужды в совете; выбери нам самое здоровое место сам. Это главное условие для жены.

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 3—4 об.
Копия: Там же. Л. 40—41.
Публикуется впервые.

[1] Зейдлиц в ответном письме от 4/16 июня 1848 года (ИРЛИ. 28052. Онег. собр. Л. 52) сообщал: «Frau v. Smitten hat mir angezeigt, dass Sie Ihnen ein pied a terre in Wala (eine Stadt unweit Schi) bereit hält» (Г-жа ф⟨он⟩. Смиттен подтвердила мне, что она готова предоставить Вам pied a terre в Вале (город неподалеку от Ши)).

[2] На эту просьбу Жуковского Зейдлиц отвечает в письме от 4/16 июня 1848 года (ИРЛИ. 28052. Онег. собр. Л. 52 об.): «Wie gern würde ich Ihnen Meyerhof zum Wohnsitze vorschlagen, aber ich habe es noch nicht gewagt, diese Ruine aufzubauen, sondern es vorgezogen, mir auf dem ganz wüsten Unnipicht ein kleines Haus einzumieten, weil das herrschaftliche Gebäude in Meyerhof einen herrschaftlichen Beutel, einen herrschaftliche Sinn fürs Leben einen herrschaftlichen ⟨...⟩ erfordert — Dinge, welche mir abgehen» (С каким удовольствием я предложил бы Вам Мейергоф для проживания, но я еще не отважился восстановить эти руины, предпочтя снять небольшой дом в совсем пустынном Уннипихте, т. к. величественное здание в Мейергофе требует величественного кошелька, величественного понимания жизни и величественной ⟨нрзб.⟩ — вещей, которых мне недостает).

[3] Княгиня Барклай, урожденная Смиттен, брат которой был женат на одной из сестер Рейтерна.

[4] Зенф (Senff) — профессор Дерптского университета, учил Зейдлица рисованию перед поступлением в Дерптский университет (в 1810 году).

30

3/15 июля 1848 года. Эмс

Милый Зейдлиц, благодарю тебя за дружеское письмо. Я думал, что мне придется изъявить эту благодарность не письменно, а лично и сделал все уже нужные для этого приготовления: очистил свой дом во Франкфурте, часть своих пожитков уложил для отсылки в Петербург и сдал спедитору; другую часть продал; многое подарил... но видно еще не так-то верно мое возвращение. У вас холера, то есть пока у ваших дверей, то есть в Петербурге; говорят, что идет к Дерпту. Что ж мне тут делать? Мне, который должен ехать в Дерпт? Ехать ли на встречу к холере? Я в жестокой нерешимости. Ибо и там, где я теперь, оставаться нельзя. — Здесь свирепствует другого рода холера, и едва ли не хуже вашей. Она только что разгорается. Они вызвали медика Эрцгерцога Иоанна.[1] Едва ли он поможет; а если не поможет, то испортит. Я почти уверен, что скоро вспыхнет междоусобная война между севером и югом Германии. Уже первый выстрел сделан королем Ганноверским.[2] А когда эта война загорится — кто, как и когда ее потушит? В таких обстоятельствах невесело жить в Германии, особенно на том пункте, где я. Но я во всяком случае здесь не останусь. Если нельзя думать ехать в Россию — то или в Голландию (где все мило), или в Швейцарию, где по крайней мере не будет войны. Но ты дай мне добрый совет.[3] Я здесь еще останусь недели три или четыре в Эмсе или на Таунусе. Напиши мне о ходе холеры, и что, по твоему мнению, мне должно делать. Твое письмо, если будешь отвечать немедленно, найдет меня еще здесь. Письма идут 9 дней. Мое письмо может быть в твоих руках 13/25 июля; ответ твой могу иметь 25 июля /6 августа. Но ты пиши ко мне 25 июля/6 августа. В это время процесс холеры решится, и тебе можно будет сказать мне положительно, могу ли я ехать и какую могу выбрать дорогу. Я получу письмо твое 3/15 августа. Если же нельзя будет ехать, то поселюсь на зиму в Швейцарии. Это по крайней мере будет иметь выгоду для здоровья жены моей. Но в кармане моем совершится дыра великая. И что-то еще ждет меня впереди. Но на все воля Божия. Буду ждать того спокойно, что велят обстоятельства, или, вернее сказать, что велит Бог. А тебя прошу оказать мне свою дружбу и исполнить мое желание, т. е. дать свой совет.

Твой Жуковский.

3/15 июля
Эмс

Прошу адресовать письма свои во Франкфурт. Francforth a/M. Poste restante или лучше: Fr. a/M. Saxenhausen Schaumainthor Satzwedelsche Garten.

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 5—6.
Копия: Там же. Л. 42—43.
Публикуется впервые.

[1] Иоганн Баптист (1782—1859) — эрцгерцог австрийский, генерал-фельдмаршал (австрийский и русский), с началом революционных событий 1848 года император Фердинанд, оставив Вену, назначил его там своим наместником; национальное собрание во Франкфурте выбрало его имперским викарием; в этой должности он оставался до 20 декабря 1849 года.

[2] Эрнст-Август — король ганноверский (1837—1851), мартовские события 1848 года заставили его внести некоторые либеральные перемены в конституцию. Когда началась реакция, он противился объединению Германии и хотя и вступил в так называемый союз трех королей, но скоро из него вышел.

[3] В письме от 23 июля 1848 года (ИРЛИ. 28052. Онег. собр. Л. 54—55), которое Жуковским получено 3/15 августа, Зейдлиц пишет:

«Mein Rath in Betreff der Cholera geht dahin, diesen Würgengel nicht entgegenzugehen, sondern auszuweichen. In Petersburg ist die Epidemie allerdings seit dem 25. Juni im Abnehmen begriffen, allein sie geht festen Schrittes westwärts, herrscht jetzt im Osten, welche sie im Jahre 1831 verschont hatte, und bildet eine Fronte, die sich von Abo über Helsingfors, Revel, Tallin, Riga u.s.w. hinerstreckt. In diesem Augenblicke mag sie wohl schon ins Preußen hineingedrungen sein, und bedroht wohl auch die Weltgrenze Deutschlands: gelangt sie an den Rhein, dann wäre wohl der Moment gekommen, nach Osten zu gehen, das heisst sich in die Hinrichtung machen ⟨...⟩.

Gegen eine Zuflucht in der Schweiz habe ich nichts einzuwenden, da das Aufenthalt in den Alpen, ansonsten den allgemeinen Vergnügen größeren Heilsformheit, auch noch einige Sicherheit vor der Cholera verspricht. Damit wäre also ihr Kommen auch in diesem Jahr wieder hinausgeschoben!»

(Мой совет в отношении холеры — не идти навстречу этому капризному ангелу, но уклониться. В Петербурге с 25 июня эпидемия пошла на спад, однако на запад она идет твердым шагом, сейчас господствует на востоке, который она пощадила в 1831 году, и образует фронт, простирающийся от Або через Гельсингфорс, Ревель, Таллин, Ригу и т. д. В настоящий момент она наверняка проникла и в Пруссию и, пожалуй, угрожает перейти границу Германии: если она достигнет Рейна, тогда придет момент отправляться на восток ⟨...⟩.

Против бегства в Швейцарию я не могу ничего возразить, так как пребывание в Альпах помимо общего удовольствия имеет целебный эффект, а также обещает еще и защиту от холеры. Тем самым Ваш приезд откладывается и в этом году!).

31

апрель 1849 года

Мой милый Зейдлиц, вместо того чтобы обнять тебя материальными руками, пишу по-прежнему и уведомляю тебя, что мое намерение посетить Петербург не может исполниться. — Жену посылает мой Доктор в Швейцарию, и я должен туда ее отвезти. К счастию, имею от Государя дозволение остаться за границей столько времени, сколько нужно для выздоровления жены моей. Ей сделалось было хуже, но теперь опять (уже тому три недели) возобновилось то, что ее так мучило в продолжение восьми месяцев. Поможет ли ей Интерлакен — это знает один Бог. Жаль мне, тяжко жаль, что я и нынешний год не увижусь с своими. У кого на руках семья, тот не имеет свободы жить как хочется, он невольник обстоятельств. Семейная жизнь есть лучшее наше сокровище; но это сокровище покупается дорогою ценою. — При сем просьба: прошу тебя немедленно переслать к Родионову тот билет Коммерческого Банка, который принадлежал Кате Воейковой и написан на мое имя. Я имею нужду в деньгах, хочу заплатить старый долг Тургеневу прежде моего возвращения из-за границы, а вместо коммерческого билета эта сумма означится в двух векселях на имя Саши и Маши Воейковых, которые будут получать проценты от меня, следовательно, более, нежели из казны. Прошу тебя отослать это немедленно, т. е. переслать билет к Родионову.

Адрес Родионова

Его Высокоблагородию Ростиславу Родионовичу Родионову. В СПб. В Канцелярию Государыни Императрицы.

Прости, мой милый Зейдлиц. Обнимаю тебя и твоих.

Жуковский.

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 106. Л. 33—34 об.
Копия: Там же. Оп. 1. № 32. Л. 1—14.
Публикуется впервые.

32

12/24 января 1850 года. Баден-Баден

Милый друг Зейдлиц.

Благодарю, от всей души, благодарю тебя за твое милое письмо, которое досыта накормило мою голодную душу. Сперва поговорим о делах, а потом о деле. Делами я называю прозу жизни, которая всякий день, хотя всегда одна и та же, надевает новое маскарадное платье; а делом называю поэзию, которая вечно разнообразна; хотя и всегда одета в одно и то же эфирное платье.

Итак проза. С тех пор, как я получил письмо твое, мой план переменился. Вот как это случилось. Одна из главных причин, побуждавших меня непременно ехать нынешним летом, была праздник 25летия царствования Государя, который, как утверждают, будет в нынешнем ноябре. Мне сказывали, что он должен пройти в Москве; и мне казалось невосполнимым и неприличным не быть на этом празднике после такого долгого отсутствия из России, хотя и весьма было бы полезным (как для жены, начинающей приходить в лучшее положение от Гугертова[1] лечения, так и для меня самого) еще на зиму остаться в Бадене. Вдруг узнаю, что праздник этот разделили на два, один Петербуржский в нынешнем ноябре для восшествия на престол, другой Московский в августе 1851 для коронации — это дает мне возможность согласить свое пребывание нынешней зимою в Бадене с моим приездом будущей весною в Россию и в то же время присутствовать на русском великом празднике. Таким образом я и решаю остаться вместе с женою там, где мы теперь. Ей это особенно нужно. Гугерт утвердительно облегчит ей выздоровление, если она останется; я не могу взять на себя ответственности за то, что воспрепятствую ей вырвать из когтей того демона, ⟨который⟩ уже несколько лет на части рвет когтями бедную мою семейную жизнь. Это будет последний ответ. А я (также имея нужду к покою по причине физической) воспользуюсь этим покоем во время зимы и осени для неоконченных работ своих, от которых надобно будет надолго оторваться, если нынче поеду в Россию... Работы? Какие, ты спросишь, работы? Теперь я перехожу от прозы к поэзии. Какие работы? На это я не дам тебе никакого ответа, ибо давно заметил, что те из моих работ никогда не приходили к концу, которыми я наперед хвалился. Зато поговорю с тобою о моих конченных работах. Твой голос о моей Одиссее был сладкою для меня гармонией. Не поставь моего удовольствия слушать твой приговор на счет суетного самолюбия: нет! в мои лета нет уже самолюбия; да я и всегда был чужд его ребячеству. Но в том чувстве, с каким я слушал хвалу Одиссеи моей, исходящую из души поэтической, есть нечто подобное чувству отца, который, выводя в свет свою милую дочь, видит, с какою симпатией, с каким благоговением встречают ее ⟨...⟩ отцы, немногие, которых мнение ему драгоценно. Ты принадлежишь к числу этих немногих. И ты поймешь, что я переводил Гомера не для похвалы, чисто для того стойкого вылуженного наслаждения, которое объемлет душу в безмолвность святительную поэзии: и это святилище было для меня

la lettre[2] безмолвное, ибо никто в моей семье не мог вслушаться в русское пение Гомера; из моих русских соотечественников только один отозвался о нем письменно и другой еще печатно; ты третий и самый значительный для меня, как по твоему поэтическому чувству, так и по знанию дела. То, что ты находишь в моем переводе, есть именно то, к чему я сам желал дойти. Это стремление сохранить в моей копии младенчески чистый характер переводной поэзии моего подлинника было для меня поэтическою жизнью во всей ее святости. И в этой мысли для меня много утешительного (хотя она сама и есть мечта), в мысли, что моему Отечеству останется в моем Гомере мой вечный памятник: если подлинно в нем отзываются чисто и гармонично те звуки, которые три тысячи лет утешают сердца избранных, то надолго и на Руси останется отзыв моей поэтической жизни. — Желаю знать, прочитал ли ты после Одиссеи поэму Рустем и Зораб, заимствованную Рюккертом из Шах-Наме, а мною у Рюккерта?[3] Я переводил вольно, иное выбросил, иное прибавил, и эта работа была великим для меня наслаждением; если ты не читал Рустема, то прочитай непременно и скажи мне свое мнение.

Теперь опять к прозе. Я писал о причинах, заставляющих меня еще на зиму остаться за границей к великому князю наследнику; еще не имею ответа его. Но он не переменит моего намерения; жену во всяком случае не повезу еще нынешней зимой в Россию; ибо вижу теперь, что дело ее избавления еще вовсе не кончено. Сам же может быть еще и буду у вас. Если праздника в Москве не будет, а только в ноябре и в Петербурге, то подыму в сентябре старые свои кости и, оставив семью в Бадене, отправлюсь в Петербург и проживу там до половины декабря, чтобы воротиться зимним путем в Баден. Таким образом на нынешнюю зиму все Дерптские распоряжения должны быть отложены; но меня несказанно радует мысль, что ты сложив с плеч все свои экономические хлопоты, поселяешься в Дерпте. Это прелестная перспектива для моей будущей семейной жизни; как ни думал, не нахожу другого приличнейшего мне прибежища как в Дерпте. Где же в другом месте? В Петербурге? Дорого и особенно дорого по моим связям и отношениям. От Дерпта же до Петербурга недалеко — я буду; живучи в Дерпте, вблизи с Петербургом, но от него независимо. Между тем Дерпт для воспитания, т. е. для учения детей представляет множество ресурсов и более, нежели в Петербурге; и если ты там поселишься, то мы сможем свидеться опять на том же пункте, на котором началась моя деятельная жизнь, с которого началась и та половина моей жизни, которая привела меня к теперешней. Того что было там некогда наше, мы не найдем: все почти исчезло, не только в Дерпте, но и на земле; там остался один представитель этого прошедшего; могила с надписью: да не смущается сердце ваше. Но около двух нас оставшихся подымается новое поколение; в нем сосредоточится наша жизнь и в нем расцветут для нас новые, молодые надежды. Все, составляющее теперь для меня прелесть жизни, заключается в той деятельности, которую я посвящу образованию детей (если Богу угодно будет еще несколько лет даровать мне для жизни на свете), я заключу себя в этом очаровательном круге и из него не выйду. Итак, друг, поживем вместе, и порадуемся расцветающего жития наших детей на том месте, где мы сами расцветали и много лет радовались с горем пополам; а

О милых спутниках, которые наш свет
Своим присутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет!
Но с благодарностию: были!

В ожидании нашего переселения в Дерпт назначаю тебя быть нашим попечителем. Мы отправимся в путь рано, с первою весеннею возможностью. Из чего следует, что тебе есть довольно времени обдумать наше устройство и вовремя захватить для меня хорошее жилище. Ты не охотник писать письма, я это знаю и понимаю. Но прошу тебя отвечать на это письмо и подробно уведомить меня о собственных твоих пла-

нах. Между тем, живучи в Дерпте, имей в виду и мою Дерптскую жизнь; в свое время сообщи мне свои для меня предположения. Например, нельзя ли будет на летнее время, где поселиться в деревне и поблизости друг от друга? Для детей нужен необходимо сад. Возлагаю на твое братское сердце заботу о моей семейной жизни: как ⟨нрзб.⟩ будешь нам спасительным помощником. Мне на старости трудно учиться практической жизни; ты же напротив вынес ее на плечах.

Довольно. Обнимаю тебя всем сердцем. Пиши ко мне в Баден-Баден. Жена вам вместе со мной дружески кланяется.

Твой Жуковский.

12/24 генв. 1850
Баден-Баден

Что знаешь о Мойере и Кате Елагиной?[4]

Автографы:

1) первая часть письма до слов «Теперь опять к прозе»: ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. Ед. хр. 70 (Из собрания Б. Л. Модзалевского).

2) вторая часть: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 10—11.

Впервые частично: Зейдлиц. С. 225 — со слов «твой голос» до «жизни»; с. 230 — со слов «я не могу» до «в Россию»; с. 230—231 — со слов «если ты там» до «с благодарностию были».

[1] Гугерт — лечащий врач жены Жуковского.

[2] письмо (*фр.*).

[3] Зейдлиц отвечает Жуковскому развернутым отзывом о поэме в письме от 3/15 октября 1850 года (ИРЛИ. 28052. Онег. собр. Л. 56—58):

«Als ich grade zum Weihnachtsbaum 1848/49, das Buch aus St Petersburg geschickt bekam; machte ich mir ein Fest daraus, die Festtage mit Ihren Gedichten zu feiern. Den Rustem musste ich in einem Zuge vom Anfang bis zum Ende durchlesen, weil die Erzählung, gleich wie das Schicksal, unerbitterlich zur Katastrophe führte. Diese, noch mehr aber des ergrauten Vaters Klage an der Leiche seines lieblichen Sonnes erweckten in mir ein tiefes Wehmutsgefühl, welches mich von einer baldigen abermaligen Durchlesung des Gedichtes abhielt. Ich teilte das Buch aber meinem Schwager mit. Dieser o Grosse des Lebens! — Dieser hatte einem viel jährigen Hausfreund, einen lahmen Raben, welcher in einem unbewachten Augenblicke sich über Rustem und Sorab hermachte und beide so gründlich zerriss, das mein Schwager nicht wagte, mir das Buch zurückzugeben. Jetzt erst, nachdem Sie uns von Rustem geschrieben, zwang ich meinen Schwager das vom Raben ⟨...⟩ Gedicht mir wieder herauszugeben, worauf einer meiner ersten Arbeiten in Dorpat war: Ihren Rustem gehörig zu flicken und dann wieder zu lesen. Das Rückkerts Gedicht habe ich nicht vergleichen können; es ist mir aber als ob diejenigen Stellen, die mich am tiefsten ergriffen haben, von Ihnen herrühren. Solcher Stellen sind mehrere in der Beschreibung der Temina, sowohl im ersten Buche VII, VIII, als auch im zweiten II, besonders aber im ⟨...⟩ Buche II. Auch scheint mir der alte Rustem an manchen Stellen nicht Persisch, sondern Russisch zu philosophieren. Am freigiebigstens haben Sie, wie es mir scheint, den jungen Sorab aus dem Schatze ihrer Phantasie bedacht, und in dem jungen Alter das Bild unbefleckten Seelenadels dargestellt. Während der Jüngling in seinen Worten und Taten dem Eingebungen eines liebevollen Herzens folgt, steht der Alte unter der Macht einer rucksichtslosen Ruhmsucht, welche ihn zum schimpflichen Betruge treibt, den Helden zum Meuchelmörder macht! Die Charaktere dieser beiden Hauptpersonen des Gedichtes sind scharf gezeichnet, Ihre Eigentümlichkeiten leuchten aus jedem Worte, jeder Bewegung heraus. Dass der Alte im Nachteil sieht, folgt, nach unseren Begriffen, mit Recht aus dem weniger wichtigen Motiv seiner Handlungen; ob nach Gestischen Begriffen das Ruhm aber gegen kindliche Herzensreinheit verfüllt, dürfte die Frage sein oder Persische Verfasser möchte also seine Volkeransichten ⟨2 нрзб.⟩. Der Entschluss des Vaters, sein stolzer Knie aus Liebe zu dem sterbenden Sohn endlich doch nun vor dem Schach zu biegen, kann uns wie überhaupt sein tiefer Schmerz, mit ihm wieder ansöhnen; er selber aber rühmt sich durch Entschluss als eine Entschuldigung seiner Person an, — und kehr dadurch zu seinem Idol, dem Stolze, wieder zurück. Der Schach hätte doch zuletzt seine Freude über den Untergang beider Helden ausdrücken sollen, um das Gemälde des rücksichtslosen Egoismus zu vollenden. Sehr spannend ist der in drei Abschnitte ausgesp⟨ommene⟩ Kampf zwischen Rustem und Zorab — und die Katastrophe durch die plötzliche Beendigung des Kampfes durch Mord wirklich erschüttelnd. Erinnert dieser dreigeteilte Kampf, und selbst der Abschied des Alten von seinem Pferde nicht an das Ende des Bulwerschen Romans: der letzte der ⟨...⟩?

Ich kann nicht schließen, ohne der sinnvollen Erscheinung Feminas bei der Leiche ihres Sohnes im X. Buche zu geben. Der Zweifel, ob der Mutter selber herbeigekommen war, oder ob ihr Geist es gewesen, welches die entseelte Hülle des Kindes noch umschaute, wird zwar durch die auf dem

Haupt verbliebenen Rosen und Lorbeeren gelässt, aber es bleibt doch Raum für die Idee, dass durch Liebe des Jenseits mit dem Diesseit verbunden sei — eine Idee, welche, so wie sie im angeführten X. Buche an der Leiche Zorabs dargestellt ist, wohl schwerlich dem Persischen Dichter angehört.

Doch genug! Sollten die Bahnen unserer Lebensläufer sich wirklich in Dorpat treffen, so können wir mündlich ueber Rustem und Sorab, sowie über manche andere, den свинопас богоравный, nicht zu vergessen — schwatzen»

(Когда я получил присланную из Санкт-Петербурга книгу как раз к рождеству 1848/49, я решил устраивать себе праздник, отмечая праздничные дни Вашими стихотворениями. Рустема я прочел на одном дыхании от начала до конца, т. к. повесть, как и судьба, неумолимо вела к катастрофе. Она, особенно же плач состарившегося отца над телом своего родного сына пробудили во мне глубокое горестное чувство, которое удержало меня от скорого чтения других стихотворений. И я передал книгу моему зятю. А у него же — о Бог мой! — у него был старый домашний питомец, хромой ворон, который в неосторожный момент взобрался на Рустема и Зораба и обоих так основательно разорвал, что мой зять не отваживался вернуть мне книгу. Только теперь, когда Вы написали нам о Рустеме, я заставил зятя выдать мне разорванное вороном стихотворение, потому одним из первых моих дел в Дерпте было, как подобает, починить Рустема и потом снова прочесть. Стихотворение Рюккерта я не мог сравнивать; однако мне кажется, что те места, которые меня тронули наиболее глубоко, принадлежат Вам. Таких мест множество в описании Темины, как в первой книге VII, VIII, так и во второй II, особенно же во второй книге II. Также мне кажется, что Рустем философствует в некоторых местах не по-персидски, а по-русски. Наиболее вольно, как мне кажется, Вы изобразили из сокровищ Вашей фантазии юного Зораба, и изобразили картину незапятнанного душевного благородства в юном возрасте. В то время как юноша в своих словах и поступках следует велениям любящего сердца, старик находится во власти безоглядной жажды славы, которая приводит его к позорному обману, превращает героя в вероломного убийцу. Характеры этих двух главных героев стихотворения обрисованы четко, Ваше своеобразие светит из каждого слова, из каждого движения. То, что старик остается в проигрыше, следует, в моем понимании, правомерно из менее значительного мотива его действий; но вопрос, наверное, в том, вообще проигрывает ли слава перед детской чистотой сердца, или персидский автор хотел таким образом представить верно свой фольклор. Решение гордого отца преклонить колено перед шахом из любви к умирающему сыну может нас вновь с ним примирить, как в общем и его глубокое горе; он сам однако восхваляет в себе это решение для собственного прощения, — и возвращается вновь тем самым к своему идолу, гордости. Шах должен бы был наконец выразить свою радость поражению обоих героев, чтобы завершить картину безоглядного эгоизма. Очень увлекательна помещенная в трех отрывках борьба между Рустемом и Зорабом — а катастрофа внезапного окончания борьбы и убийства действительно потрясает. Не напоминает ли эта борьба в трех частях и само прощание старика со своим конем конец Бульверова романа: последнего ⟨...⟩?

Я не могу закончить, не упомянув трогательного появления Темины у тела своего сына в X книге. Сомнение, пришла ли сама женщина, или то был ее дух, который смотрел на безжизненное тело своего ребенка, разрешается оставленными у изголовья розами и лаврами, однако остается все же пространство для идеи, что посредством любви связаны этот мир с потусторонним — идея, которая, как она представлена в приведенной X книге у тела Зораба, вряд ли принадлежит персидскому поэту.

Однако же довольно! Если дороги наших судеб, действительно, пересекутся в Дерпте, то мы сможем поболтать о Рустеме и Зорабе, как и обо многих других, памятуя свинопаса богоравного).

[4] Там же. Л. 58:

«Von Moier und von Katinka habe ich lange keine Nachricht. Er soll vom Alter und vom Rheumatismus gedrückt und sehr schwerfällig sein; Kattinka auch viel kränkeln. Gern würde ich doch vor Tores Schluss beide noch einmal sehen. Саша und Маша Woeykoff sind nun beisammen in Petersburg. Wenn Sie herkommen, werden Sie mich von den Bankbilleten befreien, welche in Peterburg bei meinem Schwiegervater, Dr. Rauch in Verwahrsam liegen»

(От Мойера и от Катеньки я давно не получаю вестей. Он, должно быть, подавлен в силу возраста и ревматизма и очень тяжел на подъем; Катенька, наверное, тоже много болеет. Однако обоих я охотно бы увидел еще раз перед тем, как закроются их двери. Саша и Маша Воейковы обе в Петербурге. Если они приедут, то освободят меня от банковских билетов, которые находятся на сохранении у моего тестя д-ра Рауха в Петербурге).

33

май 1850 года. Баден-Баден

Мой милый Зейдлиц, с той благословенной поры, когда холера и твой совет воспрепятствовали мне переселиться на родину, прошло два года.

В 1848 году я переехал из Франкфурта в Баден, где провел зиму весьма покойно; жена продолжала бороться с своими нервами. Гугерт ей помог и приготовил ее к лечению в следующем году.

В мае 1849 года лечение началось, но на нас повлиял вихрь мятежей, и мы принуждены были бежать в Швейцарию; провели лето в Унгернене; но тамошний климат не сделал добра жене, а мне навредил. Я возвратился с расположением к водяной в груди. Эта болезнь отвращена была Гугертом. Зима прошла изрядно.

Теперь опять началось лечение жены. По окончании которого мы намерены, наконец, приехать в Россию. Гугерт хочет, чтобы жена купалась в море и назначил для того Ревель. Смотря, однако, по ходу, который возьмет лечение, он может быть и вовсе избавит ее от морского купания.

Во всяком случае, мы поселимся наперед в Лифляндии или Эстляндии; и там решится, где оснуем свое постоянное местопребывание.

Это первое местопребывание я желал бы начать в Ревеле по той причине, что там для лета мне уже готов дом; совсем меблированный и всем необходимым домашним снабженный, также и для зимы есть хороший, теплый, меблированный дом. Это обстоятельство весьма важное; всем заводиться, приехав в Россию, стоило бы дорого. А живучи в Ревеле мало по малу все бы устроить было можно. Дай добрый совет, что делать? Где лучше поселиться? В Ревеле или в Дерпте? На первый случай о приезде в Петербург нечего и думать. Можно ли найти дом в Дерпте? Дом меблированный, удобный для жилья и не в нижней, а в верхней части города? Что скажешь о Карлове? — Весьма, весьма будет мне трудно; надобно будет всем вдруг заводиться. Помоги и научи.

Надеюсь, что я наконец вырвусь из Германии. Если будет можно пуститься в путь, то это будет в начале июля. 4/16 июля, следовательно, в половине нашего июля могу быть в России. До тех пор ты успеешь отвечать мне, а я перед отъездом еще раз напишу. Помяни старую дружбу, не поленись, напиши немедленно. Ты (прошу этого не забыть) опекун детей моих. Следственно, что бы ни случилось, ты уже наперед обязан быть сторожем моего семейства, и я поручаю его твоей верной дружбе. — Итак, жду немедленно ответа,[1] и обнимаю тебя со всеми твоими.

Жуковский.

1850 мая

В Ревеле готов для меня на лето дом Штакельберга, а на зиму могу нанять дом Бенкендорфа, который женат на Бернардаки. Можно бы приискать на лето мызу близ Дерпта. — Подумай обо всем этом.

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 12—13 об.
Копия: Там же. Л. 47—48.
Публикуется впервые.

[1] На это письмо Зейдлиц отвечает 14/26 марта 1851 года, начиная эпиграфом из «Das Mädchen aus der Fremde» («Дева с чужбины») Ф. Шиллера (ИРЛИ. 28052. Онег. собр.):

«In einem Thal bei armen Hirten
Erschien mit jedem jungen Jahr
Sobald die ersten Lerchen schwirrten
Ein Madchen schon und wunderbar etc. etc.

Eben so erscheint mit jedem jungen Jahr bei mir die Botschaft von meinem lieben Freunde Joukoffsky; ihm in Dorpat eine Wohnung zu mieten. Alles zu seinem Empfange bereit zu

machen — aber kaum baut sich die Lerche ihr Nest, kaum lässt die Nachtigall sich hören, solange auch schon wieder das Brieflein an, in welchem es heißt: dieses Jahr bleiben wir noch in Deutschland! Doch diesmal, glaube ich, wird's mit Ihrer Heimkehr ernst; ob auch mit der Übersiedlung nach Dorpat — das liegt auf den Knien der unsterblichen Götter! In der Voraussetzung aber, dass Sie wirklich unser Embach-Athen, diesen s.g. Musensitz, durch Ihre Gegenwart dauernd verherrlichen werden, will ich denn von recht un-musenhaften Dingen sprechen.

Die Idee, Sie wieder vor Ihrem poetischen Gebährbetten, dem großen Tische stehend zu sehen, hatte schon vor Ihrer Anfrage: ob ich ihn noch besitze? in mir den Gedanken erweckt, Ihr künftiges Studierzimmer mit diesem Möbel auszuschmücken. Nicht aber verkaufen werde ich Ihnen dasselbe, sondern zum Gebrauche Ihnen leihen, solange Gott Sie unter uns erhalten mag. Habe ich doch die Wiege, welche ich für Katti Moier selber getischlert, an Alexandrine gleichen gehabt, und darauf meine eigenen sieben Kinder darin gewiegt; so will ich mich denn auch als Depositair der Wiege Ihrer Schwanenlieder ansehn. In Betreff der Compenhausenschen Moebeln werde ich Ihnen zu Ende dieses Briefes meine Meinung mitteilen»

(Из года в год в начале мая,
Когда не смолкнет птичий гам,
Являлась дева молодая
В долину к бедным пастухам.

Так же является мне каждую весну послание от моего дорогого друга Жуковского; чтобы я снял для него в Дерпте жилье. Подготовил все к его приему — но как только построит жаворонок свое гнездо, как только послышится пение соловья, тут же снова приходит письмецо, в котором говорится: в этом году мы еще остаемся в Германии! Однако на этот раз, я полагаю, с Вашим возвращением на родину все серьезно; а с переездом ли в Дерпт — это известно лишь бессмертным богам! Но предполагая, что Вы действительно почтите своим долгим пребыванием наши Эмбахские Афины, эту резиденцию муз, я все же хотел бы поговорить о вещах, не подлежащих воле муз.

Идея видеть Вас вновь стоящим перед Вашей поэтической колыбелью, большим письменным столом, еще до Вашего вопроса: владею ли я им еще? навела меня на мысль украсить этим предметом мебели Вашу учебную комнату. Однако я ее Вам не продам, но одолжу для пользования, пока Богу будет угодно беречь Вас среди нас. У меня ведь есть еще колыбель, что я вырезал специально для Кати Мойер, и такую же для Александрины, и на них вынянчил собственных моих семерых детей; также вот я хотел бы рассматривать его как хранителя Ваших лебединых песен).

34

9 марта 1851 года. Баден-Баден

Мой милый Зейдлиц, из долгого молчания на последнее письмо твое можешь ты вполне заключить о том, какова должна быть моя лень на переписку с моими друзьями. Впрочем, ты можешь понять ее и сам по себе; и ты столько же грешен как я; как эпистолограф. Все однако я не понимаю, как мог я тебе не отвечать на такое милое письмо, которое порадовало мою душу? Теперь пишу, потому что писать велит необходимость. Но воспользуюсь необходимостью, чтобы поговорить и о милом письме твоем. — Сперва о необходимом. Вот в чем дело. Весна наступает и с нею вероятность, что я возвращусь наконец в Россию; это однако не прежде будет, как с конца июня или в половине июля. Мои планы на первый случай состоят в том, чтобы привезти жену и детей в Дерпт и там поселить их на год. Как после устроить мое житие бытие, то может быть только решено тобою, не можешь и в этом деле ты (опекун моих детей и добрый, надежный советник моей жены в случае моей смерти) подать мне хороший совет. Но для предварительного, временного пребывания в Дерпте, нужно иметь там дом, а в доме нужно иметь мебели. Дома же в Дерпте, как я слышал, все отдают в наем без мебелей; нажить же там мебелей нельзя; итак и для временного там пребывания нужно мебели покупать. Обращаюсь по этому предмету к твоей дружеской помощи. Мой шурин Рейтерн пишет к нам, что он имеет в виду для нас дом; который будет свободен к маю месяцу; с нами теперь живет Г-жа Кампенгаузен. Это дом барона Нолекена.[1] Я сам говорил о нем с ⟨...⟩; вообще все его хвалят, но есть много обстоятельств, которые представ-

ляют его и с невыгодной стороны; во-первых, нет солнца; улица, на которой он находится, грязна и не благовонна; от стока вод, которые льются с горы, у которой он стоит; бывает и сырость, и вонь; да и соседство его непутное: ратуша, из окон которой против его окон высовываются головы бедных колодников, которые таким образом становятся постоянными собеседниками живущих в доме. Представляю все это на твое усмотрение с важным вопросом: Не будет ли жизнь в этом доме вредна здоровью? — второе важное обстоятельство: Г-н Камненгаузен, покидая дом, наверное продал свои мебели; они должны быть, хотя употреблены, в хорошем порядке и очень солидной работы. Не можешь ли взять на себя труда осмотреть эти мебели и решить, хорошо ли я сделаю, если во всяком случае (найму ли или нет дом Нолекена) куплю их? Ведь надо же будет запастись мебелями? Если покупать или заказывать новые хорошие, будет втридорого; и при том надобно несколько времени просидеть без мебелей? Я думаю, что во всяком случае, если бы я по истечении года и покинул Дерпт, купить эти мебели было бы экономнее, нежели нанимать или заказывать новые; их бы можно было при отъезде перепродать с уступкою. Прошу тебя, добрый друг, осмотри их и дай добрый совет. На них уже поглядывает, как пишет шурин, покупщик; надобно предупредить его. Если найдешь, что покупка будет выгодна, то уже одолжи мне, купи на свои деньги мебели; в эту минуту у меня денег нет; но по приезду разочтусь с тобою верою и правдою. Еще я должен предупредить тебя, что я скалю зубы на тот высокий стол, который ты купил у меня при отъезде; если он существует, то ты должен будешь его мне перепродать: он столько времени служил мне, столько моих стихов вынес на хребте своем; потом, перешед в твою службу, приобрел для меня особенную значительность; мне будет весело возвратиться к старому другу; если только еще он существует. Вот кажется все; буду с нетерпением ждать от тебя ответа. Не поленись, отвечай немедленно; это письмо передаст тебе мой шурин, с которым прошу тебя составить Конференцию (только не Дрезденскую) для приведения в порядок моей перевоплощенной, домашней Германии.

Теперь обращаюсь к письму твоему. Оно порадовало мою душу. Ты поэтическим языком поговорил со мною о моей поэзии; я давно такого лакомства не имел; как ни уютно мне в своей семье, но с моею поэзией никто здесь не знаком: русского языка мои ближние не знают. И это составляет особенное достоинство моего перевода «Одиссеи», что он совершился без свидетелей, выключая одного Гоголя, который читал первые 12 песен: остальные я переводил в Бадене. Для курьеза посылаю тебе табличку, из которой увидишь ход перевода.[2] Те числа, против которых стоят точки, означают те дни, в которые я занимался переводом; из этого увидишь, что последние 12 песен переведены менее нежели в 100 дней. *Эти сто дней были счастливые дни!* Для чего я работал? Уж, конечно, не для славы. Нет, для прелести самого труда! Ничто не может сравниться с тем наслаждением, какое заключалось для меня в уединенной, безмятежной беседе с поэтическими, девственно-непорочными видениями Гомера, которые прилетали ко мне из светлой старины и навевали мне на душу свежий воздух поэзии первобытной. Работал не для славы! Там, на Руси, не многим может понравиться Гомер; а в Европе мой Гомер никому не слышен. Но все великое услаждение — поделиться им с теми, кто, как ты, его знают и смотрят на его создание глазами поэтическими. И я всем сердцем благодарю тебя — не за твое одобрение, а за то, что ты не поленился поделиться со мною тем чувством, которое произвела в тебе моя «Одиссея». О славе — скажу опять — я не забочусь; в 68 лет не до славы; но весело думать, что после меня останется на Руси твердый памятник, который между внуками сохранит обо мне доброе воспоминание. Теперь мой Гомер есть, так сказать, тайна; в наше время нет места поэзии Гомерической; но эта поэзия живуща: со временем она свое возьмет, и мысль, что в будущее время я буду для отечества довольно верным представителем *этой* поэзии, меня веселит и кажется мне чем-то существенным.

Но я хотел говорить с тобою не о Гомере, а о Рустеме и Зорабе, которые составляют содержание письма твоего. Эта поэма не есть чисто персидская; Руккерт взял только сюжет из Шах-Наме; все лучшее в поэме принадлежит ему. Мой перевод не только что вольный, но своевольный; я многое выбросил и многое прибавил. Прибавил именно то, что тебя ввело в недоумение — явление девы ночью к телу Зораба; но ты ошибся, приняв эту деву телесную за дух бесплотный; это не умершая Темина, а живая Гурдаферит, которая пророчила Зорабу его безвременную смерть, и обещала плакать по нем, и исполнила свое обещание; он, умирая, на это надеялся, а она как будто почувствовала вдали его желания, принесла ему свои слезы: сердце сердцу весть подает. И эпизод прощания с конем принадлежит мне. Я очень рад, что тебе пришла эта поэма по сердцу. Это была для меня усладительная работа. — Если ты не читал Ивана-Царевича, то прошу непременно его прочитать: он также принадлежит к моим любимым детям. С ним я дал себе полную волю и разгулялся на распашку. — Что скажу теперь о моих текущих работах? Я так занят, что не достает времени и спешу работать, ибо сам опасаюсь, что недоработаю того, что предназначил, ибо в мои лета смерть не за горами. Я начал переводить Илиаду и перевел уже первую песнь и половину второй и если бы так пошло, то весьма возможно, что я кончил бы всю поэму (которую гораздо легче переводить перед Одиссеею) до моего отъезда в Россию. Но я должен был пожертвовать трудом поэтическим труду должностному. С облаков поэзии я спустился на смиренный стул педагога, и теперь в моих руках не лира, а детская указка. Я сделался учителем моей девчонки, и это было усладительнее всякой поэзии. Но я еще не учу ее порядком, а мы только приготовляемся к учению без принуждения; еще идет у нас учебная гимнастика. Зато я сам про себя готовлюсь к будущему систематическому домашнему преподаванию, то есть по особенной, прагматической, уморазвивательной методе составляю курс предварительного учения. Думаю, что эта метода будет иметь желаемый успех, сколько могу судить уже несколько и по опыту. Но собрать и привесть в порядок все материалы (что необходимо нужно прежде начала курса) стоит большого труда; тем более, что уже мне и глаза, и руки, и ноги служат не по-прежнему. Этот-то труд берет все мое время. Но я не отказываюсь и от Илиады, и легко может случиться, что нынешней зимой ты будешь читать каждую песнь Илиады, по мере ее окончания мне приготовлять свои на нее замечания, по которым буду смиренно давать свои поправки. Я уверен также, что если Бог продлит жизни, ты мне поможешь и курс мой учебный перевести с большей совершенностью и что он пригодится если не старшим из 7 твоих крикунов, то по крайней мере последним четырем. Об этом предмете поговорим при свидании. Помоги Бог нам возвратиться на родину. — Крепко обнимаю тебя.

Жуковский.

Автограф: ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. Ед. хр. 70. Л. 14—19.

Впервые частично: Зейдлиц. С. 219 — со слов «эта поэма» до слов «усладительная работа», с. 225—226 — со слов «теперь обращаюсь» до слов «существенным», с. 234—235 — со слов «я начал уже переводить» до конца.

[1] Имеется в виду Георг Густавович (Георг Иоганн) барон фон Нолькен (1789—1853), выпускник Дерптского университета, с 1817 года активный и влиятельный лифляндский политик. Консерватор и противник ущемления дворянских привилегий.

[2] Таблица опубликована Зейдлицем в русской монографии о Жуковском (с. 227).

35

18/30 мая 1851 года. Баден-Баден

Милый Зейдлиц, благодарствую за дружеское письмо; теперь одно только слово; спешу только предупредить тебя, что ни в каком случае не должно нанимать Карлова: я не хочу жить в доме Булгарина под одной с ним кровлею; тогда не избежишь с ним знакомства и особенно не спасти моей жены от знакомства с его женою: и того, и другого я не хочу. Если бы можно было нанять Карлову без Булгарина, я был бы рад чрезвычайно; но вместе с ним не хочу и даром. Впрочем делай все остальное, как знаешь; это всего лучше. Обнимаю тебя.

Жуковский.

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 16—16 об.
Копия: Там же. Л. 51.
Публикуется впервые.

36

май 1851 года. Баден-Баден

Благодарствую за твое дружеское письмо, милый Зейдлиц, оно пришло вовремя и было для нас весьма наставительно и полезно. Без него вероятно не пришло бы мне в голову заняться теми нужными вещами для домашнего быта, о которых ты так подробно написал нам; теперь все нужное будет куплено здесь. Я надеюсь, что мне будет дозволено ввезти мой товар беспошлинно: я уже писал об этом к министру финансов; вероятно, что отказано не будет.

Поговорим теперь о нашем деле, о моем переселении. Срок моего приезда в Дерпт отодвинулся до начала августа; по повелению Гугерта жена должна остаться еще здесь до конца июня н. с. В начале июля мы поедем в Остенду для морских ванн и там пробудем до конца июля; потом прямо в Россию, вероятно сухим путем через Берлин, Кенигсберг и Тауроген.[1] Путешествие может продолжиться недели две. Таким образом мы можем быть в Дерпте в половине августа нового или старого стиля. По этому надобно располагать и наемку для нас дома. Если найдется в июне и июле хорошая квартира, не упускай ее, нанимай. Если же не найдешь — то нельзя ли около того времени, которое здесь в письме назначено для нашего приезда, нанять провизуарно у кого-нибудь из живущих в Дерпте несколько комнат, дабы по приезду иметь возможность осмотреться вокруг себя и нанять что-нибудь удобопоместительное. Твой дом, который ты так дружески нам предлагаешь для pied a terre, будет тогда уже занят самим тобою. Можно захватить несколько комнат в трактире и их устроить для временного пребывания там жены моей и детей. Я же сам немедленно по приезде в Дерпт отправлюсь в Петербург, оттуда в Москву и возвращусь не прежде конца сентября или начала октября. Пока продолжится мое путешествие, может быть все приготовления для уборки дома и мебель, которую надобно будет купить в Петербурге, успеет быть к тому времени прислано в Дерпт. Жена же употребит и на то, чтобы повидаться со всеми своими родными, находящимися в Лифляндии. Итак, срок моего приезда есть самопозднейший к половине августа старого стиля.

Сколько нас?[2] Это нужно тебе ведать, дабы расположить по этому наемку дома. Нас теперь всего на все восемь штук. Отец, мать, дочь, сын, две женского пола служанки, два служителя мужского пола; к ним должна быть присоединена кухарка. Со временем число их может увеличиться. Теперь пока на лице 8.

Чем надобно запастись для меблирования и обзаведения дома? Этот вопрос распадается на два: 1. Что есть уже в запасе и 2. чего еще нет? — 1. В запасе есть: а) в Петербурге: столовое и другое белье в довольном количестве; несколько тюфяков, старинная двуспальная кровать, старинный шкаф; несколько стеклянной фарфоровой посуды. Все это отправлено было одно в 1849 году в Петербург из Франкфурта; другое в 1849 году так же из Страсбурга. Из Франкфурта 27 ящиков, из Страсбурга 5 ящиков. Все хранится у Родионова с вещами, оставленными мною в Петербурге при отъезде моем за границу. Из всего этого следует пока переслать в Дерпт одно самое нужное, то есть ящики под № 10, 17, 18, 19 и 20 из присланных из Франкфурта и ящик с бельем из числа пяти присланных из Страсбурга. Об этом прилагаю здесь письмо на имя Родионова, которое, прошу тебя, переслать к нему в надлежащее время. б) В Дерпте есть мой собственный стол, находящийся под опекой Д. С. С. Зейдлица, и письменный стол, обещанный мне на употребление по смерть оным же Действительным статским советником, превосходительным и превосходным. О судьбе остального обдумаем вместе при радостном свидании, между тем предварительно прошу тебя взять на рассмотрение: не можешь провизуарно поместить у себя в своем огромном Мейергофском доме всех моих пожитков, находящихся теперь в Петербурге? На это дашь ответ, когда мы свидимся. Означенные же ящики должны быть во всяком случае перевезены быть в Дерпт теперь. 2. Чем надобно запастись: а) купить за границею то, назначено в письме твоем. К этому означенному тобою я намерен присоединить и мебели для гостиной и кабинета. Их в Берлине можно гораздо дешевле купить, нежели в Петербурге; а доставка по железной дороге в Штеттин и из Штеттина в Ригу пароходом будет не дороже стоить, как из Петербурга. в) заказать простые мебели в Дерпте по тем ценам, которые означены в твоем письме (NB. прошу не забыть, что надобно 4 или 6 людских кроватей, они не стоят в твоей записке). Также нужно не забыть и других нужных для дома, для чистки, для стряпанья на кухне мелких вещей: их означит тебе собственное твое хозяйство.

На это письмо ты успеешь еще дважды и трижды отвечать мне. Я пробуду в Бадене до последних чисел июня. Не придумаешь ли еще сказать какого доброго совета? Во всяком случае отвечай в немногих словах. Нельзя ли как-нибудь захватить Карлову? Но только так, чтобы в ней не было злого духа Булгарина. А что скажешь об экипаже?

Реестр мебелей, которые надобно заказать в Дерпте к нашему приезду. Выписка из твоего письма.

2 Mahagoni Betten 40 R. S.
2 Gebeizte Betten 18
2 Grosse geb. Kleiderschranke 50
2 ditto Wäscheschränke 50
1 Runder Speisetisch 35
2 Nussbaumpolierte Kommoden 28
2 Mahagoni Nachttische
2 einfache Fichtgeb } 14
2 ditto gebeizte
2 dutzend elegant Rohrstühle
ditto gewöhnlich } 140

400 R. S.

4 Betten für Domestiken
mit Kissen und Matratzen[3]

Прошу сказать свое мнение: покупать ли мебели в Берлине или в Петербурге? То есть мебели для парадных комнат, гостиной и кабинетов?

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 18—20 об.; русский текст рукой Жуковского, немецкий — рукой его жены.
Копия: Там же. Л. 44, 52, 53, 57.
Публикуется впервые.
[1] Таураге (лит. Taurag̀e, нем. Tauroggen; Таурогген) — город на западе Литвы.
[2] Примечание Жуковского: «Не забыть, что мой шурин Рейтерн будет жить у нас в доме».
[3] 2 кровати красного дерева 40 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩.
2 кровати мореного дерева 18
2 больших плетеных платяных шкафа 50
2 таких же бельевых шкафа 50
1 круглый обеденный стол 35
2 комода цвета грецкого ореха 28
2 тумбочки красного дерева
2 простых еловых плетеных } 14
2 таких же мореных
2 дюжины элегантных плетеных
стульев таких же обыкновенных } 140
400 р. с.
4 кровати для слуг
с подушками и матрасами

37

28 июня/10 июля 1851 года. Баден-Баден

Мой милый Зейдлиц, мы еще в Бадене!

Это не значит, что бы мы опять отложили наше возвращение в Россию, нам, das Mädchen aus der Fremde явилась в этот раз самолично. Вот наш вероятный маршрут, говорю вероятный, потому что боюсь сказать верный; всегда выходит навыворот.

14/24 июля Выезд — Франкфурт

19/27 — 20 июл/1ав переезд из Франкфурта до Дрездена

21и/2 а — 2/11 авг — пребывание в Дрездене

3/15 — 12/21 ав — переезд из Дрездена — через Бремен — Франкфурт на Одере — Кенигсберг — Ригу в Дерпт.

Приготовливай нам наше жилище. Если никого не найдешь, то конечно уже надобно будет поселиться в Карлове; но это мне весьма не по сердцу. Не хотелось бы входить ни в какие сношения с Булгариным; он бесстыден и насильно вступит в мое знакомство или по крайней мере будет хвалиться, что живет со мною душа в душу. Прошу тебя немедленно ответь мне в немногих строках на это письмо. Твой дневник a Dresde poste restante[1] найдет меня еще в Дрездене. До свидания! добрый, верный, старый друг. Обнимаю тебя всем сердцем.[2]

Жуковский.

10 июля н. с. Баден.

Вещи Майделя из Штутгарта я получил и отправил их вместе с своими. Не знаю, буду ли в Берлине; если буду там, то возьму закупки у Оссферса. В письме своем ты пишешь о доме Валя. Можно будет его заприметить на первый случай. Карлова была бы весьма мне по сердцу; я этот дом знаю... но злой дух! злой дух!

Автограф: ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. Ед. хр. 70. Л. 20—21 об.
Публикуется впервые.
[1] в Дрезден до востребования (*фр.*).

[2] На это письмо Зейдлиц отвечает 17/29 июля 1851 года (ИРЛИ. 28052. Онег. собр. Л. 64—64 об.):

«Lieber Joukoffsky,

wir werden sehen, ob die verzeichnete Marsch-Route beibehalten wird!

Darauf bauend, werde ich am 12/24 August vor meiner Pforte in Dorpat auf der Wache stehen, um Sie bei der Einfahrt in den Musensitz zu empfangen.

⟨...⟩

Wäre mein Haus in Unnipicht nicht gar zu ⟨...⟩ für einen Geheimrat, der 10 Jahre lang am Rheine gewohnt hat, — wäre der Abstand vom Leben unter Menschen zum Leben unter Esthen nicht gar zu groß, so würde ich Ihnen die Schlüssel dieser verhexten Schlosser nach Uddern — der letzten Poststation vor Dorpat — entgegenschicken — ich darf aber Ihnen, und besonders Ihrer Gemahlin den Eintritt in die vaterländischen Gesilde nicht zu einem Bruchstücke aus Dante's Hölle machen»

(Милый Жуковский,

увидим, удастся ли придержаться означенного маршрута!

Основываясь на нем, 12/24 августа я буду стоять на страже у моих ворот в Дерпте, чтобы встретить Вас при въезде во владения муз.

⟨...⟩

Если бы мой дом в Уннипихте не был таким ⟨...⟩ для тайного советника, который 10 лет прожил на Рейне, — если бы отличие жизни среди людей от жизни среди эстонцев было не так велико, то я послал бы Вам навстречу ключ от этого замка с привидениями в Уддерн — на последнюю почтовую станцию перед Дерптом — однако я не смею превращать прибытие в родные места в отрывки из Дантова «Ада» для Вас и, особенно, для Вашей супруги).

38

4 августа 1851 года. Баден-Баден

Мой милый Зейдлиц, ты, верно, часто выглядываешь в окно и смотришь, не едет ли мимо тебя коляска с Жуковским и его Жуковятами; не тут то было; я сижу с больным глазом в Бадене, еще не знаю, когда болезнь позволит мне двинуться с места. Пишу тебе об этом с закрытыми глазами, пользуясь машинкой, которую сам для себя на случай полной слепоты состряпал. Пишу к тебе, чтобы тебя предупредить на счет досадного препятствия: вовсе неожиданного. Чего доброго может случиться, что das Mädchen aus der Fremde опять останется in der Fremde. На глаз мой напала, по словам доктора, подагрическая материя: Dichtstoff.[1] Наш климат не благоприятен для излечения такой болезни. Как ты думаешь? На всякий случай отвечай в Дрезден poste restante. Издержки на мебель не беда — сочтемся. А дом пока нельзя нанимать помесячно. Какое бедственное помешательство! Вот уже три недели несносного болезненного бездействия. Прости.

Жуковский.

4 августа н. с. 1851

Что жена писала о матрацах, то можно на всякий случай исполнить.

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 21—22.
Копия: Там же. Л. 54.
Публикуется впервые.
[1] Дословно: плотное вещество (*нем.*).

39

9 августа 1851 года. Баден-Баден

Мой милый Зейдлиц, вот и 9/21 августа, я все еще не могу тронуться с места, с больным глазом путешествовать нельзя. Если 1 сентябр⟨я⟩ н. с. или в первых

числах сентября можно будет выехать, то выеду непременно. Ты действуй пока так, как бы мой выезд был верен.

Обнимаю тебя. До свидания. Дай Бог!

Твой Жуковский.

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 23—24 об.
Копия: Там же. Л. 35.
Публикуется впервые.

40

29 августа 1851 года. Баден-Баден

Наконец, дела решились, мой милый Зейдлиц, я принужден остаться на зиму в Бадене; вот уже восьмая неделя, как я не выхожу из горницы; глазу моему не хуже, но и не лучше; он не терпит ни свету, ни холоду, ни воздуху; погода стоит прекрасная, но холодная; я благодаря моей болезни не могу воспользоваться ни летом, не буду пользоваться и осенью; когда я был здоров, стояла самая мерзкая, дождливая, холодная погода; когда меня заперли, началась прекрасная; теперь солнечная, холодная осень — но и солнце, и холод враги моему глазу; одним словом я затворник; и сверх того взаперти не могу ничем заниматься, ни читать, ни писать; а моя бедная жена мне не помощь; она теперь больше, чем когда-нибудь страдает своими нервами. Общества же здесь у нас нет; родные разъехались кто в Лифляндию, кто в Дрезден. — Я сам хотел переселиться в Дрезден, но это мне еще невозможно, и Хелиус, и Гугерт тому противятся. Из всего этого можешь ты видеть, что мое положение незавидное; посмотрю, не удастся ли облегчить его беседою с Гомером.[1]

Я полагаю — если только возможно после стольких опытов делать какие-нибудь планы — ехать в Лифляндию в конце мая; в начале мая ты можешь позаботиться о приискании квартиры. А теперь прошу тебя уведомить меня, что ты истратил на мебель и прочее. В то же время прошу написать к Родионову, чтобы он выслал тебе деньги, о чем и я к нему пишу. Сверх того прошу убедительно сделать порядочную опись того моего добра, которое у тебя находится, присланное из Петербурга и прочее; это необходимо, дабы в случае моей смерти, жена знала, что у нее где останется после меня. Моему же тряпью, которое у тебя, дай гостеприимство под твоею кровлею: ты ведь опекун моих детей, и тебе вероятно со временем придется заботиться о судьбе их. Засим прощай. Жена дружески тебе кланяется. Отвечай поскорее в Баден. Прошу тебя, когда сделаешь опись, ее мне доставить.

Твой всем сердцем

Жуковский.

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 25—26 об.
Копия: Там же. Л. 56—57.
Публикуется впервые.
[1] В это время В. А. Жуковский приступает к переводу «Илиады».

41

8/20 ноября 1851 года. Баден-Баден

Я давно получил твое письмо, мой любезнейший Зейдлиц, и по эту пору не отвечал на него, потому что мне нечего сказать тебе о себе доброго, глаз мой не выздоравливает, не пускает меня ни на свет; ни на воздух и всю мою жизнь парализи-

рует, мешая почти всякому занятию. Счастье еще, что болезнь напала на мой отставной правый глаз, который более десяти лет вовсе не видит; лишь бы только этот негодяй не повредил своему здоровому соседу — тогда плохо; но ведь все от Бога, следовательно, все должно быть к добру. К Родионову я писал о том, чтобы выслал тебе должные мною деньги. А вот что пишет ко мне Родионов: Советую Вам переслать все Ваши вещи, находящиеся в Петербурге, к Г-ну Зейдлицу; у него будут они все вместе и, конечно, сохраннее. И вот что я отвечаю Родионову: совет Ваш благоразумен, но надобно знать, покажется ли он таким же Г-ну Зейдлицу, и если покажется, то будет ли у Г-на Зейдлица место для помещения моего скарба. Что ты на это скажешь? Но для того чтобы ты мог сказать что-нибудь дельное, посылаю тебе копию с регистров моих вещей, как тех, которые оставлены мною в Петербурге при отъезде за границу, так и тех, которые позже присланы из Франкфурта и из Страсбурга.[1] Помнится мне, что когда ты вступал во владение Мейергофского Герцогства, я передал тебе план большого старинного дома: под его кровлею нашлось бы место всему моему хламу; если бы это случилось, то вступление моего имущества под твою гостеприимную кровлю было бы для меня благим предвещанием, что странническая моя жизнь скоро кончится; в Дерпте, если Бог позволит туда переселиться, начнется последний период ее, который вероятно сольется с твоим: мы оба каждый своею дорогою пустились в житейский путь из Дерпта, который и в твоей, и в моей судьбе играет значительную роль. И вот теперь большим обходом возвращаемся на пункт отбытия, чтобы на нем до конца остаться; у нас же там запасено и место для последней бессменной квартиры, налево от большой дороги, когда едешь из Дерпта в Петербург.[2] Кстати о квартире: надобно думать загодя о том, как бы найти хорошую квартиру для нас в мае месяце; я здесь видел барона Брининга, женатого на Вульф; он имеет собственный дом в Дерпте, но теперь он его перестраивает, а сам живет и проживет до будущего мая в доме Туна; таким образом этот дом упразднится именно к тому времени, когда нам приехать в Дерпт; каков этот дом? Если удобен, то прошу тебя не упускать его из виду и тотчас нанять, как только выйдет из него Брининг. Отвечай, прошу тебя, поскорей на все мои запросы, дабы я мог успеть сделать свое распоряжение с Родионовым. Прости; сердечно тебя обнимаю. Жена благодарит тебя за твои о нас попечения. И я, и она просим тебя передать наш дружеский поклон твоей жене.

Сердечно преданный тебе

Жуковский.

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 29—29 об.
Копия: Там же. Л. 58—59.
Публикуется впервые.

[1] Речь идет о следующих документах, подготовленных Жуковским заранее:

1) Верющее письмо:

«Тайный Советник Василий Жуковский», последующим текстом «Сие верющее письмо принадлежит Г-ну Действительному Статскому Советнику Карлу Карловичу Зейдлицу; № 577 Подлинность подписи Тайного Советника В. А. Жуковского, сим свидетельствует Императорская Российская Линия при Баденском Дворе. Карлсруе 5/17 декабря 1851. Поверенный в делах Барон Криднер. Подпись и гербовая печать учреждения» (автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 3—4 об., копия: Там же. Оп. 1. № 32. Л. 34).

2) Реестр вещей

«О вещах, принадлежащих Его Превосходительству Василию Андреевичу Жуковскому, хранящихся в комнатах Мраморного Дворца.

Ящиков с книгами № 1—33, 53—57; всего 38
Бюстов гипсовых 28
Разных фигур под стеклом 8
без стекла 3

Картин в рамах и без рам 38
Портфелей с гравюрами и литографиями (которые все запечатаны) 8
Сверток с чубуками
Большой стол
2 зеленых коленкоровых занавесей с позолоченными к ним палками
Палка

Сверх сего присланы для хранения, под печатью Канцелярии Ее Величества, от Р. Родионова:

11 марта 1842 г. пакет с рисунками
13 марта 1842 г. пакет с литографиями
15 июня 1842 г. сверток с рисунками № 66—75

19 июня 1844»

(автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 106. Л. 20. Русская и французская копии этого же реестра, с указаниями названий картин, рисунков и литографий: Там же. Л. 18—19 об., на 18 об. «6 февраля 1845»).

3) Доверенность

«Все вещи мои, находящиеся в Мраморном дворце и означенные в приложенном реестре, прошу передать Господину Доктору Карлу Карловичу Зейдлицу, когда он востребует.

Тайный Советник Жуковский.

1845 11 июня
Франкфурт-на-Майне»

(автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 106. Л. 17. Копия: Там же. Л. 49).

[2] Имеется в виду место возле могилы Марии Андреевны Протасовой-Мойер.

42

6/18 декабря 1851 года. Баден-Баден

Благодарствуй, мой милый Зейдлиц, за твое дружеское письмо; оно и меня, и жену порадовало: теперь мы можем иметь в перспективе хороший дом для нашего житья-бытья в Дерпте. Немедленно последую твоему совету и напишу к баронессе Лёвенвольде;[1] содержание письма моего будет просто следующее: Госпожа баронесса, мне очень хочется нанять Ваш дерптский дом и сад на тех условиях, которые Вы сделаете и которые утвердит мой задушевный друг Карл Карлович Зейдлиц, которого я просил сделать с Вами контракт по своему усмотрению, понеже он знает, что мне нужно. Этого, кажется, будет довольно. Можно сначала нанять на один год, с тем, что если после найма на несколько лет, то возьму на себя и нужные репаратуры. Полагаю необходимым приложить здесь доверенность для заключения контракта, дабы ты мог немедленно приступить к делу, которое предоставляю на твое рассмотрение.

Собираясь поселиться в Дерпте, я желаю знать, что мне будут стоить тамошнее житье-бытье. Ты меня весьма много одолжишь, если сделаешь мне бюджет расхода. Но чтобы его сделать, нужно иметь перед глазами бюджет дохода; вот он: тридцать две тысячи ассигнациями годового дохода, пока я жив; число потребителей дохода следующее: я, жена, двое детей, два служителя мужеского пола, оба женатые, и служанка при жене, в числе этих женщин одна повариха. В число расхода включаю и издержки на воспитание детей. Из всего этого составь бюджет моего годового расхода. Если Бог даст прожить 10 лет, то, откладывая проценты с моего существующего теперь капитала в продолжение этого десятилетия, я могу иметь в конце его до 7500 руб. сер., что даст доходу ровно 10000 р. ассигн.; прилагая к этому то, что вероятно будет семье моей дано Государем, смогу надеяться, что после моей смерти будут они иметь до 20000 р. ассигн. дохода. Фортуна не блистательная, но жить будет можно. Но не будем заботиться о том, что по ту сторону гроба, устроим то, что еще по сю сторону — напиши мне мой бюджет и пришли ко

мне, дабы я мог его хорошенько вытвердить наизусть и приехать в Дерпт уже готовый к произведению его в действие. Касательно моих пожитков, находящихся в Петербурге, следуя твоему совету, оставлю их там до моего прибытия. За сим прости. Жена тебе кланяется дружески и благодарит тебя за твои о нас попечения, и я, и она дружески кланяемся жене твоей.

Жуковский.

NB. Чтобы сделать мой бюджет точнее, надобно положить за основание ему, что я из показанных 32000 р. ас. могу проживать только 27000 р. а.[2]

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 32—33 об.
Копия: Там же. Л. 60—61.
Впервые до слов «но жить будет можно»: Зейдлиц. С. 236—237.

[1] Очевидно, имеется в виду баронесса Августа Елена фон Лёвенвольде (1745—1825).

[2] В ответ на просьбы Жуковского Зейдлиц пишет 21 февраля/4 марта 1852 года (ИРЛИ. 28052. Онег. собр. Л. 71—72):

«Mein lieber Freund Joukoffsky!

Ihren Brief mit der ⟨...⟩ habe ich schon längst empfangen, aber darauf nicht so gleich antworten wollen, weil ich zuvor der Entscheidung der Baronin Löwenwolde, oder vielmehr Ihres hiesigen Bevollmächtigten der Baron Noleken abwarten musste. Soviel ist nun gewiss, dass Sie das Haus zur Miete haben können, wenn auch nur vorerst auf ein Jahr. Allein wenn die Baronin es nicht auf mehrere Jahre vermieten kriegt, so räth Baron Noleken ihr, sich durch Verkauf von dem Hause und den Umständlichkeiten eines entfernten Besitzes zu befreien. Nun das lassen wir denn dahingestellt sein. Kommt Zeit, kommt Rath, sagt das Sprichwort. Ich aber sage: wollen wir sehen, ob dieses Mal endlich unser Joukoffsky kommt!! Einen starken Anlauf dazu haben Sie wohl genommen: ein Teil der Kisten ist hier, die bestellten Möbel und Matratzen sind bezahlt, für Wohnung ist in jedem Falle gesorgt — halten Sie nun endlich auch war!

Wenn nur nicht noch etwas Anderes, als Körperkrankheit sich der Verwirklichung Ihres heißen Wunsches nach Rückkehr in die Heimat in den Weg legt! A propos! Da ich ganz unwillkürlich auf dieses Thema gekommen bin, so empfehle ich Ihnen doch die Lektüre eines Buches, welches grade diesen Titel hat: „Die Rückkehr in die Heimat". Der Verfasser ist mir unbekannt — lassen Si sich aber dieses Buch von Ihrer Frau vorlesen — hören Sie, alter Freund meines Herzens — und machen Sie dann Ihre Geschichte!

Ich soll Ihnen noch ein Budget für das hiesige Leben machen. Nun, mit dem, was Sie mir als zu Aufgaben disponsibel angeben, können Sie ein sehr stattlicher Haus machen. Ich komme mit der Hälfte aus — und habe 7 Kinder, von denen 4 allen Unterrichter .... sind und genießen. Der Train Ihrer Dienerschaft ist freilich groß, wie ich sehe — und wahrscheinlich werden die Gehalte der verschiedenen Personen sehr hoch, im Verhältnis zu unsern hiesigen Greisen sein. Da müssen Sie sich aber lieber noch dem Brauch des Landes richten, als sich überheben. Die ⟨...⟩ einer Schwestermagd in der Küche (um von unten anzufangen) ist 12—14 R.J.M. im Jahr einer Köchin comme il faut 24—30—36 R.J.M. im Jahre, eines Kutschers 30—50 R.J.M., eines Dieners 60—90—120 R.J.M., einer Hutenmagd 18—20 R.J.M., einer Kammerfrau 24—30—35. — Die besten und teuersten Lehrer nehmen 1 R.J.M. pro die Stunde. Gouvernanten sind mehr Mode Antheil, indem sehr gute zu 200 R.J.M., nicht schlechte zu 400—600 R.J.M. bezahlt werden! Wohnung mit Heizung faxire ich für Ihre Bedürfnisse auf 600—700 R.J.M. Zwei Pferde mit Equipage auf 500 R.J.M. Da haben Sie ungefähr die Übersicht der höchsten Größe, Ich kann Sie aber versichern, dass hier in Dorpat keine Familie lebt, welche soviel jährlich vorausgibt, als Sie mir für sich disponsibel angeben — vielleicht möchte ich Liphautt ausnehmen. Manche suchen freilich zu blenden, indem Sie in einzelnen Stücken großartig aufgehen lassen — in andern Dingen aber schmutzig knausern.

Und somit Gott befohlen! Meine Frau und Maschenka freuen sich darauf, Sie mit Ihrer Gemahlin hier zu haben — nicht minder.

Ihr alter Freund Dr. Seidlitz»

(Мой милый друг Жуковский!

Ваше письмо я уже давно получил, но не хотел так сразу на него отвечать, потому что мне прежде нужно было дождаться решения баронессы Лёвенвольде, или скорее ее здешнего уполномоченного барона Нолекена. Но теперь точно известно, что Вы можете снять дом, пусть пока только на один год. Если только баронесса не будет сдавать его на несколько лет, то барон Нолекен посоветует ей освободиться от дома и затруднительностей с отдаленным имением, продав его. Но оставим это на свое время. Будет день, будет пища, гласит пословица. Я же говорю: посмотрим, приедет ли на этот раз наш Жуковский! Пожалуй, лихое начало Вы положили этому: часть сундуков здесь, заказанная мебель и матрасы оплачены, квартира в любом случае гарантирована — придерживайтесь же наконец и Вы верного курса!

Если бы еще ничего другого, кроме телесной болезни, не встало на пути к воплощению Вашего горячего желания вернуться на родину! A propos! Так как я невольно затронул эту тему, рекомендую Вам прочесть книгу, которая имеет как раз то же название: «Возвращение на Родину». Автор мне неизвестен — пусть Ваша жена прочтет Вам эту книгу — послушайте, старый друг моего сердца — и напишите свою историю!

Я еще должен составить для Вас бюджет для здешней жизни. Но, с той суммой свободного капитала, которую Вы мне указали, Вы можете обустроить очень внушительный дом. Я обхожусь половиной суммы — и имею 7 детей, из которых 4ым нужны преподаватели. Правда, тыл Ваших слуг велик, как я погляжу — и вероятно будет жалование их слишком велико в сравнении с нашими здешними стариками. Тут Вам лучше ориентироваться на нравы страны, чем чваниться. Жалование служанки на кухне (начиная снизу) составляет 12—14 р. с. в год, кухарки comme il faut — 24—30—36 р., кучера — 30—35, лакея — 60—90—120, шляпницы — 18—20 р., горничной — 24—30—35. — Лучшие и самые дорогие учителя берут 1 р. в час. Больше в моде гувернанты, при чем очень хорошие — за 2000 р., неплохие — за 400—600 р.! Жилье с отоплением я оцениваю по Вашим потребностям в 600—700 р. Две лошади с экипажем — в 500 р. Вот примерный обзор максимальных затрат. Однако я могу Вас заверить, что здесь в Дерпте не живет ни одной семьи, которая столько тратит в год, сколько Вы мне указываете — возможно, за исключением Липтхаута. Некоторые, разумеется, стараются ослепить других, отличаясь грандиозностью в отдельных вещах — в других же грязно жадничают.

На том с Богом! Моя жена и Машенька будут рады принять Вас с Вашей супругой здесь — не меньше.

Ваш старый друг д-р Зейдлиц.)

43

19 декабря 1851 года. Баден-Баден

Посылаю тебе, мой милый Зейдлиц, письмо, полученное мною от баронессы Левенвольд: постарайся вразумить ее, что мне теперь не видавши ее дома и, не зная в точности, что со мною будет по приезде в Россию, нельзя нанять вдруг его на несколько лет, и что это окажется только тогда, когда мы обживемся несколько времени на месте. Уведомь, получил ли ты остальные тома нового издания моих сочинений.[1] Прости, я еще все не отделался от своей болезни, хотя глазу лучше.

Обнимаю тебя.

Жуковский.

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 35.
Копия: Там же. Л. 62.
Публикуется впервые.

[1] Имеется в виду издание: Стихотворения Василия Жуковского: В 13 т. 5-е изд., испр. и умнож. СПб., 1849. Т. I—IX; СПб., 1857. Т. X—XIII.

44

19/31 марта 1852 года. Баден-Баден

Мой милый Зейдлиц, ты меня весьма порадовал известием, что дом Брюнин⟨г⟩а[1] для меня не пропал и что он нанят мне на год; авось в нынешнем году я доберусь до Дерпта, хотя ты тому и не веришь и все еще полагаешь, что я сижу за границею по доброй воле. Вот и теперь я говорю, что буду в Дерпте, а глазу моему все еще не лучше: к подагре, которая держит его еще все в своих когтях, присоединилась сыпь, которая половину лица окинула, и которая, как думает Гугерт, происходит от остроты в крови. Что бы то ни было, но я провел десять месяцев самых тяжелых и в продолжении их едва ли был 120 раз на воздухе. Теперь только началась теплая погода, но устоит ли, Бог знает. Гугерт надеется, что в половине июня я могу покинуть Баден; дай Бог устами его мед пить. Ты пишешь, что дом Брю-

ни⟨н⟩г⟨а⟩ продается за 6000 руб. сереб. Это кажется мне недорого. Но заочно судить ни о чем нельзя; перспектива завестись собственным домом меня веселит. Прости, мой милый, обнимаю тебя и все твое семейство. Моя жена дружески кланяется твоей и благодарит тебя за все о нас попечения.

Преданный тебе Жуковский.

Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 107. Л. 36—37.
Копия: Там же. Л. 63.
Публикуется впервые.
[1] Брюнины (Брюнинги) — знакомые М. А. Мойер в Дерпте. См.: Соловьев. Т. 2. С. 181.

К ИСТОРИИ ПОСМЕРТНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОЧИНЕНИЙ Н. В. ГОГОЛЯ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ СОВРЕМЕННИКОВ (ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ © Ю. В. БАЛАКШИНОЙ)

В истории публикаций произведений Н. В. Гоголя, найденных после его смерти, до сих пор остается ряд не вполне проясненных мест. Уцелевшие от сожжения главы второго тома «Мертвых душ» и «Авторская исповедь» увидели свет в составе дополнительного пятого тома собрания сочинений писателя только в 1855 году, несмотря на то что хлопоты об их публикации начались с лета 1852 года.

Нерешительность цензурного ведомства была вызвана отрицательным отношением к личности и творчеству Гоголя попечителя Петербургского учебного округа, председателя Петербургского цензурного комитета графа М. Н. Мусина-Пушкина. Так, по свидетельству современников, после смерти писателя «председатель цензурного комитета объявил, что не будет пропускать статей в похвалу Гоголя, „лакейского писателя"».[1] И. С. Тургенев за публикацию статьи о Гоголе был подвергнут месячному заключению в съезженской тюрьме. М. П. Погодин за то, что по случаю смерти Гоголя выпустил пятый номер своего журнала с черным бордюром на обложке, был отдан под надзор полиции. Содействовать изданию сочинений писателя могло только ходатайство представителя высших сфер российского общества. Друзьям Гоголя удалось обрести заинтересованную поддержку великого князя Константина Николаевича и великой княгини Елены Павловны.

О деятельном участии особ императорской фамилии в деле издания сочинений Гоголя сообщал в своих воспоминаниях князь Д. А. Оболенский. Князь служил в Петербурге, но в силу родственных и дружественных связей был близок к кругу московских славянофилов. В конце зимы 1847 года он был представлен великой княгине Елене Павловне и через сестру своего однокашника князя Г. В. Львова, фрейлину великой княгини Е. В. Львову, получил приглашение бывать на особых вечерах в Михайловском дворце. С 7 октября 1853 года Д. А. Оболенский исполнял должность директора Комиссариатского Департамента Морского министерства, возглавляемого великим князем Константином Николаевичем, и «поставлен был, через посредство Головнина, в личное сношение с великим князем, который сам, принадлежа молодому поколению, внес в сферу высшего управления новый элемент».[2] Оболенский, лично знавший Гоголя и его московских друзей, попытался использовать свои связи при дворе, чтобы содействовать изданию ранее не публиковавшихся сочинений писателя. Позднее он вспоминал, что великая княгиня,

[1] *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Л., 1955. Т. 1. С. 351.
[2] *Оболенский Д. А.* Мои воспоминания о великой княгине Елене Павловне. СПб., 1909. С. 16.

при первом указании на цензурные препятствия, «взялась сейчас хлопотать о снятии опалы с памяти и сочинений Гоголя».[3] Участие великого князя Константина Николаевича в этом вопросе Оболенский описал в своих воспоминаниях «О первом издании посмертных сочинений Гоголя», опубликованных в декабрьском номере журнала «Русская старина» за 1873 год. Однако в книгу «Гоголь в воспоминаниях современников» (М., 1952) фрагменты, посвященные хлопотам великого князя, не вошли.

Документы, обнаруженные нами в Российском Государственном архиве военно-морского флота в ходе подготовки Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя, существенно дополняют воспоминания Оболенского и раскрывают роль великого князя Константина Николаевича в деле почти трехлетней борьбы за издание гоголевского наследия. Письма из личного архива великого князя проливают свет на то, с каким трудом прокладывали себе дорогу к читающей публике такие произведения, как «Авторская исповедь» и главы из второго тома «Мертвых душ», а также дают представление о непростом и противоречивом отношении к имени Гоголя в высших слоях русского общества.

Первая группа писем (№ 1—9) относится к осени 1852 года и вызвана желанием великого князя ознакомиться с произведениями Гоголя, оставшимися после его смерти. Переписку вел секретарь А. В. Головнин. Представителем интересов семейства писателя и хранителем его бумаг выступал друг покойного декан Словесного отделения Московского университета С. П. Шевырев. Эти письма отражают тщательную поэтапную работу Шевырева над найденными после смерти Гоголя рукописями, которые требовали не только переписывания, но и текстологического анализа.

Два следующих письма (№ 10 и 11), за май-июнь 1853 года, свидетельствуют о попытке великого князя повлиять на Николая I с целью ускорить издание сочинений Гоголя. Великий князь Константин Николаевич обратился к шефу жандармов, командующему императорской главной квартирой и главному начальнику III отделения Собственной Его императорского Величества канцелярии графу А. Ф. Орлову с просьбой передать императору ходатайство о рассмотрении сочинений Гоголя в Высочайше утвержденном комитете, под председательством статс-секретаря барона М. А. Корфа, что давало возможность обойти главное цензурное ведомство и его главу М. Н. Мусина-Пушкина. В ответном письме граф А. Ф. Орлов известил великого князя об отрицательном решении императора.

Письма 12—16 датируются последними числами января — началом февраля 1855 года и демонстрируют резкое изменение отношения в высших кругах России к вопросу о возможности публикации произведений Гоголя. Общее смягчение атмосферы в стране было вызвано как неудачами в Крымской войне, так и начинавшейся болезнью императора. Тема писем — переиздание сочинений Гоголя без купюр, сделанных Московским цензурным комитетом. В переписке участвуют великий князь Константин Николаевич, граф А. Ф. Орлов, министр Народного просвещения А. С. Норов. Помимо частного вопроса о прохождении через цензуру текстов Гоголя, в письмах поднимается и более общий вопрос о том, какой должна быть настоящая цензура.

И наконец, в последнем письме (№ 17) А. С. Норов уведомляет своего высочайшего корреспондента о благополучном разрешении дела — получении согласия императора на публикацию сочинений Гоголя, найденных после его смерти, и переиздание остальных сочинений без купюр и изменений. Письмо датировано 19 мая 1855 года и является знамением уже нового царствования: Высочайшее разрешение на издание сочинений Гоголя дал император Александр II.

[3] Там же. С. 15.

* * *

Письма публикуются по автографам, хранящимся в личном фонде великого князя Константина Николаевича (ф. 224) в Российском Государственном архиве военно-морского флота (далее — РГА ВМФ), в соответствии с нормами современной орфографии и пунктуации.

1

Головнин — Шевыреву

⟨20 сентября 1852 года. Стрельна⟩
Отпуск.

Его Высокородию С. П. Шевыреву
20 сентября 1852 года.

Милостивый Государь
Степан Петрович.

Государь Великий Князь Константин Николаевич, узнав на днях от г⟨осподи⟩на Щепкина,[1] что у Вас находятся некоторые бумаги покойного Гоголя, и между прочим «Толкование его на литургию» и несколько глав 2-й части «Мертвых душ»,[2] изволил приказать мне уведомить Вас,[3] что Его Императорское Высочество весьма желал бы прочесть эти бумаги и будет Вам особенно признателен, если б Вы нашли возможным сообщить их Его Высочеству (в пакете с надписью «в собственные руки») на самое короткое время.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности.

Подписал: А. Головнин
Верно: А. Головнин

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 223. Л. 118—118 об.

[1] М. С. Щепкин находился в отпуске в Петербурге с 22 июля 1852 года. По окончании 28 дней отпуска актер оставался в столице до 1 октября 1852 года, выступая на сценах петербургских театров, в литературных салонах и при Высочайшем дворе (см.: Служба Михаила Семеновича Щепкина на Московской сцене // Михаил Семенович Щепкин. 1788—1863 г. Записки его, письма, рассказы, материалы для биографии и родословная. СПб., 1914. С. 249—252). О роли Щепкина в хлопотах об издании сочинений Гоголя князь Д. А. Оболенский писал: «Нельзя было надеяться на какой-либо успех в ходатайстве о разрешении издания сочинений покойного Гоголя, пока не заинтересуются в этом деле лица, имеющие влияние в высших сферах. Задача заключалась в том, как достигнуть этой цели? К счастию, на помощь явился Михаил Семенович Щепкин (известный московский артист). В конце 1852 года, прибыв в Петербург для участия в представлениях Александринского театра, он при содействии некоторых лиц старался снять опалу с памяти Гоголя, изыскивал случаи читать разные его сочинения во влиятельных салонах. При помощи друзей Гоголя это ему удалось вполне. Щепкину не раз посчастливилось читать Гоголя в присутствии покойной Великой Княгини Елены Павловны и Великого Князя Константина Николаевича. Кроме искусства читать, М. С. Щепкин, весь проникнутый любовью и уважением к памяти покойного своего друга, умел так трогательно рассказывать о нем свои воспоминания и так живо изображать всю несправедливость гонения на его память, что невольно подчинял своему убеждению самых равнодушных слушателей» (*Оболенский Д. А.* О первом издании посмертных сочинений Гоголя. Воспоминания // Русская старина. 1873. Дек. С. 950).

[2] Среди бумаг Гоголя после его смерти были обнаружены «Размышления о Божественной литургии», «Авторская исповедь» и пять глав второго тома «Мертвых душ».

[3] В 1852 году Александр Васильевич Головнин имел чин коллежского советника и служил секретарем по особым поручениям при начальнике Главного морского штаба великом князе Константине Николаевиче. По свидетельству князя Оболенского, он являлся ближайшим сотрудником великого князя.

2

Шевырев — Головнину

⟨27 сентября 1852 года. Москва⟩

Милостивый Государь
Александр Васильевич.

Письмо Ваше, в котором Вы мне выразили волю Государя Великого Князя Константина Николаевича о доставлении Его Императорскому Высочеству бумаг покойного Н. В. Гоголя, пришло ко мне в то время, как я их переписывал.[1] Важнейшие из оставшихся: 1) «Авторская исповедь», 2) «Размышления о Литургии» и 3) пять черновых глав из 2-го и, может быть, из 3-го тома «Мертвых душ». Все эти бумаги, особенно же «М⟨ертвые⟩ души», писаны большею частию неразборчиво — и целые страницы перемараны так, что потребны большие усилия, чтобы разобрать их.[2] Вот почему я осмеливаюсь, вместо подлинников, представить высокому вниманию Государя Великого Князя мои копии двух первых сочинений, которые только что окончил и посылаю с нынешнею же почтою в особом пакете «*в собственные руки*». Я сделал бы их изящнее, если бы знал, что они удостоятся такого назначения: по крайней мере, могут они сократить труд прочтения для Его Императорского Высочества. Главы же из «М⟨ертвых⟩ душ» я буду иметь счастие доставлять Государю Великому Князю по мере того, как они будут переписываться. Эта работа стоит мне большого труда и времени, потому что местами по намекам и отрывочным фразам я должен восстановлять целое. Помощь мне никакая невозможна: ибо для того надобно иметь привычку к руке автора и знать предварительно содержание сочинения.

Употребив летнюю вакацию на поездку к матери и семейству покойного, которые поручили мне издание прежних и оставшихся его сочинений,[3] на что буду ожидать Высшего разрешения, я, по возвращении из Малороссии, приступил немедленно к переписыванью и посвящаю ему почти все свободное от службы время. Воля Его Императорского Высочества теперь еще ускорит и оживит труд мой. Письмо Ваше застало меня на последних листах «Размышлений о Литургии» — и вот почему тремя днями я замедлил ответом. Эти «Размышления» я намерен был предварительно представить на рассмотрение Высокопреосвященнейшему Митрополиту Московскому, но теперь исполню это впоследствии, когда угодно будет Государю Великому Князю возвратить мне их.

Благоволите, Милостивый Государь, сообщить эти подробности моего письма Его Императорскому Высочеству в мое извинение и примите уверение в моем совершенном почтении и преданности.

Сентября 27. С. Шевырев
1852.
Москва.

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 223. Л. 119—120 об.

На письме пометы: «Степ⟨ан⟩ Петр⟨ович⟩. Дегтяр⟨ный⟩ переул⟨ок⟩», «Получено 29 Сент⟨ября⟩ 1852».

[1] Работу по переписыванию бумаг, найденных после смерти Гоголя, Шевырев начал летом 1852 года, о чем свидетельствует его письмо К. С. Сербиновичу от 10 июня 1852 года: «В это же самое время выздоровления и экзаменов свободные часы должен я был посвятить разбору бумаг, оставшихся после покойного Н. В. Гоголя. Нашлись: весьма замечательная его внутренняя автобиография, как автора, дополнение к его „Переписке с друзьями"; „Размышления о Божественной литургии", теплые, чистые, умилительные, обнаруживающие его христианский дух и его преданность Церкви и Государю; пять черновых тетрадей 2-го тома „М⟨ертвых⟩ душ", забытые им, вероятно, печальный остаток, уцелевший нечаянно от аутодафе. Все это требует разбора, редакции, переписки. Могу сделать это только я сам. — Жду свободных совершенно минут для этого дела» (ИРЛИ. Ф. 46. Ед. хр. 15. Л. 9 об.—10).

[2] Вполне оценить характер и масштаб текстологических трудов Шевырева смог П. А. Кулиш, которому бумаги Гоголя были переданы после 1855 года. В письме к Шевыреву от 13 июня 1857 года Кулиш писал: «Видя из бумаг Гоголя, как много времени посвятили Вы приведению их в тот вид, в каком они перешли в мои руки, я вполне ценю Ваш подвиг дружбы к поэту, для которого Вы и после смерти остались тем, чем были при жизни» (РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 337. Л. 3—3 об.).

[3] Шевырев посетил родных Гоголя в Васильевке в начале июля 1852 года. Доверенность наследников на имя Шевырева, согласно которой последний уполномочивался «входить ⟨...⟩ от имени своего и за своим подписом куда следует с прошениями, объявлениями и всякого рода бумагами», относящимися к изданию сочинений Гоголя, была подписана Анной и Ольгой Гоголь, Елизаветой Быковой и Николаем Трушковским 17 сентября 1852 года (РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 198. Л. 9—10).

3

Головнин — Шевыреву

⟨6 октября 1852 года. Стрельна⟩
Отпуск.

Его Высокоб⟨лагородию⟩ С. П. Шевыреву.
6-го октября 1852 ⟨года⟩.
№ 1589

Милостивый Государь
Степан Петрович.

Государь Великий Князь Константин Николаевич, прочитав полученные от Вас «Размышления о Литургии» Н. В. Гоголя и «Исповедь автора», изволил приказать мне возвратить Вам эти сочинения и выразить искреннюю признательность Его Императорского Высочества за доставление оных.

Примите уверение в отличном почтении и преданности.

Подписал: А. Головнин.
Верно: А. Головнин

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 223. Л. 121.

4

Шевырев — Головнину

⟨3 ноября 1852 года. Москва⟩

Милостивый Государь
Александр Васильевич!

В исполнение приказания Государя Великого Князя Константина Николаевича я имел счастие препроводить сегодня к Его Императорскому Высочеству в особом пакете с надписью: «*в собственные руки*», две первые главы второго тома «Мертвых душ», списанные с черновых тетрадей покойного Гоголя. Текст трех последующих остальных глав изготовлен у меня уже начерно — и по мере того как будут они переписываться, я буду иметь счастие препровождать их к Его Высочеству.

Примите, Милостивый Государь, уверение в моем совершенном почтении и преданности.

Ноября 3. 1852. С. Шевырев
Москва.

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 223. Л. 150—150 об.

5

Головнин — Шевыреву

⟨13 ноября 1852 года. Стрельна⟩
Отпуск.

Его Высокородию С. П. Шевыреву
13 ноября 1852 г⟨ода⟩.

Милостивый Государь
Степан Петрович.

Великий Князь Константин Николаевич, получив три главы II тома «Мертвых душ», изволил приказать благодарить Вас за сообщение оных и просит Вас уведомить: 1) будут ли эти главы напечатаны и 2) в противном случае нужно ли возвратить Вам доставленный экземпляр, с которого Его Высочество оставил бы тогда для себя копию.

Примите уверение в отличном почтении и преданности.

Подписал: А. Головнин.
Верно: А. Головнин.

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 223. Л. 163—163 об.

6

Шевырев — Головнину

⟨17 ноября 1852 года. Москва⟩

Милостивый Государь
Александр Васильевич!

Письмо Ваше от 13-го ноября я имел честь получить. Прошу Вас покорнейше доложить Государю Великому Князю Константину Николаевичу, что я считаю себя совершенно счастливым, удостоившись получить благодарность Его Императорского Высочества; рукопись же «Мертвых душ» предназначена была мною собственно для Государя Великого Князя. Желал бы я весьма напечатать оставшиеся главы II тома для пользы русской словесности и в пособие семейству покойного автора, которое нуждается, но позволение, как думаю, не может обойтись без Высочайшего разрешения, потому что цензура не решается пропустить не только неизданных сочинений покойного, но и тех, которые были уже напечатаны. На днях буду иметь счастие препроводить к Его Высочеству остальные две главы, которые почти готовы.

Примите, Милостивый Государь, уверение в моем совершенном почтении и преданности.

Ноября 17.
1852.
Москва.

С. Шевырев

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 223. Л. 165—166.

7

Шевырев — Головнину

⟨21 ноября 1852 года. Москва⟩

Милостивый Государь
Александр Васильевич!

Сегодня я имел счастие препроводить к Государю Великому Князю Константину Николаевичу, в особом пакете с надписью «в собственные руки», четвертую главу 2-го тома «Мертвых душ» и последнюю главу из оставшихся, которая прямой связи с предыдущими не имеет. Обе главы носят на себе более печать набросанного эскиза. Эти рукописи я осмелился предназначить собственно для Его Императорского Высочества. Кроме главных сочинений, которые я уже имел счастие представить высокому вниманию Великого Князя, остаются еще «Развязка Ревизора», некоторые отрывки и письма: я соберу их впоследствии. Теперь же все главное, что осталось после покойного, изготовлено мною к изданию.

Примите, Милостивый Государь, уверение в моем совершенном почтении и преданности.

Ноября 21.
1852.
Москва.

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 223. Л. 167—167 об.

8

Головнин — Шевыреву

⟨24 ноября 1852 года. Стрельна⟩
Отпуск.

24 ноября 1852 года.
Его Высо⟨коро⟩дию С. П. Шевыреву.

Великий Князь Константин Николаевич, получив вчера еще две главы «Мертвых душ», изволил приказать мне вновь выразить Вам искреннюю признательность за доставление оных. Его Высочеству было бы весьма приятно узнать подробности о предполагаемом Вами новом издании сочинений Гоголя, и потому я имею честь покорнейше просить Вас сообщить мне все, что признаете заслуживающим внимания о ходе предприятия.

Подписал: А. Головнин.
Верно: А. Головнин.

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 223. Л. 171.

9

Шевырев — Головнину

⟨1 декабря 1852 года. Москва⟩

Милостивый Государь
Александр Васильевич!

Искренняя признательность Государя Великого Князя Константина Николаевича, выраженная мне в письме Вашем, наполнила сердце мое новою радостью, а участие, приемлемое Его Императорским Высочеством в предполагаемом новом издании сочинений Гоголя, подало мне самую утешительную надежду на возможность исполнить это предприятие.

Еще при жизни Гоголя начато было печатание 4-х томов его сочинений, им отчасти пересмотренных и исправленных, с разрешения цензуры; но, по смерти его, приказано остановить печатание, по неизвестной мне причине. А между тем семейство покойного, как я сам лично убедился, прошедшим летом посетив его, находится в горестном и нуждающемся положении — и если бы возможно было исходатайствовать разрешение на издание, как всех прежних сочинений Гоголя, так равно и тех, которые остались по смерти его, — это принесло бы, кроме пользы для русской словесности, великую помощь для его семейства.

Высоко просвещенное внимание Великого Князя к сочинениям покойного и теплое участие, которое Его Высочество изволит обнаруживать в деле их издания, оживляют меня самого приятною надеждою, что семейство славного русского писателя, украсившего своим талантом нынешнее благословенное царствование, будет успокоено и счастливо плодами трудов его деятельной жизни.

Примите, Милостивый Государь, уверение в моем совершенном почтении и преданности.

Декабря 1. С. Шевырев
1852.
Москва.

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 223. Л. 176—177 об.

10

Великий князь Константин Николаевич — графу А. Ф. Орлову

⟨28 мая 1853 года. Стрельна⟩
Отпуск.

Его Сиятельству гр⟨афу⟩ А. Ф. Орлову
№ 749
28-го мая 1853 года
Стрельна

Граф Алексей Федорович.

В продолжение прошлой зимы Я имел случай прочесть некоторые ненапечатанные сочинения Гоголя, найденные после его смерти, как то: «Размышления о литургии», «Исповедь автора» и пр. — Сочинения эти отличаются прекрасным религиозным направлением и в них выражается теплая любовь автора к России и преданность к Престолу. Ныне мать его доставила Мне просьбу на Высочайшее Имя о разрешении напечатать новое издание всех прежних сочинений его с присовокуплением найденных после него рукописей покойного.[1] Признавая подобное из-

дание весьма полезным и, имея в виду, что сочинения Гоголя, не всегда правильно понимаемые, возбуждали разные споры в литературе и что посему едва ли удобно передавать оные на рассмотрение обыкновенной цензуры и что на издание некоторых из них состоялись и в прежнее время особые Высочайшие повеления, Я решаюсь препроводить помянутую просьбу к Вашему Сиятельству и ходатайствовать: повергнуть оную воззрению Государя Императора на случай не соизволит ли Его Имп⟨ераторское⟩ Величество поручить статс-секретарю барону Корфу[2] пересмотреть все сочинения Гоголя для разрешения напечатать оные. Я уверен, что барон Модест Андреевич с удовольствием и вполне отчетливо исполнит подобное поручение. Сочинений Гоголя уже почти нет в продаже и потому новое издание весьма бы желательно, тем более, что оно послужило бы средством к содержанию семейства его, находящегося в крайней бедности.[3]

Пребываю к Вам навсегда искренно доброжелательным

Подписал: Константин.

Верно: Д. С. С. Головнин[4]

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 228. Л. 395—396.

Впервые: Русская мысль. 1896. Май. Отд. VII. С. 187. По копии, хранящейся в архиве С. П. Шевырева (РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 67).

[1] В прошении перечислялись «благодеяния» императора, оказанные Н. В. Гоголю при его жизни, и сообщалось: «По смерти сына моего в бумагах его найдены неизданные сочинения, из которых особенно замечательны: „Авторская исповедь", „Размышления о Божественной литургии" и пять глав второго тома „Мертвых душ". По мнению не моему, которое могло бы быть пристрастно, но людей, заслуживающих доверия, в этих сочинениях обнаружены такие нравственные истины, которые бросают новый свет на все прежние сочинения моего сына и выставляют образ его мыслей, подвергавшийся разным толкованиям, в настоящем виде». Мать Гоголя ходатайствовала о высочайшей воле на «издание всех сочинений сына», выражая надежду, что оно «могло бы принести некоторую пользу русской словесности в отношении к нравственному направлению ее произведений»: «Память сына моего мне дорога — и сильно во мне желание, чтобы он Божиим даром, ему данным, тем словом своим, которым имел счастие при жизни заслужить милостивое внимание Вашего Императорского Величества, и по смерти своей мог быть полезен своему Отечеству. А мне известно, что по мере того как созревал он душою и летами, эта польза становилась единственным предметом его молитв и непрерывных занятий всей его жизни» (РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 65. Л. 1—2 об.).

Текст прошения был составлен С. П. Шевыревым. В первых числах мая 1853 года он послал его гражданскому губернатору Полтавской губернии Николаю Ильичу Ознобишину с сопроводительным письмом, в котором, в частности, говорилось: «Письмо готовое и совсем набело переписанное я решился отправить прямо к Вашему Превосходительству, чтобы ускорить ход дела. Благоволите не отказать в Вашем содействии: прошу Вас покорнейше доставить письмо с нарочным в Васильевку к Марье Ивановне и попросить ее, чтобы она подписала: „верноподданная Мария Гоголь". Затем еще прошу у Вас милости, чтобы Вы благоволили подписанное письмо немедленно с первою почтою обратить ко мне. Я же, по совету добрых людей, уже отправлю его на имя графа Алексея Федоровича Орлова при моем письме к его Сиятельству» (РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 103).

[2] В марте 1853 года барон М. А. Корф возглавил созданный в 1848 году Комитет «2-го апреля», призванный осуществлять безгласный надзор за действиями российской цензуры. В обязанность членов Комитета входило «читать все произведения нашей литературы» и «представлять все замечания и предложения свои непосредственно государю» (Русская старина. 1900. Т. 101. Март. С. 573). Практически одновременно исполнять обязанности министра Народного просвещения был назначен А. С. Норов. Появление на ключевых постах цензурного ведомства людей просвещенных, ценителей российской словесности, вероятно, вызвало надежды великого князя и друзей Гоголя на возможность скорейшего разрешения вопроса о публикации новых и переиздании старых произведений писателя.

[3] Из прошения М. И. Гоголь была вычеркнута фраза о бедственном положении семейства: «Как мать семейства, не могу также скрыть от Вашего Императорского Величества, что труды сына моего составляют почти единственный значительный капитал детей моих и внуков» (РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 65. Л. 1—2 об.). Однако этот аргумент продолжал присутствовать в письмах официальных лиц.

[4] В письме к неизвестному адресату (предположительно, князю Д. А. Оболенскому) от 29 мая 1853 года Головнин сообщал: «Возвращаю письмо Шевырева, которое оказалось ненужным, ибо просьбу Гоголь великий князь послал гр⟨афу⟩ Орлову при письме от себя, прося доложить Государю и ходатайствовать о поручении бар⟨ону⟩ Корфу рассмотреть все сочинения. Иск-

ренно желаю успеха» (Русская мысль. 1896. Май. Отд. VII. С. 188). Упоминаемое письмо Шевырева, сопровождавшее просьбу матери Гоголя, было написано 22 мая 1853 года и адресовано также графу А. Ф. Орлову. В нем говорилось: «Полное издание сочинений Гоголя без Высочайшей воли напечатано быть не может. Мать, озабоченная пользою семейства, решилась повергнуть просьбу свою к стопам великодушного Государя. Прилагая сию просьбу, я осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Сиятельство, чтобы Вы благоволили принять на себя перед лицем Его Императорского Величества Ваше сильное ходатайство и тем самым содействовали бы к обращению Монарших милостей, какими пользовался умерший писатель, на его семейство, с возвращением ему того законного и значительного наследства, которого теперь оно лишается» (РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 92). Поскольку роль ходатая в этом деле взял на себя великий князь Константин Николаевич, черновой и беловой автографы письма Шевырева остались в личном фонде писателя.

11

Граф А. Ф. Орлов — Великому князю Константину Николаевичу

⟨2 июня 1853 года. Санкт-Петербург⟩

Его Императорскому Высочеству Государю
Великому Князю Константину Николаевичу.

Представив на Высочайшее воззрение, во исполнение отношения Вашего Императорского Высочества от 28-го минувшего мая, препровожденную ко мне при оном просьбу матери покойного *Гоголя* о разрешении нового издания всех прежних его сочинений, со включением тех, которые найдены были в рукописях по его смерти, — я всеподданнейше испрашивал соизволения Его Императорского Величества рассмотреть все сии сочинения в комитете, Высочайше утвержденном под председательством статс-секретаря барона Корфа; но Государь Император, признавая, что рассмотрение оных в означенном комитете было бы отступлением от общего порядка и полагая, что сочинения эти, на основании установленных правил, должны быть рассмотрены в обыкновенной цензуре,[1] не изволил изъявить Высочайшего согласия на изъясненное мое представление.[2]

О чем считаю долгом донести Вашему Императорскому Высочеству.

Генерал-адъютант граф Орлов
Генерал-лейтенант Дубельт

2 июня 1853 г⟨ода⟩

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 228. Л. 403—404.

Впервые: Русская мысль. 1896. Май. Отд. VII. С. 187—188. По копии, хранящейся в архиве Шевырева (РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 66. Л. 1—1 об.).

На письме регистрационный номер «№ 390 / 5 июня 1853 г.».

[1] Однако Московский цензурный комитет, в рассмотрении которого находились произведения Гоголя, был далеко не свободен в принятии своих решений. В 1852 году за пропуск «Записок охотника» И. С. Тургенева был уволен цензор князь В. В. Львов. Занявший его место М. Н. Похвистнев вспоминал: «Препятствия и затруднения, встреченные при выпуске в свет этого издания (речь идет о собрании сочинений Н. В. Гоголя. — *Ю. Б.*), неизбежные при тогдашних цензурных порядках, возбуждены были не Московскою цензурою, а напротив того, цензура эта, как нам лично известно, и особенно председатель ее тогдашний попечитель учебного округа отнеслись к этому делу с живым патриотическим сочувствием» (Русская старина. 1882. Февр. С. 483). В мае 1853 года попечитель Московского Учебного округа генерал-адъютант В. И. Назимов обратился с официальным и личным письмами к исправляющему должность министра Народного просвещения А. С. Норову, в которых просил «о разрешении нового издания сочинений Н. Гоголя» и о дозволении «отпечатать сочинения Гоголя без перемен и исключений, в том виде, как они были просмотрены автором и одобрены цензурою». Это решение требовало высочайшего утверждения и не могло быть принято на уровне Московского цензурного комитета, так как «такое снисхождение, по существующим цензурным правилам», допускалось только «в отношении к новым изданиям известных русских писателей, пользующихся общим уважением» (Там же. С. 482—483).

[2] Из писем Головнина князю Оболенскому от 3 и 11 июня 1853 года явствует, что, помимо обмена официальными бумагами, между великим князем Константином Николаевичем и на-

чальником III отделения графом Орловым в июне 1853 года состоялись еще как минимум два личных разговора по вопросу издания сочинений Гоголя. Во время первого разговора «гр. Орлов, по-видимому, весьма неясно объяснил великому князю на словах решение Государя о Гоголе, ибо из присланной бумаги видно совсем другое». Инициатором второго разговора выступил великий князь: «Великий князь опять говорил с гр. Орловым о Гоголе, чтобы показать свое искреннее участие, и граф сказал ему, что он предписал не задерживать в Москве, но скорее переслать все сюда в комитет, где Дубельт и где он может сам иметь наблюдение». Некоторое сочувствие графа Орлова к сложившейся ситуации позволило Головнину написать в письме к заинтересованному адресату: «Я вовсе не считаю дело потерянным, но вижу случай показать на деле настойчивость и продолжать идти к цели, несмотря на препятствия» (Русская мысль. 1896. Май. Отд. VII. С. 188—189).

12

Великий князь Константин Николаевич — графу А. Ф. Орлову

⟨29 января 1855 года. Стрельна⟩
Отпуск.

Его Сият⟨ельст⟩ву гр⟨афу⟩ А. Ф. Орлову.

Граф Алексей Федорович. Узнав от профессора Шевырева, что в Главное управление цензуры поступило полное собрание сочинений Гоголя, которое предполагается напечатать в пользу семейства автора, которое находится в крайней бедности, и при том имея в виду, что сочинений этих уже нет в продаже, тогда как они должны бы находиться в каждой русской библиотеке (даже у Меня нет полного собрания оных), Я прошу Ваше Сиятельство принять на себя труд попросить от Моего Имени члена помянутого Главного Управления генерал-лейтенанта Дубельта постараться, в особенное Мне удовольствие, чтобы разрешение Комитета на издание этих сочинений последовало по возможности в непродолжительном времени.

Сверх того Я просил бы Леонтия Васильевича оказать просвещенное содействие еще по одному обстоятельству этого издания. Я слышал, будто московские цензоры находят нужным исключить в новом издании Гоголя многие места, напечатанные в первом издании; подобное распоряжение, Мне кажется, будет иметь следствием то, что внимание публики обращено будет именно на эти исключенные места и молодые люди, которые купят новое издание, станут вписывать в него для полноты непропущенные места первого издания. Примеры этому бывали уже неоднократно, и вместо пользы предполагаемое распоряжение принесет явный вред. Сверх того личность Гоголя, его религиозные верования и преданность Престолу слишком известны, чтобы можно было подозревать в его сочинениях какое-либо неблагонамеренное направление. Как сатирик и комик он осуждал дурное и смеялся над смешным, но цель его всегда была хорошая и плоды его сатиры были всегда полезны. Поэтому Мне казалось бы, что необходимо даже оказать пособие Правительства на издание не напечатанных еще его сочинений, которые желательно бы видеть в печати без всяких пропусков.

Все соображения сии прошу Ваше Сиятельство передать Леонтию Васильевичу и уверить его, что я буду искренно благодарен ему за покровительство, которое он окажет сочинениям нашего народного писателя, которого Я весьма уважаю и который своими творениями доставил Мне много приятных минут и принес истинную пользу.

Пребываю к Вам навсегда искренно доброжелательным.

Подписал: Константин.
Верно: Губернский секретарь Глазунов.

29 января 1855 г⟨ода⟩

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 253. Л. 35—36 об.
Впервые: Русская старина. 1880. Дек. С. 1004—1005.

13

Великий князь Константин Николаевич — А. С. Норову

⟨29 января 1855 года. Стрельна⟩
Отпуск.

Его Превосход⟨ительст⟩ву А. С. Норову

Авраам Сергеевич. Я узнал на днях, что в Главное управление цензуры поступило на рассмотрение полное собрание сочинений Гоголя,[1] которое предполагается издать в пользу его семейства, причем сверх сочинений уже напечатанных и которые полагается напечатать вновь, есть и вовсе неизданные. В то же время до сведения Моего дошло, будто есть цензоры, которые затрудняются пропустить некоторые места, напечатанные в первом издании его сочинений, и не соглашаются на издание некоторых еще не напечатанных рукописей. Обстоятельства эти побуждают Меня обратить внимание Вашего Превосходительства на то, что пропуски в новом издании тех мест, которые уже были однажды напечатаны, только обратят на них всеобщее внимание, а притом всем известные личные свойства Гоголя, его теплая вера, его любовь к России и преданность Престолу, служат, кажется, ручательством благонамеренности всего, что он писал, и изъемлют от мелочной разборчивости цензоров. Посему Я просил бы Ваше Пр⟨евосходительст⟩во обратить на эти обстоятельства внимание Главного управления цензуры и пригласить оное иметь их в виду при разборе помянутых сочинений. Я тем более желал бы, чтобы они были скорее напечатаны, что даже в Моей библиотеке нет полного собрания сочинений Гоголя, которые уже не находятся в продаже. Прошу Вас верить, что Я буду искренно благодарен за Ваше просвещенное содействие в этом деле.

Подписал: Константин.
Верно: Губернский секретарь Глазунов.

29 января 1855 г⟨ода⟩

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 253. Л. 37—37 об.
Впервые: Русская старина. 1880. Дек. С. 1005—1006.

[1] С 7 апреля 1853 года Авраам Сергеевич Норов исполнял должность министра народного просвещения, а 11 апреля 1854 года был утвержден в этой должности. Одновременно Норов возглавил и цензурное ведомство, находившееся тогда в ведении вверенного ему министерства.

14

А. С. Норов — великому князю Константину Николаевичу

⟨30 января 1855 года. Санкт-Петербург⟩

Ваше Императорское Высочество
Милостивый Государь,

Мне весьма утешительно донести Вашему Императорскому Высочеству, что, вполне разделяя изложенное в рескрипте, которым Вашему Высочеству угодно было почтить меня, мнение Ваше, Милостивейший Государь, относительно лица и сочинений Гоголя, я, еще до получения сего рескрипта, сделал распоряжения, в случае, если б местная Цензура встретила затруднения при рассмотрении сочине-

ний его, о предложении такого мнения Главному управлению цензуры. То высокое покровительство, которое благоугодно было Вашему Высочеству оказать ныне памяти сего отличного писа⟨теля⟩ не может не быть драгоценно для Отечественного Просвещения.

С глубочайшим уважением и неограниченной преданностью имею честь быть
Милостивейший Государь,
Вашего Императорского Высочества
вернопокорнейший слуга

Авраам Норов.

30 января 1855 г⟨ода⟩

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 253. Л. 34—34 об.
На письме регистрационный номер «№ 261 / 30 Января 1855 г.».

15

Граф А. Ф. Орлов — Великому князю Константину Николаевичу

⟨31 января 1855 года. Санкт-Петербург⟩

Его Императорскому Высочеству
Государю Великому Князю Константину Николаевичу.

Письмо Вашего Императорского Высочества от 29-го генваря я передал генерал-лейтенанту Дубельту, который объяснил мне, что он в эти дни именно занимался рассмотрением сочинений *Гоголя* и считает себя счастливым, что мнение его, изложенное в составленной им и прилагаемой при сем записке, совершенно согласуется с мнением Вашего Высочества. — Имея честь присовокупить, что записку эту генерал-лейтенант Дубельт представит в первое заседание Главного управления цензуры и никак не отступит от своего мнения, осмеливаюсь испрашивать, не изволите ли Ваше Императорское Высочество повелеть возвратить ко мне, по прочтении, упомянутую записку.[1]

Генерал-адъютант Граф Орлов

31-го генваря 1855 г⟨ода⟩

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 253. Л. 44—44 об.

[1] Записка Л. В. Дубельта от 31 января 1855 года, копия которой приложена к письму графа А. Ф. Орлова (Там же. Л. 43—53 об.), впервые была опубликована в декабрьском номере журнала «Русская старина» за 1880 год (С. 999—1006). В ней, в частности, говорилось: «По уважению же того, что сочинения Гоголя в общем направлении вполне благонамеренны; что исключение из нового издания некоторых мест, помещенных в прежнем, заставит почитателей автора приискивать выпущенные места по первому изданию, а это придаст вид преступного и тому, в чем не было и нет ничего преступного; что с тем вместе упадет достоинство нового издания и наследники Гоголя не получат тех выгод, которые приобретены для них литературными заслугами умершего их родственника, — я полагаю справедливым, на основании вышеизложенного Высочайшего повеления 14-го августа 1851 года исходатайствовать разрешение на напечатание как прежде изданных четырех томов сочинений Гоголя, так и представленных в рукописи посмертных его трудов, без всяких исключений и изменений» (Там же. С. 1003—1004).

16

Великий князь Константин Николаевич — графу А. Ф. Орлову

⟨1 февраля 1855 года. Стрельна⟩
Отпуск.

Его Сият⟨ельст⟩ву Гр⟨афу⟩ А. Ф. Орлову.

Возвращая Вашему Сиятельству записку ген⟨ерал⟩-лейт⟨енанта⟩ Дубельта о сочинениях Гоголя, которую Я прочел с большим любопытством и вниманием, прошу Вас выразить ген⟨ералу⟩ Дубельту, что Я вполне разделяю изложенный в оной взгляд его на помянутые сочинения и на то направление, которое должна иметь разумная и истинно полезная цензура.

Подписал: Константин.
Верно: Губернский секретарь Глазунов.

1 февраля 1855 г⟨ода⟩

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 253. Л. 55.

17

А. С. Норов — Великому князю Константину Николаевичу

⟨19 мая 1855 года. Санкт-Петербург⟩

Ваше Императорское Высочество,
Милостивейший Государь.

Считаю долгом довести до сведения Вашего Императорского Высочества, что по всеподданнейшему докладу моему, в 15-й день сего мая, последовало Высочайшее Его Императорского Величества соизволение на напечатание, без изменений, нового издания Сочинений Н. Гоголя, отпечатанных в 4-х частях, в Санкт-Петербурге, в 1842 году, с прибавлением найденных после смерти Гоголя рукописей «Авторской исповеди» и пяти глав из второго тома «Мертвых душ».[1]

С глубочайшим уважением и неограниченною преданностью имею честь быть,
Милостивейший Государь,
Вашего Императорского Высочества

Всепокорнейший слуга
Авраам Норов

№ 863
19 Мая 1855 г⟨ода⟩

Печатается по: РГА ВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 253. Л. 177.

[1] Цензурное разрешение на издание «Сочинений Н. В. Гоголя, найденных после его смерти» было подписано 26 июля 1855 года цензором И. И. Бессомыкиным, новым членом Московского цензурного комитета, занявшим место И. М. Снегирева, уволенного в 1855 году за дозволение статьи о Н. И. Новикове.

© *Н. Н. Вихрова*

РАННИЙ КРИТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И. С. АКСАКОВА

Первой критической попыткой осмысления национального своеобразия русской литературы является публикуемая ниже статья молодого Ивана Аксакова «О возможности русским иметь народную литературу» (1841?) (автограф хранится в ИРЛИ: Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 68). Она представляет собой по-юношески пылкое обоснование преимуществ русских языка, литературы, философии перед аналогичными явлениями западноевропейской культуры. Написана она была, видимо, в период учебы в Училище правоведения и, судя по содержанию, не позднее 1841 года. Построение статьи в виде диалога-спора «века нынешнего и века минувшего» в лице молодого человека, страстно защищающего все русское, выражающего, конечно, мысли самого автора, и некоего господина N. N., который представляет косные и отжившие, но еще имеющие в жизни место взгляды людей «Екатерининского века, ⟨...⟩ принадлежащих к *светской* молодежи, ⟨...⟩ в воспитание которой непременно входило вольнодумие, либерализм и пустословие», невозможность убедить этих людей в справедливости новых представлений о современных требованиях к литературе и жизни, наконец, использование эпиграфа из грибоедовского «Горе от ума» — все отчетливо напоминает ситуацию Чацкого в чуждом ему фамусовском обществе. Грибоедов не упоминается в тексте статьи, однако понятно, что И. Аксаков относится к нему с полным сочувствием, более того, на наш взгляд, не будет большой натяжкой считать эту юношескую статью развернутой реминисценцией монолога Чацкого о «французике из Бордо».

Интересно, что легко выявляемая в данной статье оценка Ивана Аксакова грибоедовской комедии сохранится, можно сказать, до конца его жизни. Так, и в 1882 году он считал, что «у Грибоедова (осмеявшего, между прочим, и «либералов» своей эпохи, «либералов английского клуба», от которых недалеко ушли «либералы» нашей поры) выступает, как противоположение отрицанию, идеал народности...»[1] В 1880-х годах, как и в самом начале сороковых годов, И. Аксаков ощущает актуальность грибоедовской комедии, подчеркивая ее направленность против «ложного просвещения», «либерализма и пустословия»: «В двадцатых годах текущего столетия, т. е. через полвека после появления в свет комедий Фонвизина, Грибоедов хлестнул бичом своей гениальной сатиры опять то же самое, только облагородившееся направление, которое в такой грубо-комической форме изображено в „Бригадире":

Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев!
Воскреснем ли от чужевластья мод?
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя б по языку нас не считал за немцев!.. —

воскликнул Чацкий к великому огорчению профессора Веселовского, который всеми силами старается очистить Грибоедова от подозрения в славянофильской ереси, сопричислить к „западникам" *a la* Чаадаев. Но бог с ним, с г. Веселовским: он, как известно, понимает историю русской литературы только как историю *подражания* иностранным литературам и приходит в восторг от каждого опознанного им заимствования — тогда как главный интерес нашей словесности именно в усилиях русского духа (в лице его гениальнейших представителей) выбиться из пути ложного, обезнародившего нас просвещения и проявить свою народную самостоятельность, вне которой немыслимо для нас ничто общечеловеческое».[2] Если опустить критику

[1] Русь. 1882. 20 февр. № 8. С. 1—2.
[2] Там же. 25 сент. № 39. С. 2.

компаративистского направления, то можно расценивать эти суждения зрелого Ивана Аксакова как своеобразный комментарий к его ранней статье, в которой можно выделить три основных момента: 1) отрицание ложного «просвещения» и «либерализма»; 2) защита своей народности; 3) выделение «гениальнейших представителей» русской литературы, в творчестве которых отразился «русский дух» и тем самым выразилось «общечеловеческое» значение.

Следует отметить, что в статье молодого Ивана Аксакова отчетливо прослеживается солидарность с направлением мысли К. Аксакова, отраженном в неопубликованной статье, предназначавшейся, видимо, для «Московского наблюдателя», — «О некоторых современных собственно литературных вопросах» (1839), которая знаменовала его переход на позиции зарождающегося славянофильства. Помимо нравственного влияния Константина, в юношеской статье Ивана Аксакова можно явственно увидеть следы чтения Белинского, которого молодой Аксаков в то время воспринимал не только как талантливого критика, но и как друга и единомышленника старшего брата. К тому же в 1840 году Иван Аксаков и Белинский познакомились лично. Однако если Белинский в «Литературных мечтаниях» (1835) проводит отрицательный взгляд на русскую литературу («У нас нет литературы»), а Константин Аксаков ему вторит («Что же представляет нам собою наша современная литература? — Перед нами печальное зрелище»[3]), то Иван Аксаков сосредоточивается на высших самобытных достижениях русской литературы и с этих позиций формально доказывает как бы обратное Белинскому: «У нас есть народная литература».

Свою статью Иван Аксаков начинает с характеристики основных черт русского народного характера, которые, по его мнению, способствуют возможности возникновения национальной философии: логический ум, серьезность, здравый рассудок. Молодого автора не смущает, что пока еще Россия не имеет самобытной философии, так как «не в том дело, чтобы иметь *свою* философию. Философия, как истина, одна и для всех, но дело вот в чем, что мы скорее французов способны принимать эти истины, усвоять их себе. Глубокомысленные и отвлеченные идеи Канта, Фихте, Гегеля не гармонируют с характером французов, между тем как они нисколько не противоречат свойствам русского народа». Иван не случайно начинает свою статью о народной русской литературе с рассуждений о необходимости и возможности в России самобытной философии. В этом видится не только влияние Константина Аксакова, но и самостоятельное осмысление духовно-умственных исканий конца 1830-х годов, знаменующих переход от романтического типа народности к философскому. Постоянные уничижительные характеристики французской культуры представляют собой также характерную черту 1830-х—начала 1840-х годов, отразившуюся и в статьях Белинского. Вспоминая много лет спустя литературный период конца тридцатых годов, И. Аксаков отмечал, что «критика в лице Белинского (в лучшую пору его деятельности) окончательно сокрушает фальшивые литературные кумиры и остатки старых эстетических теорий».[4] Молодой Аксаков в ранней статье вносил свою лепту в разрушение «ложных понятий, софизмов Баттё и Кондильяка». Интересно также, что И. С. Аксаков, К. С. Аксаков и Белинский почти дословно сходятся в том, что наиболее народная и органическая форма французской литературы — водевиль.[5]

В рассматриваемой юношеской статье Ивана Аксакова, конечно во многом компилятивно, намечены важнейшие для критической мысли того времени темы, которые и впоследствии будут разрабатываться Белинским, К. Аксаковым, И. Киреевским, самим И. Аксаковым.

---

[3] *Аксаков К. С.* Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 45.

[4] *Аксаков И. С.* Биография Федора Ивановича Тютчева. Репринтное воспроизведение издания 1886 г. М., 1997. С. 59.

[5] См.: *Аксаков К. С.* Указ. соч. С. 57, 491; *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. 1. С. 360.

Так, выявив основные черты русского народа, которые способствуют возникновению самобытной философии (о чем, кстати, еще в конце 1820-х годов мечтал И. В. Киреевский), И. Аксаков логически переходит к обоснованию народности русской литературы, так как для него способность к философии доказывает возможность обладания народной литературой. В этом отношении он следует за Белинским, который еще в 1835 году в статьях «О русской повести и повестях Гоголя» и «Нечто о ничем...» национальный аспект включает в философскую концепцию, утверждая, что «жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной свойственных, формах, следовательно, если изображение жизни *верно*, то и *народно*»;[6] как известно, подобный взгляд на народность Белинский будет проводить и в своих «пушкинских» статьях. Еще более определенно связывает литературу и философию в конце тридцатых годов К. Аксаков: «Но вся наша литературная деятельность, какая она будет, конечно, выходит из той истинной точки зрения, которая дается философией».[7]

Рассматривая литературу, И. Аксаков выделяет в ней «два момента», как это делали немецкие романтики: «Литературу собственно народную имеют все народы; всякий из них имеет свои предания и песни: в этом первоначальном образе литературы резко проявляется характер и дух народа. Как скоро народ начинает образовываться, то литература также принимает большею частию формы, общие всем образованным нациям: появляются драмы, трагедии, элегии, и проч. На этой ступени литература имеет обыкновенно вид всеобщности, но и тут опять в ней проявляется народность, ибо она выражает в родных звуках, выражает то, что никогда на другие языки не может быть передано, что мы часто бессознательно принимаем. ⟨...⟩ У русских существуют ⟨...⟩ два рода литературы». Ссылаясь на «одного из немецких ученых», И. Аксаков предлагает называть литературу, «от образования произошедшую», национальной, так как «нация предполагает более просвещения, более гражданской организации, нежели слово *народ*». Далее он тем не менее употребляет слово «народная» при характеристике литературы этого типа. Интересно, что Белинский полностью принимал такое разделение литературы, обосновывая его справедливость на русском материале, причем эпитет «народная» критик также употребляет вместо «национальная». Заметим, что впервые рассуждения о «народной» и «национальной» литературе появились у Белинского в статье под условным названием «Россия до Петра Великого», опубликованной в «Отечественных записках» в 1841 году, т. е. примерно в то же время, когда Иван Аксаков работал над своим сочинением. Белинскому настолько были близки подобного рода мысли, что он, в отличие от Ивана Аксакова, не счел нужным указывать на немецкий источник их возникновения. Еще раз повторит Белинский свои размышления уже применительно конкретно к поэзии Пушкина, доказывая ее народность (а подразумевая «национальность»), в 5-й статье «пушкинского» цикла (1844). По мнению критика, народный поэт отражает в своем творчестве некую субстанцию народного духа, т. е. совокупность физических, психических и духовных проявлений данного народа. Для Ивана Аксакова эта субстанция имеет конкретное проявление в первую очередь в языке, в «родных звуках». Это суждение, как известно, разделял и К. С. Аксаков, который всесторонне обосновал его в своей магистерской диссертации. Сам Иван Аксаков впоследствии также будет развивать эту мысль, обращаясь к творчеству Пушкина, Гоголя, Тютчева. В этом отношении весьма характерной представляется лаконичная, но емкая формула И. Аксакова, данная в письме к Кохановской: «Гений Пушкина особенно виден в том, что он, едва прикоснувшись к народной речи, умел глубоко схватить всю внутреннюю субстанцию этой речи».[8]

---

[6] *Белинский В. Г.* Собр. соч.: Т. 1. С. 172.

[7] *Аксаков К. С.* Указ. соч. С. 70.

[8] Аксаковы в переписке с Н. С. Соханской (Кохановской). 1858—1883 // Русское обозрение. 1897. Кн. 2 (10). С. 585.

Утверждая в рассматриваемой статье, что «наша литература нисколько не подражательна и имеет такие данные, которые могут ручаться нам, что она будет богаче всех известных до сих пор», И. Аксаков приступает к характеристике всех выявленных им моментов народного духа, отраженных в фольклоре, литературе и языке, которые служат важнейшим материалом народной (национальной) литературы. По мнению Аксакова, русский язык «соединяет в себе все почти элементы глубокого духа человеческого, все три разума, о которых говорит психология: практический, теоретический, эстетический... отличительная черта его есть всеобщность, облеченная в какое-то мощное, свойственное ему одному спокойствие». По своим гармоническим качествам, звучности, силе, способности выражать мельчайшие оттенки мысли, способности ко всем способам стихосложения и ко всем литературным родам и жанрам русский язык превосходит все остальные европейские языки. Для иллюстрации своего суждения Аксаков указывает в первую очередь на язык пушкинских произведений, который являет всю красоту и гибкость. «Да возьмите любые стихи Пушкина: какие полные, круглые звуки!» — восклицает молодой автор. Говоря о жанровом разнообразии русской литературы, Аксаков отмечает: «„Моцарт и Сальери", „Сцены из Фауста", „Борис Годунов", „Евгений Онегин" явно свидетельствуют, какие высокие произведения имеем мы в этих (столь различных) родах литературы».

Убедив воображаемого оппонента в силе и богатстве русского языка, Аксаков переходит к широте тем и сюжетов, которые дает русская жизнь литературе и которые отражаются в фольклоре: картины природы, любовь, семейные отношения, исторические явления, богатыри, предания, мифология. В качестве примера Аксаков приводит драматическую сказку Казака Луганского «Ночь на распутье», в которой «он превосходно представил суеверные понятия нашего народа», а также сборник русских народных песен Кирши Данилова.

В ответ на утверждение г-на N. N., что «лучшие произведения суть подражательные», Аксаков отвечает: «Да, было это время, но как недолго оно продолжалось! Теперь разве только одни дамы пренебрегают русским языком и не ведают, какою сокровищницею обладают. ⟨...⟩ Всякий должен кинуть Ламартина, Гюго, читая Пушкина, Жуковского, Батюшкова, Козлова. Дело не в количестве, а в качестве, и в произведениях поэзии мы смело можем соперничать не только с англичанами, но и с немцами. У нас мало романов, но не в этом дело. Лажечников, Загоскин, Марлинский все-таки занимают первые места и могут служить достаточными образчиками великих успехов российской литературы по этой части». Особо И. Аксаков останавливается на характеристике творчества Гоголя: «...Есть произведения в литературе, которые по изложению не могут быть причислены к произведениям чисто народным, хотя предмет содержания заимствован из быта народного. Таковы произведения Гоголя. Сколько чувства и поэзии найдете вы в Бульбе. Разумеется, такие произведения не столь доступны и понятны иностранцу, как сочинения Марлинского. ⟨...⟩ Он (Гоголь. — *Н. В.*) изображает нам жизнь народную, дух народный, а в жизни и духе сколько поэзии. Разумеется, этот дух проявляется в формах грубых, но нисколько не низких, ибо они облагораживаются здесь поэзией и рукою художника».

Конечно, И. Аксаков присоединялся к довольно распространенной точке зрения на творчество Гоголя, которая господствовала в передовых литературных кругах, близких Белинскому и К. Аксакову. Культ Гоголя к этому времени сложился и в Училище правоведения. Однако весьма показательно, что И. Аксаков среди всех произведений Гоголя выделяет именно «Тараса Бульбу». Отметим, что Белинский в письме к К. С. Аксакову от 14 июля 1840 года (в том самом, где он сообщает о своем знакомстве с юным Иваном Аксаковым) раскрывал свое понимание творчества Гоголя таким образом: «Он великий художник, о том слова нет. Я и теперь не вижу, чтобы он был ниже Вальтер Скотта и Купера, и не почитаю невозможным,

чтобы последующие его создания не доказали, что он выше их. Сверх того, он ближе к нам, следовательно, понятнее для нас. Но он не русский поэт в том смысле, как Пушкин, который выразил и исчерпал собою всю глубину русской жизни... Пушкинская поэзия — наше искупление, а в созданиях Гоголя я вижу только „Тараса Бульбу"... ⟨...⟩ „Тарас Бульба" выше всего остального, что напечатано из сочинений Гоголя».[9] Если принять во внимание, то, что приблизительно в то же время Аксаков выразил несомненное преклонение перед Пушкиным в своем «Дневнике» (1841),[10] то можно констатировать любопытное сходство литературных приоритетов его и Белинского. Можно даже предположить, что Иван Аксаков при встрече с Белинским мог показать критику свою статью, либо рассказать о своем замысле. Дело в том, что в вышедшей в самом начале 1842 года статье Белинского «Русская литература в 1841 г.» и через полгода в «Литературном разговоре, подслушанном в книжной лавке» используется та же форма диалога (в риторическом плане вплоть до текстуальных схождений, хотя эта форма в целом не характерна для стилистики Белинского), что и у молодого Аксакова.

Интересно, что когда в середине сороковых годов Аксаков жил в Калуге и считал своим долгом пропагандировать славянофильское учение в провинции, он рекомендовал А. О. Смирновой-Россет и своим знакомым барышням Унковским читать произведения, в которых, по его мнению, наиболее полно выразился национальный характер, отмеченные уже в упомянутой ранней статье: «Ночь на распутье» В. И. Даля, сборник Кирши Данилова и «Тараса Бульбу» Гоголя.[11]

Заканчивает И. Аксаков свою статью страстным обращением к «народам Запада»: «Широка, глубока жизнь русская, полною рукой черпай из нее гений, и, облекая в чистые, поэтические формы, яви на созерцание и удивление векам и народам! Народы Запада! Недалеко то время, когда политическое влияние России обхватит вас, и язык русский, гремя в устах всех славянских народов, слившихся в одно целое от Одера до Восточного океана, от моря Балтийского до моря Черного, от Моравы до Адриатики, огласит и ваши страны и вы воздадите должное народу, соединившему в себе все элементы духа человеческого, все стороны, нужные для достижения идеала, недосягаемого для одного человека, но более доступного человечеству, которое может отчасти достигнуть его через русский народ скорее, нежели через все прочие!» Отметим, что в общественно-литературном контексте конца 1830-х — начала 1840-х годов подобного рода представления о великом предназначении России стали довольно распространенными: достаточно вспомнить известные высказывания И. Киреевского, М. П. Погодина, Пушкина, Гоголя.

Хотя рассматриваемая юношеская статья И. Аксакова носила во многом ученический характер, в ней намечен круг важнейших вопросов, связанных с решением проблемы своеобразия русской народности, которая определяла философские и литературно-общественные искания будущих западников и славянофилов. Говоря о «возможности русским иметь народную литературу», молодой автор имел в виду литературу неподражательную, самобытную, в которой предмет и способ изображения определялись бы русскими национальными особенностями. Русская литература, по мнению Аксакова, в лице лучших своих представителей уже явила миру образцы поэзии, которые не только верно отражают национальный характер, но и по значимости выше европейских. Причем национальную самобытность он видит не только в оригинальных произведениях Пушкина и Гоголя, но даже в переводной поэзии Жуковского.

Таким образом, уже в этой ранней статье И. Аксакова можно выявить его литературно-эстетические приоритеты, отражающие общее движение критической

---

[9] *Белинский В. Г.* Собр. соч. Т. 9. С. 388.

[10] См.: *Вихрова Н. Н.* Пушкин в дневнике молодого Ивана Аксакова // Русская литература. 1999. № 2. С. 169—181.

[11] *Аксаков И. С.* Письма к родным. 1844—1849. М., 1988. С. 218.

мысли этого времени к самобытности, народности и реализму, а также стремление молодого автора направить свое перо в сторону «положительного» направления, которое впоследствии станет концептуальной идеей его осмысления литературы.

Орфография и пунктуация публикуемого источника приближены к современным, названия произведений заключены в кавычки, зачеркнутые слова — в квадратные скобки, пропуски и сокращения — в угловые, авторские подчеркивания выделены курсивом.

РУССКИЕ СОЧИНЕНИЯ № 2. О ВОЗМОЖНОСТИ РУССКИМ ИМЕТЬ НАРОДНУЮ ЛИТЕРАТУРУ

(РАЗГОВОР)

Как посравнить и посмотреть
Век нынешний и век минувший:
Свежо предание, а верится с трудом.

«Горе от ума»

Раз пригласили меня на вечер к одному из моих знакомых. Пришедши к нему, я нашел у него общество довольно многочисленное, но большей частию состоявшее из молодых людей пожилых лет. Я думал найти добрых и простых русских старичков, любящих вспоминать о старине, но как ошибся! Это были люди Екатерининского века, считавшиеся в свое время самыми образованными, принадлежащие к *светской* молодежи тех лет, молодежи, в воспитание которой непременно входило вольнодумие, либерализм и пустословие. Словом, это были живые [люди] остатки XVIII столетия, пережившие свое время, оставшиеся чуждыми новых мыслей и мнений и удержавшие даже на старости лет прежние понятия, не видя, что произошла перемена, что...

Преобразился мир при громах новой славы![12]

«Jls n'ont rien oublié — ils n'ont rien appris»,[13] — сказал Наполеон и сколько правды в этих словах!

Известно, что большая часть тогдашней знатной молодежи была воспитана в Париже, и что тогда гнушались всего отечественного, не говоря уже о языке и литературе. Слепцы!

Не так думаем теперь мы, молодое и свежее поколение! Мы поняли и сознали всю силу, все богатство своего родного языка, и не разделяя пристрастных мнений и предрассудков стариков XVIII столетия, смело говорим:

Suum eni qve![14]

Но я слишком завлекся, пора приступить к делу. Один из почтенных посетителей стал между прочим нападать на нашу литературу и доказывать ее несамобытность, с ним согласились все прочие. Я не выдержал и вступил с ним в жаркий спор. Постараюсь передать его в немногих словах.

---

[12] Строка из стихотворения А. С. Пушкина «К вельможе».

[13] «Они ничего не забыли, они ничего не поняли» (или: «Они ничего не забыли и ничему новому не научились») (*фр.*). Крылатое выражение, которое ошибочно приписывается Наполеону. Слова из письма (1796) французского адмирала де Пана к известному журналисту времен Великой французской революции Малле дю Пану. Адмирал имел в виду роялистов. Эти сторонники свергнутой во Франции королевской власти восприяли духом в период Директории (1794—1799), надеясь на скорую реставрацию монархии. Выражение пережило второе рождение после реставрации Бурбонов на французском престоле (1814—1830) и вошло в историю как иронический комментарий к поведению последних представителей этой династии, вернувшихся на некоторое время к власти.

[14] Каждому свое! (*лат.*)

N. N. Я, право, не понимаю, чем можем гордиться мы, русские. Посмотрите, может ли литература наша выдержать сравнение с французской и английской. Не говорю уже о народной литературе: во Франции последний крестьянин... да что говорить, как начнет рассуждать наш русский мужик с своим грубым варварским языком и голосом, то со мною делается дрожь (тут последовал целый залп французских восклицаний и острот).

Я. Позвольте. Я вижу, что вы не понимаете еще русского характера. Если хотите, я вам объясню его, покажу, что в нем лежат все элементы, необходимые для образования такой литературы, которая может быть гораздо выше и немецкой и...

Все. Сделайте милость. Посмотрим!

Я. Разберем русский характер, не в частностях, а вообще. Вы не найдете в нем ни одной крайности, ни одной резкой черты, которая отделяла бы от других, так как, напр⟨имер⟩, у французов и пр⟨очих⟩. Француз живет больше жизнью эгоистическою, он легок, ветрен, не способен к глубокомысленным исследованиям. Les nouvelles du jour,[15] — вот их пища! В немце преобладает элемент философский, и потому метафизика и высшая философия вообще и глубокая поэзия получили у них полное свое развитие. Но зато как смешон для нас, русских, немец в действительной жизни, как мелочен! Англичанин, напротив, живет совершенно в мире действительном, он развил все его отрасли, посмотрите, какое удобство в жизни доставили англичане во всех отношениях. Я не говорю о других свойствах. Посмотрите на русского. Как смышлен наш простой русский мужичок, как часто то, над чем немец ломает голову, русский сделает гораздо скорее и проще. Француз не способен к философии...

N. N. Что вы говорите? А Руссо, величайший философ?

Я. Величайший софист, хотите вы сказать? К тому ⟨же⟩ его философия более практическая, а совсем не такая отвлеченная, как у немцев. А каким здравым рассудком, логическим умом наделил Господь русского. Логический ум пролагает [начало] путь к философскому началу, след⟨овательно⟩, русские способны к философии.

N. N. Да где же ваша философия? Укажите нам, где же собственно находится ваша, русская философия?

Я. Не в том дело, чтобы иметь *свою* философию. Философия, как истина, одна и для всех, но дело вот в чем, что мы скорее французов способны принимать эти истины, усвоять их себе. Глубокомысленные и отвлеченные идеи Канта, Фихте, Гегеля не гармонируют с характером французов, между тем как они нисколько не противоречат свойствам русского народа.

N. N. Что же доказывают ваши слова: что русские не имеют самобытности, что он⟨и⟩ ни то, ни се, не имеют самостоятельности.

Я. Вы ошибаетесь, извините. Когда мы видим человека с крайностями, мы желаем, чтоб он соединил в себе и прочие достоинства. Что называем мы образованием полным, человеком полным: такое образование, которое соединяет в себе все хорошие стороны человека вообще: таких людей мало. Русский народ соединяет все три хорошие элементы, находящиеся в этих трех народах: разумеется, они еще не успели развиться. В нем такое богатство способностей, что от невольного сознания их происходит чувство собственной силы, беспечность, мощное спокойствие и равнодушие. Он не любит тратить слов по-пустому, не любит хвастаться. Немец сделает какую-нибудь диковинку, и все дивятся, и все кричат; русский сделает то же самое, но никогда не начнет сам про себя рассказывать, ⟨не⟩ станет хвалить, он скажет вам, что это ничего не значит, что об этом говорить не стоит, так он уверен в своей собственной силе, что для него это нипочем. От того-то происходит такая беспечность. Из всего этого следует, что так как

[15] Новости дня, сплетни (*фр.*).

1. англичане, немцы и пр⟨очие⟩ имеют свои литературы (я не говорю о литературе народной, принимая это слово в самом тесном значении: народную литературу такого рода имеет каждый народ, какое бы ни было его образование, впрочем я после разовью это).

2. так как русские имеют в богатом запасе все эти три элемента, то

3. русские могут иметь литературу более богатую, более разнообразную, чем все другие народы.

Доказав теперь, что нет никакого препятствия в этом отношении — иметь русским народную литературу, мы обратимся к другому предмету — к языку; потом рассмотрим собственно литературу нашего народа во всех степенях развития. Боже мой! Какой глубокий характер у нашего народа. Мы привыкли жить широко, просторно, удобно, видеть и чувствовать все в гигантских размерах, во всех [отношениях] видах сознавать нашу мощь России

От Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая...[16]

Имея такое превосходство перед прочими в умственном образовании мы превосходим и в физическом. На необъятном пространстве нашего государства найдете вы и все степени развития природы, и все степени климатов... все, все соединяет в себе глубокая и мощная душа русская, все стороны жизни человеческой. Примем в соображение, что это еще все в начале, что до сих пор мы видим большею частию только зародыши, что Россия еще государство юное и свежее, а прочие державы уже в зрелом возрасте. Только одна, одна Россия могла сделать такие гигантские успехи на пути просвещения! Что же будет, когда она разовьется во всей своей полноте и силе? Как низко будут стоять [прочие] в сравнении с нею прочие государства! Что же будет? Страшно подумать!

N. N. О, молодой человек, вы слишком увлекаетесь, по всему видно, что вы *патриот*, а знаете ли вы, что у образованного человека нет отечества, что он не принадлежит ни к какой нации, что он...

Я. Извините, мы теперь живем не в XVIII веке. Слово *патриот* частым и неуместным употреблением получило чрезвычайно пошлое значение. Так обыкновенно называют человека пристрастного к своей родине. Мы же отдаем должную справедливость каждому: Suum eni qve! Я согласен с вами, что человек образованный теряет, разумеется, свой первоначальный, грубый характер, принимает понятия и мысли, общие всем прочим образованным людям — так, но национальность свою он никогда совершенно не теряет. В литературе тоже два момента, если можно так сказать. Литературу собственно народную имеют все народы; всякий из них имеет свои предания и песни: в этом первоначальном образе литературы резко проявляется характер и дух народа. Как скоро народ начинает образовываться, то литература также принимает большею частию формы, общие всем образованным нациям: появляются драмы, трагедии, элегии и прочее. На этой ступени литература имеет обыкновенно вид всеобщности, но и тут [она сохраняет] опять в ней проявляется народность, ибо она выражает в родных звуках, выражает то, что никогда на другие языки не может быть передано, что мы часто бессознательно принимаем. Я докажу вам после, что у русских существует все эти два рода литературы, покажу вам все достоинства народной и от образования произошедшей, как бы назвать это? Один из немецких ученых называет последнюю литературу национальной, ибо, говорит он, нация предполагает более просвещения, более гражданской организации, нежели слово народ. Представлю вам, что наша литература нисколько

[16] Строки из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России».

не подражательна и имеет такие данные, которые могут ручаться нам, что она будет богаче всех известных до сих пор.

N. N. Вы меня закидываете словами. Я хочу доказать вам, что русские имеют мало средств для образования подобной литературы. Посмотрите, какое очарование производят звуки французского языка, итальянского. Немцы, как вы сами говорите, берут превосходство если не звуками, так по крайней мере глубокими мыслями, содержанием. Признаюсь, в наше время мы мало читали немцев.

Я. Как, что? Вы нападаете на наш язык? О, видно, что воспитание парижское глубоко пустило в вас свои корни. Я вам показал, что русский соединяет в себе все почти элементы глубокого духа человеческого, все три разума, о которых говорит психология: практический, теоретический, эстетический, что отличительная черта его есть всеобщность, облеченная в какое-то мощное, свойственное ему одному спокойствие. Я сказал вам, что отечество наше соединяет на своих просторах почти все роды произведений Европы, все степени климата, природы; теперь я докажу вам, что язык наш вполне соответствует характеру нашему. Язык этот соединяет в себе также почти все звуки, встречающиеся в прочих известных и образовавшихся языках. От того-то русским так легко учить языки иностранные. Как он богат, глубок, как легко выражает все оттенки мысли. Французский язык не способен ко всем родам стихосложений, а русский наоборот. Для меня в нем больше гармонии, нежели во французском и в итальянском.

Все. Ах, что вы говорите! Образуйтесь!

Я. Да, господа! Я так думаю, и знаю наперед, что удивлю вас. [Я не люблю ничего.] Посмотрите на французскую музыку и потом на немецкую: какая разница! Сладкие, маленькие звуки французской музыки менее проникают в мою душу, нежели величавые, глубокие тоны симфоний Бетховена, Моцарта. Французский язык звонок. Русский звучен. Да возьмите любые стихи Пушкина: какие полные, круглые звуки! Станем разбирать по буквам, беспристрастно будем видеть превосходство нашего языка. Для моего русского уха русский *я* перед *а*, *у*, *о* гораздо приятнее, гораздо звучнее, нежели *е* и т⟨ому⟩ п⟨одобное⟩: наши страдательные причастия (и большая часть прилагательных) как много придают силы и гармонии в стихах наших поэтов, напр⟨имер:⟩

Ах, зачем за меч *воинственный*
Я свой посох *отдала*
И тобою, дух *таинственный*,
Очарована была.[17]

Какое чудесное сочетание рифм в этих стихах! Заметим еще, что наш язык способен ко всем родам поэзии и прозы: легкой, ученой, драматической, ораторской. Я гораздо больше люблю французские песни и куплеты (в которых они неподражательны), нежели их чопорные, надутые произведения века Людовика XIV-го, не говорю уже о их трагедиях; их кто станет читать после Шекспира? Французы более гоняются за эффектом и фразами. Немцы, наоборот; тяжелы в так называемых легких произведениях. «Моцарт и Сальери», «Сцена из Фауста», «Борис Годунов», «Евгений Онегин» явно свидетельствуют, какие высокие произведения имеем мы в этих столь различных родах литературы. Обратимся опять к языку: звуки его можно уподобить полным тонам органа, мы имеем еще ту выгоду перед прочими, что русский язык находится в живой связи с славянским языком и может черпать из него, как ⟨из⟩ обильного родника, новые слова и усваивать их себе, между тем французский язык, хотя и произошел от латинского, не может уже им пользоваться, припомним еще, что русский и немецкий языки суть единственные, на которые Илиада переведена гекзаметрами.

[17] Несколько измененная цитата из «Орлеанской девы» В. А. Жуковского (действие 4, явление 1).

N. N. Я с вами согласен, что русский язык и богат, и силен. Но что же из этого? Признайтесь, что наша литература чрезвычайна бедна в сравнении с иностранными. Напрасно стараетесь вы ее возвысить: лучшие произведения суть подражательные, сюжет заимствован большею частию из истории Англии, Франции и прочих, и это очень ясно: наша история чрезвычайно скудна происшествиями. У западных народов было рыцарство, средние века, крестовые походы; какая обильная пища для поэта, романиста, историка! Происшествия тех времен, столь близкие народу, отразились в его песнях: от того-то у них песен политических гораздо более. А у нас!..

Я. Все, что вы говорите, имеет вид правдоподобный, но я постараюсь опровергнуть ваши доводы. Неужели только западное может быть хорошее. Характер наших песен резко отличается от песен прочих народов, он совершенно другого рода, нежели у западных народов, но это нисколько не мешает нашим песням быть превосходными. Политических песен мало, это правда, русский народ по врожденному ему миролюбию доверял беспечно своим государям. К тому же тут причиною то свойство нашего народа, что он не любит ни даром тратить слова, ни даром хлопотать и кричать, подобно французам: ему хорошо, чего же более нужно, так он восстанет и приведет в действие свои силы. Вспомним 12-е года XVII и XIX столетия! Погодите, придет время, когда истинное просвещение осветит лучом своим народ русский и возбудит растительность всех зародышей, таящихся в нем до сих пор. Чувство политического достоинства России проникнет в сердца, быстрым шагом пойдет развитие нашего отечества, нельзя измерить даже, каково будет со временем его влияние. Итак, я сказал, что беспечно доверяя бразды правления своим государям, русский народ стал жить совершенно семейною жизнью, которая во всех свойствах, со всеми своими прелестями отражается в его песнях, послушайте, какая заунывная грусть в мотивах наших песен, но вместе с тем какая сладкая, отрадная грусть. Любовь главный предмет песен, и хотя в них изображается внутренняя сторона русского духа, также домашняя жизнь, но они нисколько не походят на идиллии, которых, признаюсь, не люблю, но где также изображается семейная жизнь, но в другом роде. Русский чувствует в широких размерах, и потому, какая глубокая нежность, какие сильные чувства видны у него, посмотрите, каковы наши разбойничьи песни, каковы богатырские разгулы, какою широкою кистью изображает он картины природы: *сине* море, *сизую* степь, Волгу-матушку, широкое раздолье. Но у нас есть и политические и исторические песни; нет рыцарей, но есть богатыри, есть свои предания, своя мифология: русалки, леший, водяной, домовой. Чтоб доказать вам, какая это обильная пища для таланта, я укажу вам на одно произведение Казака Луганского: «Ночь на распутье»,[18] где он превосходно [изобразил] представил суеверные понятия нашего народа. Читали ль вы собрание русских старинных песен Кирши Данилова?[19] Вероятно, нет; там встретите вы и Владимира — красное солнышко, и Добрыню, и Алешу Поповича, и Илью Муромца. Слишком долго было бы перечислять все красоты наших песен, скажу только, что везде видны грусть, нежность, сильные чувства разгула, сознания силы. История наша еще не имела своего историка, который рассмотрел бы ее с философской точки зрения — а какие сокровища он нашел бы, может быть, в ней! Но разве у нас XVI, XVII, XVIII и XIX столетия не обильны происшествиями своего рода? У нас есть то, чего нет ни в какой истории: самозванцы. Вы говорите, что большая часть произведений подражательны. Да, было это время, но как недолго оно продолжалось! Теперь разве только одни дамы пренебрегают русским языком и не ведают, какою сокровищницею обладают. Но и

[18] Речь идет о произведении В. И. Даля, писавшего под псевдонимом Казак Луганский.

[19] Видимо И. С. Аксаков имеет в виду издание «Древние российские стихи, собранные Киршей Даниловым» (М., 1818).

это уже выходит из моды. Всякий должен кинуть Ламартина,[20] Гюго, читая Пушкина, Жуковского, Батюшкова, Козлова. Дело не в количестве, а в качестве, и в произведениях поэзии мы смело можем соперничать не только с англичанами, но и с немцами. У нас мало романов, но не в этом дело. Лажечников, Загоскин, Марлинский все-таки занимают первые места и могут служить достаточными образчиками великих успехов русской литературы по этой части.[21] Мы имеем большие выгоды перед прочими народами в том, что нигде нельзя найти такого разнообразия во всех отношениях, как у нас, не нужно ездить в чужие края за впечатлениями. Мы в своем отечестве можем найти и дикую северную природу, и снега, и скалы, и роскошную негу юга, и горы высокие, и *синие* степи, и быстрые потоки, все, все найдете вы на обширном пространстве нашей империи. Есть произведения в литературе, которые по изложению не могут быть причислены к произведениям чисто народным, хотя предмет содержания заимствован из быта народного. Таковы произведения Гоголя. Сколько чувства и поэзии найдете вы в его «Бульбе». Разумеется, такие произведения не столь доступны и понятны иностранцу, как сочинения Марлинского.

N. N. Послушайте, вы, кажется, хвалите Гоголя. Боже мой! Какой низкий сюжет в его повестях, это оскорбляет истинный вкус.

Я. Нисколько. Он изображает нам жизнь народную, дух народный, а в жизни и духе сколько поэзии. Ubi vita, ibi poetica.[22] Разумеется, этот дух проявляется в формах грубых, но нисколько не низких, ибо они облагораживаются здесь поэзией и рукою художника. Для вашего вкуса они оскорбительны, для вас, людей односторонних, воспитанных с ложными понятиями, софизмами Баттё[23] и Кондильяка.[24] Пусть каждый народ обратится к самому себе, отроет, очистит родные источники. Много найдут они самородного золота, иной больше, иной меньше, а русский народ больше всех: бесчисленны наши источники, неиссякаемы они, неистощимы сокровищницы! Широка, глубока жизнь русская, полною рукою черпай из нее гений, и, облекая в чистые, поэтические формы, яви на созерцание и удивление векам и народам! Народы Запада! Недалеко то время, когда политическое влияние России обхватит вас, и язык русский, гремя в устах всех славянских народов, слившихся в одно целое от Одера до Восточного океана, от моря Балтийского до моря Черного, от Моравы до Адриатики, огласит и ваши страны и вы воздадите должное народу, соединившему в себе все элементы духа человеческого, все стороны, нужные для достижения идеала, недосягаемого для одного человека, но более доступного человечеству, которое может отчасти достигнуть его через русский народ скорее, нежели через все прочие!

Я замолчал. Гляжу: большая часть из слушавших меня ушла, другие сели в вист, третьи наконец, хотя и остались, смотрели на меня с двусмысленной улыбкой. Тогда подошли ко мне трое молодых людей, которых я прежде не заметил. Они взяли меня за руку и с чувством глубокого участия сказали: «Мы поняли вас. Слова ваши нашли себе живой отголосок в наших сердцах: мы сознали, что принадлежим к одному, молодому поколению. Оставим их коснеть в предрассудках: к чему тратить слова по-пустому и изливать жар душевный пред людьми холодными». Я был утешен![25]

---

[20] Альфонс Мари Луи де Ламартин (1790—1869) — французский поэт-романтик, политический деятель, историк.

[21] Имена Лажечникова, Загоскина и Марлинского часто упоминались в критике В. Г. Белинского, в том числе и в статье «Русская литература в 1840 г.», которую И. С. Аксаков мог прочитать в самом начале 1841 года, когда предположительно работал над публикуемой здесь статьей.

[22] Где жизнь, там и поэзия (*лат.*).

[23] Шарль Баттё (1713—1780) — французский философ и эстетик.

[24] Этьен Бонно де Кондильяк, аббат (1715—1780) — французский философ-просветитель, последователь сенсуализма.

[25] Вставка на полях: Вспомните, что Россия еще не развилась, что мы не могли, не должны были иметь народность, принимая это слово в высшем значении. Мы учились еще. Я говорю только, что мы имеем семян и дарований более, нежели все прочие народы. Когда такие богатые семена, что же будет, когда они разовьются.

© А. В. Сысоева

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНОМ ТЕКСТЕ РОМАНА ФЕДОРА СОЛОГУБА «ТВОРИМАЯ ЛЕГЕНДА»*

Роман Федора Сологуба выходил в свет в тот период (1907—1915 годы), когда положение книгопечатания постоянно менялось. Два месяца после Манифеста 17 октября свобода печати осуществлялась явочным порядком. Правила 24 ноября 1905 года, 18 марта и 26 апреля 1906 года ограничили фактически существовавшую свободу, предварительная цензура была заменена карательной.[1] Постепенно все большее количество изданий и издателей арестовывалось, все чаще суды накладывали штрафы или закрывали издания. Бóльшая часть Российской империи находилась на положении чрезвычайной или усиленной охраны, при котором местные власти получали значительные возможности, в том числе право влиять на издателей административно. В итоге, опасаясь возможных преследований, издатели были вынуждены цензурировать рукописи самостоятельно. Как отмечалось в статье 1906 года, «теперь издатель, если бы и хотел, за деньги не найдет лица, которое взяло бы на себя процензуровать рукопись до ее напечатания. Теперь издатель может посоветоваться только с адвокатом и, следовательно, до некоторой степени оградить себя от самых крупных неприятностей — года или двух тюрьмы или ссылки, но от риска материального ущерба ни один адвокат гарантировать его не может».[2]

Постепенное усложнение ситуации и ужесточение вынужденной внутренней цензуры явилось причиной увеличения сокращаемых фрагментов в изданиях романа «Творимая легенда».

Произведение имеет две редакции. Ранняя представляет собой два романа — «Навьи чары» в трех частях, изданных в альманахах «Шиповник» (1907—1909 годы), и «Дым и пепел», вышедший в сборниках «Земля» (1912—1913 годы). После переработки произведение вошло в состав собрания сочинений, опубликованного издательством «Сирин», как роман-трилогия «Творимая легенда» (1914—1915 годы). Публикацию в «Сирине» следует считать основным текстом, поскольку она является последним прижизненным изданием романа, она отличается бóльшим, по сравнению с редакцией, опубликованной в альманахах, стилистическим единством и структурной определенностью.

В архиве Сологуба сохранились беловые автографы романа «Дым и пепел» ранней редакции[3] и романа «Творимая легенда»,[4] представленные машинописным текстом.

В машинописи романа «Дым и пепел» есть пометы карандашом и небольшая правка, но сравнение машинописного и опубликованного текстов приводит к выводу, что крупные отрывки текста были удалены на промежуточном этапе (в машинописи они не зачеркнуты, но в сборниках «Земля» их уже нет). 5 октября 1912 года издатель Г. Блюменберг писал Сологубу: «Отдельной бандеролью я высылаю Вам несколько гранок, на которые наш адвокат Муравьев обращает внимание как на места, безусловно опасные в цензурном отношении. Ввиду чего я вынужден обратиться к Вам с просьбою изменить редакцию отмеченных мест и наде-

* Выражаю искреннюю признательность М. М. Павловой за научные консультации и внимание к моей работе.

[1] Подробнее об этом см., например: *Лихоманов А. В.* Борьба вокруг нового закона о печати в Государственной думе IV созыва (1912—1914) // Книжное дело в России в XIX—начале XX в. СПб., 2006. Вып. 13. С. 7—30.

[2] *Н.* Критическое положение // Книжный вестник. 1906. № 22—23. С. 561.

[3] ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. № 73.

[4] Там же. № 152—155.

юсь, что Вы не откажетесь исполнить это».[5] Следовательно, изменения вносились уже на стадии гранок.

Параллельно с изданием романа в сборниках «Земля» Сологуб вел переговоры по поводу его перевода на немецкий язык и выхода в свет в Берлине. Для перевода были использованы части романа «Навьи чары»: «Капли крови», «Творимая легенда», «Королева Ортруда», напечатанные в альманахах «Шиповник», и рукопись романа «Дым и пепел». Из переписки с переводчицей Ф. Е. Фриш следует, что немецкий текст был готов еще до выхода в свет романа «Дым и пепел» на русском, так что в перевод вошли сокращенные по цензурным соображениям места. Отделение иностранной цензуры запретило произведение к распространению в России. Согласно опубликованному в «Уставе о цензуре и печати» правилу, «романы, повести и другие сего рода произведения иностранной словесности долженствуют быть рассматриваемы с большею против иных книг строгостию, в отношении к нравственности их содержания».[6]

В машинописном тексте романа, опубликованного в издательстве «Сирин», имеются значительные по объему вычеркнутые фрагменты. Обычно вычеркивание сопровождалось вертикальной чертой по левому краю. Эти фрагменты не вошли в опубликованный текст. На полях рукописи сделаны пометы разными лицами. Фамилии, записанные на полях, предположительно принадлежали сотрудникам типографии М. М. Стасюлевича, набиравшим и сверявшим текст: те же самые фамилии видим на полях корректуры четвертого издания романа «Мелкий бес», в тот же период готовившегося к печати издательством «Сирин» в типографии М. М. Стасюлевича.[7] В некоторых случаях в машинописи ставился разделитель, совпадающий с окончанием печатной страницы, и указывался номер следующего печатного листа. Этот номер мелким шрифтом печатался в сигнатуре. Например, в машинописи:

«Глупые и пошлые сцены с директором в городском училище были Дулебову привычны, /Z/ и не смущали его.
⟨на полях⟩
Z 18 л.».[8]

В тексте собрания сочинений отрывком «Глупые и пошлые сцены с директором в городском училище были Дулебову привычны»[9] заканчивается стр. 272, на нижнем поле стр. 273 значится: «18 Ф. Сологуб, XVIII».[10] Эти пометы непосредственно связаны с набором текста и позволяют говорить о том, что набор производился с указанной машинописи.

Таким образом, правка была внесена в текст (в основном это — сокращения текста, составляющие 2 % от общего объема романа) на стадии издательского процесса. Поскольку соответствующие фрагменты были отмечены вертикальной чертой по левому полю, возможно, после предварительного просмотра машинопись отправляли автору с просьбой сократить опасные места, тем более что правка внесена рукой Сологуба. Установить, кто именно указывал на необходимость сокращений, пока не удалось. Быть может, на сложные места обращал внимание писателя Р. В. Иванов-Разумник, редактор издательства. Главное, о чем можно говорить

---

[5] Там же. Оп. 3. № 860. Л. 18.

[6] Устав о цензуре и печати // Свод законов. СПб., 1903. Т. XIV. С. 46.

[7] См.: ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. № 97. Выражаю благодарность Евгению Александровичу Голлербаху за сообщенные им ценные сведения об издательстве «Сирин» и типографии М. М. Стасюлевича.

[8] ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. № 152. Л. 476. Здесь и далее в квадратных скобках помещены зачеркнутые фрагменты, в угловых — пояснения к тексту, в косых — рукописные вставки в текст.

[9] *Сологуб Ф.* Творимая легенда. Роман. Часть первая. Капли крови // Собр. соч.: В 20 т. СПб., 1914. Т. XVIII. С. 272.

[10] Там же. С. 273.

определенно, — правка текста была вынужденной, а сокращения производились из опасения возможных судебных преследований. Это подтверждает как помета рядом с одним из сокращений, сделанная почерком, похожим на авторский, «цензурная в 1914»,[11] так и характер последовательно сокращенных отрывков, которые можно классифицировать по трем типам.

1. Фрагменты антиправительственного содержания:

1) с враждебными лозунгами, например:
[— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!][12]

2) с антиправительственными песнями:
[— Вы жертвою пали...][13]

3) с критикой института государства:
То есть, убийство утверждает неравенство/./ [и основанную на неравенстве государственность.][14]
[Что чиновник, что лакей, — разницы мало. Только вместо салфетки у чиновника под мышкой портфель][15]
[Власть человека над человеком, уже сделавшая так много зла человечеству, должна быть навсегда уничтожена.
Власть в современном обществе так организована и, следовательно, так сильна, что она может существовать и там, где человеку свободному она не нужна, где свободный человек ее не хочет. Нельзя надеяться, что власть умрет голодною смертью, если свободный человек во всем будет обходиться без власти. Итак, власть необходимо захватить, чтобы ее уничтожить.
Захватить власть должен, конечно, пролетариат, потому что это он на себе наиболее испытал тягости организованной власти. Сознательная часть пролетариата позаботится о такой организации общественных отношений, которая парализует и умертвит в человеке самую волю к власти.][16]

4) с использованием оценочных слов и выражений с отрицательным значением при изображении королевской жизни (в примерах представлены по нарастанию отрицательной оценки):
Потом был, как полагалось по церемониалу, торжественный обед у королевы, пышный, [скучный,] с положенными тостами, после которых палили из пушек по много раз.[17]
Остальные /одобрительно/ улыбались, [как улыбаются всегда при шутках высоких особ, удачны ли эти шутки или нет].[18]
[Хитрый царедворец хорошо знал, как непрочны увлечения властителей, — ведь у них всегда такой большой выбор, и такая свобода выбора мимолетных привязанностей. Поэтому чувство чести и благородства говорило в нем теперь очень громко, заглушая нашептывания тщеславных расчетов].[19]
[Кровь — неприятная подробность королевского ремесла. Кто этого не любит, тому нечего делать на престоле.][20]

5) с упоминаниями Российского государства и русского начала в отрицательном контексте:

---

[11] ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. № 155. Л. 3.
[12] Там же. № 152. Л. 324.
[13] Там же. № 155. Л. 262.
[14] Там же. № 152. Л. 83.
[15] Там же. № 155. Л. 683.
[16] Там же. Л. 3—4.
[17] Там же. № 153. Л. 14.
[18] Там же. Л. 167.
[19] Там же. Л. 519.
[20] Там же. Л. 167.

О, Россия! Не говори мне об этой ужасной стране. ⟨...⟩ [Но нельзя отрицать того, что там умеют управлять народом.

— Я думаю, — возразила Ортруда, — что народы заслуживают лучшего управления.][21]

В вас течет, конечно, не благородная тевтонская кровь, а кровь [славянская] /монгольская,/ рабская кровь, кровь обманщика и изменника![22]

6) с изображением восстания и жестокости властей при его подавлении:

[Приходилось слышать, что они говорят: «мы с полициею заодно». Говорят: «мы вместе с жандармами за Царя». По всему видно, что почва для погрома готова.][23]

[Убийство товарищей стояло в их сознании бесцельною, преступною жестокостью.][24]

Вычеркнуты пространные отрывки — такие, как изображение обыска задержанных и порки девушек в полицейском участке,[25] избиения демонстрации детей.[26] Они смыкаются со следующим типом сокращенных фрагментов.

2. Фрагменты садомазохистского содержания:

[Потом она заговорила уже опять спокойным и ровным голосом:

— Скажите, может быть, вы захотите высечь меня?

— За что сечь вас, Катя?

— Не за что, а... Или хоть за то, что я.... Ах, мало ли за что... Да вот я на днях пачку литературы оставила в магазине Красильникова. Спасибо, Красильников послал ее ко мне с мальчиком, — не догадался, что там завернуто, подумал, тетрадки моих учениц. А могла бы попасть куда не надо.

— Это, Катя, со всяким может случиться, — сказал Триродов.

Алкина тихо и спокойно по-прежнему говорила:

— Если вы захотите это сделать, сделайте. Я все от вас перенесу.

Триродов молчал. Алкина сказала:

— Хотите теперь? сейчас?

— Нет, — сказал Триродов.

Алкина посмотрела на него внимательно, вздохнула, и сказала:

— Когда захотите, напишите, я приду, и буду послушна.

Триродов молчал. Алкина подождала немного, и опять заговорила:

— Заставьте меня сделать что-нибудь, чем-нибудь забавить вас. Что хотите. Хотите, я спляшу перед вами? Хотите, я вымою сейчас этот пол? Или вымою ваши ноги, и выпью эту воду, как раба, покорная господину?

— Не хочу, Катя, — спокойно ответил Триродов. — Зачем это вам надо?

Но он знал, зачем. Алкина взглянула на него быстрым взглядом, улыбнулась, и сказала:

— Точно делом занимаемся. Скучно же так, без всяких отклонений.

— Чего же вы хотите? — спросил Триродов.

— То, что мы делаем, в сущности, очень добродетельно, — говорила Алкина. — Меня бы порадовал хотя бы самый легкий налет извращенности.

Изгибаясь змеиными движениями, она забилась на широком ложе.

Триродов сказал спокойно:

— Если вы хотите боли, — что же, кто не любит мгновенных болей бичующих, тот не умеет жить. Боль, как и голод, близят нас к смерти, и в этом их

---

[21] Там же. Л. 171—172.
[22] Там же. Л. 302.
[23] Там же. № 155. Л. 641.
[24] Там же. № 152. Л. 248.
[25] Там же. № 155. Л. 236—247.
[26] Там же. № 155. Л. 264—268.

истина. Голод ужасен, но кто не проголодается, тому скучен обед. Ужасна и боль, но без нее скучна безоблачность жизни. Боль нужна уже потому, что она экстатична.

Алкина опустилась на колени у ног Триродова, прижалась к нему, и сказала:

— Теперь у меня одна мечта, одна мечта, — лежать перед вами связанною так, чтобы не пошевелиться, и чтобы падали удар за ударом на голое тело с нестерпимою болью, и вопить во весь голос в экстазе невыносимой муки. Вы сделаете это мне? да, сделаете? Вы не можете мне отказать в этом, если это мне сладостно, если я вам так отдаюсь.][27]

3. Фрагменты антиклерикального содержания:

1) с ироничной оценкой религиозных рассуждений:
[Вы, государыня, не хотите быть овцою, потерянною и опять обретенною Пастырем, и о которой Он так радуется?
— Нет, не хочу быть овцою, — сказала королева Ортруда.
Ей вдруг захотелось смеяться, — показалось забавным частое повторение слова «овца».][28]
2) с неодобрительным изображением жизни священнослужителей:
— У монахов деньги не свои, [им дураки несут, чего их жалеть]![29]
3) с непочтительными высказываниями по отношению к церковным обрядам и предметам культа:
[— Чудотворная! Вот мы и посмотрим, как она за себя постоит!][30]

Бóльшая часть фрагментов, изъятых из машинописи XVIII—XIX томов, была напечатана в ранней редакции, прежде опубликованной в альманахах «Шиповник». Исключение составляют немногие эпизоды, такие, как часть вышеупомянутого диалога Триродова с Алкиной,[31] ответ мальчика из триродовской колонии, начавшего читать «Гимн рабочих» вместо требуемого государственного гимна.[32] Так как машинопись, отданная в издательство «Шиповник», не сохранилась, можно только предполагать, что эти эпизоды должны были быть опубликованы и в альманахах, но были исключены из-за опасного с цензурной точки зрения содержания. Редкую обратную ситуацию, когда текст воспроизведен в собрании сочинений, но не вошел в раннюю редакцию, представляют собой строки из народной песни об уряднике, выгнанном из избы мужиками, и о разговорах народа:

Как бы барам досадить,
Землю нам переделить.[33]

Текст романа в сборниках «Земля» был подвергнут бóльшей авторской переработке и расширению на этапе создания поздней редакции, чем текст в альманахах «Шиповник». Поскольку сохранилась машинопись романа «Дым и пепел», опубликованного в сборниках «Земля», то, предполагая, что ее копия была отдана в издательство, можно заключить, что текст в сборниках «Земля» подвергся бóльшим сокращениям, чем текст альманахов. Многие фрагменты были как в машинописи собрания сочинений, так и в машинописи романа «Дым и пепел», но они не вошли ни в раннее, ни в позднее издание (например, покушение на королеву Ортруду гимн рабочих, избиение детского митинга казаками и др.).

---

[27] Там же. № 152. Л. 188—191.
[28] Там же. № 153. Л. 480—481.
[29] Там же. № 155. Л. 645.
[30] Там же. № 152. Л. 312.
[31] Там же. Л. 188—189.
[32] Там же. Л. 505.
[33] Там же. Л. 356.

Таким образом, постепенно количество сокращений в тексте увеличивалось, от минимального в альманахах «Шиповник» до максимального в тексте собрания сочинений. Это можно объяснить как увеличением с каждым годом количества преследований по делам печати, так и литературной репутацией Сологуба. Активное обсуждение в критике излишней эротичности его произведений, его публицистические статьи с осуждением существующего строя, художественные произведения антиправительственной направленности (политические сказочки, стихотворения) способствовали созданию облика неблагонадежного писателя.

При подготовке научного издания романа возникает проблема: включать ли приведенные отрывки в корпус основного текста?

При обращении к опыту предыдущих научных изданий символистских романов, «Мелкий бес» Ф. Сологуба[34] и «Петербург» А. Белого,[35] видим публикацию текста по корректуре в первом случае, по наборной рукописи — во втором.

Применительно к роману «Творимая легенда» оба решения имеют свои недостатки. Текст наборной рукописи более полный, он политически заострен, выпущенные фрагменты придают иную, более жесткую окраску роману. В то же время корректура включает в себя последнюю авторскую правку, которая проходит через весь текст, отказ от нее повлияет на восприятие произведения. Писатель последовательно исправлял «вы» на «ты» в обращении Петра к дяде, Афры и Ортруды, Ортруды и Танкреда (в период до их конфликта), имя Люцифер менял на Светозарный, вводил некоторые уточнения. Например, «много есть вещей, которыми можно играть. Можно играть!» перешло в «много есть вещей, которыми можно играть, смешивая магиею отражений времена и пространства».[36] Надписи на корректуре, сделанные рукой Сологуба, подобные следующей: «По исправлении печатать. Федор Сологуб»,[37] документально закрепили новую версию текста. Выбор между текстом без цензурных купюр, но и без последующей авторской правки и текстом с цензурными купюрами и с авторской правкой невозможен.

С учетом ценности как корректуры, так и наборной рукописи, наиболее адекватная авторской воле версия текста получится при совмещении этих двух слоев. Для такой публикации текста за основу следует взять корректуру с учетом авторской правки, а сокращенные фрагменты вставить в текст по наборной рукописи.[38] Тогда сохранится как авторская правка, так и сокращенные по цензурным соображениям места.

---

[34] *Сологуб Ф.* Мелкий бес / Отв. ред. А. В. Лавров; Сост., статья и комм. М. М. Павловой. СПб., 2004.

[35] *Белый А.* Петербург / Отв. ред. Д. С. Лихачев; Ред. 2-го изд. А. В. Лавров; Сост., прим. Л. К. Долгополова; Прим. С. С. Гречишкина, А. В. Лаврова. СПб., 2004.

[36] ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. № 156.

[37] Там же.

[38] Подобное решение (печать текста по корректуре с восстановлением цензурных купюр) было принято при публикации романа Л. Толстого «Воскресение», см.: *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. / Под общ. ред. В. Г. Черткова; Ред. Н. К. Гудзий. М.; Л., 1933, 1935. Т. 32, 33.

© *И. Н. Шатова*

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ КАРНАВАЛ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1900—1930-Х ГОДОВ[1]

Взаимовлияние гротескно-карнавальной стихии и тайнописи обусловлено генетически: слова *криптография* и *гротеск* этимологически родственны. Итальянское *grottesca* произошло от слова *grotta* ('грот, пещера'; гротескные орнаменты были обнаружены на стенах подземных помещений при раскопках XV века в Риме), которое восходит к латинскому *crypta*,[2] а оно, в свою очередь, происходит от греческого *kryptō* ('закрываю, скрываю, утаиваю, прячу'). Другая родственная пара слов *маскарад* и *маскировка* ('закрывание, утаивание') подтверждает наличие внутренней связи между криптографией и карнавалом.

Хитросплетения приведенной этимологии позволяют выявить внутреннюю близость гротескных причудливых сочетаний, преувеличений, метаморфоз, карнавальной смеховой стихии, таящей «перевернутые», скрытые смыслы, и игрового тайнописания, прихотливого в руках изысканных мастеров стиха и стиля. В русской поэзии Серебряного века основным способом создания криптограмм стало анаграммирование — зашифровка слов с помощью перестановки букв и распространения в тексте ключевых созвучий. Скрывая интимные или профанно-смеховые подтексты, тайнопись становилась средством карнавализации, неотъемлемым атрибутом игровой стихии поэзии.

Интерес к исследованию анаграммы как архаической формы звуковой структуры поэтических текстов возник на рубеже XIX и XX веков благодаря разысканиям Ф. де Соссюра, но широкое распространение получил лишь после 1964 года, когда Ж. Старобинский опубликовал анаграмматические записи женевского лингвиста. Среди наиболее заметных работ об анаграмматизме в русской литературе Серебряного века необходимо назвать статьи В. Н. Топорова и Вяч. Вс. Иванова, посвященные анализам анаграмматических структур в поэтическом наследии Вяч. Иванова, О. Мандельштама, А. Белого, публикации Р. О. Якобсона, А. А. Ханзен-Лёве, Е. Фарыно, В. П. Григорьева, А. Е. Парниса о поэзии В. Хлебникова и футуристов, статью В. С. Баевского и А. Д. Кошелева о поэтике А. Блока, наблюдения В. Н. Топорова и Н. А. Богомолова над анаграммированием в поэзии М. Кузмина.[3]

Анаграммы и криптограммы как средство карнавализации художественного мира играют важную роль в творчестве русских писателей первой трети XX века. Анаграмматические традиции Серебряного века получили развитие в поэтике русского авангарда 1920—1930-х годов. Вяч. Иванов, М. Кузмин, А. Белый, М. Волошин, О. Мандельштам, В. Хлебников, К. Вагинов, Д. Хармс и многие другие поэты первой трети XX века — замечательные мастера анаграмматического искусства, однако своеобразие их тайнописи и анаграммирования охарактеризовано не достаточно полно и нуждается в тщательном анализе. Нижеследующие заметки предполагают решение таких задач: проведение анаграмматического анализа ряда известных произведений М. Кузмина и Д. Хармса; выявление специфики воздействия анаграмм и криптограмм на семантику художественных произведений; рассмотре-

[1] Статья написана на основе доклада, представленного на Международной научной конференции «Семантическая целостность Серебряного века», которая состоялась в Лионе 25 и 26 июня 2009 года.

[2] *Крысин Л. П.* Толковый словарь иноязычных слов. М., 2006. С. 223, 408.

[3] См.: *Топоров В. Н.* К исследованию анаграмматических структур (анализы) // Исследования по структуре текста / Отв. ред. Т. В. Цивьян. М., 1987. С. 225—226; *Богомолов Н. А.* «Тетушка искусств». Оккультные коды в поэзии М. Кузмина // Богомолов Н. А. Русская литература первой трети XX века и оккультизм. М., 1999. С. 162—163.

ние своеобразия криптографического карнавала в русской литературе первой трети XX века. Игровой, ироничный, карнавальный характер творчества поэтов, о которых пойдет речь, их игры с именами, внимание к поэтической этимологии, их интерес к акустическим эффектам, фонетическим повторам, языковым парадоксам, созданию собственных языковых норм позволяет надеяться, что предложенные материалы верно отражают дух творческих исканий Михаила Кузмина и Даниила Хармса.

В. Н. Топоров отметил, что анаграмматические тексты представляют собою «род *загадки*; анализируя некий текст, на основании ряда сначала не определенных элементов, нужно *отгадать* зашифрованное имя».[4] Рассматривая тайнопись Кузмина, обратимся вначале к двустишию, подобному загадке, — «Посвящению» к сборнику «Осенние озера» (1912): «Сердце, любившее вдоволь, водило моею рукою, / Имя же я утаю: сердце — ревниво мое».[5] Семантическая подсказка для нахождения криптонима — ключевая фраза «Имя же я утаю». Фонетическими подсказками служат смежный повтор «*вдоволь*, *водило*», где сосредоточены четыре фонемы слова-отгадки из шести, и двойной повтор созвучия *се* в сильной позиции (ударной, в начале слова). В первых четырех словах актуализируются все фонемы скрытого имени и приведены характерные для тайнописи анаграммы: 1) контактная неполная, с заменой одной пропущенной фонемы на другую, коррелируемую с ней, т. е. несовпадающую лишь по одному признаку; в данном случае, оппозиция фонем *с* / *ш* («**Се**рдце, люби**вшее вдоволь**, **водило**»: В**с**ЕВОЛОД); 2) дистантные (прерывистые) анаграммы, прямая и обратная: «По**свя**щение. **Се**рдце, люби**вшее вдоволь**, **водило** ⟨...⟩ **се**рдце — **ревниво** мое» (Вс...се...еволод, В...се...волод).[6] Анаграммы раскрывают «потаенное» имя адресата книги — Всеволода Князева.

Первый опубликованный цикл Кузмина «Тринадцать сонетов» (1903) содержит замечательное произведение, тематика которого может служить «ключом» для криптографических подтекстов поэта: «Открыто царское письмо нельзя прочесть, / Но лишь поднесть его к свече горящей — / Увидишь ясно из бумаги спящей / Ряд слов, несущих царственную весть. ⟨...⟩ Моя душа есть царское письмо, / Закрыто всем, незначаще иль лживо. / Лишь тот прочтет, кому прочесть дано, / Кому гонец приносит бережливо. // От пламени любви печати тают / И знаки роковые выступают» (с. 594—595) («Открыто царское письмо нельзя прочесть...»).

Тайнопись позволяет уточнить имена явных или скрытых адресатов многих произведений Кузмина и выявить их поэтическую этимологию. Анаграмматический анализ «Разговора» из цикла «Ракеты» (1907) подсказывает предположительное имя прообраза друга маркиза: «Маркиз гуляет с другом в **цветнике**» (с. 82) (ВИТЕНЬКЕ);[7] адресат цикла — Виктор Наумов. Стихотворение «Уж прожил года двадцать три я...» (1912), посвященное Ю. Ракитину, выполнено «в жанре наставления другу-путешественнику на примере собственного опыта, оно построено на контрастном параллелизме двух любовных историй — своей, печальной, уже сбывшейся, и чужой, еще не сбывшейся, но долженствующей быть счастливой»:[8] «Уж прожил года двадцать три я, / Когда увидел, пьян и горд, / Твой плоский и зеленый порт, / Блаженная Александрия! / С жасмином траурный левкой / Смешался

---

[4] *Топоров В. Н.* Указ. соч. С. 232.

[5] *Кузмин М. А.* Стихотворения / Вступ. статья, сост., подг. текста и прим. Н. А. Богомолова. СПб., 2000. С. 137. (Сер. «Новая библиотека поэта».) Далее произведения М. Кузмина (кроме специально оговариваемых случаев) цитируются по этому изданию с указанием страницы.

[6] Здесь и далее анаграммы в художественном тексте выделены жирным шрифтом, контактные анаграммы вне текста обозначены заглавными буквами, дистантные анаграммы — строчными; коррелируемые фонемы неполных анаграмм подчеркнуты.

[7] М. Кузмин называл своих друзей уменьшительно-ласкательными именами: Юрочка, Оленька или Моня, Тяпа, Юша.

[8] *Панова Л. Г.* Русский Египет. Александрийская поэтика Михаила Кузмина: В 2 кн. М., 2006. Кн. 1. С. 531—532.

в памяти бродячей, / Но воздух нежный и горячий / Все возмущает мой покой». Тайное имя друга юности Кузмина проявлено в начальных словах: «**Уж прожил**» (ЖОРЖ, ЖОРЖУ); открыто не названный в стихотворении, но биографически и анаграмматически узнаваемый друг поэта «князь Жорж» умер, возвращаясь из путешествия в Египет. Анаграмма подкреплена десятикратным повтором фонемы *ж* в контекстах, соотносимых с воспоминаниями о «князе Жорже», в том числе тройным повтором звукового комплекса *рож* и четырехкратным повтором *уж* / *жу* в словах *уж прожил*, *прожив*, «нам всё *присуждено* / С *рождения*» и др. Обращение к адресату-путешественнику, актеру и режиссеру Юрию Ракитину подсказывает появление еще одной именной анаграммы, скрытой в финальном четверостишии: «Я **верю**, деньги все прожив, / Вернешься счастливо в Одессу» (с. 261—262) (*верю* ЮРЕ).

Криптонимы племянника Кузмина закономерно появляются в стихотворении «Одна звезда тебе над колыбелью...» (1908) с посвящением «С. Ауслендеру»: «Два языка даны душе одной: / **Моя печаль** поет твоей свирелью. / Ты, **как Челлини**, жаден к рукоделью ⟨...⟩ **Печальный** отрок, горестен **и мил** ⟨...⟩ Не тот же **ль хмель почуешь** скоро ты ⟨...⟩ Любви чужой прилежный **ученик**» (с. 187) и т. д. (звучные, выразительные фонетические повторы в словах *моя печаль*, *как Челлини*, *печальный*, *ученик*, *хмель почуешь*, *сплетаешь*, *лепет* и других навевают звукообраз племя...нничек, племянич...ничку). Стихотворение «Уезжал я средь мрака...» (1909) воспроизводит реальную ситуацию отъезда Кузмина из Окуловки, описанную в дневниковой записи поэта от 8 июля 1909 года.[9] В тексте можно найти не только вероятные криптонимы друзей, но и анаграмму клички собаки, провожавшей поэта до станции: «Уезжал я **средь мрака**... / **Провожали меня** / **Только друг да** собака» (с. 172) (МЕДоРКА или МЕДОРКА, Ме...дорк...ка).

Автор слов и музыки гимна «Бродячей собаки» (1912), поэт и композитор Кузмин в хороводе имен завсегдатаев и деятельных участников артистического кабаре скромно и шутливо упрятал в созвучном «музыкальном» контексте анаграмму и своей фамилии: «Мы не строим строгой **мины** ⟨...⟩ Пишут стены и **камин** ⟨...⟩ И кубический **Кульбин** ⟨...⟩ Дух **музыки не** уронен»[10] (КУЗМИН, «дух *музыки не* уронен» КУЗМИНЫМ; еще одна возможная вариация — КУЗМИНЫ, так как известно, что родители поэта тоже увлекались музыкой).

Творчество Кузмина последующих лет продолжает данную традицию — анаграмматическое дублирование имен прототипов и адресатов, вписывание криптонимов в уместные контексты, позволяющие приоткрыть авторское отношение к ним или их характеристику. Отметим стихотворения, обращенные к конкретным лицам. К примеру, «Поручение» (1922) посвящено двум Тамарам — Т. П. Карсавиной и Т. М. Персиц. Анаграмма первой из них присутствует уже в начальной строке: «Если будешь, странник, в **Берлине** ⟨...⟩ **ослабели ли наши руки**» (с. 497) (БАЛЕРИНЕ или бале...лерине). Цикл «Стихи об Италии» адресован Тамаре Персиц; этот факт, вероятно, объясняет выбор начального стихотворения: его заголовок «Пять» (⟨1920⟩) созвучен «домашнему» имени подруги поэта — ТЯПА. Анаграмма повторяется трижды и в финальной строфе: «Господень сад, великий Рим, / К тебе вернусь **опять**! / К тебе мы, странники, горим, / Горим себя **распять**!.. / **А** эхо шепчет: **„Пять!"**» (ТЯПА); «В разливах розовой **зари**! / **А память сердцу** все: „Гори!"» (с. 445, 444) (ТЯПА ПЕРСИЦ). Выразительная звукопись следующего стихотворения того же цикла — «Озера Неми» (⟨1919⟩) — позволяет выявить не только многочисленные аллитерации и ассонансы («И *словно лунный луч лукавы*», «*Серебристый стелет лён Селена*»), но и созвучия ключевых слов — в сильной позиции, в

[9] *Кузмин М.* Дневник 1908—1915 / Предисл., подг. текста и комм. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб., 2005. С. 150—151.

[10] *Кузмин М. А.* Стихотворения. Из переписки / Сост., подг. текста, прим. Н. А. Богомолова. М., 2006. С. 58—59.

начальной и финальной строфе: «**Смарагдным градом** *прянет рай*, / Но о надежде, не измене, / Зелено-серый **серп**, **играй** ⟨...⟩ **Под кипарис**ами бездомно / Белеют **мрамором гроба**» (с. 445—446) (АНАГРАММЫ, крипто...тограмма) и т. д.

Стихотворение «Славный городок Марсель...» (⟨1917⟩) адресовано участникам поэтического сообщества «Марсельские матросы» и содержит своеобразный криптографический каталог имен молодых поэтов: «Чаркой друга **помянуть**» (МОНЯ — домашнее, дружеское имя Моисея Бамдаса, постоянно употребляемое Кузминым), «Мы корабль по**гоним** вскачь» (корабль МОНИ), «Это — **правда**, **а не ложь**» (РАДЛОВА АНЬА, АНЕ), «**Чаркой** друга помянуть ⟨...⟩ **Такова у нас судьба**. / Не **горюй** о том, не плачь» (*не горюй*, ЮРиЙ, Юро...рочка Юр...кунас), «Всякий весел, всякий **горд** ⟨...⟩ **Не горюй** о том, не плачь» (ГЕОРГИЙ, ГЕОРГИЮ), «**И** вернемся **снова** к **вам**» (Ив...ванов) и др. Анаграмматический анализ позволяет буквально воспринимать строчку «Капитан один не в счет»:[11] действительно, криптонимы автора в тексте отсутствуют.

Цикл Кузмина «Новый Гуль» (1924) посвящен Льву Ракову. Именные анаграммы адресата встречаются в каждом из его стихотворений: «И отказаться я готов / От мушек и от **пари**ков» (РАКОВ) (с. 520) («Античность надо позабыть...»); «Не писанная — **мокрая река**» (РАКОв), «Протянута, **как** приглашенье, / К тебе **горячая рука**» (РАКОв или РАЧОК) (с. 520) («Ты слышишь ветер? Солнце и февраль!..»); «К вам **ра**ньше, знаю, прилетят **грачи** ⟨...⟩ то было отраженье / Моих **зрачков**, упорных и смущенных» (РАКОВ или РАЧОК, РАЧКОВ) (с. 524) («К вам раньше, знаю, прилетят грачи...»); «**Рука во**лшебно на**вела** / На **правильный квадрат** стекла / Узорные фигуры» (РАКОВ ЛЕВ или РАКОВУ, *рука* РАКОВА ЛЬВА) («Держу невиданный кристалл...») и т. д. Финальное стихотворение цикла обнаруживает симптоматичное созвучие слов-*анаграмм грани — игра*, а также ключевые подсказки, которые привносят в текст игровой ракурс и указывают на множественность восприятий и смыслов, один из которых может быть связан со словесными играми: «И каждый быстрый поворот / Всё новую с собой несет / Игру и сочетанье» (с. 528) («Держу невиданный кристалл...»).

Стихотворение того же цикла «Я этот вечер помню, как сегодня...» содержит подобные анаграмматические подтексты: «„**Откро**й глаза, сомненья отогнав". / Вдруг стало всё так ясно, так желанно, / **Как** будто **в руку** мне **вло**жили нить» (РАКОВУ, ЛЕВ), «А **дурочка** Дорина с сост**раданьем** / Нас слушала, про шимми позабыв» (РАЧОК, РАЧКУ), а также криптонимы поэта: «**Нас музыка**, прелестнейшая сводня, / Уговорила, ветренно горя ⟨...⟩ Уж сделался таинственным свиданьем / Простой **визит**, **судьбу** пере**менив**» (с. 522—523) (Кузм...мин, *музыка* КУЗМиНА), «Нас слушала, про **шимми** позабыв» (*шимми* в исполнении МИШИ);[12] авторские криптонимы не менее убедительны и в других произведениях этого цикла. Отчетливо звучит в тексте, карнавализируя его, полная контактная именная анаграмма еще одного участника описываемых событий — прозвище *Дориан*, придуманное Кузминым для Юрия Юркуна.[13] Убедительность криптонима усилена шестикратным повтором входящих в него созвучий — двумя комплексами смежных тройных повторов звуков и фонем, составляющих поэтоним *Дорина*: «**Недаром** пел я „**Случай и Дорину**", / Пропа**гандируя** берлинский **нрав**!», «**А дурочка Дорина** с сост**раданьем** / Нас слушала, про шимми позабыв» («нас слушала» не *Дорина*, а ДОРИАН, «*дурочка Дорина*» — ⟨Ю⟩УРОЧКА-ДОРИАН или ДУРАЧОК ДОРИАН). В ка-

[11] Там же. С. 74.

[12] В стихотворении «Я этот вечер помню, как сегодня...» говорится об исполнении Кузминым арии из популярной оперетты Ж. Жильбера «Дорина и случай».

[13] Юрий Юркун — псевдоним писателя и художника Иосифа Юркунаса, друга и постоянного спутника Кузмина с 1913 года до самой смерти. См. в стихотворении Кузмина, посвященном Юркуну: «Вы — молчаливо-нежное дитя, / Лениво грезите о Дориане» (с. 233) («Вы — молчаливо-нежное дитя...», 1913).

честве ключевых слов, которые могут намекать на присутствие тайнописи, воспринимаются начальные фразы третьей и четвертой, финальной, строфы: «Вдруг стало всё так ясно, так желанно, / Как будто в руку мне вложили нить», «С каким слова приходят опозданьем! / Уж сделался таинственным свиданьем / Простой визит, судьбу переменив» (с. 522—523).

Не только поэзия, но и карнавальная проза Кузмина предоставляет любопытный материал для анаграмматического анализа. Такова, например, «объяснительная проза» к «лирической поэме для музыки» «Лесок» (1921). Поэма посвящена Юрию Юркуну; некоторые созвучия лирических текстов и «объяснительной прозы» порождают отчетливые звукообразы его имени. Рассмотрим шестой фрагмент-миниатюру «Апулеевского леска» «Представление: Суд Париса». В описании внешности Париса и окружающей его обстановки рассеяны вероятные именные анаграммы Юркуна: «Пастушеская **симфония**» (ИОСИФ), «Он прекрасен и простодушен, задумчивые и бессмысленные глаза тёлки, словно он прислушивается не то к музыке сфер, не то к собственному пищева**рению**. **На коленях румяное**, раздвоенное яблоко» (ЮРОНЬКА), «**На склоне** сидит **Александр Парис** во фригийской шапке. **Он прекрасен** ⟨...⟩ По **радуге одна за другою спускаются** богини» (ДРУГ ЮРКУнАС или Юрку...рк⟨у⟩нас). Криптонимы друга позволяют отождествить его с красавцем-пастухом Парисом. Со скрытыми именами Юрия переплетаются криптонимы второго вероятного персонажа потаенного плана. Ремарка «Пастушеская симфония», пастушеский колорит фрагмента, облик и наряд Париса могут служить намеком на театральные костюмы пастуха и пастушки, в которых явились на костюмированный бал 11 января 1921 года Юрий Юркун и его подруга, актриса Ольга Гильдебрандт-Арбенина. Образы богинь, бабочек, радуги, румяного яблока подсказывают возможность ее именных анаграмм: «**На склоне** сидит» (ОЛЕНЬКА), «**На коленях** румяное, раздвоенное яблоко. Изредка пастух его нюхает, потом опять неподвижен» (*на коленях* у Юрия — ОЛЕНЬКА), «желтые ба**бочки** садятся ему на **золотое** пле**чо**. **По радуге одна за другою** спускаются **богини**» («*по радуге одна*» спускается ПОДРУГА ГИЛЬДЕБРАНД Олеч...ичка). В сочетаниях слов «**Парис во фригийской шапке**. *Он прекрасен и простодушен*»[14] угадывается вероятная анаграмма-закрепка КРИПтОГРАФИЙА. Или далее, в девятой миниатюре «Афродита», где изображена победа богини любви в споре за парисово яблоко раздора: «Но вот словно душистый ветер, гонящ**ий оборванные** лепестки цветов» (АРБЕНИНА или АРБЕНИНОЙ), «вихрь лент, зорь, рыжих ку**дрей**, **голубей**, пер**ламутра**, пудры, легкого вина ⟨...⟩ Небесный поцелуй обжигает мальчика. **Трубы. Богини** исчезли» (ГИЛДЕБРАНДТ), вихрь «легкого ви**на**, **искр закрутился**»[15] (ЙУРКУНАС).

В дореволюционные времена эстет Кузмин был «совершенно чужд политики»,[16] однако события 1917 года не могли не привлечь его заинтересованного внимания, а ситуация в стране после октябрьского переворота побудила его сделать резкие выводы о новых формах правления. Об этом свидетельствуют записи в дневнике поэта (например, от 20 июля 1918 года, в связи с расстрелом царской семьи: «Безмозглая хамская сволочь, другого слова нет»[17]), а также отдельные произведения, не опубликованные при жизни автора, такие как «Не губернаторша сидела с офицером...» (1924). Показательна и политическая тематика стихотворений цикла «Плен» (1919). Открывает цикл «Ангел благовествующий», где представлена точ-

[14] *Кузмин М. А.* Стихотворения. Из переписки. С. 112—113.

[15] Там же. С. 113.

[16] В 1907 году М. Кузмин писал В. Брюсову: «Октябристский характер газеты мне безразличен, т. к. я совершенно чужд политики, а в редкие минуты небезразличия сочувствую правым» (*Богомолов Н. А.* «Любовь — всегдашняя моя вера» // Кузмин М. А. Стихотворения. С. 36).

[17] Цит. по: *Богомолов Н. А., Малмстад Дж.* Михаил Кузмин: Искусство, жизнь, эпоха. СПб., 2007. С. 364.

ная и красноречивая оценка произошедших в стране изменений. В соответствии с контекстами, повествующими о мрачных временах нового правления, между строк прочитываются криптограммы на политическую тематику, например: «Нет ни битв, ни пожаров. / Подлые **выстрелы**, / Серая ненависть, / Тяжкая жизнь подпольная / Червей нерожденных ⟨...⟩ **Растер**янные, может быть, под**лые**, — / Но мы — люди» («нет битв», только «подлые в*ыстрелы*» — АРЕСТЫ, РАССТРЕЛЫ; вероятность контактной анаграммы усиливает дистантная: растре...стрелы). «Бац! / По морде смазали грязной тряпкой, / Отняли хлеб, свет, тепло, мясо ⟨...⟩ Всё, / И сказали: / „Живи и будь свободен!" / Бац! / Заперли в клетку, в казармы, / В богадельню, в сумасшедший дом, / Тоску и ненависть посеяв... / Не твой ли идеал осуществляется, **Аракчеев**? / „Живи и будь свободен!" / Бац! / Плитой придавили грудь» и т. д. Семантика контекста и звуковые повторы указывают на закономерное появление анаграммы в созвучной фамилии безжалостного государственного деятеля Ар*акчеева* — ВЭЧЕКА; данная ассоциация уместна потому, что в сентябре 1918 года в ответ на покушение на Ленина и убийство Урицкого был развязан массовый «красный террор».

Интимная, лирическая тематика начальной и заключительной частей «Ангела благовествующего» допускает появление именных анаграмм поэта и его друга, обусловленных многократными звуковыми повторами: «**Рукою радостной** завеса / Отд**ернута с** твоей души» (ЮРА ЮРКУНАС или Юрку...унас), «В ветренном, ветренном / Солнце **Нью-Йорка**» (ЮРОНЬКА), «Великопо**стно русск**ом, / Мартов**ской ро**зою **кроющем** ⟨...⟩ Итал**ьянск**ом **рукодельн**ом **солнце**» (Ю. Юрк...ркунас); «Вращались перед **изумленным** оком» (перед КУЗМИНЫМ), «**Капризном, земном**, / Лукавом» (М. КУЗМИН), «Боже, двух **жизней** мало ⟨...⟩ хозяйка, / В **зимнем** Онегинском солнце ⟨...⟩ С тех пор **изменился** я ⟨...⟩ (на **французском** языке) motto» и др. (*изменился* Кузм...змин, предками которого были французы).

Помимо анаграмматических контекстов, автобиографических мотивов, социально-политического содержания «Ангела благовествующего» и других стихотворений цикла «Плен», подсказкой для нахождения криптонимов служат повторы созвучий, складывающихся в звукообразы-закрепки: «Всё, где **спит** / **Тайны** шелест, / Где прелес**ть** / **Таинственно**го, милого *ис*кусства / Жива ⟨...⟩ И не знаешь, что делать: / **Писать**» (с. 636—641) (ТАЙНоПИСь, тайн...апись, тайно...пись) и др.

Сборник Кузмина с красноречивым названием «Параболы» (1922) открывает цикл «Стихи об искусстве». Финальное стихотворение этого цикла «Поля, полольщица, поли...» (другое название «Новый Озирис», 1922) метафорически прочитывается как своеобразная «инструкция» по декодированию текстов — выявлению в них дистантных анаграмм и восстановлению необходимой художественно-семантической целостности. Автор словно обращается к читателю-дешифровщику (отождествляемому с интуитивной Психеей, мистериально-магическими Персефоной и Изидой, возрождающей «нового Озириса» — текст-криптограмму во всей его полноте) и управляет его действиями: «У плотин пора остановиться, — / Руку затонувшую найдешь, / А плечо в другом поймаешь месте, / Уши в третьем... Спину и бедро... / Но всего трудней найти невесте / Залежей живительных ядро. // Изида, Озириса ищи! / Дева, полотнища полощи! // Куски раздробленные вместе слагает ⟨...⟩ Но сердце, Психея, найдешь ты последним, / И в грудь мою вложишь, и я оживу ⟨...⟩ В раздробленьи умирает, / Целым тело оживает... / Как Изида, ночью бродим, / По частям его находим, / Опаляем, омываем, / Сердце новое влагаем. ⟨...⟩ Плотью иной живет / Целостной жизни плод!» (с. 477—478).

Таким образом, пестрая ткань поэтических и отдельных прозаических карнавальных творений певца «прекрасной ясности» просвечивает криптограммами, составленными изящно, остроумно, убедительно, всегда уместно. Вяч. Иванов, В. Брюсов, В. Хлебников, Д. Хармс и другие почитатели анаграмматического искусства, которые столь высоко ценили поэзию Кузмина, без сомнения, отдавали

должное и его мастерству составления скрытых имен, слов, новых уровней прочтения текста.

В начале 1920-х годов вокруг М. Кузмина сформировалась группа эмоционалистов. Поэт и прозаик К. Вагинов опубликовал две повести и несколько стихотворений в эмоционалистском альманахе «Абраксас». Исследование звуковой стихии произведений Вагинова выявило, что одним из средств карнавализации его художественного мира была тайнопись — включение в повествовательную ткань анаграмм, составленных на актуальную тематику.[18] В 1927 году Вагинов вошел в состав ОБЭРИУ; писатели-обэриуты, в их числе Даниил Хармс, поддерживали творческие отношения с Кузминым. Вероятно, обэриуты были знакомы с анаграмматическими экспериментами К. Вагинова, М. Кузмина, В. Хлебникова и других поэтов, а природа их карнавальности, гротеска, алогизма и абсурдизма в некоторой степени обусловлена криптографическими подтекстами. Допускаю, что вопрос о намеренном или неосознанном возникновении в тексте анаграмматических структур был актуален в кругу обэриутов; об этом свидетельствует стихотворение Н. Заболоцкого «Читая стихи» (1948): «Нет! Поэзия ставит преграды / Нашим выдумкам, ибо она / Не для тех, кто, играя в шарады, / Надевает колпак колдуна»[19] и его же заметка «Мысль — Образ — Музыка» (1957).

Центральная статья декларации ОБЭРИУ «Поэзия обэриутов» (1928) производит впечатление метафорического описания методики создания и поиска дистантных и контактных анаграмм, завуалированного указания на основные стадии анаграммирования и анаграмматического анализа, изложенные в правильной последовательности. 1-й этап: поэт «разбрасывает предмет на части», «разбрасывает действие на куски», «получается в результате — видимость бессмыслицы». 2-й этап: «фантасмагория мира проходит перед глазами как бы облеченная в туман и дрожание. Однако через этот туман вы чувствуете близость предмета и его теплоту». 3-й этап: читатель-зритель должен «не полениться рассмотреть столкновение словесных смыслов», «расшифровать до конца»; «слушать и читать ⟨...⟩ следует более глазами и пальцами». 4-й этап: «предмет и действие, разложенные на свои составные, возникают, обновленные»; «предмет не дробится, но наоборот — сколачивается и уплотняется до отказа» «ощупывающей рукой зрителя»[20] (не читателя!).

А. Т. Никитаев, А. А. Александров, М. Б. Ямпольский и другие исследователи давно обратили внимание на увлечение Хармса деформацией и символической трансформацией слов, звукописью, тайнописью, анаграмматизмом. Разгадывание некоторых загадок, криптограмм и анаграмм Хармса предложил М. Б. Ямпольский в книге «Беспамятство как исток». Отметив склонность Хармса к зашифровыванию записей и разнообразие способов их кодирования (от астрологической символики датировок до идеограмм), А. Т. Никитаев восстановил тайнописный алфавит, придуманный поэтом, и предложил точную дешифровку текстов.[21] Интересные разыскания А. Т. Никитаева, М. Б. Ямпольского и других хармсоведов не исчерпывают тему. Наблюдения показывают, что анаграмматизм и криптография поэта нуждаются в более тщательном, систематическом анализе.

Даниил Хармс, как и Кузмин, и Вагинов, нередко придумывал художественные онимы, основываясь на звуковых аналогиях и языковой игре. В. Н. Сажин в

---

[18] См.: *Шатова И. Н.* Криптографический карнавал М. Кузмина, К. Вагинова, Д. Хармса. Запорожье, 2011.

[19] *Заболоцкий Н. А.* Собр. соч.: В 3 т. / Сост. Е. В. Заболоцкой, Н. Н. Заболоцкого, предисл. Н. Л. Степанова, прим. Е. В. Заболоцкой. М., 1983. Т. 1. С. 230. Здесь отсылкой к обэриутской поэтике является, очевидно, не только «колпак колдуна», но и «наши выдумки», и «игра в шарады».

[20] ОБЭРИУ ⟨Декларация⟩ // Ванна Архимеда / Сост., подг. текста, вступ. статья, прим. А. А. Александрова. Л., 1991. С. 458—459.

[21] См.: *Никитаев А. Т.* Тайнопись Даниила Хармса: Опыт дешифровки // Рисунки Хармса / Сост. Ю. С. Александров. СПб., 2006. С. 237—247.

примечаниях к «Истории Сдыгр Аппр» указывает, что фамилия профессора *Тартарелин*а являет собой аллюзию на имя *Тартальи* — персонажа-маски итальянской commedia dell'arte и комедий К. Гоцци; в стихотворении «Радость» Хармс, «как нередко бывает у него», «трансформирует имя греческого ученого» *Афинея* в *Афилея*, в стихотворении «Фадеев Калдеев и Пепермалдеев» *Калдеев* схоже с фамилией *Кильдеева* — дворника («домработника») дома на Надеждинской улице, где жил Хармс,[22] а первый из поэтонимов намекает на писателя А. Фадеева.[23] Исследователи поэтики имен персонажей и псевдонимов Хармса Е. Н. Остроухова и Ф. В. Кувшинов отметили, что в системе авторских псевдонимов прослеживаются несколько характерных линий, одна из них — анаграмматическая.[24]

О любви Хармса к розыгрышам, мистификациям, фокусам, играм (в том числе языковым) вспоминали многие его современники. Сам же поэт говорил о своем пристрастии к анаграммам устами персонажа драматического наброска «Факиров. Моя душа болит...» (⟨1933—1934⟩). Подобно Хармсу, его герой с красноречивым именем *Факиров* любит музыку Баха, «премудрость», магию чисел и расстановку букв: «А я всю жизнь, минуту каждую / премудрость жду, коплю и жаждую / то в числа вглядываюсь острым взглядом, / то буквы расставлю друг за другом рядом».[25] В 1931 году Хармс оставил в дневнике запись о «словесных машинах», которую можно трактовать многообразно, в том числе — и как завуалированное суждение об анаграмматическом «методе исследования» «силы слов»: «Сила заложенная в словах должна быть освобождена. Есть такие сочетания из слов при которых становится заметней действие силы. ⟨...⟩ Если можно думать о методе исследования этих сил, то этот метод должен быть совершенно иным чем методы применяемые до сих пор в науке. Тут, раньше всего, доказательством не может служить факт либо опыт. Я ХЫ затрудняюсь сказать чем придётся доказывать и проверять сказанное. Пока изесто мне четыре вида словесных машин: стихи, молитвы, песни и заговоры. Эти машины построены не пу тём вычисления или рассуждения, а иным пу тём, название которого АЛФАВИТЪ».[26] В ряду известных ему «словесных машин» автор называет поэтические и сакральные произведения, обладающие особой звуковой магией. Разыскания Ф. де Соссюра, В. Н. Топорова, Вяч. Вс. Иванова и других лингвистов подтвердили, что общим для древних индоевропейских традиций являлся особый принцип составления поэтических ритуальных текстов (в частности, священных гимнов) методом анаграмм.[27] В рассматриваемой дневниковой записи Хармса формальными указаниями или намеками на анаграмматический «метод исследования» могут быть выделения слов (Я ХЫ, АЛФАВИТЪ) и немотивированное членение слова *путем*.

Испытывая «силу слов», Хармс нередко вводил в свои тексты именные анаграммы близких ему людей, прежде всего — любимых женщин. В «Первом послании к Марине» (1935), адресованном второй жене поэта, звукообраз ее фамилии стал формообразующим фактором, анаграмма скрыта уже в начальной строке: «За то, что ты **молчи**шь, не буду / Тебя любить, мой милый друг ⟨...⟩ **Молча**ньем,

---

[22] *Сажин В. Н.* Примечания // Хармс Д. Малое собрание сочинений. СПб., 2005. С. 810, 815.

[23] *Ревяков И. С.* Халдеи, шабаш и амфибрахий (опыт интерпретации одного стихотворения Даниила Хармса) // Литературоведческий сборник. Вып. 17—18 / Отв. ред. М. М. Гиршман. Донецк, 2004. С. 127—137.

[24] *Остроухова Е. Н., Кувшинов Ф. В.* Псевдонимы Д. И. Хармса // «Странная» поэзия и «странная» проза / Под ред. Е. А. Яблокова, И. Е. Лошилова. М., 2003. С. 243.

[25] *Хармс Д.* Малое собрание сочинений / Сост., вступ. статья и комм. В. Сажина. СПб., 2005. С. 590—591. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы.

[26] *Хармс Д.* Записные книжки. Дневник: В 2 кн. / Подг. текста Ж.-Ф. Жаккара и В. Н. Сажина; вступ. статья, прим. В. Н. Сажина. СПб., 2002. Кн. 2. С. 174.

[27] *Иванов Вяч. Вс.* Очерки по предыстории и истории семиотики // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры: В 4 т. М., 1998. Т. 1. С. 617—627.

злостью **иль** обм**а**ном / Любовный кубок пролился, / **И молчали**вым **талисма**ном / Его наполнить вновь нельзя» (с. 233) (троекратный повтор ключевых родственных слов подсказывает фамилию МАЛИЧ). Примером языковой игры может служить «Наблюдение» (1933), в котором весь текст насыщен повтором созвучий фамилии художницы Алисы Порет,[28] указывающим, вероятно, на присутствие дистантных анаграмм: «два человека в злобном с**поре** / забыли все вокруг, но вскоре / им стал **проти**вен **этот спор** / и вот они **не спорят** больше с **этих пор** ⟨...⟩ угасли в них **по**рывы **пре**жней злости ⟨...⟩ „**Пор**вись **пор**вись моя окова? ⟨...⟩ не часто **встре**тишь ловкую **пару** ⟨...⟩ об **этом** вы до **этих пор** друг другу ни гу гу» (Поре...рет, Пор...эт), «**уга**сли» (АЛИСА). Впрочем, строки «и вот они не спорят больше **с этих** пор ⟨...⟩ И **если** нет возможности им **встре**титься ⟨...⟩ В наше время / не часто **встре**тишь ловкую пару. / То кнут сломается, то лопн**ет стре**мя» содержат также полную контактную и дистантную анаграмму имени первой жены поэта ЭСТЕР, Эст...стер. Брак Хармса с ней к тому времени распался, но бывшие супруги продолжали встречаться. В словах «Вот вы **расх**одитесь. За „**досви**дани**ем**" ⟨...⟩ при следующем с**ви**дании вы сами выйдете из тупика. / Ну, **до** с**ви**дани**е**, пока» скрыты вероятные именные анаграммы поэта: ДАНИИл или ДАНЬА ХАРмС, с*ви*дани*е* ДАНИ; «**два челове**ка в злобном споре ⟨...⟩ друг к друг**у чувствуют влече**нье ⟨...⟩ мол**ча**ли **чаю в** рот набрав» (Ювач...вачев, «*чувствуют влече*нье» к ЮВаЧЕВУ). Таким образом, анаграммы указывают имена и фамилии подразумеваемых персонажей и обнажают авторскую игру: тайнопись выявляет, что героев стихотворения не «два человека», а три, и о них автор лукаво говорит: «Мой глаз, хотя и посторонний / следит за вами со вниманием» (с. 199—200).

Драматическое произведение «Гвидон» (1930), посвященное Эстер, начинается строкой «лик**ует се**рна», в которой на стыке слов содержится анаграмма ЭСТЕР или ЛИКУ ЭСТЕР; весь текст пронизан звукообразом этого имени: «мне бы лапки **не стереть**», «**ветер** слуга», «Я **пере**кр**ести**лась» (с. 581—588) и т. д. (ЭСТЕР). В строках «Смотрите, вечереет / и купол **храма рассм**отреть нельзя» (с. 590) отчетливо звучит анаграмма ХАРМС, которая способна прояснить авторскую этимологию загадочного псевдонима, ставшего официальным именем поэта. Выявление этой анаграммы уместно потому, что в облике протагониста, «вершителя стихов», угадывается бесспорный намек на самого автора: взаимоотношения между Лизой и ее «женихом из женихов» Гвидоном проецируются на отношения Хармса и Эстер. В более позднем фрагменте, который Хармс намеревался включить в окончательный текст «Гвидона», есть замечательные строки: «Когда дубов зеленый лист / среди росы, / когда в ушах мы слышим свист / кривой косы, / когда земля трещит в длину / и пополам, / тогда мы смотрим на луну / и страшно нам. / Но лишь в ответ ударит в пень / **стальной** топор — / умчится ночь, настанет день, / и грянет хор».[29] В абсолютном соответствии с контекстом во фрагмент введена легко угадываемая криптограмма СТАЛИН, «ударит топор» СТАЛИНА, которая и объясняет, почему автор не включил эти строки в основной текст.

В раннем стихотворении «От бабушки до Esther» (⟨1925⟩) уже третье слово «**трестень**» содержит анаграмму имени ЭСТЕР, а третья строка — анаграмму ее фамилии: «**рукой саратовской в** мыло уйду» (РУСАКОВА или РУСАКОВОЙ); «миндера **буль** / **ул**ька и фанька» скрывает ЛЬУБЛЬУ, «Владимирскую **попере**к / **посельницам**» (пере...селенцам или ПОСЕЛЕНЦАМ); отец Эстер А. И. Русаков до 1905 года жил в Таганроге, затем с семьей эмигрировал в Аргентину, позже переехал во Францию, в Марсель, а в 1919 году поселился в Петрограде; «**по**ёт **карма**ны / из **ул**ицы» (поёт «КАРМеН» или «Карманьё...лу» — французскую революци-

[28] Записи в дневнике Хармса (например, от 18 февраля 1933 года) свидетельствуют, что в это время поэт был чрезвычайно увлечен Алисой Порет.

[29] Цит. по: *Кобринский А. А.* Даниил Хармс. М., 2008. С. 190. (Сер. «Жизнь замечательных людей»).

онную песню; во Франции отец Эстер примкнул к коммунистам-анархистам). Финальные строки прочитываются как анаграмма-закрепка: «**ми**ндера буль / **улька и фанька** / **и ситец и я**» (ми...истификация), «**фарс**ится шляпой» (с. 19—21) (ФАРС).

Во вступительной части драматического произведения «Лапа» (1930) монограмма-посвящение Эстер мотивирует появление узнаваемых именных анаграмм горячо любимой жены: «подушку спутанных волос / **пе**ре**крести** ключом святым ⟨...⟩ я **невеста** земляка ⟨...⟩ и отмечу я в **тетради** / **встречи статуя с** тобой ⟨...⟩ ты земля, а я **престол**» (ЭСТЕР, Эст...стер), а также самого автора: «У **хра**па есть концы голос / подобны **хрипы** запятым ⟨...⟩ мне в колодец окунаться / **мрамор духа холодить** ⟨...⟩ По **ударам сердца** счёт / **время** ласково течёт» (Д. ХАРМС или Д. Харм...армс), «О статуя всех статуй / **дням дыханье растатуй**» (ДАНЯ ХАРМС). Подсказкой служат многократные трансформации слов, имен, смыслов: «небо нябо небоби», «*Глубь* и *голубь* одно в другое превращалось», Мария Ивановна Со сна — Мар. Ив. Сосна, Ангел Капуста — Копуста — Компуста — Коптуста — Пантоста — Хартраста — Холбаста — Хлампуста — Хлемписта, взаимоанаграмматичные имена персонажей **Аменхотеп** и **Подхелуков** и т. д.

В «Лапе», написанной еще до первого ареста автора, одно из главных действующих лиц — Власть, поэтому здесь уместны и узнаваемые криптонимы на политические темы. Они появляются в прологе: «**сон ли это или смерть** / зверь тетрадь мою **листает** ⟨...⟩ там пух петухов / на **Глинкин** плац ⟨...⟩ О **статуя** всех **статуй** / дням дыханье **растатуй** ⟨...⟩ И медь и **кобальт** и пружина / в чугун **проникли** головой / от туда **сталь** кричит: **ножи** на!» (Стали...лин, Сталь...лин, КОБА) и в финале: «Опять глаза покрыл **фисок и** глина. / мы снова спим и видим сны большого / млина» («глаза покрыл» ИОСИФ) и др. Отметим знаменательные для криптографических подтекстов слова «сон ли это или смерть / зверь тетрадь мою листает», «сталь кричит: ножи на!», «ты щенок, а я судья», «Будут тебя мой голубчик / Сосны тогда обнимать», «Не косайся таких вопросов. Я жить хочу», «Сейчас господствует эпидемия брюшного тифа», «Ах, зачем вы его не задержали! Ему прямая дорога в Г. П. У.», «Он скакал **на карандаше**?» (с. 111—131) (сказано о Хлебникове) (ШАРАДА) и др.

Определенные политические подтексты, навеянные трагической обстановкой в советской России 1920-х годов, угадываются также в пьесе «Елизавета Бам» (1927). Из таинственного «домика на горе» приходит Пётр Николаевич с намерением арестовать Елизавету Бам. В ответ на вопрос своего коллеги «кто в этом домике живет?» Пётр Николаевич поясняет: «Никто в нем не живет / и дверь не растворяет ⟨...⟩ целый день пустынником сидит **на печке таракан**». Из этих созвучий и смыслов складываются криптонимы, позволяющие трактовать «домик на горе» и его **печку** (сквозные образы пьесы) как оплот ЧЕКА или ПЭЧЕКА, ПЕ́ТРАЧЕКА́ (ПЕТРо̲ЧЕКА[30]) (ключевые слова «Никто в нем *не живет*»). Аналогичные анаграммы многократно прочитываются и в других фрагментах текста, даже в ремарках, таких как «(зажигая **спичку**)», «**Копеечку** бы», «У Вас **чрезвычай**но приятная внешность ⟨...⟩ над **озером быстрая чайка** летит» (Чрезвычай...чайка) и т. д.

Рассмотрим подробнее описание загадочного «домика на горе»: «Стоит избушка — деревянный домик, / в избушке светит огонёк, / на огонёк слетаются черницы, / стучат в окно ночные комары. / Порой шмыгнет и выпорхнет под крышей / разбойник старый козодой, / собака цепью колыхает воздух / и лает в пустоту перед собой, / а ей в ответ невидные стрекозы / бормочут заговор на все лады». Анаграмматический анализ позволяет прояснить семантику образов зооморфных посетителей «домика на горе». **Собака** и **разбойник** навевают звукообраз фамилии БО́-

[30] ПетроЧК (или ПЧК, Петрогубчека) — название петроградской чрезвычайной комиссии, местного органа ВЧК, созданного в марте 1918 года после отъезда ВЧК в Москву; находилась на Гороховой улице, в доме № 2.

КИЙ; Г. И. Бокий — активный деятель ЧК-ОГПУ, в 1918 году — председатель петроградской ЧК, в 1927 году — член коллегии ОГПУ, НКВД и Главлита. **Собака** может указывать и на фамилию БАКАев; И. П. Бакаев — еще один видный партийный и советский деятель, в 1919—1920 годах был восьмым председателем петроградской губчека. Фраза «стучат **в окно ночные комары**», вероятно, содержит анаграмму «стучат в окно ночные» НАРКОМЫ, а также криптограмму КОМАРОв; в 1920—1921 годах Н. П. Комаров был девятым председателем петроградской губчека, с 1926 по 1929 годы — председатель Ленсовета и ленинградского губисполкома, член ЦК ВКП(б).

В уместные контексты введены и другие криптонимы: «**всякое** несчастие наступает неожиданно ⟨...⟩ Взять и зарезать **человека**! Сколь много в этом **коварства**! ⟨...⟩ **Ликование**!

Иван Иванович **Погублена** навеки!» (Яков...ковлева или ЙАКОВЛЕВА, ОГПУ), «Взять и зарезать **человека**! Сколь много в этом **коварства**! **Ура**! ⟨...⟩ **Варвара** Семенна!» (Варвара, ВЭЧЕКА). Отчество подсказывает один из главных персонажей, Петр Николаевич, оно складывается также из созвучий слов «**Ликование**! Погублена **навеки**!» (НИКОЛАЕВНА). В. Н. Яковлева с 1918 года работала в ВЧК, а с октября по декабрь того же года была председателем петроградской ЧК; криптограммы ее имени появляются в контексте рассказа Петра Николаевича о женщине, которая ночью пришла к нему с обыском и зарезала его.[31]

В финале пьесы арестованной Елизавете Бам говорят: «Смотрите в **даль перед собой**» (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ),[32] при этом в ответ на приказ «смотреть в даль» Елизавета Бам снова видит «домик на горе»: «А в домике, который на горе, уже горит огонёк. Мыши усиками шевелят, шевелят. А на *печке тараканы* тараканович, в рубахе с рыжим воротом и с топором в руках сидит». Анаграммы *председатель* и ПЧК, ПЕТРоЧЕКА располагаются в непосредственной близости друг к другу. Адрес питерского «домика на горе» прочитывается в пьесе при трансформации фразы «Иван Иванович, сходите в полпивную / и принесите нам бутылку пива и **горох**»: «Не полбутылки, а бутылку пива, / и не в **пивную**, **а в горох** идти!» — идти в ГОРОХОВУЮ; т. е. «домик на *горе*», в котором «*гор*ит о*гонёк*» — на улице *Гороховой*, 2, куда отводили арестованных.

Столь же определенные репрессивные намеки и звукообразы скрывают вдохновенные слова папаши, произнесенные перед «сраженьем двух богатырей», они позволяют конкретизировать потаенный образ председателя: «Пускай на солнце залетит / крылатый **попугай**, / **пу**скай померкнет золотой, / широкий день, пускай». Как *печка* — карнавально-криптографический «двойник» ПЧК, так и «крылатый **попугай**», который залетит на солнце и омрачит собой «золотой, широкий день», — это, безусловно, анаграмматический коррелят ОГПУ, его своеобразный криптографически-карнавальный «символ», с учетом грамматической омонимии, т. е. семантики слова-омоформы, глагола повелительного наклонения *попугай*, образованного от инфинитива *пугать*.[33] И далее: «Пускай прорвется сквозь леса / копыта звон и стук, / и с визгом сходит **с колеса** / **фундамента сундук**»; велика вероятность того, что среди неслучайных созвучий здесь скрыто имя первого председа-

[31] В. И. Бережков отметил: «В октябре — декабре 1918 года, когда на Гороховой, 2, командовала Яковлева, в „Петроградской правде" появилось шесть списков о расстреле в общей сложности 106 человек», в том числе — пяти бывших чекистов (см.: *Бережков В. И.* Тайны Гороховой, 2 // Бережков В. И. Внутри и вне «Большого дома». СПб., 1995. С. 56).

[32] Данная вероятная анаграмма появлялась в тексте и ранее, в рассказе о «домике на горе»: «**и лает** в пустоту **перед собой** ⟨...⟩ благо**дарю и приседаю**» (председ...атель, придседа...ательи).

[33] Сравним у М. Кузмина в гротескно-карнавальном произведении 1926 года «Печка в бане»: «Пушки вдали палят. Розовый **попугай** в кольце **качается**» (ЧЕКА, ОГПУ), «**Печка** в бане» (ПЭЧЕКА). Таким образом, анаграмматические звукообразы *печка* — ПЧК и *попугай* — ОГПУ появились в авангардной, карнавальной прозе Кузмина раньше, чем в пьесе Хармса.

теля ВЧК-ОГПУ, умершего в 1926 году (пьеса написана через год после его смерти): пусть «с визгом сходит *с колеса*» *сундук фундамента* ФЕЛИКСА ЭДМУНДА, МЕНТА.[34] Подсказки фонические и семантические, помимо самого контекста, следующие: смежный повтор в словосочетании «*фунд*амента *сундук*», фраза «Хвала *железу* — карбо*рунду*!», фиктивное отчество Елизаветы Бам *Эдуардовн*а, созвучное с отчеством «железного Феликса». Таким образом, в пьесе собраны именные анаграммы председателей ВЧК и ПЧК, обитавших в разное время в «домике на *горе*» на *Гороховой*, 2. Возможно, слова Ивана Ивановича о его ребятах («Товарищи! У **меня** дом есть. Дома **жена сидит**. У **ней много** ребят. Я их сосчитал — 10 штук», «Ребята хорошие. Каждый в зубах по **спичечной коробке** держит») подразумевают руководителей ПЧК;[35] в облике *жены* скрыт новый вероятный криптоним: МЕНЖИНСкИЙ, много ребят у МЕНЖИНСкОГО.

Зловещий звукообраз партийного имени советского вождя появляется в финальных словах пьесы, в приказе, обращенном к арестованной Елизавете Бам, непосредственно после ее многозначительной реплики об антропоморфном таракане таракановиче «в рубахе с рыжим воротом и с топором в руках»: «Вытянув руки и потушив свой **пристальный** взор, двигайтесь следом за мной, храня **суставов** равновесие и сухожилий торжество. За мной» (СТАЛИН — вот кто обладал «*пристальны*м взором», хранил «*суставов* равновесие и сухожилий торжество»), «таракан тарака**нович** ⟨...⟩ храня суставов **равновесие и** сухожилий торжество» (ИОСИф Виссарионов...нович). Вероятно, уместна еще одна анаграмма: «**свой пристальный** взор ⟨...⟩ храня **суставов** равновесие» (СТАЛИН ПРИСТАВ, приста...став) — намек на его роль полицейского пристава, должностного лица, приставленного для надзора, начальника полиции. Партийное имя вождя прочитывается и в репликах бегущих вокруг сцены персонажей: «Ой, **ноги устали**!», «Ой, руки **устали**!», «Ой, пружины **устали**!» (Стали...н, СТАЛИНУ), «**Ой, ножницы устали**!» (СТАЛИНЦЫ). Анаграмматический анализ позволяет предположить уместность еще одной трактовки образа собаки, стерегущей «домик на горе», в ответ на чей лай и звон цепей «невидные стрекозы / бормочут *заговор* на все лады»: «**собака це**пью **ко**лыхает воздух» (КОБА из ЦЕКА). Перечень криптонимов партийных и государственных руководителей в пьесе можно было бы продолжить.

В качестве ключевых подсказок для обнаружения текста потаенного плана воспринимаются трансформации и деформации слов и имен (*Коперник — Круперна*к), множественность восприятий образов и персонажей (Елизавета Тараканов-на — Эдуардовна — Михайловна, первый — Пётр Николаевич — фокусник — жертва — убитый — «повелитель и друг» — чародей — богатырь — враг и т. д.), фонетические эксперименты («Плясунья на проволо-о-о-о!», «Коробочка из дере-е-е-е!» и др.), звуковые повторы (лает в *пустоту — пусты*нник — «*Пусты*е, *глупы*е слова!»), карнавально-игровой дух пьесы («Фокусники приехали!», игра в пятнашки); семантические подсказки, такие как совет, данный папаше Петром Николаевичем: «Смотри поменьше по сторонам, / а больше наблюдай движенье / железных центров и сгущенье / смертельных сил»; хвалебная песнь железу, битве и перьям (вероятно, писательским), произнесенная папашей во время «сраженья двух богатырей»: «О песнь битве! Слава перьям! / Они по воздуху летают, / глаза неверным

[34] Достоверно известно, что в начале XX века слово «мент» (жаргонное наименование милиционера) уже существовало. «Словарь жаргона преступников», выпущенный НКВД в 1927 году для внутреннего пользования, приводит это слово, объясняя его как «милиционер; тюремный надзиратель» (см.: Словарь жаргона преступников (блатная музыка) / Сост. С. М. Потапова. М., 1927. С. 91). С 1919 по 1923 годы Ф. Э. Дзержинский совмещал должности председателя ВЧК-ГПУ и наркома внутренних дел, т. е. руководил деятельностью не только органов госбезопасности, но и милиции.

[35] Из документального очерка В. И. Бережкова «Тайны Гороховой, 2» следует, что с марта 1918 по декабрь 1927 года у руля питерской ЧК побывало 11 человек, в том числе одна женщина, В. Н. Яковлева (см.: *Бережков В. И.* Указ. соч. С. 3—138).

заполняют, / терзают до смерти врага!». Перед сраженьем богатырей папаша вызывает Петра Николаевича на поединок: «Давай **сразимся**, **чародей**, / ты словом, я рукой»; в этих созвучиях в уместном контексте скрыта анаграмма одного из псевдонимов поэта Д. ЧАРМС. Или в близлежащих строках: «Ему известно все вокруг, / он повелитель мне и друг ⟨...⟩ **одним размахом** топора / он рубит лес и горы — / **одним дыханием** своим / он всюду есть неуловим» (неуловим ДАНИИл ХАРМс), «Текст — **Иммануила Красдайтейрик**» (текст ДАНИИЛА ⟨Х⟩АРМСА). Авторские криптонимы придают контекстам более конкретное звучание, они говорят о том, что вызов врагам бросает не папаша, а сам поэт. Звукообраз имени Хармса содержат также шестикратные повторы: «а в кровати лежит супруг. / **До свидания, до свидания** ⟨...⟩ А в окно наверху глядит / сквозь очки молодой старик. / **До свидания, до свидания**» (с. 544—581) («молодой старик» и супруг — ДАНЯ).

Подведем некоторые итоги. Рассмотренные в статье примеры показали, что насыщенные тайнописью игровые, смеховые, гротескно-карнавальные тексты у Даниила Хармса и Михаила Кузмина не единичны. Анаграмматический анализ игровых, карнавальных и лирических произведений позволяет говорить о том, что в русской литературе первой трети XX века тайнопись — явление закономерное и прогнозируемое.[36] Русские писатели-авангардисты 1920—30-х годов переняли традиции анаграммирования и тайнописи, свойственные мастерам Серебряного века.

Обнаруженные криптограммы дают возможность нового прочтения не только некоторых «темных» авангардных текстов (таких, как «Лапа» и «Елизавета Бам» Хармса), но и достаточно «ясных» (на первый взгляд) произведений. Криптограммы чаще всего подсказывают имена адресатов или прототипов персонажей и в соответствии с контекстом — авторское отношение к ним и их характеристику. Появление анаграмм или криптограмм какого-либо имени или слова подготовлено семантически, контекстуально и фонологически, с помощью системы ключевых слов, слов-закрепок, вариаций звуковых повторов и звукообразов, которые становятся фонетическим ключом к закодированному слову. К примеру, в «Первом послании к Марине» анаграмма фамилии жены поэта звучит четыре раза (*молчи*шь, *молча*ньем, *молчали*вым *талисма*ном: МАЛИЧ), а в «Наблюдении» Хармса выявление криптонима предполагаемого адресата подготовлено девятикратным повтором *пор* и созвучием слов *не спорят — Порет*.

Анаграммы — это лишь один из приемов тайнописи. В своих криптографических опытах поэты прибегали не только к перестановке букв и к дистантным анаграммам, но и к использованию других «языковых игр», например, метаграмм (Афи*не*й — Афи*ле*й). В отличие от анаграмм, криптограммы могут сохранять в словах правильную последовательность букв (звуков, фонем), могут быть равными слову, придавая ему иное семантическое наполнение. Например, в «Лапе» в созвучном контексте пролога можно обнаружить «криминальные» криптонимы: «И медь и *коба*льт и пружина / в чугун проникли головой / от туда *сталь* кричит: ножи на!» (КОБА СТАЛин, соотносимый с персонажем В*ласть*).

Анаграммы позволяют читать произведения «между строк», значительно обогащая их смысловое и эмоциональное содержание, восстанавливая их семантическую целостность, демонстрируя гармонию «формы» и «содержания». Криптоанализ выявляет многоуровневую структуру и полисемантичность текстов и отдельных образов, возможность их прочтения в разных кодах, допустимость игровой интерпретации, которая обнажает двусмысленность дискурса, наличие высокого и карнавального стилей, пристойного и нецензурного вариантов.

---

[36] См. также наблюдения, изложенные в статье: *Шатова И. Н.* К вопросу об анаграмматическом методе исследования текста (на материале поэзии Серебряного века) // Отечественное стиховедение: 100-летние итоги и перспективы развития / Под ред. С. И. Богданова, Е. В. Хворостьяновой. СПб., 2010. С. 97—107.

В поэзии, драматургии, карнавальной прозе Кузмина и Хармса анаграммы и криптограммы стали формообразующим фактором. Построение анаграмм у Кузмина и Хармса служит решению специальной задачи — созданию потаенных планов произведения, скрытых от цензуры, для развертывания сюжетов на интимную, любовную или сакральную, а после 1917 года на политическую, антисоветскую тематику. Русские писатели начала XX века создавали поэтические анаграммы подобно древним священным текстам, обыгрывая с помощью звуковых повторов сакральные имена и понятия, а также довольно регулярно — имена друзей и возлюбленных, к которым обращено поэтическое послание. Анаграммирование имен друзей и подруг позволяло реализовать отдельные «игровые» стратегии, как в случае с «Наблюдением» Хармса. Зашифровка криптонимов на политическую тематику давала возможность выразить свою гражданскую позицию, приоткрыть видение пореволюционной ситуации в России. Анаграммы позволяют по-новому интерпретировать известные художественные образы, например, из «Елизаветы Бам»: «домика на горе», таракана на печке, собаки на цепи, попугая и т. д., предстающие в гротескном мире писателя в качестве сниженных, профанных, зооморфных двойников политических лидеров и общественно значимых реалий.

Криптограммы нередко становятся одним из средств карнавализации, смеховой, игровой профанации, травестирования, обличительного пародирования современной действительности. Криптографическая подоплека произведений Кузмина и Хармса убеждает в том, что их художественный мир карнавален по своей природе: ему свойственны, говоря словами М. М. Бахтина, освобождающий характер смеха, сниженность, пародийность, развенчание, бесстрашие, дух «веселой относительности всякого строя и порядка, всякой власти и всякого положения (иерархического)», направленность «на смену властей и правд, смену миропорядков».[37] Многие карнавальные творения Кузмина и Хармса — это уникальные опыты «экспериментального» и интеллектуального письма, которые подтверждают плодотворность и серьезность намерений «игровой» литературы.

[37] *Бахтин М. М.* Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 143, 146.

© *В. В. Перхин*

М. ГОРЬКИЙ И ВЛАСТЬ

(ПО ПОВОДУ ЧЕТЫРЕХ ПИСЕМ 1926—1935 ГОДОВ)

О взаимоотношениях М. Горького и большевистских лидеров к настоящему времени, как никогда, многое известно. Они складывались в начале XX века и длились многие годы. Их изучение продолжается не одно десятилетие, становясь все более глубоким и всесторонним, прежде всего благодаря появлению новых источников, в том числе эпистолярных.[1] Публикуемые ниже письма М. Горького к А. К. Воронскому, А. И. Свидерскому и Н. И. Бухарину, на мой взгляд, вновь предостерегают от отождествления позиции Горького с принципами большевизма в различных его проявлениях.

Горьковское неприятие большевистской политической практики, как давно установлено, было весьма устойчивым. Это подтверждают его «Несвоевременные

[1] Назову два, наиболее значительных, издания писем в последнее время: М. Горький. Неизданная переписка с Богдановым, Лениным, Сталиным, Зиновьевым, Каменевым, Короленко / Отв. ред. С. В. Заика. М., 1998 (Серия «М. Горький. Материалы и исследования»); Горький и его корреспонденты / Отв. ред. Л. А. Спиридонова. М., 2005.

мысли» и письма к Р. Роллану первой половины 1920-х годов.[2] Характеризуя эти письма уже после смерти Горького, французский писатель отмечал, что они полны «страданий и сомнений», которые могут «привести в замешательство» по-советски мыслящих читателей.[3]

Многолетние «сомнения» не могли исчезнуть мгновенно. Вероятно, Горький никогда не смог от них избавиться. В значительной мере он их подавил. Это «самоусмирение» началось, очевидно, не позднее 1920 года, когда он говорил К. А. Федину, что не верит в очеловечивание большевистских верхов, но работать с ними «все же надо. Бороться, добиваться, отстаивать свое».[4] Письма, вошедшие в недавно появившийся том собрания сочинений Горького, показывают, что он и в январе 1924 года «не совсем» одобрял деятельность Советского правительства.[5] Но публично он перестал демонстрировать оппозиционность.

Во второй половине 1920-х годов происходили и другие изменения в сознании М. Горького — от народническо-«веховского» гуманизма писатель обращался к классовой оценке современных событий. Осенью 1928 года он писал Л. Л. Авербаху: «...знаю, вижу, что действительность в главных своих качествах и тенденциях развивается по Марксу».[6] На этой основе укреплялась эпистолярная связь писателя со Сталиным.[7]

Архивные материалы позволяют предположить, что кроме мировоззренческого фактора сближению с властью способствовало и нарастание финансовой зависимости Горького от руководителей советского государства. Она возникла в начале 1920-х годов.

В феврале 1922 года на основании сообщения Горького в письме к В. И. Ленину («жить очень дорого»[8]) Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление: «а) Приобрести НКП у Горького авторские права на его сочинения. б) Поручить Берлинскому отделу НКВТ совместно с т. Крестинским немедленно оформить эту сделку, немедленно начать финансирование Горького».[9]

21 июня 1922 года торговый представитель РСФСР в Германии сообщил Сталину: «Согласно Вашего поручения мы заключили прилагаемый при сем договор с А. М. Пешковым — Максимом Горьким.

---

[2] См.: М. Горький и Р. Роллан. Переписка (1916—1936) / Отв. ред. А. Д. Михайлов. М., 1995.

[3] См.: *Перхин В. В.* Русские литераторы в письмах (1905—1985). Исследования и материалы. СПб., 2004. С. 101.

[4] *Федин К. А.* Из трех петроградских дневников 1920—1921 годов / Публ. Н. К. Фединой и В. В. Перхина. Комм. В. В. Перхина // Русская литература. 1992. № 4. С. 143.

[5] См.: *Горький М.* Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 2009. Т. 14. С. 288. В тот же день в письме к Р. Роллану это мнение конкретизировано в связи с приказом Н. К. Крупской об изъятии книг из библиотек: «У меня возникло желание отказаться от русского подданства, заявив Москве, что я не могу быть гражданином страны, где законодательствуют сумасшедшие бабы ⟨...⟩ Я написал трем „вельможам" резкие письма, но до сего дня не имею ответов от вельмож.

⟨...⟩ Но каково мне знать, что безумнейшая нетерпимость к свободе духа фабрикуется в моей стране.

Меня считают сторонником Советской власти, а Олар пишет в „Histoire des Sovietes", что я „присоединился" к этой власти. Это — не вся правда» (М. Горький и Р. Роллан. Переписка. С. 88).

[6] Архив М. Горького. КГ. П. 5.9.1. Подробнее об этом процессе см.: *Перхин В. В.* Русская литературная критика 1930-х годов. Критика и общественное сознание эпохи. СПб., 1997. С. 125—127. Ср.: *Спиридонова Л. А.* Новые аспекты изучения творчества М. Горького (1930-е годы) // М. Горький и его эпоха. Материалы и исследования. Вып. 4 / Ред. В. С. Барахов. М., 1995. С. 103—108.

[7] Как известно, из переписки Горького и Сталина многое уже увидело свет. И публикации продолжаются. См.: *Чернев А. Д.* Из переписки М. Горького и И. В. Сталина // Безопасность Евразии. 2005. № 2. С. 501—510.

[8] См.: Большая цензура. Писатели и журналисты в стране советов. 1917—1956 / Сост. Л. В. Максименков. М., 2005. С. 36.

[9] РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Ед. хр. 1016. Л. 9.

Для осуществления изложенных в Договоре обязательств необходимо не позднее октября сего года начать выпуск полного собрания сочинений М. Горького.

⟨...⟩

В нынешнем году потребуется 150 000 золотых рублей».[10]

Полное собрание сочинений планировалось в 16 томах тиражом 25 000 экземпляров. Автор должен был получить 30 % гонорара, а именно 9 104 827 немецких марок.

Горький как объект финансового воздействия власти не был исключением. Тогда же большевистские лидеры решили, что и других нужных писателей надо материально поддерживать. 30 июля 1922 года Л. Д. Троцкий направил в Политбюро записку «О молодых писателях, художниках и критиках». Он предлагал финансировать только «несомненно даровитых и несомненно сочувствующих нам писателей». При этом он настаивал, чтобы «цензура наша» проявляла бы «осторожное и мягкое отношение к таким произведениям и авторам, которые хотя и несут в себе бездну всяких предрассудков, но явно развиваются в революционном направлении», однако относилась бы с «беспощадностью» к «меньшевистско-эсеровским элементам».[11] В отдельном пункте он подчеркивал: «Лучше всего, если бы эта поддержка выражалась в форме гонорара (индивидуализированного)».[12]

3 июля, предварительно ознакомившись с предложением Троцкого, И. В. Сталин обратился к В. М. Молотову: «Возбужденный т. Троцким вопрос о завоевании близких к нам молодых поэтов путем материальной и моральной поддержки является на мой взгляд вполне своевременным. Я думаю, что формирование советской культуры (в узком смысле слова), о котором так много писали и говорили одно время „пролетарские идеологи" (Богданов и др.), теперь только началось ⟨...⟩ Я думаю, что наиболее целесообразной формой этого сплочения молодых литераторов была бы организация самостоятельного, скажем, „Общества развития русской культуры" или чего-нибудь в этом роде. ⟨...⟩ Материальная поддержка вплоть до субсидий, облеченных в ту или иную форму, абсолютно необходима».[13]

В этой широко задуманной работе Горькому отводилась роль лидера, который хотя и имел «бездну всяких предрассудков», но «явно развивался в революционном направлении». При этом большевистские руководители, видимо, отдавали себе отчет в том, что финансовая зависимость не сможет подавить духовную самостоятельность Горького, но, несомненно, рассчитывали, что она ограничит ее проявления. Действительно, в том же 1922 году Горький протестовал против суда над эсерами, против высылки философов,[14] но продолжительность и сила этих выступлений несравнима с энергией «несвоевременных мыслей» 1917—1918 годов. Прекращение публичной полемики с большевистской политикой было обусловлено различными факторами,[15] но в какой-то мере и материальной зависимостью. Фактически этот фактор стал постоянно действующим.

В публикуемом письме к А. К. Воронскому от 8 апреля 1926 года звучит почти плач («чувствую, скоро останусь без денег») и обида и жалоба на представителей литературных организаций, у которых он вынужден просить денег, а они отвечают

---

[10] Там же. Л. 1.

[11] Там же. Л. 9.

[12] Там же.

[13] Там же. Л. 7.

[14] Об этом см.: *Галушкин А. Ю.* Еще раз о письме М. Горького в газету «Накануне» // Горький и его эпоха. Исследования и материалы. Вып. 2. М., 1989. С. 256—261; *Ясен М.* Суд без суда. 1922 год. Показательный процесс социалистов-революционеров. М., 1993. С. 185—187; *Примочкина Н. Н.* Писатель и власть. М. Горький в литературном движении 20-х годов. 2-е изд., доп. М., 1998. С. 237—238.

[15] См.: *Спиридонова Л. А.* Новые аспекты изучения творчества М. Горького (1930-е годы). С. 109.

пренебрежительным молчанием, наконец, завуалированная просьба о помощи («мне становится трудненько»).

Эта просьба о деньгах показывает, что за прошедшие годы писатель истратил гонорар и нуждался в дополнительной поддержке. 28 апреля 1926 года М. И. Ульянова на бланке секретаря редакции газеты «Правда» писала Сталину: «Уважаемый товарищ! Тов. Воронский переслал мне прилагаемое при сем письмо Горького и просил возбудить перед ЦК партии вопрос об ассигновании и посылке Горькому 5—7 тыс. рублей».[16]

1 июня 1927 года завершался пятилетний срок договора на издание 16-томного собрания сочинений. И хотя, как следует из публикуемого письма, его тираж еще не был полностью реализован, в начале 1928 года в прессе появилась реклама-объявление Госиздата: «Максим Горький: к 60-летию со дня рождения открыта подписка на Полное собрание сочинений в 36 книгах (20 томов), 18 книг выходят в 1928 г. (первая книга выходит в апреле), а 18 книг в 1929 г.».[17] Вряд ли можно сомневаться, что писатель вновь получил значительный гонорар.

«Финансирование Горького» продолжалось и в последующие годы. Приведу еще один документ:

«Секретно

29/III-32 г.

Председателю Совета Народных Комиссаров
тов. Молотову В. М.

В прошлые годы выплата авторского гонорара в инвалюте М. Горькому производилась по специальным ассигнованиям на эту цель и в порядке, обеспечивавшем быстрый перевод необходимых сумм. В текущем году гонорар М. Горькому включен в общие крайне урезанные инвалютные лимиты ОГИЗ'а.

Одновременно этот порядок приводил и к ряду затруднений, в смысле оформления очередных срочных переводов за границу.

ОГИЗ 21/III-с/г. за № 97/с /см. приложение/, по согласованию с НКФ т. Гринько, вошел в Валютную Комиссию при СНК СССР с ходатайством о добавочном ассигновании ОГИЗ'у лимита в инвалюте на выплату гонорара М. Горькому 40 тыс. рублей с оставлением их непосредственно в распоряжении НКФИН'а с тем, чтобы перевод их осуществлялся во внеочередном и срочном порядке.

В настоящее время ввиду предстоящего приезда М. Горького — ему необходимо перевести не позднее первого апреля пять тысяч долларов, о чем ОГИЗ'ом уже сделана заявка в НКФ'ин.

То обстоятельство, что до настоящего времени не оформлено добавочное ассигнование лимита ОГИЗ'у на выплату гонорара М. Горькому, затрудняет НКФ в выдаче разрешения на перевод указанной суммы, которая срочно необходима М. Горькому.

Поэтому я прошу Вашего распоряжения о срочном оформлении добавочного лимита в сумме 40 тыс. рублей.

Зав. ОГИЗом — Арт. Халатов».[18]

Это письмо заведующий секретной частью ОГИЗ'а переправил руководителю личной канцелярии Сталина и заведующему секретным отделом ЦК ВКП(б) А. Н. Поскребышеву: «По поручению т. Халатова при этом препровождаю Вам копию его представления на имя Пред⟨седателя⟩ СНК СССР т. Молотова от 29 марта с/г. за № 109/с. Приложение: на 2-х листах».[19]

[16] РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Ед. хр. 983. Л. 19.
[17] Жизнь искусства. 1928. № 9. С. 1.
[18] РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Ед. хр. 719. Л. 45—45 об.
[19] Там же. Л. 44.

Данный канал финансирования Горький предлагал использовать и другим. В 1933 году Вл. И. Немирович-Данченко из Рима писал руководителю Наркомпроса А. С. Бубнову: «По совету Горького телеграфирую. Для оплаты долгов и скорейшего возвращения прошу хлопотать ⟨о⟩ переводе мне 1500 долларов. Горький ⟨со⟩ своей стороны просил Иосифа Виссарионовича. Привет».[20] Бубнов обратился к К. Е. Ворошилову: «Я считал бы целесообразным (⟨несмотря⟩ на все возможные возражения) послать Немировичу-Данченко 1500 долларов».[21] Резолюция Ворошилова гласит: «Т. Сталину. Что делать с этой публикой? Мое мнение, можно было бы удовлетворить просьбу при условии обязательного и немедленного возвращения Немировича-Данченко в Москву, в противном случае этот ловкий старичок будет доить казну и дальше».[22] Не исключено, что так они думали и о Горьком.

За свое «финансирование» Горький должен был платить какими-то политическими уступками. Например, почти во всех статьях до января 1936 года он цитировал Сталина, тем самым укрепляя его авторитет в стране и во всем мире. Учет политической конъюнктуры заметен в публикуемых ниже письмах к влиятельному партийному функционеру, руководителю сферы искусства А. И. Свидерскому. Писатель выдвигал в одном из них на первый план политическую ценность человека и певца В. Е. Дровянникова: «партиец», «стойкий революционер», а вслед за этим завышал оценку его таланта: «будущий Шаляпин». Однако в конце письма, отступая от диктуемой временем нормы, говорил о главном для него, Горького, качестве этой личности: «превосходный человечище».

Сочетание новейших большевистских установок и традиционных этических принципов характеризует и другое письмо к начальнику Главискусства. Отрицание «громадного художественного богатства западно-буржуазной культуры» вполне соответствовало нараставшей в большевистской России тенденции противопоставления советского западному. Негативное суждение о П. Истрати — результат несоответствия его деятельности политическому критерию обязательной «симпатии к Советам». Но тут же при оценке С. Цвейга применен изначально свойственный Горькому нравственный ориентир: «вполне порядочный человек».

Устойчивость исходных нравственно-психологических качеств Горького подметил еще Е. И. Замятин, писавший, что тот и весной 1931 года был «похожим на прежнего Горького» — человека с «беспокойной бурлацкой кровью».[23] И в 1930-е годы автор «Несвоевременных мыслей» продолжал отстаивать права личности, если это удавалось, как в случае с Д. П. Святополк-Мирским. Горький в печати поддержал его резкое мнение о романе А. А. Фадеева «Последний из Удэге» и защитил бывшего князя и эмигранта от нападок его оппонентов-писателей и критиков-коммунистов.[24] Это одобрил Р. Роллан, гостивший у Горького летом 1935 года. Однако он недоумевал, почему его русский друг не продолжает подобные выступления в печати. На этот вопрос он ничего не услышал в ответ: «У Горького в глазах боль и испуг. Он не знает, что и сказать».[25]

Французский писатель догадывался, но не мог знать всего о внешней несвободе Горького. «Политические сыщики» доносили в «верха» о любом неблагонадежном с их точки зрения шаге или высказывании Горького. Например,

---

[20] Там же. Ф. 74. Оп. 1. Ед. хр. 402. Л. 48.

[21] Там же. Л. 49.

[22] Там же. Л. 50. В марте 1933 года Полномочный представитель СССР в Италии В. П. Потемкин сообщал А. С. Енукидзе: «В ближайшее время, по приглашению Максима Горького, В⟨л⟩. И. выезжает к нему в Сорренто. Мне он неоднократно заявлял, что, рассчитавшись со всеми своими долгами, он немедленно возвращается в Москву» (Там же. Л. 52).

[23] *Замятин Е. И.* Горький // Замятин Е. И. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания / Сост. и комм. А. Ю. Галушкина. М., 1999. С. 223, 231.

[24] Подробнее об этом эпизоде см.: *Перхин В. В.* Русская литературная критика 1930-х годов. С. 130—132.

[25] *Роллан Р.* Московский дневник // Вопросы литературы. 1989. № 4. С. 222.

П. Ф. Юдин, член Оргкомитета Съезда советских писателей, 11 августа 1934 года, прочитав рукопись статьи Горького с критикой своей деятельности, доносил секретарю ЦК ВКП(б) Л. М. Кагановичу: «Считаю, что статья больше, чем вредная. Вредна она во всех отношениях. Перед съездом ⟨писателей⟩ это будет такая бомба, после которой люди просто-напросто растеряются и прежде всего коммунисты. И сейчас уже ждут, как сенсацию, кого же Алексей Максимович „проработает" ⟨...⟩ постоянно спрашивают „кто на очереди", „кого еще стукнет". Все последние статьи Алексея Максимовича носили характер неожиданных ударов по голове, причем каждый не знает, *за что* его могут выругать... ⟨...⟩ Выруганы им Серафимович, Панферов, Новиков-Прибой, Ю. Олеша, Л. Никулин, В. Катаев, П. Васильев (за дело, но потом целиком амнистировал своим письмом и зря это сделал) ⟨...⟩ Если статья Алексея Максимовича появится в печати, поверьте, что на съезде писателей невозможно будет появиться».[26]

В чем-то признав правоту экономической теории К. Маркса, писатель не хотел, чтобы его или кого-то другого стали «затаскивать... в угол, хотя бы и в марксистский».[27] Широта его философско-мировоззренческих интересов была недоступна большевистским лидерам и их помощникам.

Горький не потерял внутренней свободы и поэтому мог в 1932 году предложить Л. Л. Авербаху читать «современную немецкую философию»,[28] а в 1935 году попросить Л. М. Кагановича, одного из разрушителей храма Христа Спасителя и Страстного монастыря, позаботиться о судьбе храма в Марфо-Мариинской обители, так как в нем фрески М. В. Нестерова, и устроить там «музей старинной русской иконописи».[29]

У Горького оставались не только философские расхождения с большевистскими идеологами, но и сомнения в их политике. Осенью 1933 года, узнав о голоде на юге страны, он сказал: «Может быть и сегодня мы идем неверным курсом... Очень может быть».[30] Не имея возможности публично вмешаться в ход событий, Горький писал письма.

В апреле 1936 года, за два месяца до своей смерти, он обратил внимание секретаря ЦК ВЛКСМ на то, что «по крайней мере» из трех тысяч членов Союза советских писателей «две едва ли способны занимать место в литературе», что «в советской литературе момент классовой вражды писателей не должен бы иметь место», что писатели «живут, как пауки и барсуки, у каждого своя паутина, своя нора».[31] А. В. Косарев, вероятно пораженный этой критикой и отрицанием теории классовой борьбы, переправил письмо Сталину.

Пока не собраны и не обобщены все факты духовной изоляции Горького деятелями авторитарного режима. В дневнике литератора И. С. Шкапы есть примечательная запись от 20 сентября 1935 года: «Ссылаясь на здоровье, врачи не позволяли ему выбирать маршруты своих поездок.

Вдруг я услышал:

— Окружили... обложили... ни взад, ни вперед! Непривычно сие.

Мне показалось — я ослышался: необычны были голос Горького и смысл его слов. Глаза тоже были другие, не те, которые я хорошо понимал. Сейчас в них проступали надлом и горечь».[32]

---

[26] Архив РАН. Ф. 1636. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 23.

[27] Так он писал Н. И. Бухарину в 1925 году. Цит. по: *Примочкина Н. М.* Писатель и власть. С. 104.

[28] Горький и его корреспонденты. С. 606.

[29] Письма А. М. Горького / Публ. и прим. Н. Ковалевой, Н. Хомяковой // Источник. 1994. № 1. С. 20.

[30] *Шкапа И.* Семь лет с Горьким. М., 1990. С. 205.

[31] Большая цензура. С. 413, 414.

[32] *Шкапа И.* Указ. соч. С. 362.

В таком контексте становится понятнее необычное предложение Горького в письме к Бухарину — перепечатать в «Известиях» очерк А. М. Ремизова «Каторга» из эмигрантской газеты «Последние новости». Вряд ли он не понимал, что сделать это было почти невозможно: имя Ремизова было прочно связано с эсеровской и кадетской прессой, а «меньшевистско-эсеровские элементы» власть по-прежнему преследовала.

Горький обосновал необходимость перепечатки политическими мотивами — пусть «некоторые» читатели, недовольные советской действительностью, узнают, как «горестно» живется в «блистающем Париже». В этом он на первый взгляд следовал той же охранительной логике, что и, например, газета «Наш Союз», издававшаяся во французской столице под присмотром советского посольства. Ее редактор процитировал из очерка Ремизова первые два абзаца («Я понял...»; «Все друг друга ненавидят...»), чтобы подчеркнуть, что «один из талантливейших писателей старшего поколения» говорит «об общеэмигрантской гибели» и что его очерк об «эмигрантских рабах и каторжниках» мог появиться только по «явному недосмотру цензора „П. Н."».[33] Однако приложенный к письму Горького материал не позволяет отождествить смысл его обращения к очерку Ремизова с подходом официального советского журналиста.

Одновременно с письмом Н. И. Бухарин получил вырезку с текстом Ремизова из «Последних новостей», датированную 13 января 1935 года. Дату проставил Горький. Тем же карандашом отчеркнуты на полях первые четыре абзаца. Эти строки Ремизова целесообразно воспроизвести.

«Я как-то понял, что все мы здесь на каторге, и притом на бессрочной каторге. Для меня вдруг осветились многие из наших поступков, только и объяснимые нашим бессрочно-каторжным состоянием.

Все друг друга ненавидят: везде одни враги. Если не открыто, то втихомолку каждый норовит нагадить другому. Постоянно шепчутся, озираясь. Какой-то всеобщий страх, что кто-то другой помешает и вырвет из рук. И это не от жадности, а от разъедающей нищеты. — И слова „заступиться" как не существует. Есть лицемерие, — но оно никого не обманывает: давно уж никто никому не верит. Зато подхалимство и лесть действуют во всей своей силе и открывают верный, испытанный путь: может быть, это единственный способ достигнуть цели. — Я принадлежу к каторжникам, всегда от кого-нибудь зависящим, я постоянно испытываю свое терпение, и надолго ли еще моей выдержки, не знаю, а знаю, что мое чувство не может — и должно как-то выразиться. Я никогда не был рабом, но если даже за эти годы я стал им, все равно, приходит срок, и рабы возмущаются. Друг про друга говорят одни гадости. Сочинить что-нибудь позорящее, оклеветать — первое удовольствие. И это стало второй природой — нашей каторжной природой. — И все как-то навыворот. Мне вспоминается, как один — вы его знаете, приятель баснописца Куковника, по существу никак не принадлежащий к кодлу парижской дряни, однажды по дружбе рассказал мне одну гадость. И, кажется, ясно, чтобы разъяснить, надо было бы указать мне, кто автор, но дознаться мне не удалось. „Я дал слово не говорить!" — сказал он. И соблюдая свою чистоту, — слова он не нарушит! — он при всей своей дружбе не подумал обо мне, как же мне-то быть, облепленному грязью? И понимает ли он, что при моей „грязи" его „чистота" ничего не стоит?

Всегда настороже: всего можно ждать. Многое за эти годы перестало трогать: привычка. Да и не только привычка. И то, что когда-то вызвало бы негодование и многократное: „какая подлость!" — теперь беззвучно выражается бессильным: „мерзавцы!" Или подлым отмахиванием: „не мое дело!" — а чаще покорным молчанием. Смиренное молчание! — какой грозный знак, что жизнь задушена. Но чего другого ждать на каторге, с которой никуда-то не убежишь.

[33] [Б.п.] S.O.S. Ремизова // Наш союз. 1935. № 62. С. 22.

И тянется жалкая жизнь. Ведь дело происходит в блестящем, блистающем Париже! *И эта нищенская безнадежная жизнь закована в железные термы и последние сроки: квартира, налог, электричество, газ, вода, страхование и всякие регистрации.* И в этой каторжной жизни единственные встречи, где отдыхает мой измученный глаз: дети».[34]

Здесь курсивом набраны слова, особо подчеркнутые Горьким.

Что означают эти подчеркивания? Не на свое ли «безнадежное» положение намекал Горький? Дети — это и его внучки, дочери недавно умершего сына, и дети в советских колониях и школах, с которыми он встречался. «Я принадлежу к каторжникам, всегда от кого-нибудь зависящим...» — это напоминает его самооценку, донесенную до нас И. С. Шкапой. «Все друг друга ненавидят...» — почти о том же писал Горький лидеру комсомольцев, оценивая взаимоотношения в Союзе советских писателей. «Какой-то всеобщий страх...» — состояние, знакомое многим с началом репрессий против крестьянства, арестов и высылок после убийства С. М. Кирова. По наблюдению Роллана, был «испуг» и у его друга. Наконец, «покорное молчание» — оно, вероятно, мучило и Горького, который не мог «решиться сказать и действовать», «изменить весь порядок вещей».[35] Отсюда «боль», «надлом и горечь» в глазах, подмеченные Шкапой и Ролланом.

Возможно, подчеркнув эти строки и абзацы, Горький хотел сказать что-то Бухарину и о его положении — главного редактора, указать ему с помощью Ремизова путь гуманизации, по которому следует вести литературу и культуру.[36]

Горький предлагал перепечатать очерк, пронизанный пафосом «сострадания», «жалости» («И чувство мое — моя жалость — не покидает меня»), в нем звучит призыв поддерживать друг друга, Ремизов хотел, чтобы взгляд встретившегося человека был «точно протянутые руки». Видимо, не просто некоторое соответствие очерка большевистской газетной пропаганде было ему по-настоящему важно, а его глубинный смысл: Ремизов утверждал ценности «гуманитарной цивилизации», противоположные большевистскому лозунгу бесжалостной классовой ненависти.

И, кажется, Бухарин откликнулся на этот призыв. Например, 22 мая 1935 года в «Известиях» появилась статья А. Н. Толстого «Великий романтик» о В. Гюго, о «пылком и туманном гуманизме», о понятиях «Справедливость, Милосердие, Добро, Любовь».

Четыре письма Горького, на мой взгляд, еще одно свидетельство истинной позиции Горького, напоминание о том, что мы по-прежнему далеко не все знаем о его положении, поступках и мыслях в 1920—1930-е годы, когда он продолжал «бороться, добиваться, отстаивать свое...».

1

А. К. Воронскому

8. IV. 26.

Дорогой Воронский,[1]

не можете ли Вы узнать, по каким мотивам Госиздат объявил льготную подписку на мои книги и много ли их на складе Госиздата?

---

[34] РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 71.

[35] *Роллан Р.* Московский дневник. С. 222.

[36] Тайнопись в их отношениях была необходима. Исследовательница биографии писателя пришла к выводу: «В те годы Горький был окружен плотной стеной „идеологической" охраны, не допускавшей к писателю многочисленных просителей и жалобщиков, а его секретарь П. П. Крючков, связанный с НКВД, тщательно цензуровал всю его обширную переписку» (*Примочкина Н. Н.* Писатель и власть. С. 68).

Со всех сторон — из Сибири, Крыма, с Волги — мне давно уже пишут, что книг моих в продаже нет. Откуда же они, вдруг, явились? Это тем более непонятно, что Берлин ведет с Госиздатом переговоры о втором издании.

Чувствую, что скоро я останусь без денег. Это прескверно отразится на моей работе. Над романом я просижу не менее полутора годов. Кроме этой работы, очень трудной, ничего не могу писать.[2] Значит: рукописей от меня не ждите.

Писал в Госиздат, — Бройдо,[3] кажется, — спрашивал: не могут ли он⟨и⟩ мне дать сейчас же те деньги, которые я должен получить в июл⟨е⟩ 27 года? Не отвечают. Многим писал — не отвечают. Мне становится трудненько. Спасибо Вам, дружище, за присылаемые книги. И — хвала за журнал.[4]

Жму руку.

А. Пешков.

Что «Новый мир»[5] — хорошо идет? Тоже не дурной журнал. А «Звезда» — издается еще?[6]

Автограф. РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Ед. хр. 983. Л. 20.

[1] Александр Константинович Воронский (1884—1937) — литературный критик, публицист, прозаик. В 1921—1927 годах был редактором журнала «Красная новь». В основном его письма к Горькому опубликованы. См.: М. Горький и советская печать: В 2 кн. М., 1965. Кн. 2. С. 8—78.

[2] Речь идет о романе «Жизнь Клима Самгина».

[3] Григорий Исаакович Бройдо (1883—1956) — заведующий Государственным издательством РСФСР (с 1930 года ОГИЗ). О нем Горький писал Воронскому и в июле. См.: М. Горький и советская печать: В 2 кн. Кн. 2. С. 38.

[4] А. К. Воронский-редактор печатал произведения писателей «горьковской школы».

[5] «Новый мир» выходил с 1925 года.

[6] Ленинградский журнал «Звезда» появился в 1924 году.

2

А. И. Свидерскому

Разрешите, дорогой Алексей Иванович,[1] рассказать Вам следующее:

Сейчас у меня живет Василий Евдокимович Дровян⟨н⟩иков, артист Моск. Большого театра,[2] бас, посланный в Италию «для завершения артистического дарования». Он дал в Риме три концерта, рецензии римских газет единодушно восторженные, его называют «будущий Шаляпин»[3] и т. д. Голос у него, действительно, изумительный, шире по диапазону, чем у Шаляпина,[4] и при этом, несомненные способности артиста. Он — бывший солдат, участник гражданской войны, организатор партизан на Кубани, партиец, прекрасный товарищ, стойкий революционер.[5]

Стипендия ВЦИК'а мала для него и его жены, — его учительницы, которая открыла и поставила голос его.[6] Живут они оба в условиях ужасных, — я написал об этом статейку в «Известия».[7] Но Дровян⟨н⟩иков — человек щепетильнейший и от моей помощи отказался, а помощь ему необходима.

Это вынуждает меня просить Вас вот о чем: нельзя ли увеличить стипендию ВЦИК'а Дровянникову? Сделать это надобно в порядке срочном. Может быть ВЦИК согласится увеличить стипендию за мой счет, но, разумеется, не упоминая моего имени.

Дорогой А. И., пожалуйста, сделайте это. Дровянников — превосходный человечище, это не Батурин[8] и не другой стипендиат, — забыл его фамилию, — очень хорошо обеспеченный.

Сделайте это скорее, прошу.

Будьте здоровы и до свидания. 20—22-го еду в Москву, рад буду пожать Вашу руку. А. Пешков.

13/V-28 г.

Незаверенная машинописная копия. ГАРФ. Ф. 4359. Оп. 1. Ед. хр. 236. Л. 1.

[1] Алексей Иванович Свидерский (1878—1933) — публицист, редактор большевистской прессы, в 1928—1929 годах руководитель Главискусства Народного комиссариата просвещения РСФСР.

[2] В. Е. Дровянников (1890—1941) — певец (бас), окончил Оперную студию Большого театра. Народный комиссариат просвещения командировал его в Италию. Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС) просило Генеральное консульство СССР в Италии «оказывать содействие» Дровянникову (ГАРФ. Ф. Р-5283. Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 7).

[3] Одна из итальянских газет осенью 1928 года писала: «После знаменитых Шаляпина и Неждановой, этих блестящих образцов музыкальной культуры, доныне остававшихся непревзойденными в России, успех Дровянникова можно рассматривать как наибольший и значительный, какой только имели в Италии иностранные певцы» (ГАФР. Ф. Р-5283. Оп. 2. Ед. хр. 40. Л. 175).

[4] Итальянский журналист назвал Дровянникова «соперником Шаляпина» (ГАРФ. Ф. Р-5283. Оп. 2. Ед. хр. 40. Л. 175). Но заголовок статьи был со знаком вопроса: «Будущий Шаляпин?». Горький момент сомнения снял.

[5] После Гражданской войны Дровянников основал в Сочи газету «Красный Сочи» (позднее «Черноморская здравница»), был ее первым редактором, потом стал ответственным сотрудником орготдела ЦК ВКП(б), оттуда был направлен в Оперную студию Большого театра.

[6] Е. Б. Чернышёва — пианистка, училась в Милане.

[7] В статье Горький писал: В Италии «иностранец платит тройной налог и по пяти лир в сутки за афишу ⟨...⟩ затем нужно оплатить помещение, мелкие расходы и т. д. Стипендия ВЦИК недостаточна для двоих: он и его жена — учительница помещаются в маленькой сырой комнате, плохо едят, у них нет приличных костюмов, не хватает денег для посещения музеев, театра» (*Горький М.* Наш человек // Известия. 1928. 23 мая. С. 7).

[8] Александр Иосифович Батурин (1904—1983) — певец (бас-баритон), окончил Ленинградскую консерваторию, обучался в Римской музыкальной академии Санта-Чечилия.

3

А. И. Свидерскому

Дорогой Алексей Иванович, — итак: еще один новый журнал?[1] Дело — доброе. Сказано:

«Дай бог побольше нам журналов,

Плодят писателей они»,[2] — хотя наша задача не «плодить писателей», а воспитывать оных. Однако лично я не могу принять участия в журнале «Искусство», потому что я не теоретик искусства и потому, что у меня нет времени для практической работы в этом новом журнале, так же как ни в каком ином. Вероятно, я с Вами разойдусь и в оценке «громадного художественного богатства западно-буржуазной культуры».[3] Мне кажется, что богатство это «все в прошлом»,[4] а в наши дни литература Запада интересна только как зеркало именно «разложения буржуазии».[5] Это, разумеется, интересно, но это дает в достаточном количестве журнал ВОКС'а.[6] Интересно, конечно, и все растущее влияние Достоевского, Толстого, Чехова на писателей Запада.

Откровенно говоря — обилие новых журналов меня смущает. Бумаги нет, Толстого издавать не на чем.[7] «Энциклопедия»,[8] говорят, нуждается в бумаге, а у нас выходят: «Наши достижения»,[9] параллельно с ними — или с ним — «Советская страна»,[10] «Книга и революция» Керженцева[11] — видимо, параллельно с «Печатью и революцией» Полонского,[12] какой-то журнал Шолохова и Караваевой[13] и все это, мне кажется, не очень нужно. Слава богам — «Ч и П» скончался.[14] Все эти не веселые мысли к «Искусству», конечно, не относятся, они относятся к хаосу. В «Искусстве» мне делать нечего, как я думаю, а главное — совершенно нет времени.

Работаю я не меньше 14-и часов в сутки и такой напряженной работы мне хватит до весны.[15]

Вы не обижайтесь на меня, дорогой Алексей Иванович, за мой отказ.

Барбюс, на мой взгляд, человек не талантливый и делающий себе карьеру на игре в симпатию к Советам.[16] Истрати[17] — того хуже. С ними я имел «интимную» беседу и, насмотрелся, — не верю в искренность их отношения к Советской власти. А вот Цвейг[18] — вполне порядочный человек, не говоря о его талантливости. Для писем об искусстве Италии рекомендовал бы старика — Mario Puccini — Марио Пуччини и еще Боргезе.[19]

С новым годом, дорогой А. И.!

Желаю Вам всего хорошего

А. Пешков.

3.1.29

Автограф. ГАРФ. Ф. 4359. Оп. 1. Ед. хр. 236. Л. 2—2 об.

[1] Речь идет об участии в ежемесячном журнале «Искусство» — органе Главискусства Народного комиссариата просвещения РСФСР. В 1929 году вышло пять номеров; на этом издание было прекращено.

[2] Видоизмененное утверждение Вельзевула, вероятно позаимствованное Горьким из фельетона В. М. Дорошевича «В аду»: «Люблю я новые журналы, плодят писателей они».

[3] Цитата из неизвестного письма А. И. Свидерского.

[4] «Все в прошлом» — название картины (1889) В. М. Максимова, художника-передвижника, запечатлевшего облик дряхлеющих помещичьих усадеб и их обитателей.

[5] Штамп большевистской прессы.

[6] Речь идет об «Информационном бюллетене» (М., 1925—1927).

[7] Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого стали выпускать в 1928 году.

[8] Речь идет о первом издании Большой Советской энциклопедии. Первый том вышел в 1926 году.

[9] «Наши достижения» — журнал под руководством Горького. Выходил с 1929 года.

[10] «Советская страна» — альманах (1927—1929). Горький считал, что он недостаточно освещает «картину иноплеменного творчества» (*Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 24. С. 425).

[11] Платон Михайлович Керженцев (1881—1940) — публицист, деятель Пролеткульта. Журнал «Книга и революция» выходил в 1929—1930 годах.

[12] Вячеслав Павлович Полонский (1886—1932) — литературный критик. В 1921—1928 годах редактировал журнал «Печать и революция». В июне 1930-го журнал был закрыт.

[13] Речь идет о журнале «Октябрь». Выходил с 1924 года. Объединял пролетарских писателей. В 1928 году опубликовал первую книгу романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» и роман А. А. Караваевой «Лесозавод».

[14] «Читатель и писатель» — еженедельник литературы и искусства. В 1927 году вышло два номера. В 1928-м — 52 номера.

[15] См. прим. 2 к письму 1.

[16] Анри Барбюс (1873—1935) — французский писатель, член Французской коммунистической партии. Неоднократно приезжал в СССР. В ноябре 1932 года Горький писал Р. Роллану: «Каюсь, — я не могу преодолеть моей антипатии к нему. Она возникла у меня после первой встречи в 28 г., когда он пришел ко мне с Панаитом Истрати, и крепко держится» (М. Горький и Р. Роллан. Переписка (1916—1936). С. 244).

[17] Панаит Истрати (1884—1935) — румынский писатель. В 1924 году по рекомендации Роллана (Истрати писал по-французски) Горький опубликовал его рассказ в своем журнале «Беседа» (Берлин) (см.: Горький и его корреспонденты. С. 304—305, 317). В 1927 году Истрати совершил путешествие по СССР. В мае 1928 года вместе с Барбюсом встретился с Горьким в Госиздате (см.: Современники А. М. Горького. Фотодокументы. Описания / Отв. ред. Л. П. Быковцева, Л. Н. Иокар. М., 2002. С. 499—500). Свои впечатления о большевистской России Истрати изложил в ряде публикаций, в том числе в книге «Голая Россия». Она изменила отношение Горького к писателю. В свою очередь Истрати был недоволен русским писателем: Роллану он говорил о «превращении желчного Горького (по-французски Gorki Amer) в сладостного официального панегириста» (цит. по: М. Горький и Р. Роллан. Переписка (1916—1936). С. 245). Они стали политическими врагами. О причинах эволюции Истрати от симпатии к новой России до неприятия «революционных порядков» см.: *Суварин Б.* Панаит Истрати и коммунизм // Континент. 1981. № 28. С. 221—245; № 29. С. 209—222.

[18] Стефан Цвейг (1881—1942) — австрийский писатель. Горький познакомился с ним в 1928 году в Москве на торжествах по случаю столетия Л. Н. Толстого.

[19] Джузеппе Антонио Боргезе (1882—1952) — итальянский писатель, историк и критик.

4

Н. И. Бухарину

Дорогой Николай Иванович.[1]

Не сочтете ли нужным перепечатать в «Известиях» горестный вопль Ремезова?[2]

Я думаю — этот вопль полезно будет услышать некоторым индивидуям.

Жму руку. А. Пешков.

Автограф. РГАСПИ. Ф. 329. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 8.

[1] Николай Иванович Бухарин (1888—1938) — политик, экономист, публицист, редактор газеты «Известия» с начала 1934 и до января 1937 года.

[2] Так в подлиннике. Впервые письмо было опубликовано по машинописной копии (Известия ЦК КПСС. 1991. № 8. С. 155), но публикаторы не были уверены, что письмо принадлежит Алексею Михайловичу Ремизову, а не И. С. Ремезову, сотруднику «Общества друзей СССР в Швейцарии» (там же, с. 156). Обнаруженные мною в архивном фонде Бухарина документы (подлинник письма и вырезка из «Последних новостей») позволяют однозначно установить, что в письме речь идет об А. М. Ремизове. Примечательно, что В 1987 году А. М. Крюкова писала: после 1926 года имя Ремизова «не встречается нам более ни в статьях, ни в письмах Горького» (*Крюкова А.* А. М. Горький и А. М. Ремизов (переписка и вокруг нее) // Вопросы литературы 1987. № 8. С. 212). В новейшем исследовании история отношений Горького и Ремизова завершается 1923 годом (см.: *Примочкина Н. Н.* Горький и писатели русского зарубежья. М., 2003. С. 163—169).

© *Н. А. Прозорова*

НОВОНАЙДЕННЫЕ ТЕКСТЫ Б. П. КОРНИЛОВА ИЗ АРХИВА Г. М. КОЗИНЦЕВА

Творческое наследие поэтов и писателей, погибших во время сталинских репрессий, как правило, не сохранилось в виде личных архивов. Безвозвратно утрачен и архив Бориса Петровича Корнилова, который был расстрелян как «участник троцкистско-зиновьевской террористической организации» 20 февраля 1938 года в районе Левашовской пустоши под Ленинградом. В связи с этим значение документов и автографов поэта, уцелевших в российских архивохранилищах в составе фондов других лиц, неизменно возрастает, а поиск их является одной из архивно-исследовательских задач. О новонайденных автографах поэта и пойдет речь в настоящей работе.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ СПб) в фонде известного режиссера и теоретика кино Г. М. Козинцева нами были обнаружены новые стихотворения Бориса Корнилова: четыре неизвестных поэтических текста и ранняя редакция «Сказания о герое гражданской войны товарище Громобое».

Обратимся сначала к истории текста стихотворения «Сказание...». Произведение было впервые напечатано в 1934 году в газете «Известия» под названием «Шуточное сказание о герое гражданской войны товарище Громобое» («Про того Громобоя напасти...»),[1] а затем без указания даты с измененным названием и сокращенным текстом включено автором в книгу «Новое».[2]

[1] Известия. 1934. 6 авг. № 182. С. 3; текст без даты.

[2] *Корнилов Б.* Новое: [Стихи]. Л., 1935. С. 65—66. Стихотворение получило название: «Сказание о герое гражданской войны товарище Громобое». В книге не были помещены

После трагической гибели поэта его творчество было обречено на забвение почти на два десятилетия, и в первый посмертный сборник «Стихотворения и поэмы» (Л., 1957), подготовленный О. Ф. Берггольц и М. П. Берновичем, «Сказание» не вошло. Позднее, при отборе стихотворений и поэм Корнилова для «Библиотеки поэта» Бернович включил «Сказание...» в издание с условной датой: ⟨1934⟩.[3] В 1972 году, публикуя стихотворения в сборнике поэта «Продолжение жизни», К. И. Поздняев опустил угловые скобки и, таким образом, в печатных источниках надолго закрепилась датировка «Сказания»: 1934.[4] Кроме того, стихотворение было включено в сборники, вышедшие в пермском и петербургском издательствах, где дата «Сказания» была вновь заключена в угловые скобки.[5]

В перечисленных изданиях Бернович и Поздняев публиковали стихотворение без комментария, очевидно, не располагая в это время необходимым для этого материалом. Автор первого исследования о творчестве поэта Г. М. Цурикова лишь вскользь упоминает о «Сказании», относя его к былинным сценам, и замечает, что «здесь Корнилов как бы соревнуется с А. Прокофьевым, писавшим на ту же тему».[6] Действительно, шуточный герой-крестьянин корниловского стихотворения подан в том же лубочном тоне, что и в «Трех песнях о Громобое» А. А. Прокофьева.[7] «Шуточность, несерьезность, пародийность „Громобоя" ощущаются еще более, — писал критик и исследователь творчества Прокофьева А. П. Селивановский, — если сравнить с прокофьевским аналогичное стихотворение Б. Корнилова о том же „Громобое", с теми же исходными ситуациями и той же концовкой: „Украшают его орденами и сажают его в сельсовет"».[8] Но почему два поэта «соревновались», сочиняя стихи на одну и ту же тему «с исходными ситуациями» и похожей концовкой? Первым эту загадку попытался разгадать Дм. Молдавский, занимавшийся творчеством Прокофьева и обративший внимание на примечание к первой публикации прокофьевских стихов о Громобое в журнале «Залп» в 1932 году: «Песни для звуковой кинокомедии „Путешествие в СССР"».[9] Затем, обратившись к вдове режиссера Козинцева, В. Г. Козинцевой, он подтвердил свои предположе-

---

11—13-я строфы стихотворения, опубликованные в газете; слово «попы» в 5-й строфе исправлено в книге на «паны».

[3] *Корнилов Б. П.* Стихотворения и поэмы / Вступ. статья Л. Аннинского; Сост., подг. текста и прим. М. Берновича. 2-е изд. М.; Л., 1966. С. 208—209 (Библиотека поэта. Большая сер.). Текст был воспроизведен по книге «Новое» с незначительной орфографической и синтаксической правкой.

[4] *Корнилов Б. П.* Продолжение жизни: Стихотворения и поэмы / Предисл. О. Берггольц; Сост., подг. текста и послесл. К. Поздняева. М., 1972. С. 114—115.

[5] *Корнилов Б. П.* 1) Стихотворения. Поэмы. Пермь, 1986. С. 177—178; 2) Песня о встречном. СПб., 2011. С. 129—130.

[6] *Цурикова Г. М.* Борис Корнилов. М.; Л., 1963. С. 101.

[7] См.: *Прокофьев А. А.* Собр. соч.: В 4 т. Л., 1978. Т. 1. С. 145—148. Отметим попутно, что впервые имя Громобой появилось в «Русских сказках» В. А. Лёвшина — в «Повести о дворянине Заолешанине, богатыре, служившем князю Владимиру» (1780). Отец богатыря Заолешанина, Свеналд, получил имя Громобой за воинские победы, будучи на службе у князя Святослава Игоревича. Литературный герой Громобой встречается также в «героической повести» Г. П. Каменева «Громобой» (1796) и у В. А. Жуковского в первой части баллады «Двенадцать спящих дев» (1810); здесь Громобой — раскаявшийся грешник, продавший душу дьяволу. Впоследствии на этот сюжет А. Н. Верстовским была написана опера «Громобой» (1854). Известны также фольклорные переработки баллады Жуковского (см.: *Неклюдов С. Ю.* Фольклорные переработки русской поэзии XIX века: Баллада о Громобое // И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата. М., 2008. С. 574—593). Во время Русско-японской и Первой мировой войн имя Громобой было на слуху как название российского броненосного крейсера, построенного на верфи Балтийского завода в 1900 году и затем принимавшего участие в боевых действиях в составе Тихоокеанской эскадры.

[8] *Селивановский А. П.* В литературных боях. М., 1963. С. 585. Критик цитирует стихотворение Корнилова по первой, газетной публикации.

[9] *Прокофьев А. А.* Первая песня о Громобое. Вторая песня о Громобое // Залп. 1932. № 9. С. 4—5.

ния о том, что оба поэта, Корнилов и Прокофьев, писали стихи о Громобое для новой картины.[10]

В литературно-художественной коллекции известного библиофила и музыканта М. С. Лесмана имеется рукопись интересующего нас стихотворения Корнилова. Этот автограф был впервые описан в аннотированном каталоге «Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана» под названием «О герое гражданской войны товарище Громобое — сказание» («Как зазвякали звезды на шпорах...»).[11] С 1994 года коллекция Лесмана начала поступать в Пушкинский Дом, благодаря чему нам удалось познакомиться с рукописью произведения de visu, хотя научно-техническая обработка фонда еще не завершена. После сличения недатированного и неавторизованного автографа с текстом первой публикации выявились разночтения: измененное название, отсутствие в автографе первой строфы текста газетной публикации и незначительные лексические замены.[12]

В 1996 году в домашнем архиве поэта Г. А. Некрасова был обнаружен еще один автограф «Сказания» Корнилова. Атрибуцией этого автографа занимался Поздняев, сопоставивший рукопись стихотворения с опубликованными текстами. Исследователь определил, что текст автографа из архива Некрасова имеет незначительные расхождения с текстом, опубликованным в газете «Известия», и отличается от книжных изданий.[13] Однако в статье о находке, опубликованной в «Нижегородской правде», Поздняев не указал, был ли датирован Корниловым автограф «Сказания».

Мы продолжили разыскания в архиве Г. М. Козинцева в ЦГАЛИ СПб, благодаря которым удалось выяснить следующее. Обнаруженный нами автограф «Сказания о герое гражданской войны товарище Громобое» является первой редакцией стихотворения и имеет авторскую датировку: 27 июня 1932.[14] Очевидно и то, что «Сказание...» было написано Корниловым как текст песни к незаконченному фильму «Путешествие в СССР», который Козинцев и Л. З. Трауберг снимали в 1932 году. Остановимся на этом подробнее.

В 1931 году режиссеры побывали на Магнитострое и, вернувшись в Ленинград, под впечатлением от поездки приступили к написанию сценария эксцентрической комедии о современной стройке для Ленинградской фабрики «Севзапкино» (ныне это киностудия «Ленфильм»).[15] Но работа не пошла. Позднее, в 1974 году участники фильма рассказали о подготовке сценария и актерских работах в интервью журналу «Советский экран». «Тогда мы обратились к молодому Николаю Погодину, — вспоминал Л. Трауберг, — в то время начинавшему увлекаться кине-

---

[10] См. об этом подробнее: *Молдавский Дм.* Песни о Громобое и «Новые времена». Г. М. Козинцев и А. А. Прокофьев (К 80-летию со дня рождения поэта) // Кадр. 1980. 19 нояб. С. 4. В. Г. Козинцева показывала Молдавскому автографы песен Прокофьева, находящиеся в архиве режиссера.

[11] Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М., 1989. С. 301.

[12] Слова автографа «Пушки рвут» заменены в первой публикации на «Пушка рвет». От книжных изданий автограф отличается наличием трех строф, в дальнейшем при публикациях опущенных (см. прим. 2).

[13] По сообщению Поздняева, автограф отличается от газетной публикации отсутствием слова «шуточное» в названии; написанием слова «че-пу-ха» через дефис; заменою строчек автографа «Пушки рвут холостою пальбою, всем приказано в ноги упасть» на: «Пушка рвет холостою пальбою, разевая горячую пасть». Три же строфы, «пропавшие» в книжных изданиях, есть и в газетной публикации и в автографе. См. подробнее об этом: *Поздняев К.* Обнаружен автограф Бориса Корнилова: Раздумья, навеянные этой находкой // Нижегородская правда. 1996. 12 нояб. № 129. С. 3.

[14] ЦГАЛИ СПб. Ф. 622. Оп. 1. Ед. хр. 247. Л. 6—6 об.

[15] В начале 1920-х годов Г. Козинцев, Л. Трауберг и С. Юткевич основали в Петрограде творческое объединение «Фабрика эксцентрического актера» (ФЭКС). Начав режиссерскую работу, они привнесли в советский кинематограф эстетическую программу фэксовцев: цирковую клоунаду, карнавал, буффонаду (см. фильмы: «Похождения Октябрины» (1924), «Шинель» (1926) и др.).

матографом. В начале 1932 года он вручил нам готовый сценарий „Последняя артель", который после некоторой переделки стал называться „Путешествие по СССР".[16]

Вот его содержание. Сельская артель, состоящая из ядреных мужиков, отправляется на стройку — мир поглядеть и себя показать. Это очень знаменитая артель. Она существует много лет, у нее свои „легенды", которые мужики охотно рассказывают при случае, и все они уверены, что их артель — самая лучшая в мире. Но когда они приезжают на стройку, выясняется, что слава их дутая и что они всего-навсего обыкновенные кустари. Артель быстро распадается, и вместо нее возникает новая бригада...

Все это было написано в очень смешных эпизодах. ⟨...⟩ Был в сценарии крестьянский парень, мечтательный юноша, зачитывающийся „Детьми капитана Гранта", — его играл Б. Чирков. Был веселый хвастун, наивный, простодушный силач Митроша — Зуда — С. Каюков. Была девушка Маша, овладевавшая сложным механизмом, экскаватором „Марион", — М. Бабанова. Патриархального старосту артели должен был играть М. Тарханов. И был еще кулацкий сын Васюта Барашкин, продавший артельную корову без ведома артели, хвастун и лентяй. В этой роли снимался Э. Гарин».[17]

Однако замысел о «психологическом путешествии российских мужицких характеров» на большую стройку страны так и не получил кинематографического воплощения: фильм приостановили, а затем закрыли. «Мы начали снимать картину в Мариуполе, — рассказывал Трауберг, — наш постоянный оператор А. Москвин с удовольствием работал на натуре. А потом мы решили перебраться на Днепрострой, ведь действие фильма происходило на одной из больших строек первой пятилетки. Картина задумывалась как звуковая, но в самый разгар работы на Днепрострое выяснилось, что у нас до сих пор нет звукооператора, а того, кто с нами должен был работать, перебросили на другую картину».[18] Когда работа над фильмом остановилась, съемочная группа вернулась в Ленинград.

Вопрос о реальной причине, по которой была закрыта картина, неясен. Публикаторы переписки Г. Козинцева, В. Г. Козинцева и Я. Л. Бутовский, отмечают, что немаловажную роль в этом деле сыграл чиновник Главного управления кинофотопромышленности при Совнаркоме СССР — Б. З. Шумяцкий.[19] Нас же в данном случае интересует не столько история несостоявшейся кинокартины, сколько относящиеся к ней архивные материалы, сохранившиеся в фонде Козинцева: заявка на сценарий, его режиссерская разработка и собственно литературный сценарий Н. Ф. Погодина, а главное, — корниловские автографы. Среди которых, во-первых, была обнаружена новонайденная авторизованная ранняя редакция «Сказания», отличающаяся от первой газетной публикации названием, отсутствием первой строфы, лексическими и смысловыми разночтениями, датировкой автора, а также разбивкой текста на «хор» и «голос».[20] Во-вторых, стихотворение «Он побольше этих домен...» с подписью Корнилова,[21] и, в-третьих, два неавторизованных рукописных текста с названиями «Песенка, с которой артель тянет пароход на берег» и «Песня о председьсовета товарище Громобое».[22] И наконец, еще один, пятый текст, без общего названия, состоящий из трех частей с самостоятель-

---

[16] Правильное название фильма «Путешествие в СССР» (см.: ЦГАЛИ СПб. Ф. 622. Оп. 1. Ед. хр. 247).

[17] «Путешествие по СССР» / Публ. интервью И. Чанышева // Советский экран. 1974. № 11. С. 19.

[18] Там же.

[19] См.: Переписка Г. М. Козинцева: 1922—1973. М., 1998. С. 24.

[20] Эта редакция, вероятно, близка по времени написания к текстам автографов, найденных в архиве Г. А. Некрасова и коллекции М. С. Лесмана.

[21] ЦГАЛИ СПб. Ф. 622. Оп. 1. Ед. хр. 247. Л. 7—7 об.

[22] Там же. Л. 8—14.

ными заголовками: «Артельщик лежит и поет», «Голос», «Артель работая». После сличения почерка поэта в черновых тетрадях 1930-х годов, хранящихся в Рукописном отделе Пушкинского Дома в фонде Берновича,[23] с этими рукописями стало очевидно, что перед нами новонайденные произведения Бориса Корнилова. Стихотворения написаны в свойственной поэту манере: с напевным ритмом, песенной композицией, насмешливо-озорной интонацией, «корниловской» инверсией («дирижабли / смертоносные вполне») и установкой на использование в лексике парня-артельщика «неправильных» и непоэтических слов («текёт», «баба», «ребяты»).

В этом же деле о незавершенной комедии «Путешествие в СССР» были обнаружены и тексты песен А. А. Прокофьева.[24] При заказе текстов песен Корнилову и Прокофьеву было задано лексико-семантическое поле с ключевыми словами: Громобой, красивый, сельсовет, председатель, дирижабль, артель и др., что видно при сравнении произведений двух поэтов.

Ср.:

Прокофьев	**Корнилов**
Громобой стоял красивый, Сплюнул в чистую бадью[25]	Возгласите хвалу Громобою, Что прекрасен донельзя собой[26]
Светит солнышко рябое Птички звонкие поют, Дорогому Громобою Дирижаблик подают[27]	Обнажал он остры сабли на гражданской на войне, над главою дирижабли смертоносные вполне[28]

Тема героя-Громобоя в дальнейшем не оставляла Корнилова, предполагавшего, видимо, подготовить книгу о Громобоях.[29]

Найденные тексты песен Корнилова дополняют корпус стихотворений наиболее «песенного» для поэта 1932 года, в течение которого были написаны знаменитая «Песня о встречном» («Нас утро встречает прохладой...») для кинофильма «Встречный» (музыка Д. Д. Шостаковича), а также «Октябрьская», «Интернациональная», «Комсомольская краснофлотская» и «Пограничная». Песня в это время излюбленный жанр не только в творчестве Бориса Корнилова, 1930-е годы — период расцвета массовой песни, уникального явления советской культуры, подъему которого в немалой степени способствовал кинематограф. Не случайно сценарий фильма «Путешествие в СССР» переполнен песнями. Обращает на себя внимание и режиссерская помета, сделанная карандашом к эпизоду «Крановая бригада идет»: «*ПЕСНЯ* обязательно».[30] Приведем небольшой сценарный фрагмент, иллюстрирующий широкое включение песни в кинематографическую ткань первых звуковых советских картин: «Наверху, на палубе, сидел человек, читал газету. Прислушался и стал подпевать. В салоне два шахматиста, думают и беззвучно подпевают, в ритм песне передвигают шахматы и хватаются за голову.

---

[23] ИРЛИ. Ф. 600. Ед. хр. 44—45.

[24] См., например: «Громобой», «Песня о председателе сельсовета Громобое», «Артельная», «Песня о Громобое» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 622. Оп. 1. Ед. хр. 247. Л. 15—22).

[25] *Прокофьев А. А.* Три песни о Громобое. Собр. соч. Т. 1. С. 146.

[26] Цит. по: *Корнилов Б. П.* Новое. С. 65.

[27] *Прокофьев А. А.* Три песни о Громобое. С. 145.

[28] См. наст. публ.

[29] См., например, его «Сказание о сыне товарища Громобоя» («Мы Громобоя не порочим...») (впервые опубл.: Известия. 1934. 6 авг. № 182. С. 3), а также помету в черновой тетради: «Включить в книгу „Громобоев"», сделанную на одном из листов с записью детской сказки «Как от меда у медведя зубы начали болеть» («Вас когда-нибудь убаюкивали, мурлыкая?..»); первоначальное название в тетради: «Баю-баю» (ИРЛИ. Ф. 600. Ед. хр. 44. Л. 12).

[30] ЦГАЛИ СПб. Ф. 622. Оп. 1. Ед. хр. 247. Л. 95 (слово «песня» подчеркнуто три раза).

Капитан на мостике облокотился и поет в трубку. Машинист слушает приказ и поет то же, что и капитан. Кочегар, покачиваясь, мрачным голосом, — подал уголь, — и поет.

Река. Вечер. Песня. И вальсирующий ритмически пароход».[31]

Песня как бы «организует» сценарий, в котором действия персонажей, работа, отдых и их эмоции сопровождаются песней, в том числе шуточной. «Мы насчет пения, — говорит артельщик, — знаменитейшая артель».[32] На что ему бригадир отвечает: «Здорово поете. ⟨...⟩ А работаете как сукины дети».[33] Композитором в заявке на фильм «Путешествие в СССР» был указан В. Я. Шебалин, дирижером Н. С. Рабинович, художником Е. Е. Еней, звукооператором И. Ф. Волк.

Сотрудничество самого Корнилова в кино в дальнейшем продолжалось. Им были написаны тексты песен к картинам «Лунный камень» (1935; режиссеры А. Минкин, И. Сорохтин; композитор Б. Арапов), «Путь корабля» (1935; режиссер Ю. Тарич; композитор И. Дунаевский) и «Большие крылья» (1937; режиссеры М. Дубсон, К. Гаккель; композитор В. Желобинский, последняя была снята с проката почти сразу после выхода на экран).

Продолжая тему песен Корнилова для кино, следует упомянуть еще об одном, правда несостоявшемся сотрудничестве поэта с советским кинематографом, которое касается картины «Шахтеры» (первоначальное название «Садовник»). Фильм был анонсирован в первомайском номере газеты «Кино» за 1936 год в статье режиссера С. Юткевича.[34] Здесь же было опубликовано стихотворение Корнилова «Песнь о шахтерской слободе» с пометой «Для фильма „Садовник"».[35]

Картина, посвященная возникновению стахановского движения в шахтерской среде и борьбе с противниками этого движения («вредителями»), благополучно вышла в прокат в августе 1937 года под названием «Шахтеры», но песня Корнилова в ней не звучала. Предполагаем, что причиной этого стал арест Бориса Петровича в марте того же года, приближение которого предчувствовал и сам поэт, и его окружение. В этой связи вспоминаются строки Корнилова из поэмы «Триполье» (1932—1934):

Ой, немного осталось,
ребята,
до смерти...
Пять шагов до могилы,
ребята, отмерьте!

Имя поэта вернулось в русскую литературу в 1957 году, после его посмертной реабилитации. Популярная «Песня о встречном», слова которой были у всех на слуху, но считались народными, вновь обрела автора. И наконец, в 1960 году еще одно стихотворение Корнилова «Вечер» («Гуси-лебеди пролетели...») с небольшими сокращениями было положено на музыку композитором В. И. Рубиным и прозвучало в фильме С. И. Туманова и Г. Б. Щукина «Алешкина любовь».

* * *

Тексты публикуются по автографам, находящимся в ЦГАЛИ СПб (Ф. 622. Оп. 1. Ед. хр. 247), с сохранением их порядка в архивном деле: Л. 6—6 об. — «Сказание о герое гражданской войны товарище Громобое»; Л. 7—7 об. — «Он побольше этих домен...»; Л. 8—10 — «Артельщик лежит и поет», «Голос», «Артель

[31] Там же. Л. 46.

[32] Там же. Л. 150.

[33] Там же.

[34] *Юткевич С.* Садовник // Кино. 1936. 1 мая. № 22. С. 2.

[35] *Корнилов Б.* Песнь о шахтерской слободе // Там же. С. 4 (позднее стихотворение получило название «Песня о шахтерской слободке»).

работая»; Л. 11 — «Песенка, с которой артель тянет пароход на берег»; Л. 12—14 — «Песня о председьсовета товарище Громобое». Стихотворения написаны фиолетовыми и синими чернилами. Подчеркнутые в тексте слова выделены при публикации курсивом, сокращения раскрыты в ломаных скобках; орфография и синтаксис приближены к современным правилам.

Публикатор выражает признательность памяти В. Г. Козинцевой, сохранившей для истории отечественного кинематографа и русской литературы архив Г. М. Козинцева, а также благодарит А. Г. Козинцева за любезное разрешение опубликовать тексты песен Б. П. Корнилова к незавершенному фильму «Путешествие в СССР».

СКАЗАНИЕ О ГЕРОЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ТОВАРИЩЕ ГРОМОБОЕ

Голос

Как зазвякали звезды на шпорах — Громобой вылетает высок,
возле около пыхает порох и пропитанный кровью песок...

Хор

возле около пыхает порох и пропитанный кровью песок.

Голос

Возгласите хвалу Громобою, что суразен донéльзя собой,
сорок армий ведет за собою, состоя во главе, Громобой. (2 раза)

И упала от края до края эта сила, как ливень камней,
угнетатели, прочь удирая, засекают кубанских коней. (2 раза)

И графья, и князья, и бароны, и панóы до урядника вплоть,
и терзают орлы и вороны их убитую мягкую плоть. (2 раза)

Поразбросаны всюду, как рюхи — насекомые скачут по лбам,
и тогда победителю в руки телеграммы идут по столбам. (2 раза)

Громобой по печатному дока, содержанье имеет в мозгу,
что в течение краткого срока самолично явиться в Москву. (2 раза)

Приказание буквой любою получается, в сердце звеня,
и подводят коня Громобою — Громобой не желает коня. (2 р⟨аза⟩)

А моторы от шума и воя поднимаются прямо до звезд,
самолет до Москвы Громобоя во мгновение ока довез. (2 р⟨аза⟩)

Облака проплывают как сало, он рукой ощущает звезду,
и в Москве Громобой у вокзала вылезает на полном ходу. (2 р⟨аза⟩)

Пушки рвут холостою пальбою, всем приказано в ноги упасть,
преподносит цветы Громобою на вокзале советская власть.

За лихую расправу с панами, за спасенье от горя и бед
украшают его орденами и сажают его в сельсовет. (2 раза)

Громобой заседает в совете, он теперича незаменим,
мы его — Громобоевы дети — чепуха по сравнению с ним. (2 раза)

Возгласите хвалу Громобою, что суразен донéльзя собой,
он и нас поведет за собою, состоя во главе, Громобой.

Хор

Он и нас поведет за собою, состоя во главе, Громобой.

27 июня 1932 г⟨ода⟩ *Борис Корнилов*

* * *

Он побольше этих домен,
личность светлая в пыли,
он стоит, стоит огромен
посередь всея земли.

⟨*Припев*⟩

и-и-эх...

слава Громобою,
завсегда с тобою
мы превыше всех.

Обнажал он остры сабли
на гражданской на войне,
над главою дирижабли
смертоносные вполне.

Припев

Столкновения лихие —
на врага летел горой,
и за подвиги такие
Громобой теперь герой.

Припев

Он из огненного боя
вышел крепкий словно сталь,
на грудях у Громобоя
Красно — знаменье — медаль.

Припев

Новой власти созидатель —
пойте славу веселей,
он теперя председатель
сельсовета на селе.

Припев

Он у нас хозяин старший,
обстоятельный кругом,
голова артели нашей
и директор и завком.

Припев

Не вдаваясь больше в пренью,
мы заявим вперебой,

что ничтожны по сравненью
мы с тобою, Громобой.

Припев

Возгласи сие трубою,
как архангельской трубой,
слава, слава Громобою,
всех превыше Громобой.

и-и-эх

Слава Громобою,
завсегда с тобою
мы превыше всех.

Борис Корнилов

АРТЕЛЬЩИК ЛЕЖИТ И ПОЕТ

Ой, какая жара —
покупаться пора...
Квасу бы, ягод бы,
бабу бы на год бы,
и лежать на печи —
хохочи, щекочи...
Сладкой браги поток
прямо в рот бы потек,
закусить бы ее —
красота — не житье.
Квасу бы, ягод бы,
бабу бы на год бы...

ГОЛОС

Только если бы не бы,
так во рту росли грибы,
а не рапорты,
что лежите, как гробы
как на паперти.
Поднимай телеса,
разводи чудеса —
чудо первое...

АРТЕЛЬ РАБОТАЯ

Лопаты вниз,
ребяты — гнись,
как вервие.
Трещит земля
самодельная —
валяй семья —
артель моя.
Эх кабы, да кабы —
только вот не зли —
мы ребяты — дубы
в нашей отрасли.
Хоть в какую жару —

только вот не зли —
прокопаем дыру
насквозь земли.
Копай до дна
пропасть оную,
подойдет она
под Японию.
Копай весело́
обоими,
придем на село
Громобоями.
Грянь, грянь — гром...
бей, бей — бой...
гей, гей, бом —
Громобой...

пока все

ПЕСЕНКА, С КОТОРОЙ АРТЕЛЬ ТЯНЕТ ПАРОХОД НА БЕРЕГ

Текёт вода, горяч песок,
тяни, дружок,
а ну разок,
еще разок —
на бережок.
Давай его, тяни сюда,
текёт вода —
раскинешь ноги, будешь наш
. . . . . .
(вытянув пароход, сплевывая и утираясь)
Готов. Шабаш.

ПЕСНЯ О ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА ТОВАРИЩЕ ГРОМОБОЕ

На ниве божья света —
красивый сам собой
живет предсельсовета —
товарищ Громобой.
За красные советы,
как туча шел на бой,
произносил заветы —
товарищ Громобой.

Грянь, грянь — гром...
бей, бей — бой...
гей, гей, бом —
Громобой...

И дни его летели,
сверкая вперебой —
он голова артели —
директор Громобой.
Гласи законодатель
архангельской трубой,

он с нами — председатель
товарищ Громобой.

Грянь, грянь — гром...
бей, бей — бой...
гей, гей, бом —
Громобой...

И не вдаваясь в прению
заявим вперебой:
— Мы птички по сравнению
с тобою, Громобой... —

С канатными усами,
с отпяченной губой,
ты проходил лесами
как леший — Громобой.

Грянь, грянь — гром...
бей, бей — бой...
гей, гей, бом —
Громобой...

И песня наша искоркою
над тобой сверкай,
и песню вроде изверга —
ребята, извергай.

Грянь, грянь — гром...
бей, бей — бой...
гей, гей, бом —
Громобой...

М. М. ЗОЩЕНКО. ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 6 ДЕКАБРЯ 1943 ГОДА

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ © В. П. МУРОМСКОГО)

6 декабря 1943 года на расширенном заседании Президиума ССП состоялось обсуждение (а точнее, осуждение) опубликованных в журнале «Октябрь» первых семи глав книги М. Зощенко «Перед восходом солнца».[1] Это обсуждение было инициировано двумя предшествующими постановлениями Секретариата и Оргбюро ЦК ВКП(б) — «О повышении ответственности секретарей литературно-художественных журналов», принятыми соответственно 2 и 3 декабря 1943 года. В них речь

[1] Октябрь. 1943. № 6—7, 8—9.

шла о недопустимости проникновения в печать недоработанных и политически вредных произведений, в том числе и таких, как «антихудожественная, пошлая повесть Зощенко „Перед восходом солнца"».[2]

По свидетельству Е. Ю. Хин, еще в предвоенные годы, работая над книгой «Ключи счастья» (первоначальное название повести «Перед восходом солнца»), М. Зощенко предчувствовал, что с нею могут возникнуть серьезные проблемы: «Мне страшно выпускать ее из рук. Уж очень огрубели мозги в наших издательствах. Был один человек, которому я мог бы дать прочитать эту книгу, и он бы спас ее. Но его нет на земле. Это — Горький».[3]

Предчувствие это не покидало писателя и впоследствии, когда, казалось бы, издательская судьба книги была положительно решена. Уже на начальном этапе публикации своей повести М. Зощенко довольно точно прогнозировал отрицательную реакцию критики на нее. Это видно из доверительных писем писателя к Л. А. Чаловой, в которых отразилась вся гамма его переживаний по этому поводу.[4] Он приступает к напечатанию повести с едва заметным беспокойством из-за возможных цензурных препятствий: «Редакция уверяет, что этого не случится. Я не очень. Но почему-то я даже не слишком огорчусь. Мне было важно написать, а не напечатать...» Но уже через некоторое время у него появляется тревожное предчувствие в связи с исповедальным характером повести: «Получается столь интимно и откровенно, что стало мне не по себе... Я хотел прекратить печатать после первой части. Все-таки — живой автор. А тут будут люди копаться в моих любовных и прочих делах. Стоит ли это?» Затем тревога переходит в настоящее прозрение и убеждение в том, что «всю книгу не напечатают. Где-то она запнется... Одно дело писать, а другое дело представить себе читателя за этой книгой. Да еще с улыбкой на морде». И наконец, появляется пророческая фраза, полностью оправдавшаяся в действительности: «Предвижу брань и даже скандал».

Тем не менее решение писателя публиковать книгу, вопреки появившимся у него внутренним колебаниям и тревогам, имело под собой вполне определенные основания. На это решение безусловно повлияли предварительные хорошие отзывы о повести со стороны авторитетных людей (Н. Тихонов, В. Шкловский). Ее научная часть была одобрена академиком А. Сперанским в его отзыве, составленном по запросу редакции журнала. Само согласие журнала «Октябрь» публиковать повесть явилось для М. Зощенко позитивным сигналом (плохую вещь не стали бы печатать). К тому же у автора, при всех внутренних сомнениях, были свои резоны в пользу публикации «Перед восходом солнца». В письме к жене из Москвы от 29 октября 1943 года, заканчивая напряженную работу над повестью, М. Зощенко так оценил свой труд: «Получается очень сильно».[5] Он не сомневался в силе воздействия своей книги и тогда, когда столь пафосно заявлял на ее страницах: «Я приравниваю ее (книгу) к бомбе, которой предначертано разорваться в лагере противника».[6]

Но, по иронии судьбы, бомба разорвалась не в лагере противника, а в своем лагере. И осколки от этого взрыва изрядно поранили самого автора. На него обрушился шквал осуждающей критики, в том числе и на упомянутом заседании Президиума ССП. Заседание проходило под председательством А. Фадеева. Из извест-

---

[2] Власть и художественная интеллигенция. Документы о культурной политике. 1917—1953. М., 1999. С. 508.

[3] *Хин Евгения.* Коктебель // Звезда. 1994. № 8. С. 39.

[4] См.: *Арефьева Н. Е.* Чужие письма // Аврора. 2006. № 5. С. 115—136.

[5] «...Писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации». М. М. Зощенко: письма, выступление, документы 1943—1958 гг. / Публ. и коммент. Ю. В. Томашевского // Дружба народов. 1988. № 3. С. 169.

[6] *Зощенко М. М.* Перед восходом солнца // Зощенко М. М. Собр. соч. / Сост. и прим. И. Н. Сухих. М., 2008. С. 301.

ных писателей в нем участвовали О. Форш, С. Маршак, Л. Соболев, В. Шкловский, критики В. Кирпотин, Е. Ковальчик и др. В ходе обсуждения повести М. Зощенко услышал и давно знакомые ему нарекания по поводу мелкотемья, приверженности обывательскому миру, и новые для него упреки в гордыне, заносчивости, претензиях на некое научное открытие. Важный для автора тезис об антифашистской направленности повести «Перед восходом солнца» для участников обсуждения, как видно из стенограммы, прозвучал неубедительно. Антифашистская тема не мыслилась тогда на путях изоляции от реальной военной действительности, ухода в болезненно-проблемный мир собственной личности. В результате М. Зощенко обвинили в том, что он не понял своей эпохи и привычно скатился к обывательщине и пошлости.

С присущей ему искренностью и достоинством писатель защищал свою книгу, свои авторские идеи и позиции, но — безуспешно. По существу, он один противостоял коллективным нападкам, на этом заседании у него не было единомышленников. Лишь О. Форш попыталась как-то смягчить удар, напомнив, что повесть М. Зощенко находится не вне традиции, у нее есть предшественники, в том числе и дальние, — например, «Исповедь» Жан-Жака Руссо. Из чего естественно следовало, что судить о книге М. Зощенко желательно было бы по законам этого жанра.

Выступление же В. Шкловского, на поддержку которого мог надеяться М. Зощенко, оказалось слишком уклончивым. Он предпочел говорить не столько о повести, сколько об искусстве вообще. Но некоторые его реплики были довольно прозрачны. Словно отвечая на недоумение М. Зощенко, почему «история нездорового человека, который вылечился» (так писатель определил тему своей книги), вызвала столь решительное неприятие и отпор, В. Шкловский сказал: «Вот существует болезнь и человек преодолевает болезнь. Потом человек начинает писать о болезни. Это не победа над болезнью, это болезнь проникла в него».[7] В итоге В. Шкловский проголосовал за резолюцию, осуждающую повесть.

О неприятии книги М. Зощенко свидетельствовало и выступление С. Маршака. Признавая право писателя на ошибку, он оценил повесть как неглубокую и в научной ее части «небезгрешную»: «В данном случае с самыми лучшими намерениями, с попыткой поделиться с людьми тем, что якобы принесло пользу ему самому, все-таки автор вступил на довольно поверхностное соединение науки и искусства». В повести, по мнению С. Маршака, «скупо чувство, тут мало любви, мало дружбы, нет воздуха... потому что все эти беллетристические вещи подчинены какой-то теории».[8]

М. Зощенко поразили не только непонимание его книги (с этим ему приходилось сталкиваться и раньше), но и неприемлемая для него атмосфера самого обсуждения. «Здесь я чувствую, — с горечью отметил он в своем выступлении, — какую-то враждебность, которой я не заслуживаю, и в той степени неуважение, какого я не испытывал никогда за все 22 года моей работы. Ни у кого не нашлось ничего сказать в мою защиту».[9]

Столь драматическое несовпадение между М. Зощенко и его критиками, приведшее в конечном счете к остановке публикации повести в журнале и переходу ее в разряд «опальной», стало привычным рассматривать лишь в рамках отношений тоталитарной власти и художника. При всей внешней убедительности такого подхода, он далеко не все помогает объяснить. Причины подобной «нестыковки» лежат глубже — в самом процессе взаимодействия литературы и критики, который вовсе не исключает наличие серьезных расхождений между ними и который на каждом историческом этапе имеет свои особенности. Вне этого процесса, минуя

[7] РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 637.
[8] Там же.
[9] Там же.

его, вряд ли можно найти ответ на вопрос, почему с осуждением повести выступили писатели, изначально не настроенные против М. Зощенко, мнению которых он доверял. Такие писатели, как С. Маршак, В. Шкловский, могли позволить себе высказать личное мнение, не оглядываясь на директивы сверху. И тем не менее они не одобрили повести М. Зощенко.

В самой сосредоточенности автора «Перед восходом солнца» на сугубо личных проблемах и переживаниях, казалось бы, не было ничего сверхнеобычного. Особенно если учесть, что именно в годы Великой Отечественной войны произошло заметное усиление лирического начала в поэзии и прозе. Личная, интимная интонация постепенно становилась характерной для литературы военных лет. И М. Зощенко, как писатель, не мог этого не чувствовать. Его повесть выпадала из общей тенденции в другом смысле. Выяснение причин происхождения своей тоски, хандры, угнетенного состояния духа, какими бы благими мотивами не руководствовался автор, неизбежно натыкалось на такую реакцию, суть которой один из современников выразил простыми словами: «Не до этого тогда было».[10] Это было такое «личное», которое не резонировало с трагическим наполнением и крайним напряжением военной эпохи. И потому не было понято и принято ею. Время хотело совсем других литературных произведений, а то, что предложил М. Зощенко, шло вразрез с «ожидаемым». В условиях войны и тех жестких требований, которые она предъявляла литературе, повесть «Перед восходом солнца» вряд ли могла быть воспринята иначе.

Это вынужден был признать, причем довольно скоро, и сам автор. На обсуждении повести в Союзе писателей М. Зощенко решительно возражал своим оппонентам: «Я не вижу, почему именно в наши дни не следовало брать эту тему? Меня никто не убедит в этом».[11] Но уже через месяц после обсуждения в письме секретарю ЦК ВКП(б) А. С. Щербакову он сообщал: «...я должен признать, что книгу не следовало печатать в том виде, как она есть. Я глубоко удручен неудачей и тем, что свой опыт произвел несвоевременно».[12] Чуть позже в письме к жене он по сути повторил то же самое: «Написал хорошую книгу (хотя, может, трудную, не массовую и не вовремя)».[13]

В свое время М. Горький предупреждал М. Зощенко, что его «Голубая книга», «вероятно, не сразу будет оценена так высоко, как она заслуживает».[14] Эти горьковские слова в еще большей степени и с гораздо большим основанием можно отнести к повести «Перед восходом солнца». Не вина писателя, что завершение работы над ней пришлось на годы войны. В то время как большинство его коллег по перу обратилось к военной теме (что было тогда вполне естественно), М. Зощенко думал и писал о таких проблемах, которые будут волновать людей через много лет после войны. В этом смысле он опережал свое время.

Непонятая и отвергнутая в годы войны, книга М. Зощенко была востребована значительно позже, в других исторических условиях, когда обостренное внимание к человеческой личности, погружение в глубины ее сознания и подсознания перестало восприниматься как нечто недопустимое и подозрительное.

Текст выступления М. Зощенко публикуется по стенограмме заседания Президиума Союза советских писателей от 6 декабря 1943 года, хранящейся в РГАЛИ (Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 637. Л. 61—69).

---

[10] *Капица П.* Это было так // Нева. 1988. № 5. С. 142.

[11] РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 637.

[12] Власть и художественная интеллигенция. С. 509.

[13] «...Писатель с перепуганной душой...». С. 171.

[14] Лит. наследство. 1963. Т. 70: М. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. С. 166.

Мне сейчас трудно говорить, потому что товарищи говорили о моей вещи. Я не хотел защищать книгу, потому что никто не читал всю книгу до конца, а напечатана половина книги, — значит являлась суждением либо первая часть, либо вторая часть. Это, конечно, неправильно, потому что вся книга значительно больше — это, примерно, 15 листов, а напечатано 7.[1]

Но тут есть какое-то недоразумение. Соболев сказал вещи особенно для меня тягостные,[2] потому что здесь было обвинение в какой-то моей гордыне, заносчивости, желании вещать миру, и он даже привел трагедию, которой у меня нет.

Дело обстоит гораздо проще. У меня был опыт с «Возвращенной молодостью». Это была книга, которая чрезвычайно заинтересовала людей, это была дискуссия, — я могу судить по стенограммам, которые были у меня на руках,[3] и по отзывам Ивана Петровича Павлова, который книге дал весьма хорошую оценку.[4] Если бы не произошла эта встреча с научным миром в этой книге, может быть, я не стал бы писать свою книгу. Но мне показалось, что польза, которую я могу привести на личном своем опыте, есть, что это следует напечатать.[5]

Речь идет о психоневрозе, рассказан случай неверной жизни, случай неверного отношения к жизни и дана разгадка. Причем я не выхожу из области физиологической. Я подчеркиваю, что конфликта с внешним миром у меня не было, а речь идет о психоневрозе.

И я в силу такого неверного отношения к жизни... Я записал на бумажке все случаи критические, которые высказали товарищи по поводу моей книги, и меня несколько фраз поразили. Первая о том, что я не увидел эпохи, что я взял обывательский мир. Как это может быть, чтобы писатель, сатирик, и так узко подошел, смотря на мир.

Это же неверно! Это недоразумение. Я очень вижу эпоху, но я — сатирик, у меня материал сатирического порядка, я пишу о явлениях отрицательных — это очень неблагодарный материал. Я от этого терпел в течение многих лет бедствия, потому что мой материал, мишень моя, воспринимаются так, как будто это есть я. А вот это ошибка.

Товарищи могут сказать, что в данном случае ты пишешь о себе. Совершенно так: в данном случае я являюсь мишенью своего сатирического произведения, я беру свою жизнь, свои ошибки, свой неверный подход к жизни — беру темой,[6] и я выхожу из этого, найдя ошибку просто в физиологическом конфликте, который присутствовал в моей жизни.

Я подчеркиваю, что у меня в юные годы, сколько я помню, еще не было разрыва, не было конфликта общественного порядка, но я нашел в своей жизни конфликт физиологический[7] и я сообщаю об этом в книге. Вот одна из тем этой книги.

Второе обстоятельство — как мелко я взял тему. Мелко, пожалуй. Почему я в дни нашей войны это сделал? Я не с ума сошел, я знаю, почему я беру эту тему. Эта тема не мелкая. Это тема о разуме, который побеждает, о высоком сознании, которое борется с низшими силами. Эти низшие силы присутствуют в каждом человеке в виде низших инстинктов, и это соответствует современной науке, которая существует. Я же не высосал это из пальца, это так, и в начале книги об этом рассказываю довольно четко. Это тема: разум побеждает, это тема высокого сознания, это тема, что человеческий путь — это не возвращение вспять, как полагала вся буржуазная философия, которая полагала, что разум мешает, что высокое сознание ни к чему, что нужно отказаться от цивилизации, от машин, что беды от этого. Это была мысль буржуазной философии, и это воплотилось потом в фашистской философии.[8] Говорится о том, что наука калечит людей, что наука приносит беды. Тема книги: разум побеждает, побеждает высокое сознание, и на честном примере человека, который борется с низшими силами, который хочет завоевать это высокое сознание, это показано. Это есть основная тема книги.

Я не вижу, почему именно в наши дни не следовало брать эту тему? Меня никто не убедит в этом. Это антифашистская книга в полной мере, ее задачи ясны.

И третье положение. Товарищи говорили об антинаучности и даже говорили слова, которые весьма трудно было слушать — о том, что это смешно, комично, что это неверно. Причем товарищи говорили это с большой уверенностью, и в этой уверенности, в апломбе этих товарищей я вижу бóльшую гордость и заносчивость, чем та, в которой меня хотят уличить, — у меня не было этой заносчивости.

Я должен сослаться на некоторые авторитеты, хотя бы потому, что я испытываю напряжение в такой степени, которое позволяет мне сослаться на авторитеты, не унижая этим себя еще больше. Я не стал бы печатать эту книгу, не имея собственного убеждения — это во-первых, во-вторых, если бы не имел тех отзывов, которые имею. Редакция «Октября» чрезвычайно осторожно поступила с книгой. Это неверно товарищи говорили, что книга понравилась редактору, даже кто-то сказал, что он не хотел со мной ссориться. Это вздор. Это было совершенно не так. С огромным интересом прислушивались к этой книге, я читал ее среди литераторов, книга читалась некоторыми учеными, от которых получены отзывы.

В этой книге присутствует тема Павлова условных связей (так в тексте стенограммы. — *В. М.*),[9] в предисловии этой книги приведен разговор с физиологами. Этот разговор много лет назад состоялся у Горького в Горках, это был разговор с академиком Сперанским[10] о том, что изучить сознание — это в большей мере принадлежит писателям, чем ученым, что он, физиолог, точно знает, что это дело писателя. Не то, чтобы он передавал эту тему, но он подчеркнул, что именно писательское перо может помочь делу, потому что путем науки это нельзя доказать, это лежит в области фантазии. Этот разговор я привел в предисловии и скажу — когда передавал рукопись редакции, рассказывал об этой истории. Тогда редакция, помимо моего желания и моей воли, созвонилась с академиком Сперанским и передала ему эту половину книги на отзыв. Сперанский два-три слова поправил в первой части, там, где приведен мой разговор с ним, и мне позвонил, что это чрезвычайно интересно, но он сомневается, что я докажу эту теорию, потому что эта теория чрезвычайно затруднительна и неясна, и он сомневается в этом.

И вовсе не заносчивость и не желание поведать миру открытие — этого у меня не было, но у меня был опыт излечения, опыт излечения личный, помимо врача, от которого я должен был погибнуть,[11] этот опыт у меня был в такой степени, что он убеждал меня в правоте и полезности этой идеи, которая могла мне в какой-то степени помочь. Я был поражен, как это практически было полезно для меня. Я начал работать над второй половиной книги.

Редакция дала третью часть Сперанскому. Он был еще не уверен, но сказал, что «я оставлю рукопись у себя, мне надо подумать». Когда была прочитана четвертая часть, Сперанский мне по телефону сказал и подтвердил, что это превосходно, что это достоверно, и теорию он будет защищать.

Я снова вам говорю, что я ссылаюсь на авторитет не для того, чтобы себя оправдать — я отвечаю за эту книгу, а не Сперанский и другие ученые, которые видели эту книгу, и я согласен отвечать за нее, потому что я слишком убежден в ней. Но такой факт существовал.

Как можно упрекать редакцию, которая печатала эту книгу? Ведь это очень ответственно, когда ученый с огромным научным стажем говорит эти вещи, он ведь не для шутки это говорил. Легко этой девушке было сказать «мне смешно было читать», а ему-то не было смешно. Я видел, какое волнение испытывал человек, когда он видел мою мысль. Он был у меня и не смеялся, но сказал, что, может быть, некоторые будут смеяться, это нелегко пройдет, что я встречу и противников. Он это сказал и сказал, что я буду вместе с вами защищать публично.

Не для открытия написал я эту книгу, но достоверность научная в ней должна присутствовать, потому что это тема о разуме, который побеждает, эта тема постро-

ена на научной мысли, и эта научная мысль должна быть точной. Вот в какой мере меня здесь интересовала наука, а не для открытия писал я эту книгу.

Да и не только академик Сперанский, — были физиологи и ученики Павлова, которые подтверждали полезную преемственность этой теории. Я об этом говорю, потому что мне было очень горько слышать вещи, которые здесь свысока произносились: не научно, смешно, это не так.[12] Были другие мнения. Они, может быть, ошибочны, я не знаю, но во всяком случае нельзя так неуважительно относиться к работе, которую я делал ночами. В наши дни я сделал гораздо больше, чем делал раньше.

У меня была комедия «Обозрение»,[13] которая шла в Ленинграде в дни блокады, около 50 фельетонов написано в 1942 году, была немалая работа, — было написано несколько антифашистских комедий, которые выходят отдельным сборником.[14]

Я об этом говорю потому, что здесь я чувствую какую-то враждебность, которой я не заслуживаю, и в той степени неуважение, какого я не испытывал за все 22 года моей работы. Ни у кого не нашлось ничего сказать в мою защиту. Молодая женщина сказала, что это не научно и смешно.

Скажем, вы признаете мой опыт неудачным, я не буду с вами спорить по литературной части, я только подумаю, потому что я считаю, что я прав абсолютно. Я посчитаюсь с вашим мнением, я подумаю. Но почему вам было позволено так неправильно подойти, вы же не читали моей книги, некоторые только одну четверть прочитали? Мы находимся в литературной организации, это же не профессиональный подход так обсуждать книгу, в такой степени обидно и неправильно для литератора. Книга написана с совершенно искренним намерением, с точным желанием принести пользу. И я, вероятно, получил по заслугам. Я потерял чувство юмора за то, что взялся за нее (так в тексте стенограммы. — *В. М.*). Но я не жалею об этом и до сих пор считал, что написана книга правильно. И если внимательно почитать, там все есть, точно.

Я хотел сказать, что тот якобы душный мир, который описан в этой книге, — это не был душный мир, это был мир, который увидел нездоровый человек. Там поставлена точная задача: рассказана история жизни нездорового человека, который вылечился. Так как же можно говорить?

Тут один умный человек сказал: а в самом деле, есть роман, что я был вором, потом перестроился, изменился. Вот схема книги.[15] Почему не может быть такой схемы книги? Почему такие злые нападки я слышал здесь? А это примерно так и есть: человек, который должен был умереть в молодые годы — а это был факт, — освободился от этой беды, убрав всего-навсего физиологический конфликт. Почему я вас рассердил этим? Я просто не понимаю. Мне очень горько, что я вас в такой степени рассердил. Но еще я очень справедливый человек, я с этим не могу согласиться. И не потому, что я десять лет жил этим и вдруг — это мыльный пузырь. Польза, которую я хотел принести, и я убедился, что это может быть. Вот что сделало эту книгу!

[1] На это обстоятельство М. Зощенко обратил внимание и в своем письме И. В. Сталину от 25 ноября 1943 года: «Мне кажется несправедливым оценивать работу по первой половине, ибо в первой половине нет разрешения вопроса» (Дружба народов. 1988. № 3. С. 169). Как автор, М. Зощенко безусловно вправе был настаивать на том, чтобы книга «Перед восходом солнца» оценивалась в полном ее объеме, а не по частям. Но можно с большой долей вероятности предположить, что даже в случае публикации книги в полном объеме реакция критики на нее вряд ли была бы иной. Как верно заметил С. Юрский, «по любой ее (книги. — *В. М.*) части можно составить некоторое представление о целом» (*Юрский С.* Зощенко с тремя неизвестными // Зощенко М. Перед восходом солнца. М., 2004. С. 14). Любопытный довод в пользу того, что повесть «Перед восходом солнца» следовало печатать не по частям, а целиком, высказал в письме к М. Зощенко один из читателей, который воспринял ее как своего рода «рецепт» для излечения от меланхолии и тоски: «Такие труды для психостеников и психоневротиков не в полном изложении предлагать нельзя» (Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. СПб., 2002. Кн. 3. С. 228). Издатели повести, с его точки зрения, должны были это учесть.

[2] Соболев Леонид Сергеевич (1898—1971) — прозаик, автор романа «Капитальный ремонт» (1932), книги новелл «Морская душа» (1942) и др. С 1958 по 1970 год — председатель правления СП РСФСР. Признавая, что М. Зощенко — «писатель огромного таланта», книги которого «навсегда останутся в нашей литературе», Л. Соболев заявил, имея в виду повесть «Перед восходом солнца»: «Мы можем сказать, что это не Зощенко пишет свою автобиографию, а это вспоминающий герой романа. Но читатель видит того „я" (так. — *В. М.*), он простодушно принимает книгу как описание жизни советского интеллигента. И вместо того, чтобы видеть светлые явления, он видит явления мелкие, скучные, серые... И объективно происходит дискредитация облика советского писателя для широких масс читателей» (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 637).

[3] Имеются в виду стенограммы обсуждения повести М. Зощенко «Возвращенная молодость» в Горкоме писателей Ленинграда, в Институте охраны здоровья детей, в Доме медицинского работника в 1934—1936 годах. Машинописные тексты этих стенограмм с пометками М. Зощенко хранятся в Рукописном отделе ИРЛИ (Ф. 501. Оп. 2. № 79).

[4] Павлов Иван Петрович (1849—1936) — физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности, лауреат Нобелевской премии (1904). Документальных свидетельств отзывов И. П. Павлова о «Возвращенной молодости» пока не обнаружено. Подтверждением «хорошей оценки» академиком данного произведения служит тот факт, что после выхода его из печати (1933) М. Зощенко стал получать приглашения на павловские «клинические среды».

[5] Предположение М. Зощенко о том, что его книга окажется полезной и интересной для других, подтвердила полученная им читательская почта. Естественно, что на опубликованные главы книги откликнулись в первую очередь те читатели, которые в своей жизни испытали нечто схожее с тем, что описал автор. И хотя М. Зощенко предупреждал, что его книга «не лечебник», они надеялись увидеть в ней пути к преодолению собственных душевных невзгод. Один из читателей (Г. В. Ермолин, г. Уфа) прямо заявил: «Читая Ваш литературный труд в 6—7 номере журнала „Октябрь", я в каждой строке, как в зеркале, вижу самого себя» (Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Кн. 3. С. 228). Другой читатель (А. А. Лютов, г. Горький), признав, что его «глубоко затронула» повесть М. Зощенко, с некоторым удивлением сообщал: «Парадоксально, что Вы, писатель-юморист с европейским именем, так глубоко пессимистично обнажаете себя перед публикой» (Там же. С. 225). И лишь один из читателей (Д. Балика, г. Горький), которого повесть тоже «чрезвычайно заинтересовала и взволновала», проницательно заметил: «...Вашу повесть не поймет большинство и читателей, и писателей. Не поймут Вашего желания раскрыть все глубины человеческого духа и лечить человека, вести его к устойчивому и радостному миросозерцанию» (Там же. С. 217).

[6] Повесть «Перед восходом солнца», особенно в сравнении с прежним творчеством М. Зощенко 1920-х годов, не воспринимается как произведение сатирического жанра. Однако сам автор называет ее «сатирическим произведением», мотивируя это тем, что пишет о «явлениях отрицательных», и подразумевая при этом «свою жизнь, свои ошибки, свой неверный подход к жизни». Таково было авторское ощущение собственного произведения. При всей серьезности взятой темы повесть М. Зощенко не лишена того «крайне оригинального» сочетания иронии и лирики, которое М. Горький считал отличительной чертой таланта М. Зощенко (см.: Лит. наследство. Т. 70. С. 159). Между тем автор первой монографии о Зощенко Л. Ф. Ершов утверждал, что иронии как раз не хватает в повести «Перед восходом солнца». «А введи автор ироническое отношение к теме, к дряблому и мятущемуся герою повести, сумей он насытить повествование юмором, даже сарказмом, особенно там, где речь шла об откровенно пошлых любовных похождениях, многое в книге, возможно, стало бы на свои места. Тогда повесть и не прозвучала бы страшным диссонансом в реальных обстоятельствах войны»... (*Ершов Л. Ф.* Из истории советской сатиры. М. Зощенко и сатирическая проза 20—40-х годов. Л., 1973. С. 132—133). Ему возражал А. Старков: «Писателю, поведавшему (не как документалист, а как художник) о своих собственных глубочайших переживаниях и раздумьях, предъявлять требование ввести „ироническое отношение к теме", которую Зощенко считал жизненно важной не только для себя, но и для своих читателей, и вдобавок рекомендовать дополнительно ввести то же ироническое отношение еще и к самому себе как к „дряблому и мятущемуся" человеку, специализирующемуся на „откровенно пошлых любовных похождениях", значило по меньшей мере не понять замысла книги» (*Старков А.* Михаил Зощенко. Судьба художника. М., 1990. С. 195).

[7] Это понятие М. Зощенко трижды употребил в своем выступлении, подчеркивая тем самым, что в основе повести лежит не социальный, а физиологический конфликт. Писателю важно было донести до участников обсуждения мысль о том, что «речь идет о психоневрозе», об «истории нездорового человека, который вылечился», а не о «конфликте с внешним миром».

[8] О каких «буржуазных» философах идет речь, М. Зощенко в данном случае не уточняет. По контексту его выступления можно предположить, что он имеет в виду прежде всего немецкого философа Фридриха Ницше (1844—1900), имя которого было использовано в Третьем рейхе для обоснования идеологии немецкого фашизма. О несогласии М. Зощенко с иррационализмом философа, с принижением им роли человеческого разума и сознания см.: *Федоров В. С.*

Об онтологических и философских аспектах мировоззрения М. Зощенко // Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Кн. 1. С. 233.

[9] Здесь имеется в виду разработанное академиком И. П. Павловым учение об условных рефлексах.

[10] Сперанский Алексей Дмитриевич (1887—1961) — патофизиолог, ассистент И. П. Павлова (1923—1928), заведующий отделом Института экспериментальной медицины (1928—1934). С 1945 года — директор Института общей и экспериментальной патологии. В «Прологе» к повести «Перед восходом солнца» М. Зощенко сообщает, что познакомился с А. Д. Сперанским осенью 1934 года. Возможно, упомянутый «разговор у Горького в Горках» состоялся в тот день, когда произошел приведенный ниже диалог между Зощенко и Сперанским.

Из записей М. Зощенко 1930-х годов (диалог с А. Д. Сперанским):

«Я: Вы что-нибудь делаете для своего здоровья?

Сперанский: Нет, я живу, не думая об этом.

Я: А другие?

Сперанский: Думаю, что и другие ничего не делают и не думают. Надо меньше думать.

Я: А Павлов? Неужели я ошибся в основном? Неужели Павлов тоже живет от „господа бога"?

Сперанский: Сколько я знаю, он живет „стихийно". Да, он занимается физическим трудом даже в свои 85 лет. Он соблюдает правила.

Я: Нет, я ошибся. Конечно, он делает себя. Только раз подумав. А не как я.

Сперанский: Я хочу вас спасти. Иначе вы будете в сумасшедшем доме».

(Лицо и маска Михаила Зощенко / Сост. и публ. Ю. В. Томашевского. М., 1994. С. 119).

Интересен в связи с этим и такой факт. Приглашая А. Д. Сперанского к участию в альманахе «Год XVI», М. Горький сообщал ему: «Давняя моя мечта — включение художников слова в область научной мысли». (Летопись жизни и творчества А. М. Горького. 1930—1936. М., 1960. Вып. 4. С. 270). М. Зощенко как автор «Возвращенной молодости» и «Перед восходом солнца» может служить примером реализации этой горьковской мечты.

[11] По всей вероятности, речь идет об экстренной и рискованной операции («начиналось заражение крови»), которую, по рассказу матери, перенес М. Зощенко в двухлетнем возрасте. Впечатление от нее («рука с ножом — рука врача, хирурга») воспроизведено писателем в повести «Перед восходом солнца» (см.: *Зощенко М. М.* Перед восходом солнца. С. 253).

[12] Подобная реакция на повесть в значительной степени объяснялась тем, что прочно закрепившаяся за М. Зощенко репутация писателя-юмориста и сатирика, не совмещалась в сознании большинства читателей с его новым творческим обликом, раскрывшимся в трилогии «Возвращенная молодость», «Голубая книга» и «Перед восходом солнца». Переход писателя на «серьезные» темы, на темы философского содержания и направленности, требующие специальных научных знаний и подготовки, многим казался тогда неоправданным и даже претенциозным. Сознавая деликатность этой ситуации, М. Зощенко находил своеобразный выход из нее с помощью самоиронии: «Еще не полностью подобраны ключи к тем сложным интимным механизмам, какие возникают в глубинах нашей психики... Не без робости я пробовал подобрать эти ключи («Ключи счастья» — первоначальное заглавие повести «Перед восходом солнца». — *В. М.*). Ну что ж, если люди скажут, что эти ключи не подходят к их, быть может, изощренным механизмам, то и я примирюсь на этом, уйду, как слесарь, который, поковыряв замок, так и не открыл его в силу своей малой квалификации или по причине вчерашней выпивки» (*Зощенко М. М.* Перед восходом солнца. С. 353).

[13] Точное название комедии, написанной М. Зощенко совместно с Е. Л. Шварцем, — «Под липами Берлина» (1941) — сатирическое обозрение о Гитлере и его окружении. Пьеса предназначалась для Ленинградского Театра комедии и была в нем поставлена Н. П. Акимовым (премьера состоялась 12 августа 1941 года). Впервые пьеса напечатана в журнале «Театр» (1987. № 5. С. 171—189. Публикация А. А. Богданова).

[14] В данном случае, похоже, допущена неточность. Пьесы М. Зощенко «отдельным сборником» ни разу не издавались. Что касается фельетонов военного времени, то, по свидетельству жены писателя В. В. Зощенко, «сразу после войны Михаил Михайлович пишет ряд антифашистских фельетонов, в которых едко и зло высмеивает „фюрера" и его „сообщников" («Скандал в благородном семействе», «Своя рука владыка») и возмущается их „философией мракобесия" («Чингис-хан с самолетом», «Фашисты учатся»)» (*Зощенко В. В.* Литературный путь М. Зощенко // ИРЛИ. Ф. 501. Оп. 2. № 92. Машинопись. С. 39).

[15] Здесь имеется в виду история бывшего вора-рецидивиста А. И. Ройтенберга — прототипа героя повести М. Зощенко «История одной перековки», 1934 (более позднее заглавие — «История одной жизни»).

© *Энтони Кросс (Великобритания)*

ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ: МОИ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ АНГЛО-РУССКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ*

Пятьдесят лет назад, будучи еще студентом Кембриджского университета, я впервые посетил Ленинград; через три года после того визита, во время моей стажировки в МГУ, опять приехал в город на Неве, на этот раз в командировку, и впервые переступил порог Пушкинского Дома; еще через три года, в 1966 году, когда уже был преподавателем Университета Восточной Англии (University of East Anglia), побывал в этом доме во второй раз. В последнее время все чаще возвращаюсь к воспоминаниям о важных событиях своей молодости и даже вижу их более отчетливо, чем встречи и события недавнего прошлого.

Эти первые визиты в Пушкинский Дом имели ключевое значение для моей карьеры. Благодаря им началось знакомство с четырьмя коллегами, которые воплощали, возможно, две важнейшие ветви в моем научном дереве — Россия восемнадцатого века и англо-русские, если не сказать русско-британские, литературные и культурные связи. В 1963 году я познакомился с Павлом Наумовичем Берковым, сообщившим мне, что Рукописный отдел Пушкинского Дома не располагает материалами по Карамзину, которые могли бы иметь отношение к моей кандидатской диссертации; но зато он представил меня своей молодой аспирантке, Наталье Дмитриевне Кочетковой. В 1966 году я удостоился чести войти в кабинет академика Алексеева. За спиной Михаила Павловича стоял человек с волнистыми рыжими волосами и улыбающимися глазами, одетый почти по-английски, которого академик представил мне как своего коллегу и которого я впоследствии всегда считал его доверенным лейтенантом, хотя он был на самом деле по крайней мере полным полковником. Они отнеслись тепло, приветливо и снисходительно к молодому человеку, едва начавшему свою научную карьеру.

Знакомство с Михаилом Павловичем и с Юрием Давидовичем Левиным, изучение многочисленных книг и статей, написанных ими, послужили важными факторами, усилившими мой растущий интерес к англо-русским литературным и культурным связям, интерес, который я изначально продемонстрировал, опубликовав двумя годами ранее свою первую научную статью, «Карамзин и Англия» («Karamzin and England»).[1] Диапазон их интересов был значительно шире, чем мой, ограничивавшийся на протяжении многих лет, главным образом XVIII и ранним XIX веками, но от них я научился необходимости тщательнейшего подхода к источникам, печатным и рукописным, а также досконального штудирования всех данных. Из их опыта я почерпнул не теорию, а *modus operandi* (метод работы). Признáюсь, что мой излюбленный подход — практический, и что я никогда не был последователем или сторонником модных и неизбежно недолговечных методологий. Помню, что один советский критик моей книги о Карамзине назвал меня фактографом: это подразумевалось, как упрек, а я был молод и именно так это и воспринял. Теперь я рассматриваю это высказывание как комплимент.

Со временем меня стали приглашать участвовать в сборниках, публиковавшихся Сектором взаимосвязей русской и зарубежных литератур, а также в сборниках «XVIII век» и в юбилейных изданиях в честь моих коллег. Я, в свою очередь,

---

* Лекция на заседании Ученого совета ИРЛИ РАН, посвященном присуждению Э. Кроссу звания почетного профессора Пушкинского Дома.

[1] Библиографические сведения об упоминаемых в статье трудах Э. Кросса см.: Библиография трудов профессора Э. Г. Кросса (К 70-летию со дня рождения) // XVIII век. СПб., 2008. Сб. 25. С. 361—386.

пытался приглашать их на первые международные конференции, которые организовывал в Нориче в 1970-е годы от имени Группы по изучению России восемнадцатого века (Study Group on Eighteenth-Century Russia), но в советское время мои попытки ни разу не увенчались успехом, и только в 1989 году Юрию Давидовичу и Наталье Дмитриевне удалось приехать. Мое знакомство с Юрием Давидовичем переросло в близкую дружбу, продолжавшуюся почти сорок лет до его смерти. Мне выпало быть автором некрологов и Михаила Павловича, и Юрия Давидовича, в которых, надеюсь, я выразил по крайней мере часть своего глубокого уважения по отношению к ним: при их жизни мне удалось посвятить им две моих книги.

Еще во время моей первой встречи с Михаилом Павловичем он упомянул, зная, что я преподаю в Нориче, о своем интересе к Джорджу Борроу и пообещал прислать мне перевод его сочинения «Lavengro» со своим предисловием, опубликованный в 1967 году. Эта книга усилила мой собственный интерес и привела к моей статье о Борроу, вышедшей в журнале «Modern Language Review» в 1969 году; статья содержала новые архивные материалы по переводу пушкинской «Черной шали», выполненному Борроу, и таким образом была моим первым вкладом в изучение творчества великого русского поэта или, по крайней мере, его раннего восприятия в Англии; этой темой я занимаюсь и по сей день. Хотя почти все источники информации о британских путешественниках и живших в России англичанах, которые были лично знакомы с Пушкиным (включая Томаса Рэйкса, Джеймса Александера и дипломата Артура Маджениса) или же находились в Петербурге и Москве при его жизни (включая Борроу, Джона Боуринга, Фредерика Шамье и Клер Клермонт), тщательно изучены, в частности самим Михаилом Павловичем, тем не менее, в этой области до сих пор неизбежно остаются тропинки, если не целые аллеи, для будущих исследователей. Более того, сам Михаил Павлович писал в своем посмертно опубликованном научном шедевре — труде «Русско-английские литературные связи»: «Выше перечислены важнейшие встречи Пушкина с англичанами, о которых сохранились более или менее достоверные данные. На самом деле их было значительно больше, и дальнейшие изыскания, несомненно, добавят к представленному нами перечню англичан — знакомцев Пушкина — новые имена».[2] К сожалению, я пока еще не смог расширить этот список, но мне удалось обнаружить до недавнего времени неизвестные упоминания о Пушкине и даже ранние переводы в различных источниках, например, в малоизвестных записках о путешествиях и путеводителях, в литературных альбомах и энциклопедиях. В данный момент веду исследовательскую работу, с некоторой долей успеха, над одним из самых интересных, но и самых загадочных англо-русских посредников 1830-х годов, Уильямом Генри Лидсом, имя которого было впервые упомянуто Глебом Струве, а также позднее, с бóльшими подробностями, Энид Карран.

Книга М. П. Алексеева «Русско-английские литературные связи» открывает многочисленные новые темы для дальнейших исследований. Особенно одна из них долго интриговала меня. В четвертой части главы под названием «Ранние английские истолкователи русской поэзии» М. П. Алексеев ушел довольно далеко в сторону от своей официальной темы, чтобы перечислить всевозможные англо-русские встречи и любопытные факты, в том числе так называемые «Письма англичанина Ж.-К. Поеля», написанные в первые годы XIX века, но опубликованные М. Н. Макаровым, их предполагаемым адресатом, только в 1844 году в сборнике «Литературный вечер». Во время работы над докладом о британских путешественниках в России от убийства Павла I до заключения Тильзитского мира (1801—1807) — доклад был сделан на Восьмой Международной конференции Группы по изучению

[2] *Алексеев М. П.* Русско-английские литературные связи (XVIII век—первая половина XIX века). М., 1982. С. 645.

России восемнадцатого века (Study Group on Eighteenth-Century Russia) в Дареме в июле 2009 года — мне удалось определить, что автором этих писем был восемнадцатилетний Генри Уэйланд Пауэлл, незадолго до его поступления в Кембриджский университет, а также восстановить имена других британцев, упоминаемых в письмах, и обнаружить новые источники, иллюстрирующие британский интерес к России того периода.

В книге М. П. Алексеева на странице 151 помещена фотография титульного листа поэмы «Полина, или Русская дочь», опубликованной в Лондоне в 1787 году Робертом Мерри, который также писал под псевдонимом Делла Круска. Фотографии для книги выбирались, по-видимому, не самим Михаилом Павловичем: в тексте ни разу не упоминается ни поэма, ни ее автор. Любопытным совпадением было то, что именно в 1982 году в серии «Бирмингемские славянские монографии» («Birmingham Slavonic Monographs») вышла моя книга под названием «История русской дочери и ее задохнувшегося любовника» («The Tale of the Russian Daughter and Her Suffocated Lover»). Эта работа представляет собой мое наиболее детальное углубление в историко-сравнительные исследования и также имеет связи с Пушкинским Домом. Четырьмя годами ранее я делал там доклад, посвященный русской тематике в английской литературе XVIII века (в беллетристике, драматургии и поэзии), и, в частности, анализировал поэму Роберта Мерри. Во время дискуссии после доклада Н. Д. Кочеткова высказала мысль о ее сходстве с анонимной русской повестью «Несчастная Маргарита», а В. Д. Рак упомянул немецкий вариант русской «легенды о купеческой дочери», о которой он писал в своих работах. По возвращении в Англию я с жаром взялся за исследование, приняв за исходный пункт книгу В. В. Виноградова «Сюжет и стиль» (1963); обращение к широкому спектру русской и европейской литературы в частности позволило обнаружить, что «Полина» Мерри послужила источником для повести «Мария и граф М---в», опубликованной в 1810 году как перевод из Анны Радклиф. Позднее мы с Вадимом Дмитриевичем Раком нашли другие малоизвестные немецкие и английские варианты этой истории.

О моем диапазоне интересов в области англо-русских исследований можно частично судить по сборнику статей, опубликованному в 1993 году под названием «Anglo-Russica». Именно эту книгу я посвятил Юрию Давидовичу с надписью «От Кэм до Невы» («From the Cam to the Neva»). Кроме упомянутой статьи о Борроу, в сборник вошло еще тринадцать статей, которые были напечатаны в предыдущие годы в журналах и книгах, изданных в разных странах, в том числе в Америке, Новой Зеландии и Советском Союзе, и были посвящены таким темам, как «Британское восприятие русской культуры в восемнадцатом веке», «„С англинскаго": книги английского происхождения в русском переводе в России конца восемнадцатого века», «Ранние английские переводы русских поэтов» и «Британские няни, гувернантки и компаньонки в России времен крепостного права». Эта книга вошла в серию под названием «Англо-русские сближения» («Anglo-Russian Affinities»), главным редактором которой я стал ранее. На протяжении последующих нескольких лет вышли такие тома, как «Толстой и Англия», «Достоевский и Великобритания» и «Иван Тургенев и Великобритания», под редакцией ведущих британских специалистов. К сожалению, серия прекратила свое существование в 1995 году, в то время как среди книг, принятых к печати, был английский перевод монографии Юрия Давидовича «Шекспир и русская литература XIX века» (1988).

Михаил Павлович свободно ориентировался во многих сферах культурных интересов и без малейших усилий писал не только о литературных контактах и связях, но и о музыке, живописи и естественных науках. Тем не менее есть, возможно, одна область, в которой могу претендовать на некоторую степень оригинальности моего вклада в англо-русские исследования: это — всестороннее изучение британского присутствия в России и русского присутствия в Великобритании, осо-

бенно в XVIII веке. Значение и влиятельность британской общины в Петербурге давно признаны специалистами. Многие представители этой общины, особенно во время правления Петра I и Екатерины II, сыграли важную роль в дипломатии и торговле, армии и флоте; такие учреждения, как Английский клуб и Английская масонская ложа были оценены по достоинству как важные общественные нововведения. Тем не менее никто не пытался проанализировать, каким образом эта община развивалась и росла в течение XVIII века, насколько глубоки были ее корни и каковы были масштабы ее влияния; существовало очень мало конкретных работ о вкладе британцев в жизнь столицы, который в действительности охватывал почти все сферы. Работа потребовала годы архивных исследований в Великобритании и России, посещения многочисленных частных архивов, а также национальных и местных книгохранилищ по всей Великобритании и Ирландии. В 1973 году я написал статью под названием «Британцы в екатерининской России: предварительный обзор» («The British in Catherine's Russia: A Preliminary Survey»), но должна была пройти четверть века, прежде чем вышла в свет, наконец, моя книга «У берегов Невы: главы из жизни и карьерной деятельности британцев в России восемнадцатого века» («By the Banks of the Neva: Chapters from the Lives and the Careers of the British in Eighteenth-Century Russia»). К этому времени я уже успел завершить необходимую исследовательскую работу для сопроводительного и дополняющего тома и опубликовал книгу «У берегов Темзы: россияне в Великобритании восемнадцатого века» («By the Banks of the Thames: Russians in Eighteenth-Century Britain»). Во время попыток воссоздать во всех подробностях картину русской общины в Лондоне, в частности, в эпоху правления Екатерины II, мои контакты с Пушкинским Домом имели ключевое значение. Как я писал в «Предисловии»: «В октябре 1974 года в очередной раз приехал в Ленинград поработать с источниками. Именно тогда мне довелось в Институте русской литературы ознакомиться с архивом А. А. Самборского, долгие годы прослужившего священником в церкви русского посольства в Лондоне. Эти документы, в которые прежде буквально никто не заглядывал, оказались кладезем сведений, не только позволяющих проследить за весьма разнообразной деятельностью самого Самборского, но и установить, кем были и чего искали многочисленные россияне, приезжавшие в то время в Англию». Я, конечно же, счастлив, что обе книги переведены на русский язык и восприняты положительно. Более того, я польщен не только большим количеством цитат и ссылок, появившихся в недавних русских работах, но и числом заимствований и подражаний, которые не упоминают первоначальный источник.

В последние годы я расширил свое изучение британской общины в Петербурге, выйдя за пределы XVIII века, чтобы охватить период вплоть до Октябрьской революции, когда судьба колонии была решена новой властью в России. Такие статьи, как «Забытые британские места в Петрограде/Ленинграде» («Forgotten British Places in Petrograd/Leningrad», 2004), «Английские виды в русской сельской местности: Лесное и Мурино» («English Prospects in the Russian Countryside: Lesnoe i Murino», 2004) и «Англо-русские отношения и закат британского сообщества в Петербурге/Петрограде/Ленинграде» («Anglo-Russian Relations and the Twilight of the British Community in Petersburg/Petrograd/Leningrad», 2006), были опубликованы в малоизвестных и малотиражных изданиях в Италии, России и Великобритании. История общины от ее истоков и до ее исчезновения прослежена в моей последней книге «Санкт-Петербург и британцы: город глазами британских посетителей и постоянных жителей» («St Petersburg and the British: The City Seen through the Eyes of British Visitors and Residents»), вышедшей в 2008 году. Многочисленные новые материалы удалось обнаружить в Русском архиве Лидского университета, созданном, когда в 1982 году я там был профессором и заведующим кафедрой русской литературы, и содержащем богатые и очень разнообразные источники для изучения англо-русских связей.

Библиография всегда была среди моих основных научных интересов. Этот интерес вырос в немалой степени благодаря примеру Юрия Давидовича Левина и Джона Симмонса, знаменитого оксфордского библиотекаря. Симмонс часто говаривал, что очень легко быть оригинальным, если игнорировать написанное на данную тему другими людьми, и что слишком многие обобщения делаются на основании недостаточных знаний. Не будем говорить о библиографиях, которые составляют заключительную часть диссертации или опубликованного научного исследования и показывают не только широту познаний автора, но и пробелы в его осведомленности с определенными печатными и архивными источниками. Но еще бывают библиографии, имеющие свою собственную, независимую причину для существования, представляющие собой не просто антикварные изыскания, а реальный вклад в науку, живую демонстрацию эволюционирующих тенденций и стилей или же систематический обзор какой-либо конкретной коллекции материалов. Те библиографии, которые я имею в виду, обычно включают в себя обширную вступительную статью составителя, а также неизбежно становятся исходным пунктом или пособием для других исследователей.

Юрий Давидович Левин оставил выдающиеся примеры таких библиографий. Более того, его научная репутация как крупного специалиста по англо-русским литературным связям XVIII века зародилась благодаря двум фундаментальным работам в области библиографических исследований и их внимательного анализа, завершенным в 1960-е годы: «Английская просветительская журналистика в русской литературе XVIII века»[3] и «Английская поэзия и литература русского сентиментализма».[4] Эти работы просто необходимы для исследований не только по англо-русским связям, но и по истории русской журналистики и русской поэзии, а также по изучению творчества конкретных писателей, поэтов и переводчиков. За этими публикациями последовали не менее впечатляющие обзоры восприятия Вальтера Скотта (1975) и Оссиана (1980).[5]

Мои первые скромные попытки в этой области не были сосредоточены на англо-русских связях. Например, статья «Пресловутый Барков: библиография с примечаниями», опубликованная во втором номере журнала «Study Group on Eighteenth-Century Newsletter» в 1974 году, представляла собой попытку возродить интерес к теме, к которой не обращались в Советском Союзе, но которую с 1989 года склоняли почти беспрерывно. Тем не менее, в 1977 году мы с моим близким другом и коллегой Джералдом Смитом, впоследствии ставшим профессором русской литературы в Оксфордском университете, начали работу над серией библиографий по англоязычным исследованиям в области русской литературы XVIII века; позднее эти библиографии были собраны вместе и расширены для нашего издания «Русская культура и мысль восемнадцатого века: Библиография англоязычных исследований и переводов» («Eighteenth-Century Russian Culture and Thought: A Bibliography of English-Language Scholarship and Translations», 1984).

Результатом моих библиографических исследований в области англо-русских связей стала статья «Англичане и Крылов» («The English and Krylov», 1983), в которой анализировались первые упоминания его имени и описания встреч с ним в английских изданиях начиная с 1798 года, а также восприятие в Англии и английские переводы его басен начиная с 1821 года. Хотя это была моя первая библиография именно по англо-русским литературным связям, появившаяся в печати, она

[3] Эпоха Просвещения: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1967. С. 3—109.

[4] От классицизма к романтизму: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970. С. 195—297. Обе названные работы вошли в кн.: *Левин Ю. Д.* Восприятие английской литературы в России: Исследования и материалы. Л., 1990.

[5] См.: Библиография трудов Ю. Д. Левина / Сост. Н. Д. Кочеткова // Res traductorica: Перевод и сравнительное изучение литератур: К восьмидесятилетию Ю. Д. Левина. СПб., 2000. С. 316—360.

не стала первой библиографией на данную тему, составленной мною. Моя библиография «Русская тематика в английской литературе с шестнадцатого века по 1980 год» («Russian Theme in English Literature from the Sixteenth Century to 1980») пять лет пролежала в издательстве, прежде чем наконец-то выйти в свет в 1985 году. Могу сказать без ложной скромности, что и вступительная статья, и сама библиография внесли новый вклад в изучение англо-русских литературных связей. В большой вступительной статье был сделан обзор русских тем в оригинальных английских литературных произведениях (в поэзии, драматургии, романах, сборниках рассказов), начиная с елизаветинских времен, на фоне общего развития англо-русских политических взаимоотношений. Статья показала устойчивый интерес к России со стороны многочисленных писателей, как крупных, так и давно забытых, на протяжении четырех веков и осветила малоизвестные произведения во всех жанрах, позволяя многое понять и переосмыслить в английских взглядах и предрассудках. Библиография насчитывала 1100 названий, но я дальновидно оставил несколько пустых страниц для пропущенных произведений, обнаруженных читателями, и действительно, подобных текстов оказалось немало, поскольку составить полную библиографию было неимоверно трудно. Хотелось бы опубликовать второе издание, хотя бы для того, чтобы включить последние тридцать лет, в течение которых в данной области появились весьма интересные новые произведения. К сожалению — и это очень показательно для нашего времени — первоначальный издатель больше не существует.

Мой интерес к рассказам британских очевидцев о России хорошо известен и существует давно. Я всегда был страстным коллекционером книг, и в начале 1960-х годов стал собирать книги путешественников о России. Это увлечение приобрело научный характер в 1966 году, когда меня пригласили стать ответственным редактором серии переизданий заметок путешественников о России. Восемь томов, включая знаменитые записки Джона Перри о правлении Петра I и Уильяма Ричардсона о правлении Екатерины II, вышли в свет, прежде чем серия прекратила свое существование по финансовым причинам. Тогда у меня появился план составить библиографию англоязычных книг путешественников и постоянных жителей, охватывающую период вплоть до Октябрьской революции, но в 1968 году была опубликована библиография американского исследователя Генри Нерхуда, под названием «В Россию и назад» («To Russia and Return»), о которой я написал подробную и очень критическую рецензию, но в результате мой проект пришлось надолго отложить. Тем не менее я продолжал составлять свою картотеку, поскольку в работе Нерхуда были многочисленные пробелы по периоду империи, интересовавшему меня больше всего. С годами мой интерес к таким заметкам привел к целой серии статей о конкретных путешественниках, книгах и темах, связанных с предрассудками путешественников и национальными стереотипами. Кроме того, несколько лет назад издательство IDC Publishers в Лейдене пригласило меня стать редактором проекта по микрофильмам под названием «Россия глазами иностранцев» («Russia through the Eyes of Foreigners»). Я написал вступительную статью к брошюре, которая перечисляла 250 названий англоязычных заметок путешественников, выбранных мною. Эти тексты были микрофильмированы с помощью коллекции *Россика* в Российской национальной библиотеке.

Полтора года назад я получил исследовательский грант от Leverhulme Trust, чтобы наконец реализовать давнюю мечту и завершить и опубликовать свою библиографию. Она выйдет под названием «Во времена Романовых: аннотированная библиография англоязычных рассказов очевидцев о России» («Under the Romanovs: An Annotated Bibliography of English-Language First-Hand Accounts of Russia») и объединит в себе записки о Российской империи во время трехсотлетнего правления Романовых, с конца Смутного времени и вплоть до Октябрьской революции. Я планирую включить тексты, соответствующие следующим критериям.

a) Записки, основанные на непосредственном знании России благодаря путешествиям или постоянному проживанию.

b) Записки, написанные по-английски или переведенные на английский с их оригинала.

c) Записки, опубликованные в виде книги при жизни их автора или позднее. (Записки, опубликованные в журналах или оставшиеся в виде рукописи, не будут включены.)

Принципы составления библиографии будут следующие: непосредственное ознакомление с первыми изданиями, указание имени автора (включая анонимных авторов, впоследствии идентифицированных), названия, места публикации, количества страниц или томов в опубликованном тексте. (Дальнейшие издания будут указаны только в случае измененного названия и/или существенных изменений в содержании.) Каждая запись будет снабжена краткими подробностями об авторе, включая даты жизни и смерти, если они известны, а также маршрут путешествия и конкретные даты пребывания/проживания в России (с точным указанием страниц). Сами тексты будут перечислены в хронологическом порядке согласно датам проживания в России, а не датам публикации и сгруппированы по периодам правления царей из рода Романовых, за исключением периода Крымской войны, который охватывал два царствования.

Пройдет еще два или три года, прежде чем эта работа над библиографией будет завершена. Станет ли это концом моих научных изысканий? Я хотел бы надеяться, что нет. Я еще должен закончить мою книгу на тему «Россия глазами британских карикатуристов с восемнадцатого века по сей день» («Russia through the Eyes of British Caricaturists and Cartoonists from the Eighteenth Century to the Present») — пока что я только успел добраться до Крымской войны! Кроме того, во время работы над библиографией я заинтересовался многочисленными практически неисследованными материалами по Новороссии и Крыму, которые содержатся в британских записках, особенно по периоду начиная с присоединения Крыма в 1783 году вплоть до Крымской войны включительно. Может быть, мне удастся создать на эту тему книгу или антологию.

К сожалению, на протяжении многих лет я мог продемонстрировать только тяжкую работу и пот и слезы, о которых упоминал Черчилль, но, может быть, также добросовестность и преданность великому делу англо-русского взаимопонимания и взаимоуважения. Много лет назад я писал, что «англо-русские связи в прошлые века — это очень интересная и важная тема, изучению которой могут пойти лишь на благо интеллектуальная свобода и дух научной беспристрастности, ставшие возможными в новой России». Я хотел бы надеяться, что Пушкинский Дом, сделавший так много в этой области за долгие годы, в том числе в периоды, когда условия не всегда благоприятствовали, останется и дальше домом для настоящей и объективной науки и что англо-русские взаимоотношения всегда будут занимать особое место в его научных поисках.

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

© *Е. Д. Кукушкина*

ОЧЕРЕДНОЙ СБОРНИК СТАТЕЙ О Г. Р. ДЕРЖАВИНЕ*

Подготовленный Всероссийским музеем А. С. Пушкина шестой державинский сборник будет полезен читателям, интересующимся литературной и театральной культурой второй половины XVIII века и дворянским бытом того времени.

Сборник открывается чрезвычайно информативной статьей Н. Ю. Болотиной, которая обнаружила в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) годовой комплект (52 номера) газеты «Тамбовские известия» за 1788 год. Эта первая провинциальная российская газета, печатавшаяся по инициативе Державина, в ту пору тамбовского губернатора, до сих пор числилась в списке разыскиваемых периодических изданий.

Краткий обзор материалов газеты позволяет сделать вывод, что она может быть ценным источником для изучения Тамбовской губернии. В газете печатались описания праздников и торжественных церемоний, публиковались стихи провинциальных авторов, присланные читателями рецепты лекарств от различных болезней, объявления о продаже и другие материалы. Для обуздания алчности провиантских комиссионеров в каждом номере газеты приводились цены на основные продукты питания в Тамбове, ежемесячно помещалась сводная таблица цен в городах губернии. Позже эти материалы Державин упоминал в своих «Записках» в числе полезных дел, совершенных им в бытность тамбовским губернатором.

Большое место уделялось в газете освещению работы Тамбовского народного училища. Решение об открытии народных училищ в 25 губерниях России в честь 25-летия правления Екатерины II было принято еще в 1786 году.

Державин предпринял энергичные меры для организации училищ в Тамбове и уездных городах. Он просил рязанского губернатора А. А. Волкова и правителя наместничества И. В. Гудовича прислать из семинарии 12—15 человек, которых можно будет, подготовив в Главном училище, направить учителями в уездные города. Его старания увенчались успехом. Газета дает представление о ходе обучения в Тамбовском народном училище, изучаемых дисциплинах, приватных и публичных экзаменах, об отличившихся учениках. О. П. Козодавлев, инспектировавший училище, после публичного испытания вынужден был признать хорошую организацию его работы и успехи учащихся.

Судя по информациям «Тамбовских известий», дом Державина был одним из культурных центров губернии. По праздничным дням здесь собиралось дворянское общество, устраивались балы и спектакли, вдохновительницей которых была Екатерина Яковлевна Державина. Так, 7 и 30 января «благородным обществом» была представлена комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль», а 1 марта пьеса Б.-Ж. Сорена «Беверлей». 2 марта была сыграна комическая опера А. О. Аблесимова «Мельник — колдун, обманщик и сват», одна из самых популярных в России. Устраивались специальные спектакли, в которых все роли исполняли малолетние дети. В «Тамбовских известиях» печаталась также информация о продаже книг, изданных в местной типографии, списки чинов первых семи классов, приехавших в Тамбов и выехавших из него, сведения о родившихся, сочетавшихся браком и умерших гражданах и другая информация, полезная жителям губернского города. Газета прекратила свое существование в конце 1788 года. В № 52 издатели сообщали, что их начинание не имело успеха (не все номера были проданы) и прекращается. По предположению Н. Ю. Болотиной истинной причиной закрытия газеты стала отставка Державина с поста губернатора и его отъезд из Тамбова. Заметим, что вскоре после этого, из-за недостаточного финансирования прекратили свое существование и некоторые народные училища.

Отношения Державина и Козодавлева, отчасти затронутые Н. Ю. Болотиной, более подробно анализируются в статье Е. С. Сониной «Г. Р. Державин и газета его старого друга, другом быть переставшего». Опираясь главным образом на мемуарные и эпистолярные свидетельства, приведенные Я. К. Гротом в «Сочинениях Державина», автор статьи рассматривает, как складывались отношения Державина и Козодавлева на протяжении нескольких десятилетий. Их теплое дружеское общение постепенно сменилось охлаждением, взаимным раздражением и неприязнью. Причиной тому были и несхожесть харак-

---

* Г. Р. Державин и его время. Сборник научных статей. СПб.: ВИРД, 2010. Вып. 6. 201 с.

теров, и неверное истолкование поступков друг друга, и слухи, ходившие в обществе.

По мнению Е. С. Сониной, в первое десятилетие XIX века произошло последнее сближение бывших друзей. Оно было связано с появлением в 1809 году нового периодического издания под названием «Северная почта, или Новая Санкт-Петербургская газета». Козодавлев осуществлял общее наблюдение за ее выпуском и распространением, был автором многих статей и цензором. Среди информационных материалов «Северной почты» публиковались сообщения о популярности Державина и сведения о заседаниях «Беседы любителей русского слова», почетным членом которой был Козодавлев. Обращение к письмам Державина, а также проделанный автором статьи стилистический анализ примечаний Державина к некоторым поэтическим текстам позволили Е. С. Сониной утверждать, что, по крайней мере с марта 1811 года, Державин читал «Северную почту». Газета служила ему источником информации, а в некоторых случаях импульсом для поэтического творчества. Не оспаривая этих вполне убедительных частных выводов, следует заметить, что в целом интерпретация взаимоотношений столь ярких и значимых личностей, как Державин и Козодавлев, основанная на толковании немногих и давно известных фактов, выглядит несколько схематично. Для полного раскрытия этой темы необходимы дополнительные разыскания.

Появление в сборнике статьи Н. П. Морозовой «О хронологии заседаний литературного общества „Беседа любителей русского слова"» представляется вполне закономерным и своевременным. В марте 2011 года Музей Г. Р. Державина и русской словесности его времени намеревается торжественно отметить 200-летие «Беседы». Подробная роспись ее заседаний, составленная по различным источникам и подробно прокомментированная Н. П. Морозовой, существенно дополняет аналогичный раздел книги М. Г. Альтшуллера[1] и выявляет «белые пятна» в наших представлениях о деятельности этого литературного общества.

Интересные наблюдения содержит статья Д. В. Ларковича «Идеи Э. Сведенборга в поэтической рецепции Г. Р. Державина (опыт историко-культурного комментария)». Речь идет о стихотворении «Зефир и Флора». Оно написано Державиным в 1808 году под впечатлением от балета К. А. Кавоса, увиденного на сцене Эрмитажного театра. Постановка балета, осуществленная Ш. Дидло, завораживала зрителей своей изящностью и поэтичностью. Действующие лица: Зефир, Флора, нимфы — были в свободных легких и светлых одеждах, а место действия своими декорациями ассоциировалось с райской обителью: «... Вижу всю эдемску негу...» — писал Державин в стихотворении. Этот балетный спектакль показался Державину зримым воплощением той системы мироздания, которую описывал Эммануил Сведенборг (1688—1772). Каждую из шести строф стихотворения Державин завершил словами: «Прав ты, прав ты, Шведенбург!»

Д. В. Ларкович показывает, что стихотворение и авторские комментарии к нему свидетельствуют о знакомстве Державина с трактатом Сведенборга «О Небесах, о Мире духов и об Аде» (1758). Размышления Сведенборга, его онтологическая система, основанная на теории соответствий, оказались созвучными духовным поискам Державина, его напряженным размышлениям о смерти и бессмертии. Сведенборг считал, что «любая форма земного бытия имеет соответствующий ей эквивалент в духовном мире, который, в свою очередь, является проекцией мира божественного» (с. 79). Человек, по его мнению, проходит три ступени развития: натуральную, свойственную ему от рождения, рациональную, в которой господствуют разум и совесть, и духовную. Причем последняя ступень достигается лишь после смерти. По мнению Сведенборга, именно земная жизнь ведет к полному соединению с Богом: всякий ангел и дух родились людьми и прожили земную жизнь. Их посмертная участь стала результатом их земной жизни. По мнению автора статьи, «именно тезис о перспективе посмертного соединения с Богом и обретения определенного статуса в небесной иерархии более всего привлек Державина, который к моменту знакомства с трудами Сведенборга пребывал в напряженных размышлениях об итогах земного поприща». Сочинения шведского философа стали для Державина «существенным стимулом его религиозно-мировоззренческого оптимизма» (с. 81—83). Религиозно-философские взгляды Сведенборга, несмотря на официальный запрет их распространения в России, продлившийся до 1905 года, оказывали влияние на духовные поиски просвещенных людей, что убедительно показано в статье Д. В. Ларковича.

Большое место занимают в сборнике материалы, посвященные вице-директору (с 1812 года), а затем директору (1819—1821) Императорских театров П. И. Тюфякину. Это опись имущества, полученного им от матери в 1788 году (публикация А. А. Ковзуна), дающая представление о быте дворян Владимирской губернии в XVIII веке, и статья С. Д. Дзюбанова «Директор Императорских театров князь Петр Иванович Тюфякин».

Автор статьи ставит своей задачей «свести воедино известные факты из жизни князя и объективно взглянуть на данные ему ранее характеристики» (с. 98), однако явно выходит за рамки интерпретации, так как

[1] *Альтшуллер М. Г.* Беседа любителей русского слова. У истоков русского славянофильства. 2-е изд., доп. М., 2007. С. 405—413.

дополняет сведения, почерпнутые в работах историков театра и мемуарах, новыми архивными материалами.

П. И. Тюфякин внес существенный вклад в развитие русского театрального искусства. Он получил прекрасное образование, став, благодаря вмешательству Екатерины II, совоспитанником ее внука Александра. Военная служба Тюфякина была лишь формальной. Существенные коррективы внесла в его жизнь смерть императрицы. Павел I отлучил его от Александра и отправил в Москву. Подробности московского периода жизни князя остаются неизвестными. Можно лишь предположить, что именно в это время у него появился интерес к театру. При восшествии на престол Александра I Тюфякин был возвращен в Петербург, однако, не получив, вопреки ожиданиям, никакой должности, отправился в Париж, где пробыл до 1812 года, заведя там много театральных знакомств.

По возвращении на родину Тюфякин был назначен вице-директором над театральными зрелищами и присутствующим в Комитете театральной дирекции. Его ближайшим помощником стал Р. М. Зотов — в детстве подопечный П. А. Кожевникова, принадлежавшего к ближайшему родственному окружению Державина. Зотов стал инициатором некоторых нововведений, осуществленных Тюфякиным в русском театре. Они касались, например, повышения рентабельности театральных зрелищ. Была увеличена стоимость билетов в ложи и кресла, внесены существенные коррективы в назначение актерских пенсий. Так, полные пенсии актерам-иностранцам назначались лишь в тех случаях, когда они принимали российское подданство. Актеры, получившие пенсии, обязывались прослужить в театре еще два года, не требуя оплаты. Тюфякин добился приема на службу знаменитого балетмейстера Ш. Дидло. Он повысил содержание ведущим актерам, но экономил на начинающих. Был изобретен оригинальный способ продажи театральных билетов. Воспользовавшись популярностью французской театральной труппы в Петербурге, Тюфякин предоставлял ей сцену Большого театра, но при этом открыл общий абонемент, включающий три французских и четыре русских спектакля в неделю. Театральная жизнь в Петербурге в годы его управления ею была чрезвычайно интенсивной: с 14 апреля 1819 по 10 февраля 1820 года были поставлены или возобновлены 168 пьес, 6 балетов и 4 дивертисмента. Однако тучи над головой Тюфякина уже сгущались. В 1821 году, оставив театр на попечение управляющего А. А. Майкова, он отправился в Париж для приглашения в Россию новой французской труппы. Проверка театрального ведомства, срочно организованная недоброжелателем Тюфякина А. А. Шаховским, выявила запущенность Царскосельского театра, особенно в части освещения и сценических машин, удручающее состояние театрального училища. Заведование театрами перешло к А. А. Майкову, а Тюфякин доживал свои дни во Франции и похоронен в Париже.

Истории эпиграфов в русской литературной культуре посвящена статья И. В. Кощиенко «Эпиграф в творчестве Н. М. Карамзина». Карамзин был одним из первых в России авторов, кто стал широко использовать эпиграфы к своим сочинениям. В роли эпиграфов он предпочитал строки из произведений древних и западноевропейских авторов, лишь один его эпиграф взят из Библии. И. В. Кощиенко пытается исследовать внутренние возможности эпиграфов в совокупности с текстами, которые они представляют, и делает вывод, что эпиграф у Карамзина «представлен как полноправный элемент текста, свидетельствующий о широте интересов автора, о его позиции в том или ином вопросе, о приверженности к определенному литературному направлению» (с. 186). Не оспаривая эти наблюдения, добавим, что смысл эпиграфа может быть не столь очевиден. Так, например, двустишие С.-Р.-Н. Шамфора, предпосланное всем трем книжкам «Аонид» (1796—1799), имеет политический подтекст. Именно поэтому Карамзин оставил эпиграф без подписи, а раскрыл его в издании, опубликованном в 1797 году в Гамбурге. Карамзин напоминал образованным читателям о парижском вольнодумце вскоре после его трагического самоубийства, предпочтенного аресту и тюремному заключению.

Несколько статей сборника посвящено «музейным предметам», как определяет их Е. В. Морозова в своей заметке о табакерках Державина. Полученные в качестве награды, дорогие табакерки, украшенные бриллиантами и другими драгоценными камнями, были не просто произведениями ювелирного искусства. Они свидетельствовали о признании поэтических заслуг Державина и повышали его авторитет в обществе. Однако они не всегда оставались у своего владельца. Самые дорогие из них — подарки Екатерины II и Павла I — в связи с недостатком средств были заложены, а затем, еще при жизни Державина, проданы. Их судьба неизвестна, как неизвестна и судьба старинной «черепаховой» табакерки, утраченной в 1842 году на аукционе по продаже имущества Державиных.

Попытка проследить судьбу другого музейного экспоната — портрета Дарьи Алексеевны Державиной — представлена в статье Л. Г. Агамалян. Речь идет об акварельном портрете, написанном в 1842 году Е. П. Житневым, акварелистом, миниатюристом и литографом, почти забытым уже к началу XX века. В статье рассматриваются две равноправные версии создания портрета. По одной из них, Житнев мог посетить дом Дарьи Алексеевны в связи с необходимостью воспроизведения портрета Державина. Решение

об издании литографированных портретов членов Российской Академии было принято в августе 1835 года. Оригиналом для портрета Державина, по-видимому, должен был стать портрет, выполненный В. Л. Боровиковским в 1812 году и хранящийся в доме Державиных. Житнев, оказавшийся в числе исполнителей литографий, мог посетить Дарью Алексеевну, а затем по памяти исполнить ее портрет. По другой версии, Житнев при создании портрета руководствовался известными ему изображениями Дарьи Алексеевны. На это указывает их композиционное сходство. Один из портретов подписан неким Клиндером (Clinder), два других не датированы и не атрибутированы. Все они хранятся в Литературном музее Пушкинского Дома.

Исследователям творчества А. П. Сумарокова может быть полезно сообщение Т. И. Рожковой о неопубликованной статье известного исследователя русской литературы XVIII века Н. Д. Чечулина (1863—1927) «Литературная деятельность А. П. Сумарокова». Рукопись этой статьи, которая первоначально была задумана как монография, и несколько ее подготовительных черновиков хранятся в РНБ (Ф. 838. Оп. 1. № 70).

Помещенное в сборнике краткое сообщение Н. А. Казаковой «Об одном книжном раритете из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина» может ввести читателя в заблуждение. «Приветствие его светлости князю Г. А. Потемкину...», произнесенное архиепископом Амвросием (Серебренниковым) 15 февраля 1790 года и в том же году напечатанное в Яссах, не является большой редкостью. Экземпляры «Приветствия» есть во всех основных библиотеках.[2]

Сборник завершается перечнем научных и праздничных мероприятий, посвященных 265-летию со дня рождения Г. Р. Державина. Они прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, в Званке (Новгородская область), Петрозаводске, Тамбове, Череповце, в Республике Татарстан (в Казани и в Лаишево), в Чувашии (пос. Алташево Чебоксарского района) и в Литве (Каунас).

[2] Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800. М., 1962. Т. 1: А—И. С. 33—34.

© *Е. А. Бусыгина*

В ЖАНРЕ ХРОНИКИ*

Книга Н. А. Богомолова «Вячеслав Иванов в 1903—1907 годах: Документальные хроники» посвящена раннему этапу биографии и творчества Вяч. Иванова — его вхождению в литературный мир и упрочению в нем, а также периоду Башни и первым годам его известности среди русских писателей-модернистов. Несмотря на то что в последнее время заявленная тема привлекает напряженный интерес исследователей,[1] книга Богомолова стала первой попыткой представить с присталь-

* *Богомолов Н. А.* Вячеслав Иванов в 1903—1907 годах: Документальные хроники. М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2009. 286 с. Частично эта работа была опубликована в интернет-журнале «Toronto Slavic Studies» (2007. № 22; 2008. № 23/25; http://www.Utoronto.ca/tsq/archive.shtml).

[1] Башня Вяч. Иванова как важнейший литературный салон начала XX века была и остается предметом особого внимания. Ее столетию была посвящена научная конференция, по материалам которой был опубликован сборник: Башня Вяч. Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006. Не имея возможности перечислять здесь все статьи, затрагивающие различные аспекты истории Башни, укажу лишь на две монографии, важные в данном контексте: *Обатнин Г.* Иванов-мистик (Оккультные мотивы в поэзии и прозе Вячеслава Иванова). М., 2000; *Шишкин А. Б.* История Башни Вяч. Иванова. Roma, 1996 (на правах рукописи). В этих и других исследованиях представлена обширная библиография, отражающая множественность точек зрения на Башню.

ностью хроникера события нескольких лет, исключительно важных для поэта и для истории русской литературы. В центре книги вообще стоит судьба и личность Вяч. Иванова, одной из ключевых фигур русского символизма, а избранный жанр «документальные хроники» указывает на стремление детально реконструировать события в их последовательности и взаимосвязанности. Исследователь сосредоточивает свое внимание на максимально документированном изложении «реальной исторической канвы жизни Иванова и Зиновьевой-Аннибал в первый год после возвращения в Россию из-за границы» (с. 115). Подавляющее большинство архивных документов, которые цитируются в книге, хранятся в архиве Вяч. Иванова в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки (ф. 109). Основную группу источников составляют литературно-документальные тексты: переписка, дневники. Три из пяти частей хроники основаны на пе-

переписке Ивановых с М. М. Замятниной. Две остальные главы также используют ее в значительной степени. Автор отобрал «те хронологические промежутки, когда письма (а также дневники и некоторые другие документы) позволяют с достаточной степенью полноты реконструировать жизнь Ивановых» (с. 6).

Работа Н. А. Богомолова базируется на весьма значительном числе неопубликованных архивных документов. Исследователь стремился ввести в научный оборот как можно больше нового материала и старался как можно меньше повторять то, что уже известно, на это указано в предисловии: «Опубликованные материалы дублировались только в тех случаях, когда без этого утрачивалась логическая нить происходящего». И далее в связи со знаменитыми ивановскими журфиксами: «Мы дублируем описания „сред" только в тех случаях, если при прежней публикации были сделаны существенные купюры или обнаруживались неточности чтения, влияющие на смысл печатаемого. В описании истории парижских лекций мы до минимума сводим повторы того, что уже опубликовано (преимущественно О. А. Кузнецовой) или будет опубликовано в тексте переписки с Зиновьевой-Аннибал» (с. 7—8).

Свою общую задачу Н. А. Богомолов сформулировал в «Предисловии» следующим образом: осветить «заочное сближение с московскими и петербургскими символистами весной 1903 года, парижские лекции весны—лета 1903 года, общение с московскими символистами в 1904 году, первый, наиболее насыщенный год жизни на „Башне" со знаменитыми „средами", и, наконец, смерть жены Иванова Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, тесно связанную с дальнейшим движением его жизни» (с. 2). Созданная исследователем панорама нескольких лет добавляет много принципиально новых сведений в наши знания о биографии Иванова и интеллектуальной жизни тех, кто с ним общался. Хроники — итог многолетних разысканий о творчестве и раннем и зрелом этапах жизни поэта, о Башне, о литераторах как первого, так и второго ряда, тесно связанных с ним (В. Д. Гарднер, Б. А. Леман, писавший под псевдонимом Б. Дикс,[2] и др.).

Книга состоит из пяти глав. Каждая из них, имеющая самостоятельное значение, органически входит в структуру книги. Отправная точка изложения — 1903 год. На рубеже 1902 и 1903 годов в Петербурге был издан первый сборник стихов Вяч. Иванова «Кормчие Звезды». Поэт вместе с семьей жил в это время в Женеве и непосредственного участия в судьбе своей книги принять не мог. Открывающая «хроники» глава «Русские символисты глазами постороннего» посвящена тому, как М. М. Замятнина в Петербурге и в Москве с начала 1903 года по просьбе Иванова посещала литераторов и узнавала их мнения о «Кормчих Звездах» и о неоконченном романе Зиновьевой-Аннибал «Пламенники». Это вызвало обильную переписку, которая позволяет проследить восприятие сочинений Иванова его первыми читателями, заглянуть в творческие и издательские планы его и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, а также наблюдать «вблизи» жизнь и деятельность русских символистов.

Для современного историка литературы любопытны примеры неприятия творческой манеры Иванова, сведения о тех сложностях, что возникали в связи с публикацией его первой поэтической книги «Кормчие Звезды». Такой была, например, реакция Ф. Д. Батюшкова на этот сборник, о чем М. М. Замятнина посчитала своим долгом сообщить Иванову: «Была сегодня у Батюшкова, он, миленький, еще не удосужился углубиться в „Сборник", вследствие чего, бегло просмотрев его в редакции, предпочел отзыва не писать. Не читая Сборника, он предположил, что Вы нитшеянец, „а ведь Нитше надо принимать cum grano salis" — говорит он. В результате визита я усиленно ему посоветовала научиться думать, буквально так, и публику научить тому же. Что публика у нас думать не умеет, он согласился, но выходило, что не умеет думать и продумывать и он, Батюшков. ⟨...⟩ Прочесть роман Лидин он обещал и очень удивился, что говорит мне прямо, что думает, и любезен был очень, да проку-то от этого не выйдет никакого» (с. 15). Сходный случай неприятия творческой манеры Иванова описан в статье Е. Ю. Басаргиной об участии поэта в 1905 году в конкурсе на получение Пушкинской премии.[3]

В то же время Илья Александрович Шляпкин, представитель ученого мира, чуждый, казалось бы, современного ему модернистского литературного движения, был одним из тех, кто сразу оценил поэтический дар Иванова и «безусловную самобытность его стихов». Об этом узнаем из письма М. М. Замятниной от 1/14 февраля 1903 года: «*Сейчас от Шляпкина.* Это первый продуктивный вечер в Петербурге. Сборник, что получил, благодарен и весь прочел от доски до доски, т. к. понравился, значит. Говорит, „это книга не для многих, но для тех, кому доступна, даст много глубокого содержания, большой мыслитель, — говорит, — Вячеслав Иванов"» (с. 20).

[2] См. о них, например: *Богомолов Н. А.* 1) К биографии В. Д. Гарднера // От Пушкина до Кибирова: статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. М., 2004. С. 304—310; 2) Между Леманом и Диксом. Из оккультного быта «башни» Вяч. Иванова // Русская литература начала XX века и оккультизм. Исследования и материалы. М., 2000. С. 311—334.

[3] *Басаргина Е. Ю.* Вячеслав Иванов — соискатель Пушкинской премии // Вячеслав Иванов: Исследования и материалы. СПб., 2010. Вып. 1. С. 230—447.

Вторая глава «Парижские лекции» — рассказ о внешней стороне вовлечения Иванова в деятельность парижской Высшей школы общественных наук, его лекциях там, реакции слушателей на них. Богомолову удается обогатить наши знания об этом важнейшем эпизоде заграничного пребывания поэта благодаря сохранившейся переписке Вяч. Иванова с Иваном Ивановичем Щукиным, который пригласил Иванова преподавать в Высшей школе, и переписке с Зиновьевой-Аннибал. Иванов был вынужден выехать в Париж по семейным обстоятельствам один, а Зиновьева-Аннибал оставалась в Женеве еще около недели, и за это время произошел обмен весьма содержательными письмами между нею и мужем. Также мы узнаем о парижской жизни Иванова из писем его самого и Зиновьевой-Аннибал к М. М. Замятниной, которая прибыла в Женеву. В них освещен круг постепенно складывающихся знакомств в Париже: В. Н. Ивановский, В. Я. Брюсов, С. Л. Поляков (С. Литовцев), А. С. Ященко, Н. Е. Поярков, С. А. Котляревский, Ал. Н. Чеботаревская.

Третья глава «Четыре месяца в символистской Москве» посвящена приезду Ивановых в Москву и пребыванию там (с небольшими отлучками в Петербург) весной—летом 1904 года, когда в среде символистов устанавливается авторитет Иванова, поэта и теоретика, одного из лидеров школы. Собранный по этой теме Богомоловым материал в значительной мере дополняет то, что уже было известно о контактах Иванова с Брюсовым, и вносит ряд ярких штрихов в картину их непростых отношений. История их взаимоотношений подробнейшим образом документирована в 85-м томе «Литературного наследства».[4] В первые годы Брюсов оказывал Иванову интенсивную издательскую поддержку. При его содействии Иванов выпустил книгу «Прозрачность», печатался в альманахах «Северные цветы» и, главное, стал ближайшим сотрудником «Весов». В «Весах» Иванов выступил с несколькими программными философско-эстетическими статьями («Поэт и чернь», «Ницше и Дионис», «Копье Афины» и др.), многие идеи которых перекликались с теоретическими воззрениями Брюсова того времени. Насколько высоко ценил Брюсов деятельность Иванова и дружбу с ним, говорит хотя бы тот факт, что он предлагал Иванову летом 1904 года стать соредактором «Весов».

Но Брюсов и Иванов представляли в конечном счете глубоко различные тенденции внутри русской символистской школы. В годы издания «Весов» Брюсов был еще неколебимо верен выработанным в 1890-е годы эстетическим заветам «старших» символистов. Иванов же по духовным и творческим устремлениям тяготел, скорее, к «младшим» символистам — Андрею Белому и Александру Блоку. Кардинальное различие поэтических кредо Брюсова и Иванова сказывалось прежде всего в «заклятии» Ивановым проникающей творчество Брюсова «декадентской» стихии. Брюсову не были созвучны те «жизнетворческие», «теургические» задачи, которые Вяч. Иванов выдвигал перед символистским искусством. По всей видимости, это побудило Иванова по возвращении в Россию обосноваться не в Москве, а в Петербурге, где он надеялся встретить большее понимание в среде, породившей Религиозно-философские собрания и журнал «Новый путь».

В части четвертой хроник «Первый год „Башни"» сделана попытка полного, насколько это возможно при теперешнем состоянии изученности источников, восстановления истории знаменитых ивановских сред в первый год жизни Ивановых на Башне.

С осени 1905 года петербургская квартира Иванова на Таврической улице становится самым ярким русским литературным салоном XX века. На журфиксах здесь бывал весь модернистски ориентированный круг петербургской артистической интеллигенции — прежде всего литераторы и художники. Следует отметить, что вокруг Иванова собирается и молодежь, которая находит у него поддержку в духовных и литературных исканиях. Особый интерес в связи с этим вызывает составленный Вяч. Ивановым список посетителей среды 19 января 1906 года, опубликованный Богомоловым (с. 115). Гости в нем перечислены по категориям. Очень характерно, что начинается он с «молодых поэтов» (выражение самого Иванова); в их число включены следующие литераторы (привожу даты их жизни, чтобы сделать наглядным, впрочем, отнюдь не молодой возраст части из них): Леонид Иванович Андрусон (1875—1930), Василий Васильевич Башкин (1880—1909), Леонид Галич (Леонид Евгеньевич Габрилович; 1878—1953), Сергей Митрофанович Городецкий (1884—1967), Осип Дымов (Иосиф Исидорович Перельман; 1878—1959), Александр Алексеевич Кондратьев (1876—1967), Владимир Пяст (Владимир Алексеевич Пестовский; 1886—1940), Александр Степанович Рославлев (1883—1920), Поликсена Сергеевна Соловьева (Allegro; 1867—1924), Наталья Ивановна Манасеина (1869—1930), Константин Эрберг (Константин Александрович Сюннерберг; 1871—1942), Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая; 1872—1952), Дмитрий Михайлович Цензор (1877—1947). Это были еще мало знакомые хозяевам литераторы, общение с которыми только начиналось. Этим объясняются и серьезные неточности, содержащиеся в перечне. Так, Осип Дымов был не поэтом, а прозаиком, и уже довольно известным к этому времени. Помета около имени Городецкого — «талантлив» — убеждает нас в сильном впечатлении, которое молодой поэт сразу произвел на Иванова. И ему, и М. В. Сабашниковой было уготовано важное место в жиз-

[4] Лит. наследство. 1976. Т. 85: Валерий Брюсов.

нетворческих экспериментах, которые состоялись на Башне и были задуманы Вяч. Ивановым.[5]

Заключительная, пятая глава посвящена пребыванию Ивановых в имении Загорье Могилевской губернии летом и осенью 1907 года. В их жизни снова наступило серьезное внутреннее напряжение, которое не могло разрешиться без прояснения отношений с Сабашниковой. Начал обсуждаться вопрос о ее возможном приезде в Загорье. Благодаря этому сохранилась переписка Сабашниковой с Ивановым и Зиновьевой-Аннибал, которую приводит целиком Богомолов в пятой главе. 8 августа Сабашникова приехала в Загорье. С этого момента М. В. Сабашникова всем семейством Ивановых (включая и М. М. Замятнину) стала восприниматься в качестве постороннего человека. Однако сама Сабашникова этого не почувствовала, о чем свидетельствуют ее письма августа—октября 1907 года.

17 октября 1907 года в имении Загорье умерла Зиновьева-Аннибал. Начался совсем новый период в биографии Вяч. Иванова. Это был рубеж в жизни поэта и его близких. Смерть Зиновьевой-Аннибал послужила Иванову основанием для «глубинной художественной (и в то же время мистической) трансформации в собственное поэтическое творчество и для третьего брака Иванова, также зародившегося буквально над гробом Зиновьевой-Аннибал» (с. 248). К пятой главе прилагаются дневниковые записи и воспоминания В. К. Шварсалон о последних днях жизни и смерти матери.

Тщательно выверенный указатель имен, завершающий книгу, помогает найти необходимые сведения о ее многочисленных героях.

В настоящий момент нередко дает себя знать пренебрежительное отношение к документально-биографическим исследованиям. Книга Богомолова еще раз показывает, что подлинное изучение творчества писателя не может состояться без детальной проработки фактического материала, без создания панорамы его жизни, уяснения условий возникновения его произведений и освещения истории его отношений с собратьями по перу. Составление хроник стало возможно благодаря целому ряду сохранившихся документов, поводом к появлению которых стали разнообразные обстоятельства в жизни Ивановых (их продолжительное пребывание в Европе, обширное эпистолярное наследие).

В заключение хочу указать на вышедшее вскоре после хроник издание переписки Вяч. Иванова с Зиновьевой-Аннибал 1894—1903 годов, в подготовке которого Богомолов принимал деятельное участие. Этот огромный эпистолярный массив хронологически составляет своеобразную прелюдию к событиям 1903—1907 годов, детально представленным в рецензируемой книге.[6] Задумана также публикация другого важнейшего источника — дневника Вяч. Иванова 1906 года, в который составной частью входит его переписка с женой.

[5] Попутно укажем на то, что недавно вышедшая книга Ольги Матич «Эротическая утопия: Новое религиозное сознание и fin de siècle в России» (М., 2008), претендующая на подведение итогов в отношении жизнетворческих экспериментов русских писателей-модернистов, к сожалению, не содержит специальной главы, посвященной Вяч. Иванову и его «эротическому проекту». Подобный раздел, думается, обогатил бы книгу по существу.

[6] *Иванов Вячеслав, Зиновьева-Аннибал Лидия.* Переписка: 1894—1903: В 2 т. / Подгот. текста Д. О. Солодкой и Н. А. Богомолова при участии М. Вахтеля; вступ. статья М. Вахтеля и Н. А. Богомолова; коммент. Н. А. Богомолова и М. Вахтеля при участии Д. О. Солодкой. М., 2009.

© *Р. Ю. Данилевский*

РУССКО-НЕМЕЦКИЕ ДИСКУРСЫ

(СБОРНИК РАБОТ ТОМСКОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА)*

Российско-германские филологические семинары проводятся в Томском государственном университете с 2006 года. В них участвуют литературоведы и лингвисты вузов Томска, а также их немецкие коллеги из университетов Берлина, Бохума, Ганновера, Мангейма. Особенно тесно сотрудничает филологический факультет Томского университета с философским факультетом Мангейма. Результатом такого сотрудничества и стали совместные семинары, проводившиеся в Томске и в Мангейме. Их проблематика охватывает современное «прочтение» межлитературных

* Русское в немецких дискурсах, немецкое в русских дискурсах: Сборник материалов российско-германского семинара, 27 июня—3 июля 2009 г. / Отв. ред. О. Б. Кафанова, Н. Е. Разумова. Томск: Томский гос. ун-т, 2009. 237, 23 с. иллюстраций.

связей, причем каждый раз доминирует определенная тема. В 2006 году это был «Европейский интерлингвизм в зеркале литературы» (речь шла в основном о вопросах перевода),[1] в 2008 году — «Языковая картина мира и культурные контексты» (семинар проводился в Мангейме).

На семинаре, материал которого, опубликованный отдельным томом, рассматривается в данной рецензии, темой стали «дискурсы», т. е. языковые и культурные области, в которых происходят контакты и общение национальных культур. В заседаниях приняли участие как лингвисты, так и литературоведы России и Германии. Среди языковедческих докладов для нас могут быть любопытными те, что так или иначе касаются связей в области культуры. Это, например, «Административный дискурс в русском и немецком языках» (авторы — Т. А. Демешкина и Н. А. Карпова, Томск), «Встречи на „ничейной земле": немецко-русские дискурсы о демократии и диктатуре» (автор — Б. Минквальд, Бохум, ФРГ), «Актуализация лингвокультурного концепта „время" в сценарии „карьера" (на материале русского и немецкого языков)» (автор — Т. В. Мамина, Томск) и т. д. Если отвлечься от специфической терминологии, то речь идет, как видим, о вопросах сравнительной лексикологии и стилистики.

На этих примерах видно, что тесное общение национальных культур в конце XX и начале XXI века — в нашем случае русской и немецкой — создает новое качество межкультурных отношений. Это уже не только «встречи» и «взаимосвязи» в прежнем понимании — как эпизоды в истории литературы той или иной страны, а более или менее совместное развитие, так сказать, в едином «коллективе», прямое осуществление понятия мировой литературы, которое так прозорливо выдвинул когда-то И. В. Гете. И здесь находит оправдание термин «дискурс» (если он употребляется к месту), который отражает это новое качество межкультурных связей, объединяющее развитие отдельных национальных литератур в единый, общий процесс.

Литературоведческие работы, помещенные в обсуждаемом сборнике, делятся на тематические группы — «Текст, интертекст и перевод как интерпретация художественных моделей», «Личности, персонажи и образы немецко-русского культурного трансфера» и материалы заседаний круглого стола — «Образы Германии в русской литературе».

Первая группа статей открывается докладом руководителя семинара О. Б. Кафановой «„Römische Elegien" И. В. Гете в русском переводческом дискурсе» (с. 57—72). Подробно излагается история восприятия и перевода «Римских элегий» начиная с первых отзывов В. Г. Белинского и переложений А. С. Струговщикова до превосходного перевода С. А. Ошерова 1980-х годов. Как считает автор доклада, трудности русского восприятия этого стихотворного цикла Гете заключались не в последнюю очередь в том, что, по давней традиции, «телесная» эротика была не свойственна нашей литературе. Только к XX веку она утвердилась в ней в качестве эстетически равноправной темы.

В докладе В. А. Доманского «Немецкие стихотворные переводы И. С. Тургенева для альбома Полины Виардо» (с. 73—86) русские тексты, приспособленные Тургеневым к мелодиям романсов знаменитой певицы, рассматриваются как особый вид творчества писателя в области стихотворного перевода («оригинальная форма бытования переводческого дискурса», с. 76). К анализу тургеневских текстов и их немецких подлинников, предпринятому автором работы, можно добавить одну деталь. Ставшее текстом романса П. Виардо стихотворение немецкого поэта Р. Поля «Сказка» было переделано Тургеневым в «Лесную глушь». Писатель сумел оценить выразительность немецкого слова „Waldeinsdamkeit" (букв. «одиночество в лесу»), с которого начинался немецкий текст. Создание этого неологизма принадлежит, по-видимому, романтику Л. Тику (новелла «Белокурый Экберт»). Для передачи находки Тика Тургенев подобрал не менее благозвучное и, главное, равное ей по числу слогов, русское соответствие.

Заново систематизирован и освещен с точки зрения лингвостилистики материал небольшой статьи Н. Е. Никоновой «Немецкие поэтические автопереводы В. А. Жуковского» (с. 87—98). Собственно, их нельзя назвать переводами в прямом смысле слова. Это, как пишет автор, — составленные поэтом на немецком языке более или менее точные пересказы нескольких его стихотворений. Значительно уступая подлинникам в эстетическом отношении, эти пересказы, тем не менее, свидетельствуют о том, что Жуковский тонко чувствовал особенности немецкого сентиментально-романтического стиля, правда, уже заметно устаревшего к 1820—1830-м годам, когда Жуковский создавал свои автопереводы.

Пародийно-юмористический рассказ М. М. Зощенко «Страдания молодого Вертера» (1933) соотнесен с гетевским претекстом в докладе Д. В. Лобачевой «„Советский" Вертер (О художественном восприятии романа И. В. Гете «Страдания юного Вертера» в России XX в.)» (с. 99—107). Факт, сообщенный в докладе, примечателен, однако им одним не исчерпывается слишком широкий смысл подзаголовка статьи.

Во второй из указанных групп докладов обращает на себя внимание очерк Н. Е. Разумовой «Персонажи-немцы в русской классической литературе» (с. 108—120). Он охватывает период начиная с комедий Д. И. Фон-

[1] См.: *Данилевский Р. Ю.* Искусство русского поэтического перевода // Русская литература. 2008. № 1. С. 269—271.

визина и молодого И. А. Крылова до рассказов А. П. Чехова, но по недостатку места включает в себя лишь небольшую часть соответствующих литературных фактов, которые могли бы составить не одну книгу.[2] Можно надеяться, что этот очерк окажется заявкой на большое исследование.

В работе немецкой исследовательницы Г. Сайберт (Ганновер, ФРГ) «Взаимодействие литературы и политики. Август фон Коцебу, критик-просветитель и российский статский советник» (с. 121—130, на немецком языке) освещены драматические страницы жизни популярного немецкого литератора — его ссылка в Сибирь в 1800 году. Разумеется, этим эпизодом не ограничиваются связи Коцебу с Россией, которые, понятно, не могли быть целиком рассмотрены в коротком докладе.[3] Тем не менее историко-литературному портрету Коцебу и картине его российских связей в данном случае недостает желательной полноты.

Наряду со стилистическим анализом немецких переводов чеховских пьес (Д. А. Олицкая, «Комическое в пьесах А. П. Чехова: к проблеме переводимости», с. 131—143) заслуживают внимания еще две статьи сборника. Они касаются именно того, что именуется русско-немецким дискурсом, демонстрируя включение элементов одной национальной культуры в систему культуры другой.

В общем бесспорна констатация близости содержания темы Орфея у Рильке философско-поэтическим концепциям русских символистов в статье Д. Н. Беловой «Русские культурные аллюзии в орфическом дискурсе Р. М. Рильке» (с. 162—172). Параллели между взглядами и образами австрийского лирика и Вяч. Иванова, а также «поэтическо-психологический диалог М. Цветаевой и Рильке об искусстве» (с. 171) в их переписке 1926 года — убедительные свидетельства того, что Рильке были близки некоторые эстетические стороны современной ему русской поэзии. Это объясняется даже не влияниями, а духовными параллелями в общем поле европейского модернизма, историко-типологическими аналогиями, или схождениями, если употребить термин В. М. Жирмунского. Возможно, надо было бы поставить вопрос о причинах оживления античного мифа об Орфее и Эвридике в русском символизме и у Рильке, вопрос, частично затронутый в работе А. А. Асояна «К семиотике орфического мифа в русской поэзии» (2002), на которую ссылается автор статьи.

Одной из самых примечательных работ томского сборника представляется нам исследование Т. Г. Рыбальченко «„Фауст" И. В. Гете в романе А. И. Солженицына „В круге первом"» (с. 144—161). Нельзя не согласиться с автором, считающим, что «главное в обращении Солженицына к трагедии Гете — не сближение поэтики, а соотнесение философской проблематики Гете, представляющего (собой) конец классической эпохи гуманизма и универсализма, с экзистенциальной проблемой XX века, проблемой сущности человека, и с историко-философской проблемой прогресса» (с. 146). Обзор истории восприятия трагедии Гете в России также поучителен, несмотря на свою краткость. Проблематичность возникает там, где автор характеризует отношение Солженицына к «Фаусту», не делая поправок на особенности солженицынской интерпретации трагедии Гете. «„Фауст" Гете, — пишет исследовательница, — стал объектом не столько художественной, сколько философской полемики Солженицына с европейским позитивизмом, с утопичностью просветительских идей, реализованных в России ценой разрушения не только частной, но и национальной жизни» (с. 147). Если по отношению к замечательному русскому писателю эти наблюдения, очевидно, справедливы, то напрасно приписываются писателю немецкому позитивизм, о котором он знать не знал, а также утопичность просветительства, о которой надо было бы все же говорить осторожно, поскольку принципы Просвещения остаются одной из основ европейской культуры и, в ее составе, русской классической литературы и русской мысли. Утопиями остается, по-видимому, ряд социально-философских построений, лишь косвенно связанных с некоторыми идеями XVIII века. Связывать «Фауста» с русской революцией можно, только имея в виду советские интерпретации произведения Гете (вроде драмы А. В. Луначарского «Фауст и Город»), в чем никакой «вины» Гете, конечно же, не было и нет. Напротив, вера во всесилие науки, в известном смысле родственная позднейшему позитивизму (пресловутый Гомункулус), равно как и идея революционной переделки общества (мнимый пожар в императорском дворце и

---

[2] Из литературы вопроса, помимо указанной в данной статье, см., например: *Müntjes M.* Beiträge zum Bild des Deutschen in der russischen Literatur von Katharina bis auf Alexander II. Meisenheim am Glan, 1971; Westöstliche Spiegelungen: Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht: 1) Deutsche und Deutschland in der russischen Lyrik des frühen 20. Jahrhunderts. München, 1988 (Reihe B. Sonderband); 2) Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 18. Jahrhundert: Aufklärung. München, 1992 (Reihe B. Bd 2); 3) Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 19. Jahrhundert: Von der Jahrhundertwende bis zu den Reformen Alexanders II. München, 1998 (Reihe B. Bd 3); 4) Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 19./20. Jahrhundert: Von den Reformen Alexanders II. bis zum Ersten Weltkrieg. München, 2000 (Reihe B. Bd 4).

[3] Ср.: *Giesemann G.* Kotzebue in Rußland: Materialien einer Wirkungsgeschichte. Frankfurt am Main, 1971.

деятельность Фауста на морском побережье) по сути дела подвергаются во второй части «Фауста» тонкой и язвительной критике.

Высказанное в статье мнение о том, что «у Гете ученый воплощал природу человека разумного, созданного Господом для понимания мира, в результате обретения знаний о всех сферах бытия способного преобразовать земную жизнь согласно высокому закону» (с. 149), не вполне убедительно, так как мы знаем, что «преобразование» жизни в конце трагедии не состоялось. Достижение «универсальной гармонии», воплощенной якобы в образе царицы Елены (см. с. 151), оказалось призрачным. Скорее всего, трагедия Гете является *открытой структурой с открытым финалом*, и то, что А. Солженицын в своем романе обратился к «Фаусту», показывает нам, что волновавшие Гете вопросы о человеке и власти, о науке и обществе, о свободе и рабстве, т. е. по сути дела — об абсолютной ценности человеческой личности, не потеряли своего трагического значения в XX веке.

В третьей группе публикаций (выступления на заседаниях круглого стола) отсветы немецкой культуры рассматриваются в журнале «Вестник Европы» периода редакторства В. Жуковского (автор — И. А. Айзикова), в сочинениях В. Шкловского и Б. Пильняка (автор — О. А. Дашевская), в книге Н. Берберовой о композиторе А. Бородине (автор — М. А. Хатилова). Этот раздел завершается, вопреки хронологическому принципу расположения материала, статьей Е. В. Аблогиной «„Фауст" И. В. Гете в рецепции А. С. Грибоедова» (с. 220—224).

В статьях томского сборника читатели найдут большой фактический материал из истории русско-немецких культурных взаимоотношений, отчасти систематизированный заново, отчасти впервые введенный в научный оборот и интересно интерпретированный, что представляет собой несомненную научную ценность.

ХРОНИКА

XIV НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ РУКОПИСНОГО ОТДЕЛА

13—14 октября 2010 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоялись XIV Научные чтения Рукописного отдела, посвященные памяти сотрудников отдела Людмилы Ивановны Кузьминой (1924—2010) и Сергея Сергеевича Гречишкина (1948—2010). В работе очередных, давно ставших традиционными, Чтений принимали участие сотрудники как Пушкинского Дома, так и других организаций города (Санкт-Петербургский университет, Музей истории Санкт-Петербурга). Доклады, основой для большинства из которых послужили ценные и зачастую неопубликованные материалы, хранящиеся в Рукописном отделе Пушкинского Дома, были посвящены представлению архивных находок, текстологическим проблемам и вызвали живой интерес слушателей.

Е. Р. Обатнина, как организатор Чтений, во вступительном приветственном слове обратила внимание присутствующих на развернутую в Большом конференц-зале на время проведения заседаний выставку документов Рукописного отдела, в экспозиции которой две витрины были персонально посвящены Л. И. Кузьминой и С. С. Гречишкину. Репрезентация личных документов и книг сотрудников Рукописного отдела Пушкинского Дома имела целью представить многогранную деятельность архивистов, оставивших после себя примечательные филологические исследования, книги и рукописи. На выставке были представлены письма Ю. В. Бондарева, Ю. М. Нагибина, В. Г. Распутина, В. А. Солоухина, М. С. Шагинян и других писателей, адресованные Л. И. Кузьминой в 1970—1980 годы. Фрагменты творческой жизни С. С. Гречишкина были объединены в композицию из его дневников, автографов и печатных сборников стихов, фотографий, отобранных в личном архиве, который ныне составляет именной фонд.

Основная экспозиция выставки явилась лаконичным отражением активной собирательской работы Рукописного отдела за минувшие два года (2008—2010), результатом которой стало значительное пополнение фондов. Прежде всего, это документы, ценность которых трудно преувеличить, а именно влившиеся в фонд Ольги Николаевны и Ореста Николаевича Высотских биографические материалы: подлинные фотографии актрисы О. Н. Высотской, оригиналы фотопортретов многих представителей ее семьи и известных лиц из театрального окружения, редкие снимки Н. С. Гумилева. В центре этой экспозиции были представлены автографы Н. С. Гумилева, местонахождение которых долгое время считалось неизвестным, в частности I часть «Африканского дневника» Гумилева (1913) и его письмо к О. Н. Высотской, предположительно написанное 12 апреля 1913 года во время краткой остановки в Константинополе на пути в Африку, со стихотворением, в печатной редакции получившим название «Ислам» («В ночном кафе мы молча пили кьянти...»).

В ряду новых поступлений экспонировался альбом Н. Э. Радлова и Н. К. Шведе-Радловой с вложенными и наклеенными оригиналами рисунков и автографами художников, писателей и поэтов (А. Ахматовой, К. Бальмонта, З. Гиппиус, Н. Гумилева, О. Мандельштама, М. Лозинского, Вс. Рождественского, М. Добужинского, С. Чехонина и др.), а также вырезками из периодической печати (1900-е—начало 1930-х годов). Особое место на выставке было отведено и ценным документам XIX—начала XX века из коллекции М. С. Лесмана. Среди них письма императора Александра II, З. Н. Гиппиус, С. А. Толстой, автограф стихотворения Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай», а также печатный экземпляр Прокламации императора Наполеона I (1870). Кроме того, среди новых поступлений особый интерес представляли нотные автографы композитора В. А. Гаврилина.

Конференцию открыл доклад Е. Г. Левшаковой «К вопросу о парадигме Юноши-рыцаря (на основе архивных материалов Е. Гуро)». Как сообщила докладчица, главной особенностью творчества Гуро являлось развертывание в живописных и литературных произведениях мифа об умершем сыне, черты которого поэтесса переносила на героев своих произведений. В парадигме персонажей Гуро особое место занимает Бедный рыцарь. Этот полигенетический образ не только восходит к литературным традициям предшествующих эпох, но и проявляется в литературе XX века. В качестве примеров исследовательница привела персонажи произведений В. Набокова (Яша Чернышевский) и Г. Ионина (Миша), правомерность их приведения была обоснована следующими характерными чертами персонажей: способность после смерти являться родителям; чувствительность, тонкая душевная организация, го-

товность страдать. Близость Бедного рыцаря и Миши дополнительно выражена религиозными мотивами: чудесным пришествием, приближенностью к божественному, обладанием особым знанием, на основе которого и строится их откровение.

В докладе «С. Есенин. „Зарянка" (К проблеме циклизации)» Д. М. Климова рассмотрела хранящийся в Рукописном отделе Пушкинского Дома (в архиве издателя М. В. Аверьянова) макет издания: «Сергей Есенин. Зарянка. Стихи для детей. Книгоиздательство. 1916», созданный поэтом. Рукопись состоит из десяти лирических стихотворений, образующих пейзажный цикл и посвященных четырем временам года. При жизни автора перепечатано только одно стихотворение («Поет зима, аукает...»). В полном объеме «Зарянка» не публиковалась ни в прижизненных, ни в посмертных изданиях Есенина. Среди исследователей утвердилась идентификация «Зарянки» как сборника, между тем Д. М. Климова в своем выступлении доказательно продемонстрировала, что авторская стихотворная композиция обладает всеми признаками циклизации. Обращение к некоторым эпизодам биографии Есенина позволило докладчице выдвинуть предположение, что цикл «Зарянка» создавался под впечатлением аналогичного цикла А. Блока «Круглый год. Стихотворения для детей» (1913) и первой встречи двух поэтов в 1915 году.

В. С. Федоров свой доклад «Каноническая идентификация текстов М. Зощенко» начал с обзора проблем, возникающих при работе с творческим наследием Зощенко, а именно жанровых характеристик больших и малых форм, определения канонического текста, установление которого нередко осложнено сохранившимися авторскими замечаниями и сомнениями. Докладчик описал историю издания собраний сочинений Зощенко. На данный момент с максимальной, хотя и недостаточной полнотой произведения Зощенко опубликованы в собрании прозы писателя, вышедшем в семи томах (М.: Время, 2008). Актуальной задачей зощенковедения В. С. Федоров видит научную подготовку собрания сочинений. В докладе был определен круг проблем будущего издания, из них наиболее сложной остается решение вопроса о каноническом тексте. Ряд исследователей выступает против применения к Зощенко принципа «последней воли автора». Так, по словам Б. Сарнова, этот принцип отражает «не волю автора, а волю редактора». Часть зощенковедов отрицает и возможность применения принципа «полноты произведения». Докладчик остановился также на проблеме жанрового определения текстов М. Зощенко, отмечая неточность определения его сатирических рассказов, фельетонов и анекдотов как принадлежащих к единому синтетическому жанру.

На неопубликованных материалах, хранящихся в Рукописном отделе ИРЛИ, был построен доклад О. Л. Фетисенко «„Поехал искать человека... и нашел фонарь" (Дневник И. Л. Щеглова-Леонтьева 1891 г.)». В 1891 году петербургский беллетрист Иван Щеглов (И. Л. Леонтьев; 1856—1911) переживал душевный и творческий кризис, который побудил его отправиться в поездку по России. Путешествие длилось с 24 мая по 28 июля, за это время Щеглов успел побывать в Полтавской губернии, Киеве, Гомеле, Брянске, Калуге, Ржеве, Троице-Сергиевой лавре и Ново-Иерусалимском монастыре и в Москве. Основной целью путешествия было посещение народной школы С. А. Рачинского в Татеве Смоленской губернии, что и состоялось в начале июля. Однако перед визитом к Рачинскому Щеглов-Леонтьев решил заехать в Оптину пустынь. Остановка в монастыре растянулась на две недели, в течение которых произошло знакомство и общение с жившим в Оптиной писателем К. Н. Леонтьевым и встречи с преп. Амвросием Оптинским (в Шамордино и Рудневе). Уже во время пребывания в Оптиной Щеглов задумал новый роман — о «возрождении» героя (петербургского «неврастеника») и обретении им «почвы». В записных тетрадях 1890-х годов сохранилось множество набросков к этому произведению, первоначально озаглавленному «Зеленая пустынь». Этому эпизоду из «истории одного путешествия» и тому, как события лета 1891 года повлияли на дальнейшую литературную судьбу Щеглова, главным образом и был посвящен доклад.

Н. А. Прозорова, выступившая с докладом «„Так мне хочется мир обнять..." (Отроческий дневник О. Берггольц)», познакомила слушателей с дневником Ольги Берггольц 1923 года, сохранившимся в виде двух небольших тетрадей в Рукописном отделе Пушкинского Дома. Ранние дневниковые записи, по мнению докладчицы, представляют собой ценный документальный материал для анализа подросткового мироощущения юной поэтессы, семейной атмосферы, а главное, для осмысления истоков ее жизненного и творческого пути. Тетради, включающие «деревенские эскизы», путевые картины, описания природы и портреты, а также стихотворные опыты, комментарии к ним и первое программное определение творческого пути, являются ценным биографическим источником, дополняющим и корректирующим воспоминания и автобиографии, написанные на склоне лет. Н. А. Прозорова также отметила, что отроческий тип дневника считается достаточно редким явлением в мемуарной практике: он менее распространен, нежели юношеский. В связи с этим изучение дневников Берггольц отроческого периода любопытно и с точки зрения истории и бытования дневника как автобиографического жанра.

Доклад А. А. Шелаевой «Незавершенный замысел Н. С. Лескова „Прозорливый индус"» был посвящен произведению Лескова, не получившему завершения при жизни

писателя и условно датированному сыном писателя (А. Н. Лесковым) 1885 годом. Текст его был включен в раздел «Творчество Н. С. Лескова в 1880—1890 гг. Неосуществленные замыслы» в 101-м томе «Литературного наследства» (М., 1998), но не получил необходимого комментария. В собрании Рукописного отдела ИРЛИ он представлен машинописной копией А. Н. Лескова. А. А. Шелаева, рассматривая этот рассказ, предназначенный автором для цикла «Рассказы кстати», в контексте всего творчества писателя, уточнила датировку незавершенного замысла, выявила его жанровые особенности и связала возникновение текста с темой буддизма и Индии в творчестве писателя, которая нашла более полное отражение в опубликованном после его смерти сказании «Брамадата и Радован». Докладчице удалось также установить, что резко негативное отношение Лескова к творчеству и деятельности путешественницы и пропагандиста буддизма Е. П. Блаватской, сказавшееся в рассказе «Прозорливый индус», не совпадает с более ранними оценками писателя. Обобщая свои наблюдения, А. А. Шелаева высказала мысль о том, что возникновение самого замысла рассказа «Прозорливый индус» в творчестве Лескова является следствием таких новых тенденций русской культуры конца XIX века, как взаимодействие с различными культурными, философскими и религиозными традициями евразийского пространства.

В докладе А. В. Сысоевой «Поиск жанра. Утраченный сценарий „Навьих чар"» речь шла об архивной находке. Недавно в фонде Ф. Сологуба, хранящемся в Рукописном отделе Пушкинского Дома, были обнаружены наброски киносценария «Навьи чары», созданного писателем на основе его романа «Творимая легенда» и считавшегося утраченным. Подтверждением того, что исследуемый фрагмент является наброском киносценария, послужило обращение к другим киносценариям того же периода и технике их написания, а также характер изменения текста романа (сокращение количества диалогов, упоминаний о звуках, внутренне переживаемых эмоциях и др.). Встраивание рассматриваемого текста в ряд других сценариев Сологуба позволило выделить основные тенденции развития нового для писателя и для эпохи жанра. Успешность работы с новым типом текста была объяснена как внешними, так и внутренними причинами, в том числе особенностями творческого метода Сологуба, отчасти близкого специфике работы сценаристов.

Второй день работы Чтений открылся докладом Е. М. Аксененко «Из опыта научно-технической обработки коллекции М. С. Лесмана», в котором говорилось об особенностях поступления в Рукописный отдел Пушкинского Дома богатейшей коллекции известного ленинградского библиофила, собирателя и музыканта Моисея Семеновича Лесмана. Поступление рукописных документов из коллекции М. С. Лесмана началось в 1994 году и продолжается до настоящего времени. По содержанию это материалы XVIII—XX веков, относящиеся в основном к русским писателям, журналистам, деятелям культуры и науки разных литературных и общественных направлений, а также комплексы, собранные по тематическому признаку. Материалы разнообразны как по значимости имен их авторов (от крупнейших литераторов и деятелей культуры и искусства до малоизвестных поэтов-самоучек), так и по объему (от единичных документов до родовых архивов). В докладе был обозначен круг основных проблем, возникших в процессе обработки фонда. Подход к обработке фонда и его систематизации определяется отношением к коллекции как к неделимому целому, для чего в конце 1990-х годов была составлена рабочая инструкция по обработке, которая все время совершенствуется. Е. М. Аксененко поделилась размышлениями о решении проблем систематизации этого обширного собрания. Особо была отмечена большая помощь Н. Г. Князевой, сопровождавшей каждую передачу документов подробными описями, к которым можно отнести и подготовленный ею в 1989 году каталог «Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана».

Н. Г. Князева, наследница коллекции М. С. Лесмана, в докладе «Чтобы полюбить рукописи...» остановилась на теме собирательства и сохранения редких книг и автографов. Воспоминания о вечерах в доме М. С. Лесмана, о наиболее ценных и интересных книгах и рукописях из его собрания сопровождались поэтическими цитатами из М. Волошина и других поэтов XX века. Издание романа Оноре де Бальзака «Шуаны» («Les Chuans ou la Bretagne en 1799») 1834 года с авторской правкой; внутренняя рецензия О. Мандельштама на книгу Жана Жироду «Elpénor»; книги с дарственными надписями (в том числе собирателю коллекции) и пометами А. Ахматовой, А. Блока, З. Гиппиус, Б. Пастернака и других, — вот далеко неполный список упомянутых в докладе раритетов, вокруг которых Н. Г. Князева построила свой рассказ о сложной судьбе коллекции, а также о ее положении в настоящий момент (большая часть отдана на государственное хранение в Пушкинский Дом, мемориальные музеи Пушкина и Ахматовой).

Проблеме атрибуции так называемого «Черного» альбома А. П. Керн был посвящен доклад Л. К. Хитрово. С 1919 года альбом находится в Пушкинском Доме, куда поступил на хранение в составе коллекции П. Я. Дашкова. Его не раз просматривали исследователи, но идентифицировать, опознать в нем тот самый «черный» альбом, к которому Анна Петровна обращалась в работе над известными воспоминаниями о современниках, не представлялось возможным. Из-за пропав-

ших из него листов, в том числе с автографами Пушкина и Дельвига, о которых имелись сведения в документальных источниках, альбом считался полностью и безвозвратно утраченным. Опознать его удалось с помощью недавно обнаруженных в Рукописном отделе ИРЛИ архивных документов. По ним прослеживается история приобретения П. Я. Дашковым (3 ноября 1881 г.) «черного» альбома Керн у ее сына от второго брака — А. А. Маркова-Виноградского. Вместе с тем факт хранения в Рукописном отделе знаменитого альбома Керн подтверждается и первой попыткой его реконструкции. Найдены два разрозненных листа, которые изначально находились в альбоме. Один — с карандашным рисунком (неустановленного лица) внутреннего вида комнаты Керн в ее квартире на Петроградской стороне Петербурга (в Литературном музее ИРЛИ). Другой — с автографом стихотворения «Дева и роза (на смерть Д. В. Веневитинова)» А. А. Дельвига (Рукописный отдел ИРЛИ).

М. М. Павлова, сделавшая доклад на тему «Из поэтического наследия Федора Сологуба (к истории последней архивной находки)», дала общую характеристику вновь найденных рукописей Ф. Сологуба, обнаруженных в конце 2009 года сотрудниками Рукописного отдела Л. В. Герашко и Е. Б. Фоминой в хранилище необработанных фондов (эта часть архива случайно откололась от основного фонда писателя, поступившего в Пушкинский Дом в 1928—1929, 1946—1947 годы). Наиболее ценную часть новонайденных материалов составили три рабочие тетради с черновыми и беловыми автографами стихотворений. М. М. Павлова сосредоточила свое внимание на самой ранней из них, содержащей оригинальные поэтические тексты и переводы 1877—1880-х годов (всего более 100), до сих пор считавшиеся утраченными. О существовании этих стихотворений было известно исследователям только по составленному Сологубом библиографическому указателю. На основе анализа рукописей, заметно пополнивших корпус ранних поэтических текстов («долитературного» периода), были сделаны отдельные предварительные наблюдения о становлении поэтической индивидуальности Сологуба (особое внимание в докладе было уделено механизму зарождения центонов и ранним метапоэтическим текстам).

Доклад Т. Д. Перовой «Особенности реставрации и хранения рукописных документов» оказался полезным как для читателей, так и для обработчиков и хранителей. Т. Д. Перова предложила некоторые практические рекомендации по работе с документами. Докладчица рассказала об особенностях бумаги и чернил разных исторических периодов, о сложностях, которые возникают при длительном хранении документа, о том, какие причины могут привести к угасанию и окончательной утрате текста, о подходах к дезинфекции и консервации документа в России и в западных странах. Доклад сопровождался богатым иллюстративным материалом.

Л. Г. Агамалян выступила с докладом «„На фоне Пушкина": портрет супругов Бороздна (Новые поступления Литературного музея)». В 2009 году в Литературный музей ИРЛИ от Зои Борисовны Томашевской поступил портрет украинского поэта Ивана Петровича Бороздны (1804—1858) работы художника Петра Федоровича Вимпфена (1865—1938). Рисунок был подарен Борису Викторовичу Томашевскому в 1937 году, к 100-летию со дня смерти Пушкина, Лидией Леонидовной Слонимской (1900—1965), правнучкой Ольги Сергеевны Павлищевой. На листе запечатлен процесс создания женой поэта, художницей Любовью Степановной Бороздной-Стромиловой (1813—1894) портрета А. С. Пушкина, сидящего на диване рядом с И. П. Бороздной. И. П. Бороздна был страстным поклонником Пушкина, посвятил ему два стихотворения. Л. С. Бороздна-Стромилова — ученица К. П. Брюллова. П. Ф. Вимпфен — ее внучатый племянник, художник-акварелист. Изображение Пушкина копирует известный портрет Т. Райта. Однако, как отметила докладчица, портреты супругов Бороздна оригиналъны, неизвестны и представляют безусловный интерес. Рисунок, о котором шла речь в докладе, был продемонстрирован аудитории.

Доклад Л. Е. Мисайлиди «Людвиг фон Майдель — иллюстратор „Ундины" В. А. Жуковского. Новые материалы» был посвящен прибалтийскому художнику Людвигу фон Майделю (1795—1846), автору гравюр к повести Ф. де Ламотт-Фуке «Ундина», вышедшей в свет в Петербурге в 1837 году в переводе В. А. Жуковского. В истории русской иллюстрации очерковые гравюры к «Ундине», связанные с конкретным содержанием повести, представляют собой новый взгляд на книжную иллюстрацию, пришедшую на смену условной классической традиции. Жуковский, активно участвовавший в разработке концепции оформления книги, нашел в Майделе художника, который сумел эти идеи воплотить. Хранящийся в собрании музея Пушкинского Дома альбом оригинальных рисунков к «Ундине», выполненных в контурной манере, и письма Майделя к Жуковскому за 1836 год дают возможность воссоздать процесс работы художника над иллюстрациями — от рисунка к офорту. Причем Жуковский в этих письмах выступает не только как заказчик, но и как покровитель талантливого художника, стремившийся сблизить его с царской семьей и тем самым поддержать материально. Доклад сопровождался иллюстрациями.

Завершил Чтения доклад Н. В. Нассоновой «Выставка группы КОРН в ЦДИ (Центральном Доме искусств). 1930. По материалам фонда М. В. Матюшина», основанный на

материалах, хранящихся в Рукописном отделе ИРЛИ в вышеупомянутом фонде, которые позволяют полнее осветить деятельность М. В. Матюшина, его работу в ГИНХУКе, ГИИИ и в Академии художеств. Наибольший интерес для восстановления творческой биографии М. В. Матюшина представляет комплекс документов, включающий в себя справки и характеристики, выданные ему для оформления пенсии в 1929—1933 годах. В характеристиках содержится информация об исследованиях Матюшина в области изменяемости цвета и формы в изобразительном искусстве и их оценка. Выставка группы КОРН (Коллектив расширенного наблюдения), организованная Матюшиным и его учениками, является знаковой для истории русского авангарда и представляет собой одно из последних групповых выступлений художников авангарда. На выставке были представлены результаты исследований, проводимых Матюшиным и учениками. Декларация группы дает представление о целях и задачах, которые ее участники ставили перед собой. Запись в тетради Матюшина касается истории создания группы и событий, связанных с открытием выставки. Здесь же он пишет о макете «Справочника по цвету», который был издан в 1933 году.

В этом году программа Чтений была расширена в отличие от традиционной: Чтения длились два дня, что позволило оставить время на дискуссии после каждого выступления, в которых принимали участие как докладчики, так и гости. Насыщенность программы и заинтересованность слушателей говорит о насущности поставленных в докладах проблем и о результативности Чтений.

© *А. В. Светлова*

ЛЕВ ТОЛСТОЙ В ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

В Пушкинском Доме 1 ноября 2010 года прошла научная конференция «Лев Толстой в петербургской филологии», посвященная 100-летию ухода и смерти Л. Н. Толстого. Организаторы конференции свою задачу видели в том, чтобы отдать дань памяти и признания выдающимся ученым, чья научная судьба была связана с изучением творчества Толстого, жившим в Петербурге—Ленинграде и работавшим в его учебных и научных центрах. Основные доклады конференции планировались поэтому как посвящения памяти Б. М. Эйхенбаума, Б. И. Бурсова, Е. Н. Купреяновой, Л. Я. Гинзбург, Я. С. Билинкиса и других петербургских филологов. Целью конференции была, кроме того, и консолидация сил современных исследователей, при ее открытии прозвучала мысль о необходимости сделать диалог петербургских специалистов по творчеству Толстого регулярным.

На слова Владимира Ильича Толстого, директора Ясной Поляны, праправнука писателя, сослалась, открывая конференцию, А. Г. Гродецкая, старший научный сотрудник ИРЛИ, — не объявленный ЮНЕСКО годом Толстого 2010-й год тем не менее годом Толстого стал. В юбилейном году знаменательные научные события состоялись и в российском, и в международном толстовском сообществе. В декабре 2009 года прошла конференция в Восточном Папском институте в Риме «Толстой и Церковь его времени», в апреле 2010 года состоялись конференции в Миланском университете «Искренность Льва Толстого» и в Военной академии США в Вест-Пойнте, последняя была посвящена «Войне и миру». В мае 2010 года прошли Весенние чтения в ИМЛИ «Толстой и русские писатели», в августе исследователи разных стран собрались на традиционную Международную конференцию в Ясной Поляне «Толстой и мировая литература». Наконец, Международная Толстовская конференция в Корейском университете Сеула и Международный симпозиум «Толстой в XXI столетии» в университете The New School в Нью-Йорке состоялись в октябре.

Научное заседание в ИРЛИ началось презентацией тома трудов Бориса Михайловича Эйхенбаума (1886—1959) «Работы о Льве Толстом» (СПб., 2009), впервые объединившего его не переиздававшуюся десятилетиями знаменитую «трилогию» и статьи разных лет. Составителем, редактором, автором вступительной статьи к тому стал профессор СПбГУ И. Н. Сухих, однако представлял том не он, а участницы издания, составители комментариев Л. Е. Кочешкова и И. Ю. Матвеева. Первые два доклада, отразившие их опыт работы над томом, были, таким образом, посвящены памяти Б. М. Эйхенбаума.

Л. Е. Кочешкова (СПбПУ) поставила в докладе «„Вопрос об историческом Толстом": книга Б. М. Эйхенбаума „Лев Толстой. Пятидесятые годы"» проблему соотношения «миров» исследователя и писателя. В первой из книг «трилогии», отметила она, ученый решал проблему метода, отходя от принципов формализма к созданию теории «литературного быта» и рассматривая — в поиске выявления «литературного» и «внелитературного» рядов — сложное единство творческого пути Толстого-писателя и Толстого-помещика. «Вопрос об историческом Толстом», центральный в книге, был подан Эйхенбаумом, как подчеркнула докладчица, в чрезвычайной степени парадоксально: с одной сто-

роны, он пишет о принципиальном толстовском «антиисторизме», с другой — отмечает у него сильный «исторический инстинкт», «необычайную способность эволюционировать». Л. Е. Кочешкова обратила внимание и на отразившееся в книге индивидуальное эйхенбаумовское ощущение времени. По мнению ученого, остро переживавшего в середине 1920-х годов биографический кризис сорокалетия, каждому поколению для активной жизни отведено только десять лет, в соответствии с этим «законом десятилетий» им и были осмыслены в «трилогии» три десятилетия толстовского творчества.

Доклад И. Ю. Матвеевой (СПбГАТИ) «Незавершенная монография Б. М. Эйхенбаума о Толстом» был посвящен относившемуся к 1940—1950-м годам замыслу книги, реализованному лишь в нескольких главах: «Толстой-студент», «Толстой на Кавказе», «Толстой в кругу „Современника"». Работы о Толстом, создававшиеся на протяжении сорока лет и организующие научную биографию Эйхенбаума, демонстрируют, по мнению докладчицы, изменение его исследовательского метода. В поздних работах основной задачей Эйхенбаума становится раскрытие «подлинного исторического смысла» художественного явления, и новая книга о Толстом создавалась им как «историческая биография». По мысли ученого, духовный облик писателя складывался под воздействием разнообразных, противоречивых идейных движений эпохи, что требовало введения в книгу о Толстом большого объема фактических материалов — чтобы Толстой предстал личностью, через которую высказывалась история. «В историческом подходе к творчеству Толстого, — сказала И. Ю. Матвеева, — для Эйхенбаума проявлялся „интимный" (по определению Л. Я. Гинзбург) смысл, в его поздних работах о Толстом отозвались события его собственной биографии — трагические реалии военных и послевоенных лет».

Полумемуарным и по своей документальности исключительно ценным было выступление Г. Я. Галаган, главного научного сотрудника ИРЛИ, ученицы Бориса Ивановича Бурсова (1905—1997), посвященное его памяти: «Жизнь Толстого, рассказанная им самим». Вспомнив толстовский семинар Бурсова, который ученый вел в Ленинградском университете во второй половине 1950-х—начале 1960-х годов, Г. Я. Галаган сказала: «Разговор о Толстом был не столько филологическим исследованием, сколько размышлением над вечными вопросами бытия. Лекции Бурсова завораживали — создавалось ощущение участия в самом творческом процессе, казалось, что свои открытия ученый сделал сейчас, сию минуту и тут же поспешил щедро поделиться ими с присутствующими. Эта особенность его лекций незамедлительно вызывала ответную мысль слушателей». Из спецкурса Б. И. Бурсова вырос «Семинарий» (1963), разработанные в нем 157 тем предварялись обширным разделом «Жизнь Толстого, рассказанная им самим», в котором движение творческой мысли писателя демонстрировалось на материале его собственных высказываний, расположенных хронологически, от первых дневниковых записей до ухода из Ясной Поляны.

Памяти профессора ЛГУ Дмитрия Евгеньевича Максимова (1904—1987) посвятила свой доклад «„Идеальная встреча": „простой человек" у Лермонтова и Толстого» О. В. Сливицкая, профессор С.-Петербургского университета культуры и искусства. «Хотя у Д. Е. Максимова, — сказала докладчица, — нет специальных работ о Толстом, но он неоднократно говорил, что заниматься Толстым — это плыть по основному фарватеру русской литературы, и в одном из своих важнейших исследовательских направлений — лермонтовском — поднял тему „простого человека", а это прямой путь к Толстому, который, по словам Розанова, заселил свой мир Максимами Максимычами». «Идеальную встречу» (выражение О. Мандельштама) двух художников О. В. Сливицкая представила как встречу в большом времени культуры, на том достигнутом русским романом уровне универсализации, который позволяет говорить о кардинальных антропологических открытиях. «К пониманию Печорина, своего проблемного героя, — продолжила докладчица, — Лермонтов ведет читателя через встречу с сердечностью, альтруизмом и простодушием на грани наивности Максима Максимыча. Однако фабульно значимых отношений у Печорина с ним нет; он *соположен* Печорину, и взаимодействие между ними сугубо психологическое». Вопрос лермонтовского романа, оправдывает ли глубина и искренность страдания подлинно незаурядного человека то зло, которое он приносит другим, или вопрос о двух ценностях: интеллекте, незаурядном, но эгоцентрическом, и простой человечности, неразлучной с обыкновенностью, об их взаимном, иногда конфликтном, непонимании, решения, с точки зрения О. В. Сливицкой, не имеет. Связь лермонтовского «универсума» с толстовским, по ее мысли, возникает там, где характерология размыкается в философское измерение, хотя между Лермонтовым и Толстым существует и кардинальное различие в месте «простого человека» в жизни высоких героев. «Те, кого Пьер называл *они*, — отметила докладчица, — присутствуют в сознании толстовских героев постоянно, проникая в органику личности, становясь фактором ее роста и постоянным высоким ориентиром, входя в „актуальное я" души. Совместив в Пьере высокий интеллектуализм и простую сердечность, Толстой представил в органическом единстве то, что у Лермонтова носило альтернативный характер, „я" его героя обрело возможность открыться миру „других", „всех". У Толстого, в его децентрализованном эпосе, ни одна коллизия, в том числе и „сквозная" проблема

человека из образованных верхов и человека из народа, не господствует, все сопрягается со всем».

О биографии Елизаветы Николаевны Купреяновой (1906—1988), чьи научные интересы, при всем их разнообразии, оказались преимущественно связанными с творчеством Л. Н. Толстого, рассказала в своем выступлении В. Е. Ветловская, главный научный сотрудник Пушкинского Дома. Опираясь на редкие, малоизвестные источники, появившиеся в печати в недавнее время, на собственные воспоминания и сведения, вынесенные из многолетнего общения с Е. Н. Купреяновой, крупнейшим знатоком Толстого, В. Е. Ветловская познакомила слушателей с лицами и фактами из истории двух дворянских родов (Мягковых и Купреяновых), к которым по рождению принадлежала Елизавета Николаевна. «Многое из того, что тщательно замалчивалось и даже скрывалось долгие годы, — сказала докладчица, — теперь из небытия выходит на свет. История дворянских фамилий, в данном случае деятелей либерального, народнического направления, с одной стороны, и консервативного, охранительного направления — с другой, тесно переплетается с политической, военной, культурной историей России с древних времен. Груз традиций, славного прошлого, обязывающий к благородству, плодотворно сказался на научной деятельности ученого — яркого, умного, многосторонне одаренного человека, каким была Е. Н. Купреянова».

Н. Г. Михновец (СПбПУ) в докладе «Я. С. Билинкис о Толстом: исследователь и время» говорила о направлениях развития отечественного литературоведения в 1940—1950-е годы и об особенностях профессионального самоопределения Якова Семеновича Билинкиса (1926—2001). По ее словам, выпускнику филологического факультета МГУ и дипломнику известного текстолога Н. К. Гудзия московское академическое толстоведение близким не было. Уже в 1953 году, сразу после защиты в Ленинграде кандидатской диссертации по творчеству позднего Толстого, Билинкис начинает работать на кафедре русской литературы Тартуского университета, где знакомится с Ю. М. Лотманом. Здесь молодой ученый становится свидетелем процесса оформления нового метода, каким он складывался в эти годы в тартуских дискуссиях. Однако Билинкис, по словам Б. Ф. Егорова, «интуитивист и эстетик» в своем подходе к художественному произведению, не включился в число создателей новой научной школы, а позднее (в 1960—1990-е годы) решительно не принял структурно-семиотический метод. Итоговым в его самоопределении стало возвращение в 1955 году из Тарту в Ленинград и приобщение к эйхенбаумовскому направлению в ленинградском толстоведении. Работу Билинкиса над книгой «О творчестве Л. Н. Толстого. Очерки» (Л., 1959), по мнению докладчицы, определили два важнейших обстоятельства: творческое общение с Л. Я. Гинзбург и, как ни парадоксально, тартуский опыт. С одной стороны, ученый рассматривал особенности толстовского историзма в понимании человека и общества, а также предлагал — в духе наступающих в советском обществе перемен — рассматривать личностное начало в человеке в качестве фактора и общественного развития, и литературного процесса. С другой стороны, сопротивляясь научным инициативам тартуских ученых, приглашая их к диалогу и опередив развернувшуюся вскоре дискуссию о возможностях структурно-семиотического описания, Билинкис заявил о собственной исследовательской позиции, которая и нашла выражение в его монографии.

Доклад профессора СПбГУ Е. В. Душечкиной и Хенрика Барана (SUNY, Albany) «С. И. Карцевский о Толстом. (К истории ненаписанной книги)», нарушив ограничительные рамки петербургской толстовианы, представил аудитории многолетнюю работу над книгой о Толстом С. И. Карцевского (1884—1955), ученика Ф. де Соссюра, члена Пражского лингвистического кружка и издателя одного из самых содержательных педагогических журналов «Русская школа за рубежом». Имя Карцевского, хорошо известное лингвистам как имя блестящего специалиста по русской грамматике и по разработке ряда теоретико-лингвистических проблем, практически не фигурирует в среде литературоведов. Тем не менее изучению литературной деятельности русских писателей, в особенности Достоевского и Толстого, Карцевский уделял много внимания. С конца 1920-х годов Карцевский работал над книгой о Толстом (ряд его статей был опубликован в эмигрантской печати). О непреходящем его интересе к Толстому свидетельствуют статьи «Léon Tolstoï», «О Толстом и о России», работы 1928 года на русском и французском языках «Толстой — классический писатель» и «Проблема истины и лжи у Толстого», кроме того, читавшиеся в Женевском университете курсы «Толстой и Достоевский судят друг о друге», «Два трагических конца: Св. Франциск и Л. Толстой», «Эмерсон и Толстой», «Стендаль и Толстой». Тематика этих (и ряда других) работ отражает взгляды Карцевского по философским и историческим вопросам, а также желание соотнести развитие русской литературы, в частности творчество Толстого, с культурными явлениями европейской цивилизации. К сожалению, книга Карцевского не была завершена. Однако и дошедшие до нас его работы о Толстом, замечания, разбросанные по его рецензиям и письмам, позволяют реконструировать достаточно целостную и оригинальную концепцию творчества русского писателя. Будучи напечатанными, они, несомненно, представят интерес для современного читателя.

Монографии Якова Соломоновича Лурье (1921—1996) «После Толстого: исторические

воззрения Толстого и проблемы XX века» (СПб., 1993) было посвящено выступление А. Г. Гродецкой (ИРЛИ). Толстой был, судя по всему, «поздней любовью» автора монографии, многолетнего сотрудника Древнерусского отдела Пушкинского Дома, специалиста по истории русского летописания XIV—XV веков и публицистике эпохи Ивана Грозного. Объектом исследования в книге стали, помимо историософской концепции Толстого в «Войне и мире», социально-политические идеи и «исторические прозрения» писателя, оформившиеся в его поздней публицистике, — признанные или же, напротив, полемически оспоренные исторической и военно-исторической прозой, публицистикой и политической практикой XX века (от начала века до М. Алданова, Д. Мережковского, М. Булгакова, В. Гроссмана, А. Солженицына и др.). Главные мысли монографии, исключительно актуально прозвучавшие в начале «перестроечных» 90-х годов, как и намеченные в ней направления исследования, продолжения не получили. Поздняя философско-религиозная и политическая публицистика Толстого, которая могла в перестроечные годы широко зазвучать в общественных дискуссиях, начало чему и было положено также остро публицистической по своей основной интонации книгой Я. С. Лурье, востребованной не оказалась. И об этом тоже, о неуслышанном голосе Толстого, была написана ученым его книга. Не появилось вослед книге Лурье и обобщающего исследования о толстовской традиции в русской прозе XX века, подобного монографии «Достоевский и русские писатели XX века» (СПб., 2004) В. А. Туниманова (1937—2006), также сотрудника Пушкинского Дома и также ученого, для которого творчество Толстого не было основной областью научных исследований. Для серии «ЖЗЛ» В. А. Туниманов в соавторстве с А. М. Зверевым написал биографию Толстого, которая увидела свет в 2006 году — уже после, как ни печально, ухода из жизни обоих ее авторов.

С большим интересом был выслушан открывший вечернее заседание доклад Е. В. Петровской (СПбПУ) «Толстой в 1960-м году: встречи и прощания (50-летие смерти Толстого на родине и в русском зарубежье)». В докладе шла речь о том, как уход и смерть Толстого в 1960 году вспоминали и осмысляли люди поколения, разделенного историей на «уехавших» и «оставшихся», — писатели, публицисты, исследователи, родившиеся в 1880—1890-е годы и помнившие события 1910-го. Докладчица сопоставила публикации «толстовского года» в советской печати и эмигрантских изданиях, а также материалы Венецианского толстовского форума (29 июня 1960 года), где встретились две России — «советская делегация» и представители «русского зарубежья». По мысли Е. В. Петровской, с уходом из советского публичного дискурса толстовских тем старости и смерти уходило и представление о ступенях единой человеческой жизни, о связи поколений, о развитии, об истории, однако эти темы сохранялись на уровне «домашней», интимной прозы (дневники Н. С. Родионова, Б. М. Эйхенбаума, записи Л. Я. Гинзбург) — чтобы возродиться в конце XX века с возвращением в Россию философско-религиозных трудов эмигрантов первой волны.

Профессор Г. В. Жирков, заведующий кафедрой истории журналистики СПбГУ, в докладе «Эссеизм в публицистике Толстого», отметив, насколько мало занимаются сегодня как филологи, так и журналисты поздней толстовской публицистикой, обратился к основам ее формо- и стилеобразования. Эссеизм, по мнению докладчика, обусловленный в творчестве писателя 1880-х годов объективными и субъективными факторами и явившийся следствием его сомнений, размышлений, полемик, открыл для Толстого простор для диалога с читателем, в котором главным персонажем, как подчеркнул докладчик, «оставался Автор, с его мыслью и душой, с его энциклопедическими знаниями. Именно то, что Толстой был прирожденным художником, позволило ему и в публицистике, и в философии органично опереться на художническое восприятие жизни и синтезировать в эссеизме образ, мысль, чувства и эмоции». Главное внимание в докладе было уделено эссеистической природе толстовской «Исповеди», однако не только ей, но и критической, и учительной тенденциям в статьях «Одумайтесь!», «Великий грех», «Не могу молчать!» и др.

В докладе ведущего научного сотрудника ИРЛИ Г. А. Тиме «„Переживание" немецкой мысли в России (К проблеме «Лев Толстой и Шопенгауэр»)» поставленная проблема рассматривалась в контексте как немецкой, так и русской философии. «Интеллектуальное отрицание воли у Шопенгауэра, — сказала докладчица, — то есть восстание человеческого духа против самой природы, стало необходимым этапом между мистикой Бёме, *откровением* Шеллинга и *бессознательным* Э. Гартмана и К. Юнга как экзистенциальной категорией. В России со времен Белинского рецепция немецкой философии во многом обусловливалась уникальной способностью русских к *переживанию идей и мыслей* на уровне интуиции, религиозного, художественного и даже бытового мироощущений». Интерес Толстого к Шопенгауэру, отметила далее докладчица, совпал с периодом, когда русский писатель двигался от преимущественного утверждения природных инстинктов (от Руссо) — к их осмыслению (через Канта) и почувствовал потребность «освободиться от природы» во имя духовно-нравственной свободы, т. е. приблизился к Шопенгауэру с его религией сострадания буддистского толка.

Далеко не всех присутствующих убедила развернутая С. А. Кибальником, ведущим научным сотрудником ИРЛИ, в докладе

«Толстой или Пруст? (Загадка «Вечера у Клэр»)», система аргументации. Докладчик настаивал на том, что Г. Газданов, не читавший Пруста ко времени создания своей повести, в целом ряде структурно-нарративных элементов (от сюжетных коллизий до образных мотивов и особенностей психологической интроспекции) опирался на опыт Толстого. Обоснованно прозвучали возражения, что художественные системы двух столь разных авторов невозможно сопрягать напрямую, без учета многочисленных опосредующих культурных звеньев.

Доклад «Толстой и музыка» Н. А. Николаева (С.-Петербургская консерватория) начала замечанием о том, что поставленная ею проблема остается малоизученной и не вполне раскрытой. Тем не менее исследования последних лет, прежде всего североамериканских ученых — Дж. Коварски («Метапоэзис и метафизика музыки в „Войне и мире"»), Л. Кнапп («Толстой о музыкальном мимесисе: Эстетика и эротика Платона в „Крейцеровой сонате"»), Дж. Сканлана («Неоднозначная эстетика Толстого: музыка в „Крейцеровой сонате" и других произведениях») и ряд других — позволили расширить понимание музыкальной поэтики в текстах Толстого и обозначить в них музыкальные топосы. Движение музыкальной идеи в творчестве писателя должно рассматриваться, как засвидетельствовала докладчица, в контексте русской художественной и музыкальной культуры в целом.

К сожалению, участникам конференции не удалось прослушать в полном объеме доклад И. Е. Прозорова (Библиотека им. В. В. Маяковского) «История Толстовского музея в Петербурге—Ленинграде», интерес к которому был вполне объясним, поскольку в нашем городе, когда-то имевшем собственный Толстовский центр, теперь такового нет. Докладчик представил тезисы, в которых отметил, что создание музея в 1911 году явилось следствием широкой общественной инициативы петербургской творческой и научной интеллигенции (вузовской, академической), оформившейся в Толстовское общество. Значительная часть коллекций сложилась в ходе организации Выставки для устройства Музея им. Л. Н. Толстого в Петербурге (15 марта—20 апреля 1909 года; Литейный пр., 42). По свидетельству Б. М. Чистякова (тогда студента-филолога, впоследствии друга В. И. Срезневского, директора Толстовского музея), наиболее значительный отдел выставки был представлен изданиями сочинений (в том числе нелегальными и зарубежными), которые впервые были выявлены с научной полнотой.

Открытый 27 марта (9 апреля) 1911 года на 1-й линии Васильевского острова, д. 24 и позднее неоднократно менявший адреса Музей ставил своей целью, помимо лекционно-просветительской, библиографическую работу, собирание всего написанного Толстым и о Толстом, которую планомерно вели сначала А. Л. Бем, затем В. С. Спиридонов. В условиях экономической разрухи при поддержке руководителя Отделения русского языка и словесности РАН А. А. Шахматова 3 мая 1919 года на Общем собрании Академии наук Музей был принят в число академических учреждений (формально подчинялся БАН, где Рукописный отдел возглавлял В. И. Срезневский). В конце сентября 1930 года Музей был объединен с Пушкинским Домом и Комиссией по изданию сочинений Пушкина (с 1932 года — ИРЛИ). Фактически это привело к утрате позиций Ленинграда как ведущего центра толстоведения (и толстовской библиографии). Различные исследовательские, в том числе библиографические, работы музея были связаны с подготовкой (совместно с московским Толстовским обществом и Музеем Л. Н. Толстого) будущего «юбилейного» полного собрания сочинений писателя. Библиографические указатели, комментированные публикации отдельных произведений и переписки Толстого (с гр. А. А. Толстой, с Н. Н. Страховым и др.), воспоминания и исследования творчества писателя печатались в «Толстовских ежегодниках» (за 1911—1913 годы), сборниках «Толстой. Памятники творчества и жизни» (1917—1923), «Толстой, 1850—1860» (1927), выходили отдельными изданиями. Активное участие в них принимали А. Л. Бем, В. Д. Бонч-Бруевич, Б. Л. Модзалевский, В. И. Срезневский и многие другие. Дальнейшее исследование истории Толстовского музея, каким его видит И. Е. Прозоров, позволит более отчетливо проследить характер и широту профессиональных контактов петербургских—ленинградских ученых, оценить значение Музея как центра общественной жизни 1910—1920-х годов.

Г. В. Бахарева, директор библиотеки Пушкинского Дома, в докладе «Книжная коллекция Толстовского музея в библиотеке Пушкинского Дома» отметила заслуги сотрудников петербургского Толстовского музея в собирательской, издательской и библиографической области. В Музее, по ее словам, был организован учет всех изданий сочинений Толстого и литературы о нем, изобразительных материалов, составлялись указатели, которые до сих пор не утратили своего справочного значения. Книжный, журнальный, газетный фонды (всего 9157 единиц) Музея, прекратившего свое существование в 1930 году, поступили в библиотеку Пушкинского Дома, где хранятся в виде отдельного собрания. Однако, как заметила докладчица, создание его научного описания представляет трудноразрешимую задачу, поскольку отсутствуют данные о его сохранности, полноте и репрезентативности.

Конференция закончилась обсуждением прослушанных докладов.

© *А. Г. Гродецкая*

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТИХОВЕДЕНИЕ: 100-ЛЕТНИЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

25—27 ноября 2010 года на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета состоялась Международная научная конференция «Отечественное стиховедение: 100-летние итоги и перспективы развития». Она была приурочена к совпадению двух знаменательных дат: 100-летию со дня выхода в свет монографии А. Белого «Символизм», положившей начало формированию новой стиховедческой парадигмы, и 100-летию со дня рождения профессора Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университета Владислава Евгеньевича Холшевникова. В конференции приняли участие свыше восьмидесяти исследователей; среди них ведущие специалисты России (из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Орла, Екатеринбурга, Новосибирска, Оренбурга, Великого Новгорода), ближнего (Украина, Эстония, Казахстан, Узбекистан) и дальнего (США, Финляндия) зарубежья, а также молодые ученые.

В рамках конференции состоялось девятнадцать заседаний: четыре общих (пленарное, «Компьютерные программы по автоматической обработке формант стихотворного текста», Круглый стол, Торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения В. Е. Холшевникова) и пятнадцать секционных (по секциям «Методологические проблемы изучения стиха», «История русского стиховедения», «Описательное стиховедение и проблемы анализа стихотворного текста», «Сравнительное стиховедение», «Музыкальная и декламационная интерпретация поэтического текста», «Проблемы изучения фольклорного стиха», «Теория стиха и современная поэтическая практика», «Точные методы исследования стиха»).

Пленарное заседание открыл доклад Е. В. Хворостьяновой (Санкт-Петербург) «Петербургская стиховедческая школа», в котором были отмечены такие специфические черты петербургской традиции изучения стиха, как методологическая толерантность, пропедевтическая составляющая, связанная с популяризацией специальных знаний, а также общая герменевтическая ориентация стиховедческих исследований.

В докладе Н. Н. Казанского (Санкт-Петербург) «Античные лирические размеры в русских стихотворных переводах» особое внимание было уделено проблеме иноязычных посредников, сыгравших существенную роль в выработке и утверждении метрико-строфических аналогов античных квантитативных размеров в русской силлабической и силлаботонической традициях.

Анализу семантической функции цезурных сечений в сонете Вяч. Иванова «Apollini» был посвящен доклад Д. Н. Мицкевича (США, Дьюк) «Откровения цезуры», который продемонстрировал формирование специфического «диалога» двух повествований, развертывающихся в вертикали текста, расчлененного цезурой на относительно самостоятельные составляющие, образуемые первыми и вторыми полустишиями.

В докладе В. А. Плунгяна (Москва) «К деривационной модели русской тонической метрики» была рассмотрена методика построения типологии метрических структур классического и неклассического стиха.

В рамках секции «Методологические проблемы изучения стиха» были проведены два заседания, посвященные рассмотрению широкого круга проблем, начиная с концептуальных теоретических проблем различия стиха и прозы, методики изучения мотивного уровня стихотворного текста и заканчивая проблемами подготовки специальных стиховедческих справочников и переиздания классических трудов по истории и теории стиха. Работу секции открыл доклад Т. В. Скулачевой (Москва) «Лингвистические различия стиха и прозы», в котором преимущественное внимание было уделено количественному соотношению сочинительных и подчинительных синтаксических связей.

С. И. Кормилов (Москва) в своем выступлении «Стиховедческие хрестоматии В. Е. Холшевникова и М. Л. Гаспарова: проблема их комментирования и переиздания» поставил вопрос о необходимости выработки научных принципов, на которые следует опираться стиховедам при подготовке переизданий классических стиховедческих хрестоматий В. Е. Холшевникова и М. Л. Гаспарова. Докладчик выделил в существующих изданиях ряд неточностей, которые требуют научного комментария, а отчасти подлежат устранению.

Много вопросов и развернутую полемику вызвал доклад А. В. Радионовой (Смоленск) «Структура и особенности мотивного уровня в лирике». В нем был предложен оригинальный способ формализации «мотивного уровня» в лирике, основанный на выделении в композиции лирического стихотворения последовательности «лирических ситуаций» (этапов развития лирического сюжета).

Исследование В. В. Семенова (Эстония, Тарту) «Вариативность анакрусы как средство релятивизации неклассического стиха у И. Бродского: диахронический аспект (1957—1976)» также вызвало у присутствующих большой интерес. В докладе были выявлены корреляции между слоговым объемом, вариативностью анакрусы и длиной стиха в дольниках, тактовиках, акцентном и свобод-

ном стихе на разных этапах творческой эволюции И. Бродского. Выступление В. В. Семенова завершилось дискуссией, продолжение которой было перенесено на вечернее заседание. Его открыл доклад Л. В. Зубовой (Санкт-Петербург) «Термины стиховедения в поэтических образах», выявивший неожиданные связи между теорией стиха и поэтической практикой: стиховедческая терминология была рассмотрена исследователем как богатый источник поэтической образности, преимущественно на материале современной русской поэзии.

В выступлении С. С. Волкова и Е. М. Матвеева (Санкт-Петербург) «Словарь рифм М. В. Ломоносова: лингвистический и стиховедческий аспекты» говорилось о методологических сложностях, с которыми коллективу исследователей пришлось столкнуться при составлении словаря рифм М. В. Ломоносова, а также о выбранных путях преодоления этих сложностей.

С. А. Матяш (Оренбург) в докладе «Типы интонации и типы переносов в поэзии В. А. Жуковского» охарактеризовала соотношение основных видов enjambement в произведениях, реализующих различные типы интонации, и таким образом дала статистическое подтверждение типологии интонационных форм стиха, предложенной в 1960-е годы В. Е. Холшевниковым.

Сообщение К. М. Корчагина (Москва) «К уточнению типологии цезуры: „цезурные эффекты" в русской силлаботонике и тонике» было посвящено проблеме соотношения маргинальных стиховых форм: различных ритмических вариантов цезурованных неклассических размеров с одной стороны и силлаботонических размеров с цезурными наращениями и усечениями с другой.

Два заседания в рамках конференции были отведены для работы секции «История русского стиховедения». Ее начал доклад Ю. В. Шатина (Новосибирск) «Андрей Белый и Б. В. Томашевский: две стратегии изучения русского стиха», в котором был предложен сопоставительный анализ двух подходов к изучению стиха, представленных работами А. Белого и Б. В. Томашевского.

Г. В. Обатнин (Финляндия, Хельсинки) в своем докладе «К учению о рифме в „башенной" Про-Академии» впервые ввел в научный оборот упущенные ранее архивные материалы, посвященные двум лекциям по теории и истории рифмы, прочитанным в апреле 1909 года Вяч. Ивановым и Ю. Верховским.

Единодушную поддержку аудитории вызвало выступление С. И. Гиндина (Москва) «Отечественная наука о стихе в XX в.: видовые отличия и основные этапы развития». Подчеркнув необходимость написания истории стиховедения, исследователь рассказал о некоторых этапах его развития в XX веке.

С неожиданной стороны предстало стиховедческое творчество Андрея Белого в докладе С. Е. Ляпина (Санкт-Петербург) «Андрей Белый — исследователь поэтической речи: прозрения, ошибки, мистификации». По мнению ученого, работа А. Белого «Ритм как диалектика и „Медный всадник"» представляет собой сознательную научную мистификацию.

Заседание секции завершило выступление М. В. Акимовой (Москва) «Из комментария к исследованию Б. И. Ярхо „Рифмованная проза драм Хротсвиты"». В нем было рассказано о методологических принципах, которыми руководствовался Б. И. Ярхо при членении на ритмические периоды текстов драматических произведений Хротсвиты, написанных рифмованной прозой.

Наибольшее количество докладов прозвучало в секции «Описательное стиховедение и проблемы анализа стихотворного текста», в рамках которой состоялось пять заседаний. Значительная часть их была посвящена описанию индивидуальных художественных систем русских поэтов разного времени. М. Д. Карманова (Санкт-Петербург) в докладе «Композиционные типы эмблематических стихотворений Симеона Полоцкого» рассмотрела специфику построения эмблематического текста XVII века, состоящую в том, что одно и то же стихотворение одновременно адресовано разным типам читателей.

Новый материал анонимной поэзии переходной эпохи в истории русского стиха был представлен в сообщении А. Н. Власова (Санкт-Петербург) «Похвальные вирши г. Великому Устюгу XVIII века».

В докладе «Стиховедческая позиция А. П. Сумарокова» Н. Ю. Алексеева (Санкт-Петербург) поставила под сомнение традиционную точку зрения о том, что у Сумарокова наличествовала собственная специфическая стиховедческая позиция, отличная от позиций М. В. Ломоносова и В. К. Тредиаковского.

Е. М. Матвеев (Санкт-Петербург) выступил с сообщением «Стиховое и жанровое своеобразие од В. П. Петрова (к постановке проблемы)», в котором было показано, что специфика петровских од состоит в необычном сочетании таких «признаков», как тема, стиль и структура стиха.

Доклад К. Ю. Лаппо-Данилевского (Санкт-Петербург) «О метрике Н. А. Львова» был посвящен метрическим экспериментам поэта. Особое внимание исследователь уделил описанию структуры полиметрических композиций.

Проблема выявления эстетической и смысловой функции метрико-ритмических форм русского стиха была рассмотрена в докладе Л. Е. Ляпиной (Санкт-Петербург) «О литературно-художественной функции пеонов («Борьба» Ап. Григорьева)», демонстрирующем, насколько существенную роль в формировании композиционного, жанрово-родового единства и построении сюжета цикла Ап. Григорьева играют пеонические ритмы.

Выступление О. С. Лалетиной (Санкт-Петербург) «Логаэды в поэзии И. С. Рукавишникова» было посвящено выявлению специфики подхода И. С. Рукавишникова к проблеме расширения репертуара логаэдов в русской поэзии.

В сообщении М. А. Орловой (Санкт-Петербург) «Триолет в контексте идиостиля Ф. Сологуба: к проблеме эволюции русского триолета XVIII—начала XX в.» был представлен обширный материал по истории русского триолета и рассмотрено новаторство Ф. К. Сологуба в характере решения триолетной формы.

Н. А. Гуськов (Санкт-Петербург), выступивший с докладом «Поэтика стиха ранних советских детских бестиариев», также собрал и систематизировал ранее не известный стиховедам материал, который демонстрирует метрико-строфические приоритеты эпохи в области массового стиха.

Доклад Е. Л. Куранды и С. Л. Гаркави (Москва — Санкт-Петербург) «Как был найден 111-й „Медальон" Игоря Северянина» познакомил аудиторию с результатами архивных исследований. В нем была аргументирована композиция цикла И. Северянина «Медальоны» и реконструирована история его создания.

И. Карловский (Эстония, Таллинн) в сообщении «Современные строфы Максимилиана Волошина» охарактеризовал строфические эксперименты М. Волошина, особенно отметив использование определенных строфических структур как своеобразных «ритмических цитат» из русской и европейской поэзии XIX века.

Результаты комплексного описания поэтики стихотворений В. Ходасевича, написанных анапестическими размерами, представил доклад О. И. Федотова (Москва) «Содержательные приоритеты анапестов у Ходасевича». Наибольшее внимание в нем было уделено характеристике жанра, тематики, мотивной структуры, лексики, ритмики и строфики произведений.

К. Ю. Тверьянович (Санкт-Петербург), прочитавшая доклад «Стих мистерии Н. Бурлюка „Ковчег весны"», рассказала о том, какую роль в развитии лирического сюжета мистерии Н. Бурлюка «Ковчег весны» играют метрика, ритмика, строфика стиха, формирующие особый «ритмический сюжет».

Тема выступления С. Д. Абишевой (Казахстан, Алма-Ата) — «Поэтическая система Б. Кенжеева: стих и стиль». Особое внимание в нем было уделено воплощению в поэзии Б. Кенжеева языка новой русской поэзии, где «модерн сочетается с классикой», роли «минус-приемов» в синтаксической структуре стиха.

В сообщении Д. А. Суховей (Санкт-Петербург) «Особенности графики новейшей русской поэзии» говорилось о наиболее радикальных экспериментах современных русских поэтов в области графики, в частности, об отказе от использования кириллического и латинского алфавитов, нетрадиционном применении знаков препинания, введении так называемых «непечатаемых знаков» (графических элементов, характеризующих структуру электронных текстовых документов).

Выступление О. А. Логош (Санкт-Петербург) «Особенности стиха Всеволода Рожнятовского» содержало описание творческого пути и краткую характеристику тематического репертуара поэзии Вс. Рожнятовского.

В докладе С. А. Бутовской «Метрика и ритмика С. Кулле» (Санкт-Петербург) была выявлена специфика метрико-строфического репертуара и ритмической структуры стиха одного из «поздних петербуржцев» — С. Л. Кулле.

Заседание секции «Сравнительное стиховедение» открылось выступлением А. Ю. Миролюбовой (Санкт-Петербург) «Барочная метафора как метаязык: иероглиф и эмблема», посвященным проблемам дешифровки метафор, анализа образной системы и стиля в поэзии одного из наиболее интересных представителей испанского барокко Л. де Гонгоры.

Доклад О. А. Светлаковой и Е. В. Хворостьяновой (Санкт-Петербург) «Испанские романсеро в русских переводах» продемонстрировал редкое метрико-строфическое и рифменное разнообразие русских переводов, а также проследил их историю с конца XVIII до конца XX века, обнаружив отчетливую корреляцию между эволюцией метрико-строфического репертуара русской поэзии и выбором формы для переводов испанских текстов.

Е. В. Казарцев (Санкт-Петербург) в сообщении «Становление силлаботоники в нидерландском, немецком и русском стихе: сравнительный анализ» обнаружил тесную типологическую связь в освоении ритма 4-стопного ямба между немецкой и русской традициями, противопоставляющую их традиции нидерландского стиха.

Особый интерес присутствующих вызвал доклад И. И. Буровой (Санкт-Петербург) «Англоязычные эксперименты Эдмунда Спенсера с размерами античной квантитативной метрики», в котором были рассмотрены поиски тонических эквивалентов античному стиху на английской почве.

Секция «Музыкальная и декламационная интерпретация поэтического текста» включала доклады широкой проблематики. Открывая заседание, А. И. Климовицкий (Санкт-Петербург) прочел доклад «Музыкальные истоки стиховедческой концепции Андрея Белого». Он был посвящен влиянию творчества С. И. Танеева на формирование мировоззрения и эстетической позиции Белого, отчетливо воплотившейся как в статьях «Символизма», так и в его поэтическом творчестве (в первую очередь, в симфониях).

Е. Д. Светозарова (Санкт-Петербург) в сообщении «Музыкальные интерпретации лирики русских поэтов XIX века» представила обширный историографический обзор переложений лирики поэтов XVIII—XIX веков на музыку, обратив внимание на существование потенциальной возможности обретения музыкальной интерпретации для произведений самых разнообразных жанров.

В выступлении С. Д. Титаренко (Санкт-Петербург) «Ритмическая структура мелопеи Вяч. Иванова „Человек" и пифагорейская музыкальная и числовая эстетика» были изложены результаты сопоставительного анализа композиционной структуры мелопеи Иванова с устойчивыми пифагорейскими моделями, изучение которых представляло для поэта на определенном этапе творчества особый интерес.

Доклад Ю. М. Валиевой (Санкт-Петербург) «В сторону симфонизма: обэриуты и музыка» был посвящен рассмотрению влияния музыкальной композиции на становление композиционных типов в поэзии А. Введенского. Исследователь выделила несколько линий в развитии композиции, появление которых обусловлено творческим сотрудничеством поэта с А. Туфановым, М. Цехановским, Д. Шостаковичем, М. Друскиным, а также поставила вопрос о влиянии теории симфонизма Ив. Соллертинского на восприятие композиционных особенностей у Введенского в чинарской среде.

В завершение работы секции прозвучало сообщение Н. В. Черных (Москва) «Речевое дыхание при фразирующем и трактующем чтении поэтического текста». Докладчик провела аналогию между речевым дыханием поэта в процессе воплощения поэтического замысла с дыханием читателя, воспринимающего текст.

Секция «Проблемы изучения фольклорного стиха» объединила доклады, посвященные как традиционным, так и современным фольклорным жанрам. В сообщении «Функции повторов во внутреннем времени исполнителя и слушателя: опыт настоящего» С. Б. Адоньева (Санкт-Петербург) на примере народной былины и песни показала, что благодаря введению деталей, замедляющих развитие событийного сюжета (различных видов повторов, перефразированию уже сказанного и т. д.), происходит существенное изменение внутреннего времени исполнителя и слушателя фольклорного текста. В момент звучания песни или былины внутреннее время исполнителя, слушателя, а также время, в котором разворачивается сюжетное действие, синхронизируются и объединяются в «общем настоящем».

Доклад на тему «Русские сказки о животных: к проблеме ритмической организации сказочного повествования» прочла Ю. Ю. Мариничева (Санкт-Петербург). Исследователь показала, что наиболее устойчивыми элементами русских сказок о животных являются ритмически организованные фрагменты диалогов персонажей (присказки-песни, рифмованные обращения и т. д.), и продемонстрировала, что именно они играют важнейшую роль в организации сказочного действия.

И. С. Веселова (Санкт-Петербург) познакомила присутствующих с материалами фольклорного архива филологического факультета СПбГУ. Ее доклад «Формульность и/или связность. Случай плясовых песен» был посвящен анализу специфики исполнения трех плясовых песен жительницами Архангельской области. Выступление сопровождалось демонстрацией видеозаписи, свидетельствующей о том, насколько тесно взаимосвязаны внешность, поведенческий рисунок исполнителей, лирический сюжет и ритмическая структура песен, поющихся не как три самостоятельных произведения, а как единый текст о женской судьбе.

Основная дискуссия на заседании развернулась вокруг двух докладов, специально посвященных проблемам описания стиховой структуры народной поэзии. Предметом исследования А. А. Петровой (Москва), выступившей с докладом «Ритмический строй северной частушки. Опыт полевого стиховедения», стала ритмика частушек, записанных в 2009—2010 годах в Вологодской области. Проанализировав ритмику частушечного 4-стопного хорея, А. А. Петрова пришла к выводу, что стих вологодской частушки неонизирован, причем строки с мужскими окончаниями демонстрируют регрессивную акцентную диссимиляцию, а строки с женскими окончаниями либо прогрессивно-диссимилятивны, либо стабильны. Специфика ритма стихов с женскими клаузулами, по предположению докладчицы, определяет географию частушечного ритма: на западе области преобладает стих с прогрессивной акцентной диссимиляцией, на востоке — с регрессивной.

Обсуждение проблем изучения ритмического строя народных песен продолжил в своем докладе «Современный потенциал „музыкальной" теории фольклорного стиха» А. А. Маточкин (Санкт-Петербург). Он справедливо отметил необходимость исследования метрико-ритмической структуры звучащих фольклорных текстов. На материале трех печорских старин, записанных от трех разных сказителей, докладчик подробно охарактеризовал такое свойство звучащего былинного стиха, как равнодолготность, и убедительно показал возможность и перспективность применения принципов «музыкальной» теории народного стиха при изучении устного песенного стихосложения.

Доклады секции «Теория стиха и современная поэтическая практика» были посвящены преимущественно проблемам стиховедческого описания современных стиховых тенденций. Ю. Б. Орлицкий (Москва) в сообщении «Гетероморфность как организующий

принцип в современной русской поэзии» изложил результаты продолжающегося исследования одного из важнейших, с точки зрения ученого, конструктивных принципов стиха современной поэзии — гетероморфности, проявляющейся на различных структурных уровнях.

Интереснейший материал для изучения русского стиха второй половины XX—начала XXI века представил в своем докладе «Динамика русского палиндрома: 1960-е—2000-е гг.» А. М. Мирзаев, собравший разнообразные образцы палиндрома — одной из наиболее экзотических стиховых форм.

В выступлении Н. Е. Шанявской (Санкт-Петербург) «Иконичность ритма и рифмы в поэзии Михаила Крепса» были проанализированы особенности ритма и рифмы стихотворений М. Крепса и сделан вывод о том, что одним из признаков, определяющих оригинальность его поэтического творчества, является иконичность названных составляющих стихотворного ритма.

Большой интерес аудитории и продолжительную дискуссию вызвал доклад Д. А. Григорьева (Санкт-Петербург) «Депрессионизм как явление русской поэзии брежневской эпохи», посвященный малоизвестному явлению неофициальной культуры Ленинграда 1970-х годов — поэтической группе «Депрессионисты».

Работа секции «Точные методы исследования стиха» началась с доклада О. Н. Гринбаума (Санкт-Петербург) «Теория и практика изучения единого ритмо-смысла пушкинского стиха на основе математики гармонии», в котором на материале поэзии А. С. Пушкина были обоснованы и охарактеризованы важнейшие принципы «гармонического» («эстетико-формального») анализа ритмической структуры стиха.

Проблемы применения точных методов при исследовании ритмики русских поэтов обсуждались и в сообщении В. Ф. Каюмовой (Узбекистан, Ташкент) «Ритмика сверхсхемных ударений в поэзии Ломоносова, Сумарокова и Тредиаковского (на материале четырехстопного ямба)». На основе сопоставления статистических данных по стиху XVIII века с теоретическими частотами сверхсхемных ударений исследователем была выявлена специфика распределения сверхсхемных ударений в 4-стопном ямбе зачинателей русской силлаботоники — Ломоносова, Тредиаковского и Сумарокова.

Завершилось заседание секции докладом В. С. Андреева (Смоленск) «Точные методы исследования динамики стиля (на материале лирики Дж. Г. Уиттьера)». В нем была предложена методика описания эволюции индивидуального авторского стиля, в основе которой лежит количественный анализ лингвистических параметров поэтических текстов. Возможность и перспективность успешного применения разработанных методов, позволяющих описывать динамику идиостиля и атрибутировать художественные произведения, была продемонстрирована В. С. Андреевым на материале поэзии Дж. Г. Уиттьера. Большой интерес у слушателей вызвала созданная исследователем база данных, дающая возможность проведения различных экспериментов, в том числе апробации алгоритмов кластерного анализа.

Заключительный день конференции открыло заседание, посвященное компьютерным программам по автоматической обработке формант стихотворного текста, на котором были представлены результаты двух фундаментальных программ по описанию и исследованию стиховой структуры. В докладе И. А. Пильщикова и А. С. Старостина (Москва) «Проблема автоматического распознавания метра: силлаботоника, дольник, тактовик» были продемонстрированы возможности разработанной авторами компьютерной программы для определения размера монометрических произведений. А. В. Нестеров и К. Ю. Тверьянович (Санкт-Петербург) представили результаты работы семинара «Стиховедение» по фундаментальной программе «Исследовательская и обучающая электронная база данных по метрико-строфическому репертуару русской поэзии XVIII—XX вв.», позволяющей в ходе описания материала корректировать принципы его описания, что вызвало особый интерес и поддержку аудитории. Завершилось заседание развернутой конструктивной дискуссией, в ходе которой было высказано пожелание широкого внедрения программ, формирования доступа к ним стиховедов через сеть Интернет.

На заседание Круглого стола была вынесена тема, которая, по мнению Оргкомитета конференции, является не только давно назревшей, но, главное, требующей широкого научного обсуждения: «Перспективы подготовки академической истории русского стиха». Открывая заседание, Е. В. Хворостьянова предложила несколько первоочередных вопросов для дискуссии, среди них: «Достоинства и недостатки академических историй русской литературы и русской поэзии»; «Насколько реальна выработка единой концепции истории русского стиха при современном состоянии стиховедческой науки?»; «Должна ли академическая история стиха быть полностью ориентирована на монографию М. Л. Гаспарова „Очерк истории русского стиха" как „план-конспект"?»; «Какие этапы в истории русского стиха остаются для нас „terra incognita" и нуждаются в описании в первую очередь?»; «Как институционально может быть организована работа по подготовке академической истории русского стиха?».

Открыл обсуждение П. Е. Бухаркин (Санкт-Петербург). Он обратил внимание аудитории на то, что решению проблемы подготовки академической истории русского стиха в значительной степени препятствует отсутствие общепринятой концепции исто-

рии русской литературы. По мнению исследователя, одной из назревших задач современной филологии является преодоление «замкнутости» стиховедческого знания; следует установить связи между историей стиха и поэзии, литературы в целом.

Н. Н. Казанский (Санкт-Петербург) предложил «либеральную» модель координации коллективной деятельности по созданию истории русского стиха: руководство работой следует осуществлять коллегиально, посредством созыва ежегодных стиховедческих конференций (в том числе видеоконференций, телемостов), организованных на базе крупных научных и образовательных учреждений России и зарубежья, что значительно экономит время и силы исследователей. Одной из наиболее существенных проблем, затрудняющих подготовку научно корректной истории стиха, Н. Н. Казанский назвал отсутствие репрезентативного корпуса академических изданий русских поэтов. Кроме того, исследователь особо подчеркнул важность изучения творчества поэтов второго и третьего ряда, а также произведений, написанных в бытовых жанрах.

Перечисляя те проблемы, которые предстоит решить участникам работы, Л. Е. Ляпина (Санкт-Петербург) отметила, что особая сложность задачи создания академической истории стиха по сравнению с созданием академической истории литературы состоит в отсутствии разработанной жанровой модели: авторы вынуждены будут начать фактически «с чистого листа». Изложение материала должно быть основано не только на обобщающих данных по стиху отдельных периодов: значительное внимание следует уделить динамике и эволюции индивидуальных поэтических систем. История стиха, по мнению Л. Е. Ляпиной, должна предусматривать возможность «размыкания» в смежные области, «выхода» через сугубо стиховедческие проблемы — на проблемы историко-литературные.

По мнению О. И. Федотова (Москва), на данном этапе развития науки не существует потребности в создании единой авторитетной истории русского стиха, но нужны несколько разных «историй», написанных разными исследователями и основанных на разных методологических принципах. Особое внимание следует уделить изучению двух исторических периодов — «начальному» (с древнейших времен) и «конечному» (современность).

Существенный вклад в дискуссию внес С. И. Гиндин (Москва), который указал, что прежде чем приступить к созданию академической истории русского стиха, специалисты должны провести ревизию сложившегося на сегодняшний день понятийного аппарата науки о стихе: например, убедиться, что за явлениями, которые принято обозначать терминами «дольник» и «тактовик», не скрываются несколько схожих, но по многим существенным признакам разнородных явлений. Также непросто решить вопрос о принципах систематизации материала: ведь наряду с явлениями массовыми, в истории стиха значительную роль часто играют явления единичные, но яркие и перспективные. Возможным решением проблемы С. И. Гиндину представляется сочетание двух взаимодополняющих принципов, которые М. Л. Гаспаров положил в основу двух своих монографий — «Очерк истории русского стиха» и «Стих начала XX века в комментариях».

Завершил обсуждение председатель дискуссии Г. В. Обатнин (Финляндия, Хельсинки), по мнению которого, одним из предварительных этапов подготовки истории русского стиха должно стать создание истории русского стиховедения, включающей историю стиховедческих концепций и терминологии.

На торжественном заседании, посвященном 100-летию со дня рождения В. Е. Холшевникова, выступили Т. С. Царькова (Санкт-Петербург), рассказавшая об архиве Холшевникова, хранящемся в Рукописном отделе Пушкинского Дома; Е. М. Васильев (Украина, Ровно), познакомивший слушателей с научной перепиской М. А. Пейсаховича и В. Е. Холшевникова; а также стиховеды, ученики и коллеги, работавшие с Владиславом Евгеньевичем на кафедре истории русской литературы, — И. В. Столярова, М. В. Отрадин, П. Е. Бухаркин, Ю. В. Шатин. Завершило заседание слово К. В. Холшевникова.

© *О. С. Лалетина*

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

РЕПАТРИАНТЫ. СТРАННАЯ СУДЬБА «ВОЗВРАЩЕНКИ» НАТАЛИИ ИЛЬИНОЙ*

Уважаемый Господин Редактор!

Находясь в Санкт-Петербурге в мае 2010 года я в стенах Пушкинского Дома с некоторым опозданием познакомился с изданным под руководством профессора Н. Н. Скатова замечательным изданием — «Словарем русских писателей XX века» в трех томах (М., 2005). Несмотря на отдельные недостатки, в настоящее время это издание следует признать лучшим из имеющихся сочинений подобного рода.

К сожалению, это издание совершенно неизвестно на Западе. Получи оно хоть минимальное распространение, доброжелательные рецензенты указали бы редколлегии как на многочисленные пропуски в словнике, так и на лакуны в библиографии. Особенно досадно, что отдельные неточности снижают в целом положительное впечатление от этого весьма полезного и информативного издания.

Примером целого ряда подобных неточностей страдает статья К. Ф. Бикбулатовой о покойной Н. И. Ильиной, в результате которой у читателя создается образ, имеющий весьма мало сходства с действительностью. Вполне вероятно, что причиной этого является не какая-либо идеологическая установка, а просто незнание ряда обстоятельств зарубежной деятельности Ильиной. Статья носит подчеркнуто компилятивный характер и построена исключительно по советским источникам и мемуарам самой Н. И. Ильиной, а также положительным отзывам о ней лиц из ее ближайшего окружения. Излишне говорить о том, что взгляд мемуариста далек от объективности, а о некогда происходившем в Русском Зарубежье едва ли можно составить достаточное представление по советским источникам. Других же Бикбулатова попросту

---

* В 2005 году под грифом Российской Академии наук и Института русской литературы (Пушкинский Дом) вышло из печати трехтомное издание «Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь» (М.: Олма-Пресс Инвест). Главный редактор — Н. Н. Скатов; научные редакторы и составители — В. Н. Запевалов, В. А. Котельников, А. М. Любомудров, В. П. Муромский, А. И. Павловский. Словарь включает в себя свыше 1000 статей о русских прозаиках, поэтах и драматургах XX века, работавших как на территории России, а затем СССР, так и в русском Зарубежье. Как отмечено во вступительной статье к изданию, «все факты и сведения о писателях (особенно это касается тех, чья творческая деятельность продолжается) приводятся по декабрь 2003 года включительно. ⟨...⟩ Многие статьи представляют собой своеобразный „минипортрет" литератора, написанный с современных позиций на основе новых материалов и источников при одновременном сохранении необходимых атрибутов научных словарных статей» (Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. Т. 1. А—Ж. М., 2005. С. 6). По выходе издание сразу же получило ряд рецензий: *Агеносов В.* В качественно новой полноте // Литературная газета. 2006. № 29. 19—25 июля. С. 7; *Казначеев С.* От классиков до скандалистов // Там же. С. 7; *Кошемчук Т. А.* Соединяя времена. Размышления о новом «Словаре русских писателей» // Литература в школе. 2007. № 12. С. 17—19. В целом рецензенты позитивно оценили появление Словаря. В нем масштабно под одной обложкой были объединены литературные имена XX века. «Главное же и ценное, — заключил В. Агеносов, — это признание авторским коллективом того факта, что все писатели — неотъемлемая часть литературного процесса своего времени» (*Агеносов В.* В качественно новой полноте. С. 7). Но в рецензиях также отмечались и недостатки некоторых словарных статей, авторы которых не смогли объективно-научно представить жизненный и творческий путь писателя. В настоящем номере Редакция журнала «Русская литература» публикует посвященное одной из статей вышеуказанного Биобиблиографического словаря Открытое письмо главному редактору журнала доктора филологических наук Парижского университета, заведующего кафедрой русского языка и литературы Государственного университета г. Ниццы, известного знатока литературы русского Зарубежья, профессора Ренэ Герра. Редакция оставляет за лицами, оспаривающими выраженные в письме взгляды, возможность высказаться на страницах журнала.

не знает, да и советские использованы весьма выборочно — по каким-то причинам проигнорирована статья Аллы Латыниной «Господин Скандал на рынке мемуаров» (Литературная газета. 1999. 25—31 авг.). То, что в вышеуказанной статье названо Скандалом (с большой буквы!), применительно к Наталии Ильиной, для тех, кто знаком не только с советской и российской, но и зарубежной русской прессой, отнюдь не является чем-то новым и сенсационным. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в русской зарубежной печати, ознакомиться с которыми российскому читателю сегодня практически невозможно. Между тем они, безусловно, заслуживают его внимания, и я хотел бы с ними его ознакомить.

Что называется, по горячим следам, сразу же по возвращении в Ниццу посылаю Вам плоды внимательного чтения статьи Бикбулатовой. Думаю, что публикация моих уточнений в столь авторитетном издании, как «Русская литература», будет способствовать если не полному восстановлению исторической правды (в пределах одного частного сюжета), то более объективному восприятию столь сложной фигуры, как Ильина.

Весьма вероятно, что Анна Ахматова, называя Н. И. Ильину «штабс-капитаном Рыбниковым», намекая на «основную» профессию и купринского героя и журналистки реэмигрантки, явившейся с Дальнего Востока, была осведомлена о публикации газетой «Русская Мысль» (Париж, 1957. 12 окт.) «Открытого письма Наталии Ильиной», которое было тогда же воспроизведено и в ряде других зарубежных русских периодических изданий. Много позже то же письмо было опубликовано еще раз в старейшем русском зарубежном издании «Новый Журнал» (Нью-Йорк, 1991. Сент.—дек. № 184—185). Мне кажется, настало время ознакомить с ним и читателей в России. (Уместно напомнить, что все публикации «Открытого письма» состоялись до смерти Н. И. Ильиной в 1994 году, но от нее не последовало никаких, ставших достоянием публики, протестов, возражений, опровержений...)

Для того чтобы публикация «Открытого письма» была оценена по достоинству, хотел бы сказать несколько слов об его авторе — Юстине Владимировне Крузенштерн-Петерец (19.06.1903, Владивосток—8.07.1983, Сан-Матео, Калифорния). С ней я познакомился в начале лета 1972 года благодаря моему другу, замечательному писателю Я. Н. Горбову, главному редактору ежемесячного литературно-политического журнала «Возрождение», постоянным автором которого была Юстина Владимировна. К слову сказать, после нашей встречи Ю. В. трогательно написала обо мне в своей статье «Летний отдых» в нью-йоркской газете «Новое Русское Слово» (1972. 3 авг.): «В кафе, неподалеку от „Русской Мысли", Яков Николаевич Горбов представил мне симпатичного купчика-голубчика. Молодой, с хорошим открытым русским лицом. Окладистая, но аккуратная борода, спокойная, солидная речь — старообрядец что ли? Оказался француз из Прованса, профессор Ренэ Герра. Сейчас работает над диссертацией о зарубежной русской литературе. На вопрос о том, где он так овладел русским языком, скромно отвечает: — Это заслуга моей учительницы, поэтессы Екатерины Леонидовны Таубер».

По отцу предком Юстины Владимировны — поэта, прозаика и журналиста — был знаменитый адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Ее отец был кадровым офицером Российской императорской армии и погиб на фронте в Первую мировую войну. Мать вместе с двумя детьми бежала от большевиков в Маньчжурию и обосновалась в Харбине. Получив образование и переехав в Шанхай, Юстина Владимировна посвятила себя целиком журналистской деятельности, сотрудничая как в русской, так и в английской прессе, обычно под псевдонимом Merry Devil (Веселый Бесенок).

Ю. В. была безусловно одним из лучших знатоков литературы русского Китая (см. ее статью «Чураевский питомник» в журнале «Возрождение» (Париж, 1968. № 204)). В Шанхае в 1946 году ей удалось опубликовать свой единственный сборник стихов, сборник статей «Антигона» и другие работы, но затем пришлось бежать из красного Китая. После долгих мытарств Юстина Владимировна смогла перебраться в Бразилию, далее в США. Работала на «Голосе Америки», много публиковалась в русской зарубежной прессе. За год до смерти ее пригласили возглавить газету «Русская Жизнь» в Сан-Франциско. В некрологе, опубликованном «Новым Журналом» (Нью-Йорк, 1983. № 153), дан точный портрет этой благородной женщины «с твердым характером, что не мешало ей, однако, быть отзывчивой — любому человеку в нужде или в несчастье она с готовностью помогала. Бескорыстие, порядочность, живой ум, острую наблюдательность и интеллектуальную любознательность она пронесла через всю свою жизнь... Они с мужем, одаренным русским поэтом и публицистом Николаем Петерец, жили своим творчеством и, несмотря на житейские трудности, отвергали материальные ценности в пользу ценностей высшего порядка. Эти люди были верными носителями лучших традиций дореволюционной русской интеллигенции».

Мне представляется, что такая характеристика автора «Открытого письма» придает еще большую достоверность его содержанию. Добавлю, что абсолютно той же позиции придерживается и другой объективный и компетентный свидетель — писательница Елизавета Рачинская, чья книга воспоминаний «Калейдоскоп жизни» вышла в издательстве «ИМКА-Пресс» (Париж, 1990): «Да, грязное прошлое у „советской писательницы" Наталии Ильиной, — завершает эту часть своих

воспоминаний Е. Рачинская (1904—1993), — такое же, впрочем, как и у ее папаши, бывшего русского офицера, сотрудника японской военной миссии в Харбине, человека без чести и совести».

Своим умолчанием после публикации разоблачавших ее свидетельств Н. Ильина показала, что не в силах чем-либо возразить самоочевидному. Но одновременно она выказала еще и явное пренебрежение к словам правды. Совершенно очевидно, что она не просто не могла, но и не желала покаяться, не видела необходимости выйти с честью из сложного, тупикового положения, в котором оказалась. «О мертвых мы обязаны говорить только правду», — справедливо утверждал Вольтер.

Так какова же была деятельность этой журналистки в эмиграции? Было бы весьма любопытно и поучительно прочитать сегодня ее фельетоны и публицистические статьи против русских эмигрантов, публиковавшиеся в Шанхае с 1942 по 1947 год в просоветской газете «Новая Жизнь». В этом листке грязно-желтого оттенка (и Китай тут не причем) она воспевала «Союз нерушимый республик свободных» — и «отца народов»... Уместно напомнить, что Н. И. Ильина была и сотрудницей Шанхайского отделения ТАСС, а позже в СССР не брезговала регулярно печататься в подленьком просоветском изданьице «В чужих краях», органе так называемого «комитета за возвращение на Родину и развитие культурных связей с соотечественниками» — что это за контора понятно даже тупому.

Весьма вероятно, что у ряда коллег и знакомых «возвращенки» Н. И. Ильиной, по незнанию или другим причинам, сложилось о ней более отрадное впечатление. Отсюда и опус «И только память обо всем об этом... Наталия Ильина в воспоминаниях друзей» (М.: Языки славянской культуры, 2004). Но ведь речь идет не о впечатлениях, а о непреложных фактах, даже ежели они отстают на несколько десятков лет по времени знакомства Латыниной и других мемуаристов с советской писательницей Н. И. Ильиной. А факты — упрямая вещь, их можно оспорить лишь документами или свидетельствами из первых же рук. Боюсь, что сегодня свидетелей харбино-шанхайского периода жизни Н. И. Ильиной не найти. Нет более в живых Крузенштерн-Петерец и Рачинской — как нет и тех, которые попытались бы опровергнуть их свидетельства. Это и дает широкие возможности для спекуляций и откровенной дезинформации. Старания родной сестры Н. И. Ильиной — Ольги Ильиной-Лаиль и ее племянницы Вероники Жобер по созданию весьма благостного, но далекого от действительности образа можно понять, но едва ли следует им в этом способствовать.

Однако не только рукописи, но и письма не горят — тем более открытые. Как и предлагаемое вашему вниманию письмо, подписанное Ю. Крузенштерн-Петерец.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО НАТАЛИИ ИЛЬИНОЙ

(ОПУБЛИКОВАНО: РУССКАЯ МЫСЛЬ (ПАРИЖ). 1957. 12 ОКТ. № 1120)

Наталия Ильина была хорошо известна на Дальнем Востоке, где с 1937 по 1946 год писала фельетоны в ряде изданий под псевдонимом «Мисс Пэн». После войны уехала в СССР. Ее знают и помнят тысячи русских дальневосточников, выехавших в США, Бразилию и другие страны. По цинизму и извращению фактов ее роман «Возвращение» превосходит все, что когда-либо писалось об эмиграции в советской прессе.

«Милая Наташа! Могу вас поздравить, Ваш роман „Возвращение" (1-я часть, журнал «Знамя», Москва, январь—апрель 1957 г.) читается в Рио-де-Жанейро русскими, прибывшими с Дальнего Востока, нарасхват. К сожалению, должна отметить, что читают его главным образом как документ из секретного отдела НКВД. Не там ли Вы писали его? И не был ли он, Наташа, Вашей платой за право проживания в Москве и прочие блага? Высказываю последнее предположение потому, что не могу себе представить такой литературной среды, даже советской, где бы роман стряпался по столь примитивному плану. Характеристика каждого Вашего героя зависит от того, как сложилась судьба оригинала. Если казнен или пропал в сибирских лагерях, значит мерзавец. Не плачь о нем, советский читатель. Твой отец или брат тоже был таким мерзавцем. Будешь плакать, когда разрешат.

Легкое наказание или окрик: „тип политически шаткий". А ты сам, гражданин читатель, не шатаешься? Смотри! Выехал из Китая, но не в СССР, а в другие страны — клейми его, Иуду. Да не думай вострить лыжи. Сделать карьеру — вот что значит шагать в ногу с партией. Оказывается, и на Дальнем Востоке можно было быть сознательным. Прими к сведению. Нам, Наташа, Вы так сказать не можете, и мы, знавшие всех Ваших героев зачастую очень близко, можем сделать свои выводы. Читая обратно. Чем больше Вы ругаете Вашего героя, тем, значит, пришлось ему хуже. Если только не сумел выехать.

Это, может быть, первый случай в истории НКВД, когда его сотрудник совершенно

легально сообщает за границу сведения о жертвах, и в этом — главное, вернее, единственное значение Вашего „романа". Но, Наташа, Вы не всегда были сотрудницей НКВД. Когда-то Вы были просто „смешной сероглазой девочкой", которую Вы изобразили в своей Тане. В Таниной маме, Софье Павловне, нетрудно узнать Вашу маму Екатерину Дмитриевну. Из этой мамы потребовалось сделать косвенную жертву фашистов. Глава фашистов К. В. Родзаевский (Вы его называете прямо) в день обыска в советском консульстве (Харбин, 1929 г.) убивает на улице поэта Леонида Евсеева. Поэта горько оплакивает Танина мама. В Леониде Евсееве Вы, конечно, вывели поэта Леонида Ещина.

Наташа, неужели не стыдно? Леонид Ещин никогда никем не был убит, а скончался, бедняга, от алкоголя. Стихи его сохранились у Вашей мамы — там было много хорошего. Хотя бы:

Неужели не знаешь ты,
Господи Боже, Что меня
и обидеть-то грех?

Впутав его посмертно в грязную комбинацию, которую Вы назвали романом, бросив от его имени этой грязью в казненного Родзаевского, Вы обидели двух мертвых.

Дальше момент довольно щекотливый, уже из жизни Вашей мамы. По роману она, бедняжка, вынуждена идти учительницей в японскую школу для русских детей. На деле было не совсем так. Японцы назначили Вашу маму инспектором народного просвещения. Врагов своих они на такие посты не назначали. Когда политические страсти в городе слишком разгорелись, Ваша мама струсила и перебралась в Шанхай. Родзаевский тем временем возглавлял, уже в Маньчжурии, большое движение, навинчивал молодежь и, несмотря на целый ряд своих отрицательных свойств, грубейших ошибок, даже преступлений, многими был любим. Секрет прост — он не давал молодежи забывать о России.

Вы прекрасно знаете, что я была с „оборонцами", что фашизм меня всегда отталкивал и не мне бы заниматься апологией Родзаевского. Но когда топчут труп казненного, нельзя не возмутиться. Для чего, например, надо было придумать эту небылицу о деньгах, якобы украденных Родзаевским из стола редактора? Обвинение низкое, бездоказательное и ненужное. В пылу литературного азарта Вы, однако, не замечаете своих собственных краж. Так, рисуя свою гаденькую Марину Рассушину, Вы без стеснения приписываете ей стихи известной на Дальнем Востоке Лариссы Андерсен. Месть за то, что Ларисса не сдалась на Ваши уговоры и не поехала в СССР. Но вернемся к Вашей героине Тане. Таня приезжает в Шанхай, бьется в поисках службы, мучается — ее все обманывают, эксплуатируют. Автор, Наташа, была счастливее. Она сразу же устроилась фельетонисткой в шанхайскую „Зарю" и многие из нас, я в том числе, с удовольствием читали живую и остроумную мисс Пэн. Скромный журнальный заработок Вас, однако, не устраивал.

О том, что было дальше, Вы пока в романе не сказали. Зато Вы занялись описанием католических монастырей, где монахини якобы скупали новорожденных детей по пятаку, наскоро их крестили, поили бобовым молоком и, уморив таким образом, бросали в ямы с известью (1937 г.). О том, что в Шанхае тогда скопились миллионы беженцев, что молока в городе хватало только на 10 % жителей, что трупы детей и взрослых, умерших от голода, можно было найти на каждом углу, Вы забыли упомянуть. Вы забыли о том, что все госпитали и монастыри были переполнены ранеными и сиротами, что не хватало никаких средств на прокорм голодающих, а, кстати, и о том, что когда шли сборы на них, Вы сами никогда не дали ни одной копейки.

Вы были заняты другим. Вы работали спикером на японской радиостанции и прославляли подвиги тех самых японцев, которые жгли китайские деревни и гнали к нам беженцев. Попутно с работой у японцев, Вы завели дружбу в немецких кругах, которая оплачивалась совсем щедро. Вы даже завели себе автомобиль. Автомобиль вызвал подозрение у японцев. Вы были приглашены в отдельную комнату. Разговор был неприятен и длился дня три. Выцарапал Вас Ваш друг — немец. По выходе на свободу у Вас брызнули „слезы обиды". Тогда-то Вы и перешли в советский лагерь, где и стали делать карьеру. В течение пяти лет Вы систематически снабжали советское консульство доносами на нас, работавших против японцев не из личных выгод.

Во время войны по Вашим доносам советское консульство конфисковало единственный независимый журнал „Сегодня" и передало его темной компании, в которой Вы играли одну из первых скрипок. Вы приложили руку к разгрому поэтического кружка „Остров", куда Вас не пускали. Это было уже после войны, когда Вы, очень тесно приблизившись к одному советскому тузу, уже закусили удила. Вашим оговорам, интригам, провокациям можно было посвятить немало страниц. Особенно рьяно Вы работали во время репатриации, и сколько душ на Вашей совести, известно только Вам и Вашему начальству.

Начав так блестяще, можно себе представить, что Вы делаете в Москве. Но, может быть, Вам уже нет выхода. Может быть, петля, которую Вы так легко набрасывали на шеи других, уже стягивается на Вашей собственной шее. В таком случае следует Вас только пожалеть. И, возможно, даже простить. Одного только нельзя Вам простить, Наташа, того, что Вы называете себя писательницей. Ведь завет русского писателя издавна был:

В мой жестокий век восславил я свободу,
и милость к падшим призывал.

Вы же славите кандалы и глумитесь над теми, кто уже не может себя защитить. И это Вы, сексотка, осмеливаетесь называть творчеством?

Ю. Крузенштерн-Петерец, Рио-де-Жанейро, Бразилия».

P. S. Литератор Э. Штейн включил это открытое письмо в свою статью «Китайские тени Валерия Перелешина» (Новый Журнал (Нью-Йорк). 1991. Сент.—дек. № 184—185), т. е. еще при жизни Ильиной — отклика не последовало.

Кроме двух убийственных свидетельств Ю. В. Крузенштерн-Петерец и Е. Н. Рачинской, есть еще и третье, писательницы и журналистки Норы Крук, напечатавшей в Австралии, в январе 1994 года, статью «Памяти Натальи Ильиной» в газете «Взгляд» (№ 4.24). Там читаем: «Советская патриотка, сотрудница „Новой жизни", возвращенка, Наташа вернулась „на родину" в 1947 году. В скором времени вышла ее автобиографическая повесть „Возвращение", где были оболганы все решившие остаться в Китае. Может быть, это было платой за будущее успешное продвижение? Наташа привязывалась к людям в порядке нужды. После репатриации ходили упорные слухи о том, что бывший ее муж, поэт Лев Гроссе (сын последнего российского посла в Китае) погиб в лагерях не без Наташиного участия...».

Эту же ситуацию преданная и благодарная племянница Н. И. — Вероника Жобер — в 2004 году излагает, мягко говоря, в другой тональности: «Лев Гроссе тоже приехал в СССР, судьба его, как и судьбы многих репатриантов, была трагической...» (см.: «И только память обо всем об этом...»: Наталия Ильина в воспоминаниях друзей / Ред. В. Жобер. М.: Языки славянской культуры, 2004). Напрашивается естественный вопрос: а почему же у «тети из Москвы» судьба оказалась столь счастливой и удачной? Сию странную историю «возвращенки» Н. И. мы обсуждали с поэтессой Норой Крук.

С ней я познакомился в Париже много лет тому назад, благодаря нашему общему другу, замечательному поэту Лариссе Андерсен. Конечно, во время наших тогдашних встреч и бесед, ее расспрашивал о Русском Китае, о жизни русских в Харбине и в Шанхае, о тех поэтах, писателях, журналистах, которых она знала. Отчетливо помню, что именно Нора, очень умная, интеллигентная и достойная дама, мне тогда говорила о Н. И. Ильиной. Отчасти отголоски ее тогдашних рассказов можно найти (правда, в менее резкой форме) в ее статье 1994 года. Впоследствии, по возвращении домой, в Сидней, Нора Крук, проникшись симпатией ко мне и прекрасно понимая мою страсть к собирательству и изучению русской эмигрантской литературы, мне сделала бесценный подарок, прислав редчайший сборник «Остров» (1946) Шанхайской студии поэтов, который благодаря ей теперь с инскриптом Л. Н. Андерсен является украшением моего собрания эмигрантской поэзии.

Когда, по просьбе Л. Н. Андерсен, в моем доме-музее в Исси-ле-Мулино гостили два крупных поэта русского Китая, — сначала М. Н. Волин в 1985 и 1988 годах (см.: Русские поэты в Китае // Континент (Париж). 1982. № 34) и В. Ф. Перелешин в 1986-м (см.: «Два полустанка»: Воспоминания свидетеля и участника литературной жизни Харбина и Шанхая. Амстердам, 1987. С. 117), они оба не только подтвердили то, что я уже знал об Н. И., но прибавили (в особенности М. Волин) много обличительных подробностей о недостойном поведении автора книги «Возвращение», которую бывшие харбинцы называли с омерзением «Извращение».

В моем архиве сохранились звукозаписи рассказов В. Перелешина, М. Болина и В. П. Петрова, историка русского Китая, гостившего у меня в 1997 году, которые я непременно опубликую в своей книге воспоминаний.

Как уже было сказано, в литературных кругах в СССР всем было известно, что А. А. Ахматова неспроста дала Н. И. Ильиной кличку «штабс-капитан Рыбников»: ведь не секрет, что многие считали (не без основания) эту даму осведомительницей. Этим и объясняется то, что, несмотря на неоднократные предложения ее племянницы Вероники, моей сокурсницы в Сорбонне, я упорно, долгие годы, отказывался знакомиться в Париже с Н. И. Все-таки, много лет спустя, уже в перестроечные годы, в конце 80-х, я по уговорам моей приятельницы Л. Н. Андерсен и ее подруги по Харбину Нины Мокринской согласился принять Н. И. у себя дома, в Исси-ле-Мулино. И тут в высшей степени странное поведение Н. И. подтвердило многое из того, что я о ней уже слышал, читал и знал. Она отказалась надписать свои советские «агитки», лживые сочинения «Дороги и судьбы» (Москва, 1985), которые именно для этого трогательно принесла немолодая литературная дама Н. Мокринская. Мне же, хозяину, она, естественно, отказала в автографе на гебешных изданиях пресловутого «Комитета за возвращение на Родину и развитие культурной связи с соотечественниками» — под предлогом, что ее якобы в них напечатали без ведома и разрешения автора. Чистое вранье! Там была даже воспроизведена ее фотография, а второе издание было уже эпохи перестройки («Почему мы вернулись на Родину»: Свидетельства реэмигрантов. М.: Прогресс, 1987. С. 189—197).

Н. И., человек безусловно цепкого ума, довольно быстро поняла, к кому попала, и вдруг, сбросив маску советской либералки, показала свое настоящее нутро. От этого ви-

зита совпатриотической дамы у меня сохранились весьма красноречивые фотоснимки, которые о многом говорят, — стоит лишь всмотреться в мимику и взгляды. Добавлю, что после этого рассчитывать на симпатию Вероники Жобер я уже не мог.

...Еще один вопрос. Каким образом и какой ценой Наталия Ильина в застойные годы запросто ежегодно ездила в Париж и в Лондон повидать сестру Ольгу? И не странно ли, что та систематически организовывала для французских туристов поездки в СССР? Случайно ли она сотрудничала с Интуристом — кстати, тоже ведь Комитет!

Уже давно пора написать всю горькую правду о незавидной, печальной и, как всегда, трагической судьбе литераторов-репатриантов длиною в 50 лет. В их числе — Л. Д. Любимов, бывший журналист консервативной газеты «Возрождение», масон и советский агент (см.: *Гуль Р. Б.* «Я унес Россию». Нью-Йорк, 1984. Т. 2. С. 178), автор первой лживой книги об эмиграции «На чужбине» (М.: Советский писатель, 1963), Д. И. Мейснер (автор книг «Исповедь старого эмигранта» (М.: Голос Родины, 1963) и «Миражи и действительность. Записки эмигранта» (М.: АПН, 1966)), Н. Я. Рощин (платный агент советского посольства в Париже (см.: *Струве Г. П.* Русская литература в изгнании. 3-е изд. М.: Русский путь, 1996. С. 205). Во время войны вступил в коммунистическую партию и стал одним из лидеров движения советских патриотов, в декабре 1946 года уехал в Советский Союз), С. Я. Эфрон (с 1931 года стал сотрудничать с иностранным отделом ОГПУ), А. Н. Вертинский, А. Л. Ладинский, А. В. Эйснер (завербованный С. Эфроном), В. Б. Сосинский, Ю. Б. Софиев, Г. Ф. Шеметилло, А. Л. Казем-Бек (сотрудник советских спецслужб, позже референт ОВЦС МП), И. Н. Голенищев-Кутузов, Л. В. Гроссе, Л. И. Хаиндрова, Н. А. Щеголев, Вс. Н. Иванов, В. Н. Померанцев, Н. Ф. Светлов, А. Л. Паркау, В. Н. Иевлева, М. Ц. Спургот... и далее, включая самых известных — от Александра Куприна (1937) до Ирины Одоевцевой (1987). Такая книга необходима, чтобы россияне и особенно молодое поколение узнали о еще одной трагической странице своей истории. Русский язык первой половины XX века навсегда запечатлел некоторые чудовищные моменты российской трагедии, неологизмы, — такой, например, как существительное «приспособленчество», и Н. И. Ильина — яркая иллюстрация, олицетворяющая подобное явление. Белые эмигранты в массе не захотели принять новые порядки, понимая, что никак и никогда не смогут приспособиться к большевистской Совдепии, поэтому выбрали изгнание, а те немногие из них, которые все-таки решились вернуться после опубликования печально известного Указа Президиума Верховного Совета СССР «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции» от 14 июня 1946 года, прошли страшный путь. Какой ценой они выжили в СССР, мы не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем, известно лишь, что самые достойные погибли. Советская власть репатриантов остерегалась и презирала, при этом заставляя себе служить верой и правдой. И я решил такую страшную книгу написать. Первая глава книги мной уже написана, а последнюю — о возвращении И. В. Одоевцевой в СССР, правда, уже в перестроечное время, — скоро допишу, тем более что я, волею судеб, оказался не просто живым свидетелем этого возвращения, но и прямой жертвой...

Полагая, что основанная на незнании полуправда едва ли не хуже откровенной лжи, надеюсь на опубликование «Русской литературой» сделанных мною необходимых уточнений к статье К. Ф. Бикбулатовой о Н. И. Ильиной. Надеюсь, что при очередном издании «Русских писателей XX века» они будут учтены.

Ренэ Герра. Ницца,
май 2010

ПАМЯТИ ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЫ ЛОТМАН (1917—2011)

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, вся российская филологическая наука понесли большую утрату. 31 января 2011 года ушла из жизни Лидия Михайловна Лотман, доктор филологических наук, старейший сотрудник Пушкинского Дома, которому она посвятила почти 60 лет своей жизни.

Л. М. Лотман окончила филологический факультет Ленинградского университета в 1939 году и тогда же поступила в аспирантуру ИРЛИ. Во время войны, прервав учебу, Лидия Михайловна работала делопроизводителем в эвакогоспитале, а с лета 1942 года — воспитателем эвакуированного детского дома в Куйбышевской области. Но уже в 1944 году она вернулась в Ленинград и приняла участие в восстановлении Пушкинского Дома. Впоследствии была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Л. М. Лотман была уникальным специалистом в области изучения русской литературы XIX века. Материалы ее кандидатской (1946) и докторской (1972) диссертаций нашли отражение в монографиях «А. Н. Островский и русская драматургия его времени» (1961); «Реализм в русской литературе 60-х гг. XIX в.» (1974); «А. А. Фет. Жизнь и творчество» (Бостон, 1976, на англ. языке).

Л. М. Лотман приняла участие в подготовке практически всех академических собраний сочинений писателей XIX века (М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, В. Г. Белинского, И. С. Тургенева (1-е и 2-е изд.), Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова, А. С. Пушкина), готовившихся к печати в Пушкинском Доме. Она являлась автором ключевых глав в его основополагающих проектах: «История русской литературы в 10 т.» (Т. 7—9 (1955—1956)); «История русской литературы в 4 т.» (Т. 2—3 (1982—1987)); «История русского романтизма» (Т. 1—2 (1962—1964)); «История русской поэзии» (Т. 2 (1969)); «Русская повесть XIX в.» (1973); автором разделов и ответственным редактором «Истории русской драматургии» (Т. 1—2 (1982—1987)).

Л. М. Лотман была неизменным автором журнала «Русская литература», участником многих и самых разнообразных серийных и тематических сборников Пушкинского Дома. Круг ее интересов отличался необыкновенной широтой.

Лидия Михайловна обладала не только большой эрудицией, острым умом, удивительной трудоспособностью и беззаветной преданностью науке, она была глубоко порядочным и мудрым человеком, много пережившим и знавшим цену жизни и людям.

Научное наследие Л. М. Лотман вошло в золотой фонд трудов Пушкинского Дома. Память о ней навсегда останется с нами.

Друзья и коллеги

В № 4 журнала «Русская литература» за 2010 год допущена досадная ошибка в инициалах одного из авторов: на с. 169 и в Содержании вместо Н. Н. Самовер следует читать Н. В. Самовер.

Технический редактор *Е. Г. Коленова*
Корректоры *И. А. Борисова-Смирнова, О. В. Гусихина, Л. Д. Колосова и М. Н. Сенина*
Компьютерная верстка *Т. Н. Поповой*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г. Подписано к печати 12.05.11.
Формат $70 \times 100\,{}^{1}\!/_{16}$. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 22.1.
Уч.-изд. л. 27.4. Тираж 353 экз. Тип. зак. № 926. С 80

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.naukaspb.spb.ru

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12